



Вадим Кожин

**ВЕЛИКОЕ ТВОРЧЕСТВО**



**ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА**

МОСКВА  
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1999

ББК 83.3 Р  
К 58

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

**Кожин В.В.**

К 58      Великое творчество. Великая Победа. — М.: Воениздат, 1999. — 328 с. — (Редкая книга).

ISBN 5—203—01887—1.

Книга посвящена 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина и 55-летию Великой Победы. Анализируя творчество великого поэта и историю русской духовной культуры, автор предлагает новый, своеобразный взгляд на Великую Отечественную войну, определяет ее как событие самого глубокого и масштабного **геополитического значения**, как противостояние **всей** Европы и СССР-России.

В книге содержится критика различных взглядов на творчество А.С.Пушкина и события Второй мировой войны.

ISBN 5—203—01887—1

**ББК 83.3 Р**

© В.В.Кожин, 1999

© Оформление, Воениздат, 1999

## ОТ АВТОРА

Моя книга посвящена двум великим явлениям нашего бытия — творчеству Пушкина и начавшейся через сто с небольшим лет после его гибели самой грандиозной в мировой истории войне, завершившейся триумфальной победой СССР-России. Не исключено, что кому-либо эти две темы покажутся несовместимыми или слишком далекими друг от друга. Но я убежден, что наш Поэт (по записанному полтора века назад проникновенному слову талантливейшего литературного критика Аполлона Григорьева, «Пушкин — наше всё») и наша Победа 1945 года *взаимосвязаны*. Поэт, чье человеческое и творческое становление во многом и главным определила пережитая им в юности Отечественная война 1812—1814 годов, создал ту *духовную основу* России, без которой нельзя представить себе ее последующую историю, обретшую ярчайшее проявление в событиях 1941—1945 годов, а с другой стороны, именно эти события раскрыли перед нами во всей полноте и глубине гений Пушкина. Если не бояться высоких слов, мы победили в 1945-м и потому, что у нас есть Пушкин!

Вполне естественно связать битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлином с написанными в 1814 году пятнадцатилетним Пушкиным строками:

Страшись, о рать иноплеменных!  
России двинулись сыны...  
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,  
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья  
За Русь, за святость алтаря... —

тем более что частично эти строки почти через 130 лет после их рождения были начертаны на одном из наиболее широко распространенных плакатов Великой Отечественной войны.

Но, связывая Пушкина и Победу, нельзя, разумеется, забывать и о том, что творчество Поэта представляло собой ценнейшее воплощение, высший плод всей истории Руси-России, начавшейся еще в конце 700-х годов, то есть за 1000 лет до рождения Пушкина.

Я напомним широко известное высказывание из гоголевского сочинения «Несколько слов о Пушкине». Поэт, утверждал Гоголь, «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет...».

Ныне, в двухсотую годовщину рождения Поэта, слова эти, как мне доводилось убеждаться, вызывают у многих людей чувство горечи или даже иронию: ошибся, мол, провидец, ибо русский человек пребывает сегодня в состоянии такого унижения и такой смуты, что ему как бы вообще не до Пушкина...

Однако, если мы ставим вопрос о провидческом даре Гоголя, нам следует не забывать и о том, что процитированные слова написаны не при рождении Пушкина, а в пору его высшей зрелости, в 1834 году, — и, значит, до осуществления гоголевского предсказания должно пройти еще ни много ни мало *тридцать пять* лет, в течение которых мы, быть может, в самом деле дорастем до Поэта...

Суть проблемы, конечно, не в буквальной точности этих дат (1834—2034), но в том, что Гоголь, размышляя о Пушкине, имел в виду не XIX и даже не XX, а XXI век, то есть уже *третье* тысячелетие христианской эры. Именно такой масштаб исторического времени был, с его точки зрения, уместен при мысли о Поэте...

Впрочем, сегодня многие — и в том числе вполне серьезные — люди полагают, что в близящемся третьем тысячелетии Россия будет только деградировать и более или менее быстро наступит конец ее великой трагедийной истории...

Между тем прогнозирование грядущей судьбы целой страны — заведомо рискованное занятие. В пору тяжелейшей Смуты начала XVII века многие были убеждены, что страна бесповоротно погибла... Так, в середине 1612 года был написан безымянный «Плач о пленении и о конечном разорении превысокаго и пресветлейшаго Московьскаго государства». Тем не менее в конце того же самого года началось быстрое возрождение этого дошедшего, казалось бы, до *конечного разорения* государства (26 октября была освобождена от врагов Москва), а как раз через *тридцать пять* лет, в 1647 году, его *землепроходцы* смогли расширить его пространство аж до Тихого океана, восстановив тем самым восточную границу основанной в XIII веке монголами гигантской Евразийской державы, а еще семь лет спустя, в 1654 году, была в значительной мере восстановлена западная граница: в состав государства возвратились отторгнутые от него почти три столетия назад украинские земли, что, понятно, было бы невозможно без полноценного *возрождения*.

В начале XX века разразилась не менее или даже более сокрушительная Смута, и влиятельный тогда писатель Алексей Ремизов сочинил в 1917 году исполненное отчаяния «Слово о погибели земли Русской», под которым готовы были в то время подписаться очень многие люди. Однако не прошло и тридцати лет с 1917 года, и мы смогли победить

самую мощную в мировой истории военную машину, вобравшую в себя энергию почти всей Европы с ее трехсотмиллионным населением и высокоразвитой техникой, а еще через десяток с небольшим лет *первыми* в мире вознеслись в Космос и русское слово «спутник» вошло во все языки.

Я вовсе не утверждаю, что и в ближайшие десятилетия — скажем, к тому же 2034 году — обязательно совершится нечто подобное. Я говорю об этих удивительно быстрых воскрешениях страны только для того, чтобы напомнить о необязательном осуществлении прежних мрачных предсказаний, хотя для них и в 1612-м, и в 1917 году были самые веские основания. Не исключено, что и теперешний предлагаемый многими безнадежный прогноз не сбудется...

Ровно через четыре года после крушения Российской империи, в феврале 1921-го, один из значительнейших поэтов того времени Владислав Ходасевич (в 1922-м он стал эмигрантом) заявил: «Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда...»

Однако всего пятнадцать лет спустя, в 1936 году, находившийся в эмиграции и высоко ценимый ныне в России мыслитель Георгий Федотов, самым пристальным образом вглядывавшийся в жизнь покинутой родины и отнюдь не склонный как-либо приукрашивать эту жизнь, констатировал: «Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает *собственную свою историю* (выделено мною. — В.К.)... Будущее связывается с прошлым...» и т.д. И в 1937 году страна с поистине небывалыми торжественностью и воодушевлением поминала Пушкина в сотую годовщину его гибели...

«Воскрешение» Пушкина в 1936—1937 годах не обошлось без казенщины и пустословия. Но в основе своей это все же было именно *воскрешение*. Я до сего дня ясно помню, как с упоением читал и перечитывал в 1937 году целиком, с первой до последней страницы, посвященный Пушкину номер знаменитого тогда детского (мне ведь еще не исполнилось в то время и семи лет) журнала «Мурзилка»; многое из него и теперь могу воспроизвести наизусть... И заново прививаемые с самого раннего возраста поклонение и любовь привели к тому, что для людей моего поколения (и, разумеется, последующих) Поэт стал воистину близким — вопреки цитированному выше горестному прогнозу Владислава Ходасевича...

В 1937 году оставалось всего четыре года до начала Великой Отечественной войны, которая сыграла исключительно весомую роль в духовном воскрешении и России, и, естественно, Пушкина. Я избрал эпиграфом для посвященной Поэту части моего сочинения признание Александра Твардовского, согласно которому он только в дни Отечественной войны в полную меру почувствовал «ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова».

Но, конечно, далеко не все способны это почувствовать. И, в частности, именно поэтому множество людей смогли поверить так называемым реформаторам 1990-х годов, этим, в сущности, малограмотным и равнодушным к России или даже ненавидящим ее субъектам, которые попытались столкнуть страну с ее тысячелетнего пути и навязать ей западную модель бытия. Теперь-то даже едва ли не главный *наставник* этих реформаторов, американец Джефффри Сакс, безоговорочно признал полный провал реформы в России. В приложении к газете «Труд» — «Деловой вторник» от 10 ноября 1998 года цитировались его слова: «*Мы* (то есть и он! — *В.К.*) положили больного на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия».

А ведь Пушкин почти 170 лет назад, в 1830 году, писал, обращаясь к тогдашним западникам: «Поймите же... что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою, что история ее требует другой мысли...» То же самое утверждал в 1835 году и высоко им ценимый выдающийся мыслитель Петр Чаадаев: «... мы не Запад... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали... (главный тупой довод всех западников. — *В.К.*). У нас другое начало цивилизации... нам незачем бежать за другими...» и т.д.

«Пушкин — наше всё», — проникновенно сказал в свое время Аполлон Григорьев, и, как видим, на вопрос о причине нынешнего тяжелейшего состояния экономики страны Поэт 170 лет назад дал верный ответ...

Но обратимся к конкретным проблемам жизни и творчества Пушкина.

# ВЕЛИКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина... Но только в дни Отечественной войны, в дни острой незабываемой боли за родную землю и того сурового возмужания, которое пришло к нам перед лицом страшной угрозы всему самому дорогому, — я, как, должно быть, и многие другие люди моего поколения, увидел, что до сих пор не знал Пушкина. Я вдруг почувствовал в полную меру своей души ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова. И для меня, как будто впервые, как будто вовсе не известные мне до того, прозвучали строфы его исполненной горделивого достоинства патриотической лирики. С восторгом как бы внезапного постижения я обретал в затертом томике из походной библиотечки благородную красоту навечных запечатлений мысли и чувства, родной природы, родной земли, с ее городами и селами, полями и водами, суровой седой стариной, сказаньями и песнями. И все это обращалось сегодняшним днем, потому что восторг вызывался не той или иной блестящей строкой, а тем, что все это — родина, все это мое неотъемлемое достояние, гордость и честь, вера и слава и не может быть на земле силы, которая могла бы отринуть это.

*Александр Твардовский. 1949 год*





Москва. Пушкинская площадь. Фото военных лет

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВНОЕ О ПУШКИНЕ К ЕГО 200-ЛЕТИЮ

---

#### *Где родился Поэт?*

Ныне по сути дела общепринята точка зрения, согласно которой Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году на тогдашней окраине Москвы — в *Немецкой слободе*, — либо на нынешней Бауманской улице (до 1918 года она называлась Немецкой), либо же вблизи нее — на Малой Почтовой. С XVI века «здесь жили, как писал авторитетнейший историк Москвы П.В.Сытин, иноземцы почти из всех государств Западной Европы... которых в XVI—XVII вв. русский народ называл «немцами», как «немым», не понимавших русского языка...».

После революции Немецкая улица и близкая к ней Елоховская площадь были переименованы в честь убитого в октябре 1905 года во время уличных беспорядков большевика Н.Э. Баумана. И вот несколько странный факт: в последние годы многим московским улицам и площадям были возвращены их исконные названия, и, в частности, расположенная неподалеку от Бауманской улица Карла Маркса вновь получила имя Старой Басманной, а Бауманская площадь — Елоховской (на ней находится собор Богоявления в Елохове, в котором — тогда это была небольшая церковь, впоследствии, в 1835—1845 годах, значительно надстроена, — был окрещен Пушкин). Однако Бауманская улица осталась Бауманской... И есть основания полагать, что люди, решавшие вопрос о возвращении улицам Москвы их исконных имен, зная, конечно же, версию о рождении Пушкина на Бауманской\*, *не пожелали* (может быть, не вполне осознанно) сделать ее опять «Немецкой»...

Ибо все связанное с Поэтом имеет особенное значение. Прочитую в связи с этим очень популярную в свое время книгу «Очерки по истории русской литературы», написанную известным тогда литературоведом Н.М.Мендельсоном (1872—1934) и изданную в 1909 году в серии «Народный университет». Глава «А.С.Пушкин» в этой книге открывается такой фразой: «Начиная с Ломоносова, *отличительной чертой* (выделено мною. — В.К.) русской литературы является зависимость от тех или иных западноевропейских влияний». Тут же, правда, отмечалось, что «Пушкину суждено было положить конец рабству нашей литературы» (то есть, скажем, Державин — это еще «раб» Запада), но затем гово-

---

\* На доме 40 (школа № 353) этой улицы имеется мемориальная доска с надписью: «Здесь был дом, в котором 26 мая (6 июня) 1799 года родился А.С.Пушкин».

рилось нечто побуждающее несколько усомниться в «конце рабства»: «Величайший русский поэт родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице» и выросал «под надзором иностранных гувернеров и гувернанток. Французская болтовня... дополнялась уже в раннем детстве чтением французских книг... Русский язык Пушкин слышал только из уст няни...» и т.д.

Таким образом, выстраивается своего рода единая цепь: Немецкая (то есть «иностранная») улица, иностранцы в доме, иностранная «болтовня» и книги и т.п., чему противостоит одна лишь бедная няня... Между тем точно известно, например, что дом Пушкиных тогда посещали и так или иначе общались с отроком Сашей Карамзин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, которые едва ли ограничивались «французской болтовней».

Впрочем, не буду развивать эту тему и сосредоточусь на вопросе о месте рождения Поэта, ибо, как ясно из предыдущего, версия о том, что он родился в Немецкой слободе, вписывается в определенную смысловую «систему», являя собой, как говорится, «знаковую» подробность...

\* \* \*

Не так уж редко случается, что вопрос, который поначалу имел совершенно ясный ответ, впоследствии оказался запутанным. В ноябрьском номере известного журнала «Отечественные записки» за 1853 год едва ли не самый выдающийся собиратель сведений о жизни Пушкина — Петр Иванович Бартенев (1829—1912) — опубликовал статью «Род и детство Пушкина», где сообщалось: «Поэт, живший в 1826 и 27 годах на Собачьей площадке ... часто проезжая по Молчановке, говаривал приятелям, что он родился на этой улице».

Через два года вышел в свет фундаментальный труд другого основоположника пушкиноведения, Павла Васильевича Анненкова (1812—1887), «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», начинавшийся следующим утверждением: «Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в 1799 году, мая 26, в четверг, в день Вознесения Господня, на Молчановке». В 1873 году труд этот был переиздан.

В следующем году Иван Аксаков издал свою «Биографию Федора Ивановича Тютчева», где, между прочим, говорилось, что «в урочный час, словно таинственной рукою, раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке, в Москве, на голову сына гвардии капитана-поручика Пушкина...»

Однако еще через пять лет, в 1879 году, студент Московской духовной семинарии Цветков обнаружил в метрической книге церкви Богоявления в Елохове запись о крещении Пушкина, свидетельствующую о том, что в момент рождения Поэта его отец, Сергей Львович Пушкин, имел жительство во дворе коллежского

регистратора Скворцова, находившемся в приходе означенной церкви. И с этого момента развернулись розыски скворцовского двора в округе церкви Богоявления; горячие споры о местонахождении этого двора продолжаются и в наши дни.

Между тем здесь с самого начала была допущена элементарная логическая ошибка\*: место рождения поэта подменили местом, где в это время был, выражаясь сегодняшним языком, «прописан» его отец. В результате исследователи, как это ни нелепо, полностью пренебрегли свидетельством самого Поэта, переданным нам П.И.Бартеневым и другими.

Хорошо известно, что Пушкин глубоко интересовался мельчайшими подробностями своего происхождения. 22 июля 1830 года его мать Надежда Осиповна писала дочери Ольге о сыне: «Вообрази, он совершил летом сентиментальное путешествие в Захарово; отправился туда один, лишь бы увидеть место, где провел несколько годов своего детства». Нетрудно указать и другие примеры пристального внимания Пушкина к своим истокам. Поэтому нет никаких оснований сомневаться в том, что он досконально выяснил, где он родился.

Далее, столь же хорошо известна обстоятельность исследовательской работы П.И.Бартенева и П.В.Анненкова. Не менее существен и тот факт, что эти пушкиноведы начали свои разыскания, когда еще в полной мере сохранялась живая память о Пушкине; так, указанные труды Бартенева и Анненкова вышли в свет при жизни многих близких к нему людей, начиная с его старшей сестры Ольги Сергеевны, и, если бы сообщение о рождении поэта на Молчановке было ложным, неизбежно прозвучало бы его опровержение. Кстати сказать, П.В.Анненков точно знал, что отец Пушкина в момент рождения Поэта жил «близ Немецкой слободы, у самой Яузы, не переходя моста». И все же утверждал, что Пушкин родился не там, а на Молчановке.

Словом, у нас нет ровно никаких оснований полагать, что Пушкин родился не на Молчановке. И уж во всяком случае, прежде чем искать место его рождения в ином крае Москвы, необходимо было бы убедительно доказать ошибочность вышеуказанных свидетельств современников Поэта\*\*.

\* \* \*

Легко предугадать, что у многих возникнет вопрос, почему Пушкин родился не в том доме, где, согласно церковной записи, проживал тогда его отец, и по какой причине обряд крещения состоялся столь далеко от места рождения (расстояние меж-

---

\* Ошибка эта закономерно приводит к разного рода недоразумениям и даже к настоящей курьезам; так, в вышедшей в 1982 году книге Ю.М.Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин» (изданной тиражом 600 тыс. экз.) попросту объединены две версии: автор утверждает, что поэт родился-де в «доме Скворцова на Молчановке» (ныне Баумана, № 10).

\*\* В год его гибели П.В.Анненкову исполнилось 25 лет.

ду Молчановкой и Елоховым, учитывая кривизну московских улиц, почти восемь верст).

На второй вопрос ответить несложно: окрестить ребенка можно было только в церкви того прихода, где проживал его отец; для отступления от этого правила необходимо было специальное разрешение самого митрополита. Словом, где бы ни родился Поэт, его должны были окрестить в Елоховской церкви.

Но почему все-таки Пушкин родился не в том доме, где был тогда «прописан» его отец? В метрической книге той самой Елоховской церкви есть запись, свидетельствующая, что еще 5 мая 1799 года, то есть за двадцать один день до рождения Поэта, отец его проживал в другом доме: «Умре ... Мая 5 дня во дворе графини Екатерины Александровны Головкиной, у жильца ее коллежского асессора Сергея Львова Пушкина дворовый его человек Михаил Степанов...» Правда, опубликовавший эту запись С.К. Романюк высказал предположение, что во дворе Головкиной проживал, быть может, только дворовый С.Л. Пушкина, а сам отец Поэта жил во дворе Скворцова. Но это едва ли сколько-нибудь правдоподобное предположение. Ведь оба упомянутых двора принадлежали к одному приходу, и служители церкви не могли перепутать место жительства одного из своих прихожан (в записи Сергей Львович недвусмысленно назван жильцом графини Головкиной).

Итак, еще 5 мая семья Пушкиных числилась во дворе Головкиной, а 26 мая — во дворе Скворцова. Вполне возможно, что роды неожиданно начались в самое время переезда, когда ни в прежней, ни в новой квартире не было подходящих условий, и роженицу перевезли в некий родственный дом, находившийся на Молчановке (к вопросу об этом доме мы еще вернемся).

О том, что Поэт был рожден вдалеке от Елоховской церкви, явственно говорят и поздние крестины: Пушкин был окрещен лишь на *четырнадцатый* день после рождения — 8 июня. Это невозможно объяснить, допустим, недомоганием матери или сына, так как, по обычаю, мать вообще не участвовала и обряде крещения, а, с другой стороны, нездорового младенца всегда стремились как можно скорее доставить в церковь, чтобы он ни в коем случае не умер некрещеным...

Естественное объяснение столь поздних крестин — отдаленность места рождения от приходской церкви. Младенца нужно было везти как бы в другое селение. С другой стороны, обиталище в доме Скворцовых, куда Пушкины только что перебрались, возможно, нуждалось в благоустройстве; поэтому крестины (после которых мать с ребенком поселились уже в скворцовском доме) задержались на целых две недели.

Нельзя не сказать еще и о том, что установлению истинного места рождения Пушкина мешает прочно утвердившееся представление, согласно которому детство и отрочество Поэта связывают *только* с двумя местностями Москвы — округой Елохов-

кой церкви и расположенной сравнительно близко Огородной слободой (Чистопрудный бульвар, Б.Харитоньевский и М.Козловский переулки и т.п.).

На самом же деле Пушкины в годы детства Поэта достаточно долго жили и вблизи Молчановки. Так, в 1807—1810 годах они снимали дома на Поварской улице, на Малой Бронной, в Хлебном переулке и, наконец, — с 7 сентября 1810 года — на углу самой Б.Молчановки (дом 26) и Борисоглебского переулка. Именно отсюда Поэт уехал в июне 1811 года в Петербург, расставшись с Москвой на целых пятнадцать лет. Хорошо известно также, что Саша Пушкин часто бывал в доме Сушковых (Б.Молчановка, 9), где устраивались танцевальные уроки для детей; здесь началась его детская любовь к Сонечке Сушковой, воспетая в стихах позднее, уже в Лицее.

Важно иметь в виду, что в выборе местожительства была своя закономерность: в переулках, окружавших Молчановку, селились в начале XIX века (как и в окрестностях Огородной слободы) дворянские семьи, причастные культуре; притом окрестности Молчановки были в этом отношении «новой» и, значит, более «модной» местностью. Пушкины как бы даже и не могли миновать этот район.

Кстати сказать, сам поэт уже в зрелые годы, приезжая в Москву (начиная с 1826 года), останавливался почти исключительно в округе Молчановки: у Соболевского на Собачьей площадке, у Нащокина в Гагаринском переулке, в доме Хитровой на Арбате и т.п.

Но, естественно, встает вопрос: в чьем же все-таки доме на Молчановке родился поэт? По-видимому, это был дом кого-то из богатых родственников матери поэта — Воронцовых, либо Ржевских, либо Квашниных-Самариных.

Мать поэта Надежда Осиповна Пушкина была тесными родственными и дружескими узами связана с московской ветвью семьи Воронцовых. Графы Воронцовы принадлежали к небольшому числу наиболее знатных и влиятельных вельмож XVIII — начала XIX века. Широко известны имена М.И.Воронцова, государственного канцлера при Екатерине II, и его племянника А.Р.Воронцова, занявшего тот же пост при Александре I; родная сестра А.Р.Воронцова, Екатерина (по мужу Дашкова), была ближайшей сподвижницей Екатерины II. А двоюродный брат последних, граф Артемий Иванович Воронцов (1748—1813), был одним из виднейших покровителей искусств. Он сыграл, в частности, большую роль в судьбе славного живописца Федора Рокотова. И именно он стал крестным отцом Пушкина.

Можно удивляться тому, что этот вельможа согласился стать восприемником сына коллежского асессора С.Л.Пушкина, если не знать, что Артемий Иванович был троюродным братом бабушки поэта (по материнской линии), Марии Алексеевны, и к тому же женился на П.Ф.Квашниной-Самариной — двоюродной

сестре той же Марии Алексеевны. А родственные связи значили в конце XVIII века гораздо больше, чем мы можем теперь себе вообразить.

Надежда Осиповна выросла под благосклонной опекой родных сестер Артемия Ивановича, Анны и Авдотьи, и стала ближайшей подругой его дочери Анны, вышедшей (на четыре года раньше замужества Надежды Осиповны) за графа Д.П.Бутурлина — знаменитого библиофила.

Думается, что Надежда Осиповна, готовясь к родам, нашла приют в доме кого-либо из этого семейного круга. Один из лучших знатоков московской старины — Нина Михайловна Молева — любезно сообщила мне, что в момент рождения Пушкина сестра А.И.Воронцова Анна Ивановна (по мужу графиня Нарышкина) жила именно на Молчановке. И не было бы ничего неестественного, если бы оказалось, что Пушкин родился в доме сестры своего крестного отца.

Конечно, это гипотеза: предстоят долгие и сложные розыски. Но во всяком случае ясно, *где* именно надо искать место рождения Поэта.

### *«На большой мне, знать, дороге...»*

Если собрать воедино все, что написано о Пушкине, получится библиотека в несколько тысяч томов. Жизнь и творчество Поэта, казалось бы, изучены вдоль и поперек. И тем не менее остается очень много неясного, спорного, даже темного. Дело здесь не только в том, что Пушкин поистине необъятен. Дело и в его несравненной цельности — человеческой и творческой. Поэтому любая односторонность взгляда ведет к тому, что упускается самое существенное в Пушкине и облик его как художника, мыслителя и просто человека искажается. Мы далеко еще не поняли, не схватили неисчерпаемо многообразную, но в то же время поразительно цельную природу пушкинского гения.

В своих кратких заметках я стремлюсь преодолеть некоторые односторонние представления о нем, к сожалению, достаточно широко распространенные. Полемика в данном случае неизбежна, но внутренняя моя задача вовсе не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы принять участие в общем деле познания пушкинской цельности.

\* \* \*

В произведениях Пушкина не раз звучит поэтическая тема его *африканского* предка. Впоследствии эту тему развили многие писатели и особенно поэты; подчас она разрасталась даже в целый образ «Пушкина-африканца», причем речь шла вовсе не только об «арапских», или, точнее, эфиопских, чертах во внешнем облике поэта, но и об его характере и душевном складе. Дальше всех

пошла по этому пути, пожалуй, Марина Цветаева. В ее стихах и эссе, посвященных Пушкину, самые существенные свойства Поэта выводятся исключительно из его «африканского происхождения».

Разумеется, это чисто поэтическое, художественное решение, которое, по точной мысли Фейербаха, отнюдь не требует признания его за действительность. Прадед-абиссинец, живший к тому же с раннего детства в России, никак не может определять духовный облик правнука. Но многократное повторение этого чисто поэтического мотива привело к тому, что в сознании многих читателей сложилось представление о поэте-африканце, представление, согласно которому самые характерные черты Пушкина, выражаясь модным языком, «запрограммированы» его эфиопским прадедом.

Впрочем, это еще полбеды. Подчас та же самая мысль выступает так или иначе и в литературоведческих работах, авторы которых заразились поэтической логикой. Приведу один, но достаточно яркий пример.

Известный литературовед Н.Л.Степанов посвятил Пушкину немало работ и, конечно, знал все факты, касающиеся родословной поэта. Тем не менее, анализируя роман Ю.Тынянова «Пушкин», он словно забыл эти реальные исторические факты и целиком подчинился художественной логике романа, где самая суть характера поэта выводится из его «африканской породы».

Можно спорить о том, имел ли право исторический романист на создание такой художественной концепции. Но уж литературовед-то, во всяком случае, должен был так или иначе оговорить, что речь идет о произведении искусства, не требующем признания его за действительность. Между тем Н.Л.Степанов вольно или невольно, но полностью присоединился к автору романа в своих рассуждениях о «пушкинской» и «ганнибальской» линиях, или стихиях, в «предыстории» поэта, утверждая, что вторая линия целиком определила *главное* в натуре Пушкина.

«Пушкинская» линия — это легкость, эфемерность, неопределенность... — писал Н.Л.Степанов. — Люди легковесные и тщеславные, Пушкины лишены глубоких чувств и привязанностей ... «Пушкинскому» началу противопоставлена «ганнибальская» стихия, восходящая к африканским предкам ... От них унаследовал Пушкин свой темперамент, свою пылкую жажду свободы, свою неукротимость ... и тот широкий размах натуры, который противостоит мелочности и эфемерности Пушкиных ... «Ганнибальство» ... — начало творческое, могучее, плодоносное, неукротимое... дерзкое нарушение покорности и законопослушания российского служилого дворянства, типическим представителем которого являлось семейство Пушкиных».



Иначе говоря, Пушкин стал Пушкиным лишь потому, что сумел преодолеть, вытравить в себе «пушкинскую» стихию<sup>\*</sup>, то есть эфемерность, неопределенность, отсутствие глубоких чувств и привязанностей, мелочность, покорность и т.п., и полной мерой вобрал в себя «ганнибальскую» стихию — жажду свободы, неукротимость, широкий размах натуры, творческое, плодоносное начало, дерзость и т.д., то есть свои самые существенные и ценные свойства.

В реальной истории Пушкиных и Ганнибалов все обстоит совершенно по-иному. И лучшим свидетелем является в данном случае сам Пушкин, который, помимо прочего, был выдающимся историком и, в частности, специально изучал историю своих предков, а в 1834 году написал короткое, но очень содержательное и объективное сочинение на эту тему<sup>\*\*</sup>.

Он показал здесь, в частности, что жизнь Абрама Ганнибала была безмятежна до кончины его покровителя Петра Великого, но затем по указанию Меншикова, который опасался влияния Ганнибала на юного Петра II, он был командирован в Сибирь и «возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан. Судьба Долгоруких известна (они были в 1731 году отстранены от власти Анной Иоанновной. — В.К.). Миних спас Ганнибала, отправа его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. Когда императрица Елизавета вззошла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеши во царствие свое». Елизавета тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы ... При Петре III вышел он в отставку и умер философом (говорит его немецкий биограф) в 1781 году, на 93-м году своей жизни. Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами».

Эта характеристика не только не имеет ничего общего с определением «ганнибальской» стихии, которое предложил Н.Л. Степанов, но даже явно противоположна ей.

Обратимся теперь к Пушкиным. Один из предков поэта, Федор Матвеевич Пушкин, во время стрелецких бунтов «уличен был в заговоре противу Государя и казнен ... Прадед мой Александр

\* Осуществить это было нелегко, так как Пушкин имел, так сказать, «дважды пушкинское» происхождение: дед матери поэта был, как известно, тоже Пушкиным, двоюродным братом деда его отца, и мать Надежды Осиповны, Мария Алексеевна, вышедшая замуж за сына Абрама Ганнибала, в девичестве носила фамилию Пушкина.

\*\* В позднейших тщательных исследованиях родословной Поэта оспорена достоверность некоторых частных фактов, сообщенных Пушкиным, но общая картина вполне соответствует краткому пушкинскому очерку. См., например: Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937; Веселовский С.Б. Род и предки Пушкина в истории // Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, и др.

Петрович был женат на меньшей дочери графа Головина, первого андреевского кавалера (денщика Петра, ставшего адмиралом. — В.К.). Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену ... Единственный сын его, Лев Александрович, служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал ... Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе».

Говорит Пушкин и о «семейных несчастьях» Абрама Ганнибала: «Первая жена его ... родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе ... но никогда не пускал ее себе на глаза ... Вторая жена его ... родила множество черных детей обоего пола ...» И о деде, Осипе Абрамовиче: «Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой женщине, представляя фальшивое свидетельство о смерти первой...»

Если сопоставить все эти сообщения, окажется, что следовало бы уж скорее характеристику «ганнибальской» стихии, данную Н.Л.Степановым, отнести к Пушкиным (и наоборот), хотя Поэт отнюдь не приукрашивает Пушкиных, говорит о них столь же трезво.

У Пушкина, как известно, есть и поэтическое воплощение стихии своих предков — «Моя родословная», где он говорит, в частности:

Упрямства дух нам всем подгадил:  
В родню свою неукротим\*,  
С Петром мой пращур не поладил  
И был за то повешен им...

Мой дед, когда мятеж поднялся  
Средь петергофского двора,  
Как Миних, верен оставался  
Паденью третьего Петра.  
Попали в честь тогда Орловы,  
А дед мой в крепость, в карантин...

Короче говоря, нет никаких оснований полагать, что именно и только от Ганнибалов унаследовал поэт указанные Н.Л.Степановым свойства — жажда свободы, широкий размах натуры, творческое, плодоносное начало и т.п. Даже в семейной жизни Ган-

\* Н.Л.Степанов относит «неукротимость», вопреки Пушкину, к Ганнибалам.

нибалов — в разводах, отношении к белому ребенку, фальшивом свидетельстве и т.д. — проступают совсем иные черты.

Говоря об этом, я отнюдь не стремлюсь внушить читателям мысль, что все существенное и ценное поэт унаследовал именно и только от Пушкиных. Проблема наследственности слишком сложна, чтобы можно было пытаться делать подобного рода выводы, хотя их, ничтоже сумняшеся, делали и делают сторонники концепции «африканской природы» Поэта. Я только опровергаю эту одностороннюю концепцию, начисто игнорирующую факты.

Нельзя не сказать и о том, что я обратился к статье Н.Л. Степанова лишь потому, что в ней резко и концентрированно выразилась эта концепция, которая то и дело проявляется — обычно в более умеренной форме — в работах о Пушкине, так или иначе связывающих самые характерные и ценные черты личности Поэта исключительно с «африканским» его предком. Эту легенду давно пора развеять.

\* \* \*

Как это закономерно и бесконечно значительно, что Пушкин — *первым* среди русских писателей — объездил всю Россию! Карта его путешествий поражает своим размахом и полнотой. Он знал русскую землю от Финляндии до Турции и от Карпат до Сибири; в 1830 году он ходатайствовал и о поездке через Сибирь в Китай, правда безуспешно. За короткую свою жизнь он проехал по русским дорогам около сорока тысяч километров.

И как он ездил! Он «никогда не дождался, — свидетельствовал очевидец, — на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними...»

Здесь уместно сделать небольшое отступление на тему «Поэт и народ». Некоторые современники Пушкина упрекали его в чрезмерном аристократизме. И в соответствующей среде он нередко вел себя или хотя бы воспринимал своих собеседников с могущей вызвать если не недовольство, то известное недоумение надменностью. Достаточно привести его запись о видном литераторе Н.И. Надеждине — сыне провинциального священника или, по другим сведениям, даже просто дьячка.

«Я встретился с Надеждиным у Погодина, — писал Пушкин. — Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный».

Нельзя исключить, что Надеждин поднял платок из преклонения перед Поэтом, а не перед стоящим выше его на социальной лестнице потомственным дворянином... Но остальные пушкинские претензии можно понять и, как говорится, простить, ибо речь идет о том, что сын дьячка, обретя право общаться на равных с элитой, должен был обрести установившийся в ней стиль поведения; кстати сказать, нет никаких сведений о подоб-

ных претензиях Пушкина к М.П.Погодину, хотя тот был сыном крепостного!

Пушкин осудил «простонародность», не преодоленную Надеждиным, занявшим видное место в литературе. Но совершенно иначе воспринимал Поэт сам «простой народ»; в общении с ним он словно бы пробуждал в себе самом чисто простонародные начала. Замечателен с этой точки зрения не очень широко известный рассказ о том, как веселился Пушкин в доме своего друга Павла Нащокина в день именин Павла и — одновременно — Петра.

На дворе находилась большая группа «простолюдинов», и Пушкин, высунувшись из окна, «взглянул направо... и сказал:

— Тот рыжий должно быть именинник!

Повернув голову направо, закричал:

— Петр!

— Что, барин?

— С ангелом.

— Спасибо, господин!

— Павел!..

— Павел ушел.

— Куда? Зачем?

— В кабак... Все вышло! Да постой, барин, скажи: почему ты меня знаешь?

— Я и старушку матушку твою знаю.

— Ой?

— А батька-то помер?..

— Давно, царство ему небесное. Братцы, выпьемте за покойного родителя!

В это время входит на двор мужик со штофом водки; Пушкин, увидав его раньше, закричал:

— Павел! С ангелом! Да неси скорее!

Павел не сводит глаз с человека, назвавшего его по имени... а рыжий не отстает от словоохотливого барина:

— Так, стало, и деревню нашу знаешь?

— Еще бы не знать! Ведь она близ реки?..

— Так, у самой речки.

— А ваша-то изба, почитай, крайняя?

— Третья от края. А чудной ты барин! Уж поясни, сделай милость, не Святым же Духом всю подноготную знаешь?

— Очень просто: мы ... уток стреляли, вдруг гроза, дождь, мы и зашли в избу к твоей старухе.

— Так... Теперь смекаю...

— А вот мать жаловалась на тебя: мало денег высылаешь.

— Грешен, грешен! Да вот все на проклятое-то выходит...»

Если бы в этом диалоге не возникало изредка обращение «барин», его вполне можно было бы счесть разговором двух равных «простолюдинов», один из которых любит подшутить над собеседником. И то, что Пушкин в дороге толковал со всеми встречными мужиками и бабами, — явно правдивое сообщение.

Но задумаемся о «дорогах» Поэта в целом. Несомненно, что они были необходимой предпосылкой его творчества, его великой миссии, и замечательное стихотворение «Дорожные жалобы», в сущности, жалоба на тяжесть избранного им труда, который он совершил не только для своих собственных нужд, но и для нужд последующей русской литературы:

Долго ль мне гулять на свете  
То в коляске, то верхом,  
То в кибитке, то в карете,  
То в телеге, то пешком?

Но это, без сомнения, не просто жалобы. Г.А.Гуковский в своей известной книге о Пушкине подробно разобрал это стихотворение. Он писал, в частности: «Оно повествует о «широких возможностях», предоставляемых николаевской Россией своему поэту ... Пред нами самые различные виды смертей, и все какие-то ненормальные, противоестественные. Выбор велик, но от этого выбора никуда не уйдешь. И сама страна — какая унылая и страшная!.. Такова Россия 1828 года. Какова Россия, таковы и мечты. Многого ли просит у жизни, у родины замученный поэт? Нет, он просит совсем, совсем мало — немножко покоя, тишины, немножко беззаботности... Но нет ему покоя. Он обречен участи странника, неприкаянного изгнанника в родной земле, гонимого вперед и вперед без цели...»

Эта характеристика неверна по самой своей сути и даже странна. Начнем с фактической стороны дела. «Дорожные жалобы» написаны в Москве 4 октября 1829 года. За две недели до этого Пушкин возвратился из одного из самых больших своих путешествий — до Арзрума (ныне — турецкий Эрзурум). С величайшим трудом добился он разрешения на это путешествие, предпринятое им в разгар русско-турецкой войны, и был поистине счастлив совершить его (это ясно выразилось в его «Путешествии в Арзрум» и в написанных по дороге стихах). «Дорожные жалобы», вполне очевидно, связаны с этой поездкой: так, в «Путешествии в Арзрум» рассказывается, как и в стихотворении, и о чуме, и о карантине, и о дурных дорогах и т.п.

Таким образом, утверждение Г.А.Гуковского, что Пушкин-де «обречен участи странника, неприкаянного изгнанника ... гонимого... без цели» и т.п., совершенно не идет к делу. Пушкин жаждал этой дороги и, конечно, имел ясную цель.

Впрочем, могут возразить, что стихи — это не отчет о путешествии, что их смысл даже несводим к дороге как таковой: речь идет и о судьбе поэта, о его жизненном пути вообще. И это возражение отчасти справедливо. Но дело в том, что именно как стихи, именно как художественное создание «Дорожные жалобы» отнюдь не могут быть поняты в том ключе, который предложен Гуковским. Он утверждает: смысл стихотворения состоит в том, что «замученный поэт» просит у родины «совсем, совсем мало —

немножко покоя, тишины, немножко беззаботности». Неужели что-либо подобное можно прочесть, услышать в этих горделивых строках:

На большой мне, знать, дороге  
Умереть Господь судил...

Если же все-таки остаются сомнения, стоит привести строфу, написанную для «Евгения Онегина» за *два дня* до «Дорожных жалоб» (2 октября 1829 года):

Блажен, кто понял голос строгий  
Необходимости земной,  
Кто в жизни шел большой дорогой,  
Большой дорогой столбовой...

И конечно, именно этот смысл тоже ясно звучит в «Дорожных жалобах», хотя стихотворение к нему и не сводится:

На камнях под копытом,  
На горе под колесом,  
Иль во рву, водой размытом,  
Под разобранным мостом,

Иль чума меня подцепит,  
Иль мороз окостенит,  
Иль мне в лоб шлагбаум влепит  
Неповоротный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею  
Попадуся в стороне,  
Иль со скуки околею  
Где-нибудь в карантине.

Г.А.Гуковский говорит о том, что все смерти какие-то «противоестественные», что «выбор велик, но от этого выбора никуда не уйдешь». Исследователь верно подметил, что смерти «противоестественные». Правда, точнее было бы сказать, что они противоестественно поданы в стихотворении. И это несет в себе глубокий смысл. Вместе со *страхом* здесь, несомненно, живет *смех*. И само это длинное перечисление, и выражения вроде «чума подцепит», «шлагбаум влепит», «околею» и т.п. явно преодолевают смерть. И сама возможность «выбора» как бы дает ощущение свободы или, точнее, бесшабашности (слова Гуковского «от выбора не уйдешь», кстати сказать, вообще не имеют смысла, ибо, как известно, двум смертям не бывать, а одной не миновать).

За год до создания «Дорожных жалоб» Иван Киреевский писал, что в поэзии Пушкина, начиная с «Онегина», царит «какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу, ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к

которому чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать центром его сердечной жизни?

В этом периоде развития поэзии Пушкина особенно заметна способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та же способность есть основание русского характера: она служит началом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее происходит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний, великодушие, неумеренность, запальчивость, понятливость, добродушие и пр., и пр.».

Но дело, конечно, не только в национальном своеобразии; дело и в том, что это своеобразие воплощается в лирике Пушкина во всей полноте и многосторонности. То настроение, то переживание, которое Г.А.Гуковский ошибочно приписывает «Дорожным жалобам» (где, конечно, даже само слово «жалобы» звучит насмешливо), можно найти, скажем, в иных стихотворениях русских поэтов конца XIX — начала XX века, которые действительно просят «совсем, совсем мало», «немножко беззаботности» и т.д. Но к Пушкину все это ни в коей мере не относится.

Исследователь утверждает, что в стихах Пушкина все «уныло и страшно», все угрожает гибелью «несчастному поэту». Неужели это именно «несчастный», подавленный страхом человек сетует, что ему приходится «телятиной холодной трюфли Яра поминать»? Неужели это именно «замученный поэт» мечтает:

По Мясницкой разезжать,  
О деревне, о невесте  
На досуге помышлять!

И наконец, почему, если уж ставить вопрос, как говорится, «с полной серьезностью», мы должны так уж жалеть этого «несчастливого», если все дело лишь в том, что он не может есть трюфли у «Яра», разезжать по Мясницкой, выпить рюмку рома и т.д.?

Нет, никак не укладывается стихотворение в ту мрачную схему, которую предложил Г.А.Гуковский. И все дело в том, что исследователь не увидел его принципиальной многосторонности. Конечно, в стихотворении есть и элементы «страшного», своего рода «пляски смерти». Но есть здесь и бесшабашность (как раз в духе пословицы «двум смертям не бывать»), и насмешка над смертью (именно насмешка, а не сдвленная ирония романтического толка), и просто жизнерадостность — пусть в воспоминаниях. Да и как может быть «страшным» стихотворение, кончающееся выкриком:

Ну, пошел же, погоняй!..

Все «смерти» предстают в стихотворении как проявления жизни: оказывается, что даже смерть, как и жизнь, многообразна, что есть *выбор*. И уже потому она не только трагична, но и комична.

Подчиняясь неверной исходной мысли, Г.А.Гуковский впал и в совсем уже странную ошибку. Он говорит, что «вершина» всех

ужасов стихотворения — «витающая над всем скука, от которой околоть можно, — последний шанс, если уже все другие виды гибели миновали поэта». Здесь незначительным, казалось бы, изменением пушкинского стиха совершенно искажен смысл: «скука, от которой околоть можно», — говорит исследователь; Пушкин между тем, перечислив ряд смертей, заключает буквально:

Иль со скуки околею  
Где-нибудь в карантине.

Но этим «со скуки околею», в сущности, уничтожаются все «страшные» предшествующие смерти. Эту явно уже комическую деталь исследователь опять-таки понимает «на полном серьезе», между тем как она с совершенной очевидностью раскрывает двойственный смысл целого. Поэт *приравнял* смерти от чумы, от мороза, от ножа и т.п. и смерть... от скуки — и это преодолевает страх и попирает смерть.

Стремясь определить особенный характер развивавшейся в его время русской литературы, ярчайшим и полнейшим воплощением которой было творчество Пушкина, Иван Киреевский противопоставлял ее просветительской, сентиментальной и романтической литературе, развивавшейся в XVIII — начале XIX века в западноевропейских странах. В просветительской литературе, писал он (в 1831 году), ни одно из основных слов «не имело значения самобытного»; каждое получало смысл только из отношений к прежнему веку. Под *свободой* понимали единственно отсутствие прежних стеснений; под *человечеством* разумели единственно материальное большинство людей ... царством *разума* называли отсутствие предрассудков, или того, что почитали предрассудками ... От подражания классическим образцам обратились к подражанию внешней неодушевленной природе». Далее он говорил о литературе сентиментализма и романтизма: «Подражание внешней природе заменилось сентиментальностью и мечтательностью, которые на всю действительность набрасывали однообразный цвет *исключительного* чувства или *систематической* мысли, уничтожая таким образом самобытность и разнообразие внешнего мира» (выделено И.В.Киреевским).

Г.А.Гуковский, в сущности, анализирует стихотворение Пушкина отчасти как просветительское, отчасти как романтическое. Ибо, с одной стороны, он считает, что свобода Поэта — это только «отсутствие стеснений» (по его словам, «поэт обречен участи странника»); с другой же — он видит в стихотворении только «однообразный цвет исключительного чувства» («страна — какая унылая и страшная»). Между тем смысл стихотворения Пушкина заключается именно в том, что он свободно, по своей воле идет по этой трудной дороге (то, что ему это «Господь судил», вовсе не означает насилия; это скорее *избранность*, и «блажен ... кто в жизни шел большой дорогой... столбовой...») и, с другой стороны, прозревает сквозь тяготы этой дороги все многообразие жиз-



ни и имеет силу смеяться над смертью, имеет дерзость противопоставить ей «трюфли Яра», мысли о невесте, рюмку рома...

Зрелому Пушкину были совершенно чужды как просветительская, то есть рационалистическая, так и романтическая, основанная на «исключительном чувстве», односторонность. В нем жила та ренессансная полнота, которая роднит его с Шекспиром и Сервантесом. Я стремился показать это на материале одного короткого стихотворения, но это, конечно, воплотилось в его зрелом творчестве в целом.

\* \* \*

Вспомним еще раз строки из «Дорожных жалоб»:

Не в наследственной берлоге,  
Не средь отческих могил,  
На большой мне, знать, дороге  
Умереть Господь судил...

Да, Пушкин умер на большой столбовой дороге Истории, и его гибель была подлинной исторической трагедией, концом великой эпохи.

О гибели Пушкина с тех пор было написано очень много; целый ряд работ появился и в самые последние годы. Но сплошь и рядом авторы этих работ идут ложным путем. Сплошь и рядом причины гибели Пушкина сводятся к чисто придворным интригам и нападкам литературных противников, что крайне мельчит его облик и судьбу. Да, история давно заклеимила имена тех, кто, подобно надоедливому мухам, жужжал в уши Поэта. Но думать, что Пушкин погиб от руки этих ничтожеств, — значит в конечном счете оскорблять его память.

Так, например, многие авторы раздули (и продолжают раздувать) Фаддея Булгарина в почти монументальную «демоническую» фигуру, которая встает чуть ли не вровень с Пушкиным (Д.Гранин, по сути дела, превратил Булгарина в некоего Сальери при Пушкине — Моцарте). Сошлюсь на один только исторический факт, который со всей ясностью обнаруживает действительную роль Булгарина.

После выхода в свет VII главы «Евгения Онегина» Булгарин, доведенный до истерического состояния убийственными в своей небрежной легкости эпиграммами и памфлетами Пушкина, напечатал в издаваемой им газете «Северная пчела» рецензию, в которой буквально захлебывался бессильной злобой.

«Мы думали, — писал Булгарин, — что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ (незадолго до того Пушкин совершил свое путешествие в Арзрум. — В.К.), чтобы напиться высокими чувствами ... и в сладких песнях передать потомству великие подвиги современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение наро-

дов, возбуждают гений наших поэтов, и мы ошиблись... Появился опять Онегин, бледный, слабый... Автор часто говорит о себе, о своей скуке, о своих томлениях, о своей мертвой душе...»

Что ж Пушкин? Прочитав рецензию, он пишет Плетневу: «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с «Борисом Годуновым», заговорить об Фаддее Булгарине?» (А нынешние литераторы считают вполне «приличным» говорить о Булгарине в одном ряду с Пушкиным — пусть даже как о зле в ряд с добром.)

Высказался о статье Булгарина и другой ее читатель, который вошел в историю под именем Николая Первого. Он писал шефу жандармов Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. Статья, наверно, будет продолжена. Поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения, и, если можно, то и закрыть газету». Это ясно показывает, насколько «силен» был Булгарин и насколько он мог «навредить» Пушкину... Столь же мельчат облик поэта попытки объяснить его гибель в «семейно-бытовом» плане.

Со смертью Пушкина умерла, кончилась целая эпоха отечественной культуры, которую вернее всего назвать эпохой русского Возрождения, русского Ренессанса. Его гибель была великим трагедийным событием. И именно этим нужно мерить факты, связанные с гибелью Поэта. Многое здесь еще не разгадано, но ключ у нас есть. А неразгаданность Пушкина свидетельствует и об его по-прежнему неиссякаемо живом бытии в нашей истории.

Мы открываем в нем черту за чертой, а он продолжает расти и обретать новые и новые богатства как все подлинно живое!..

### *Пушкин как творец русского классического стиля*

Понятие классического стиля, чрезвычайно существенное для любых размышлений о литературе, не обладает ясностью и определенностью. Отчасти это обусловлено тем, что слово «классический» многозначно. Оно связано с представлениями и об эпохе расцвета древнегреческой литературы, и о классицизме XVII века, и даже вообще о стиле прежней, лежащей за гранью современности литературы, и с противопоставлением «модерн и классика», и с известной вёльфлиновской идеей двух чередующихся стилевых стихий, и со многим другим. Речь же пойдет о том понятии «классического стиля», которое, пожалуй, наиболее важно, понятии конкретно-историческом, но в то же время сохраняющем все свое значение для литературы любой эпохи. Классический стиль в этом смысле выступает в каждой национальной литературе (если, конечно, он уже создан в ней) как своего рода мера и образец — в широком смысле *идеал*, а не в узком, нормативном смысле «эталон» — литературного стиля вообще. Классический стиль под-

разумеает по возможности высшую степень преодоления основных антиномий, извечных противоречий, встающих перед художником, — противоречий бытия и сознания, необходимости и свободы, мысли и чувства, а ближайшим образом — *естественности* и искусственности, или, вернее сказать, *искусности*.

До середины 1820-х годов для стиля русской литературы характерен более или менее резкий разрыв искусности и естественности. Стиль или чрезмерно риторичен и соткан из канонических приемов, или, напротив, слишком прозаичен и натуралистичен, либо, наконец, представляет собою сочетание разнородных, несовместимых элементов (так, скажем, в витийственный стиль державинских од неожиданно вторгаются строки вроде «то ею в голове ищуща», «тот хотел арбуза, а тот соленых огурцов» и т.п.).

Создание классического стиля — это, говоря вкратце, реальное, практическое утверждение *меры* естественности и искусности, их органического *единства*.

Нельзя не сказать о том, что по отношению к тем или иным писателям слово «классический» нередко употребляют как своего рода синоним слов «великий», «общепризнанный» и т.п. При этом вполне понятно, термин теряет всякую определенность и объективное значение. Творец «Слова о полку Игореве» (XII в.), Нил Сорский (XV в.), протопоп Аввакум (XVII в.), Державин (XVIII в.) — без сомнения, великие писатели, но классический стиль был создан в русской литературе, как я попытаюсь показать, лишь в пушкинскую эпоху (главным образом самим Пушкиным).

Начать с того, что необходимым условием создания национального классического *стиля* является формирование национального литературного *языка*. Между тем до середины XVII века литературный язык на Руси был в значительной степени языком *старославянским* (на который также опирались в средние века литературные языки Болгарии, Македонии, Хорватии, Сербии, Моравии и т.д.). «До самого XVIII в., — справедливо говорит Д.С.Лихачев, — у народов православного славянства существовала обширная общая литература... Язык создавал свои местные, национальные модификации, но вместе с тем он все время как бы обращался вспять — к своим традиционным... формам и лексическому составу».

С середины XVII века — что ясно видно в сочинениях Аввакума и бытовых повестях того времени — начинается формирование собственно русского литературного языка. Но этот сложный процесс завершился лишь в пушкинскую эпоху, когда был создан классический стиль.

Становление классического стиля — по крайней мере, в русской литературе — совершается одновременно и в органической связи со становлением зрелого *литературного языка*; это не два отдельных процесса, но две стороны единого, расчленимого только лишь теоретически процесса. Ибо дело обстоит не таким образом, что сначала складывается русский литературный язык, а затем на

его уже готовой почве формируется классический художественный стиль; напротив, классическое искусство слова выступает как один из основных, решающих факторов становления зрелого литературного языка. Этот язык не может сложиться без деятельности художников слова, хотя в его выработке участвуют также и наука, и публицистика, и государство с его специфической официально-деловой речью, и, разумеется, весь необозримый океан разговорной речи.

Не буду решать вопрос о том, как обстояло дело у других народов, но в России становление зрелого литературного языка и классического литературного стиля совершилось в едином — хотя и двустороннем — акте. Это находит подтверждение как во многих высказываниях Пушкина и его предшественников и современников, по сути дела не разграничивавших задачи создания литературного языка и совершенного художественного стиля, так и в целом ряде позднейших исследований, особенно в фундаментальных трудах В.В.Виноградова, о которых мы еще будем говорить.

Сама эта двуединая задача ставится достаточно рано, уже Тредиаковским и тем более Ломоносовым. Отчетливо формулирует ее Сумароков в своем «Наставлении хотящим быти писателями»:

Возьмем себе в пример словесных человек:  
Такой нам надобно язык, как был у греков,  
Какой у римлян был, и, следуя в том им,  
Как ныне говорят Италия и Рим,  
Каков в прошедший век прекрасен стал французской,  
Иль ближе объявить, каков способен русской...

Дело идет, по-видимому, о литературном языке. Но далее, начиная перечислять недостатки современной литературы, Сумароков захватывает и проблемы художественного стиля. Главную задачу он видит в том, чтобы

...Речи бы текли свободно и согласно...

Это очень точное определение идеального, классического стиля, в котором, как уже говорилось, преодолевается антиномия естественности (синонимом этого слова выступает «свободность») и искусности («согласности»). Однако в ином плане то же самое можно сказать и о подлинном, зрелом литературном языке, в котором вольность разговорной речи примиряется с соразмерностью и стройностью высокой языковой культуры.

Говоря о постановке задачи создания русского классического стиля уже в XVIII веке, не следует в то же время преувеличивать ее осознанность. Во-первых, писатели и теоретики XVIII и даже начала XIX века обычно объясняют несовершенство стиля (и литературного языка), так сказать, неумением, недостаточностью знаний и навыков. Сумароков в уже цитированном сочинении писал, в частности:

Один, следуя несвойственному складу,  
В Германию влечет российскую Палладу,  
И, мня, что тем он ей приятства придаст,  
Природну красоту с лица ее сотрет.  
Другой, не выучась так грамоте, как должно,  
По-русски, думает, всего сказать не можно  
И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь  
Языком собственным, достойну только сжечь...  
Не мни, перевода, что склад тебе готов;  
Творец дарует мысль, но не дарует слов...

На самом деле классический стиль может сформироваться лишь тогда, когда достигает зрелости национальное художественное сознание или, говоря в более узком плане, художественное содержание литературы. Классический стиль рождается именно и только как органическая форма этого содержания. Подлинный стиль — это, пользуясь точным определением И.В.Киреевского, «не просто тело, в которое вдохнули душу, но душа, которая приняла *очевидность* тела».

Зрелое национально-художественное содержание русская литература смогла обрести лишь после Отечественной войны. Это понял уже Белинский, который писал в 1844 году: «Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и... сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость... С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература... устремилась к самобытности: явился Пушкин».

Разумеется, самобытное художественное содержание так или иначе складывалось на всем протяжении эпохи, предшествующей становлению пушкинского творчества. Но действительной зрелости оно достигает лишь в 1820-е годы. Это касается и крупнейшего русского поэта допушкинской эпохи Державина, о чем говорил еще Белинский: «Могучий гений Державина явился слишком не вовремя и не мог найти в народной жизни своего отечества какие-нибудь элементы, какое-нибудь содержание для поэзии... Не были готовы ни русское общество, ни русский язык... В поэзии Державина... все... является... не в стройных созданиях, верных и выдержанных по концепции и отличающихся художественною полнотою и оконченностью, но отрывочно, местами, проблесками. Словом, это еще не поэзия, а только стремление к ней».

Нельзя, конечно, согласиться с тем, что в поэзии Державина вообще нет национального художественного содержания, как и с тем, что державинское творчество «еще не поэзия». Высшие творения Державина — это, без сомнения, поэзия, и поэзия ве-

лика. Но совершенно верно, что в этой поэзии нет «художественной полноты и оконченности», она не может быть мерой и идеалом, то есть не обладает классическим стилем.

Пушкин сказал о Державине: «...Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника». Это суждение можно, на мой взгляд, расшифровать так: «чудесный подлинник», «дурным переводом» с которого кажется Пушкину поэзия Державина, — это стихия классического стиля, уже становившаяся очевидной реальностью в 1825 году, когда Пушкин написал цитированную фразу. На фоне этой реальности отчетливо обнаружилась недовершенность, недосозданность державинского стиля. Но в то же время выявилась и другая сторона дела: стиль Державина предстал как веха, как этап на пути становления классического стиля. Вспомним державинскую «Осень...»:

Спустил седой Эол Борея  
С цепей чугунных из пещер;  
Ужасные крыла расширя,  
Махнул по свету богатырь;  
Погнал стадами воздух синий,  
Сгустил туманы в облака,  
Давнул — и облака расселись,  
Пустился дождь и восшумел.

Уже румяна Осень носит  
Снопы златые на гумно,  
И роскошь винограду просит  
Рукою жадной на вино.  
Уже стада толпятся птичьи,  
Ковыль сребрится по степям;  
Шумящи красно-желты листья  
Расстались всюду по тропам...

Это в самом деле может показаться несовершенным переложением некоего совершеннейшего творения. Отдельные строки — «Погнал стадами воздух синий» или знаменитое «Уже румяна Осень носит // Снопы златые на гумно» — воспринимаются как прорывы к «подлиннику». Но Пушкин в том же письме Дельвигу говорил, что Державин «не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка... не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии... Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы». Тогда же Пушкин заметил, что «кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый».

Пушкинская критика, без сомнения, не вполне исторична, ибо суть дела не в *личных* недостатках Державина, а в том, что в его время еще не сложился сам русский литературный язык и, соответственно, не выявился его «дух»; Державину нечего было «знать», он никак не мог «иметь понятия» о классическом «слоге» и «гармонии», ибо сами эти феномены *не существовали*. И сама та «золотая» четверть (как и «свинцовые» три четверти) державинской поэзии, о которой говорит Пушкин, стала *очевидной*

лишь после действительного становления — или начала становления — классического стиля.

Короче говоря, при эстетической оценке поэзии Державина как таковой нельзя исходить из меры, заданной классическим стилем. Но неправота Пушкина относительна, ибо его в данном случае интересовала скорее проблема становления классического стиля, чем самодовлеющая ценность державинской поэзии, — ценность, безусловно, высочайшая. В зрелом творчестве самого Пушкина обе стороны дела едины, тождественны: между конкретно-историческим значением его поэзии и ее непреходящей ценностью нет никакого противоречия, ибо Пушкин как раз и создал классический стиль русской литературы. С этой вершины он и судит державинскую поэзию, что, конечно же, не совсем правомерно, но вполне объяснимо той острой насущностью проблемы классического стиля, которая характерна для 1820-х годов.

Нельзя не сказать и о том, что оценка Пушкина как раз и свидетельствует: в поэзии Державина подспудно созревает классический стиль, пусть он и осуществился лишь на «четверть». Все дело в том, что это могло быть осознано лишь позднее; так, державинская поэтическая осень выявила свою классичность лишь на фоне классических осенних строф Пушкина, которые воплотили в себе зрелый классический стиль.

Когда мы говорим, что до пушкинской эпохи не существовало классического стиля, мы имеем в виду, что его элементы, воплотившиеся в предшествующем развитии литературы, стали явными лишь после его действительного становления; он, этот стиль, выступил как тот, пользуясь пушкинским словом, «подлинник», которым можно было теперь мерить не только позднейшие, но и более ранние явления, открывая в них золотые жилы или хотя бы крипицы классического стиля.

Существуют два разных, даже противоположных представления о характере языка и стиля русской литературы XVIII века. Одни считают, что это было прежде всего время языкового и стилевого хаоса, другие, напротив, выдвигают на первый план чрезмерную упорядоченность и регламентированность языка и стиля. Но для стиля литературы XVIII века характерно в равной мере и то, и другое; более того, «хаос» и «порядок» взаимосвязаны, взаимообусловлены. Именно хаотичность еще не сформировавшегося стиля побуждала к упорному — и неизбежно рационалистическому — упорядочиванию, выразившемуся, например, в теории (и практике) «трех стилей»<sup>\*</sup>.

\* Попыты подобного упорядочивания еще не сложившегося стиля можно обнаружить в любой национальной литературе в начальный период ее становления. В трактате Данте «О народной речи» говорится: «Для трагедии мы пользуемся более высоким стилем, для комедии — более низким, для элегии предполагаем речь впавших в несчастье...» и т.п. Аналогичная постановка вопроса дана в «Защите и восхвалении французского языка» Дю Белле и других западноевропейских «поэтиках» эпохи Возрождения.

Язык и стиль русской литературы XVIII века предстают как арена борьбы самых разнонаправленных и даже прямо противостоящих друг другу сил и устремлений, никак не могущих пока примириться и образовать высшее *единство*. Здесь выступают и искусственные, чуждые живой речи конструкции, и натуралистические отражения просторечия или даже диалектов и арго, и переходящие из одного произведения в другое устойчивые образные формулы, и неповторимые, являющиеся только в данном произведении «экзотические» выражения, и т.п.

Теория «трех штилей» должна была обеспечить определенное внутриянровое единство языка и стиля. Ее практическое осуществление, безусловно, сыграло свою роль в процессе формирования классического стиля. Но действительного решения проблемы эта теория—как, впрочем, и любая другая — дать не могла, ибо подлинный стиль складывается лишь в органическом творческом акте, который к тому же подразумевает становление зрелого, осознанного художественного содержания.

Это, конечно, вовсе не умаляет исторической роли литературы XVIII века в становлении стиля. На протяжении столетия были испробованы самые разнообразные пути и методы стиливого творчества. При этом, как уже говорилось, разработка *стиля* совершалась в неразрывном единстве с процессом создания литературного *языка*; в сущности, и невозможно говорить о становлении стиля безотносительно к формированию литературного языка.

Определяя существо русского литературного языка, сложившегося окончательно в первую треть XIX века (это, конечно, не значит, что язык не развивался далее; дело идет лишь об *основе* национального литературного языка), лингвисты обычно стремятся выяснить прежде всего соотношение старославянских и собственно русских элементов. Одни считают, что, несмотря на многообразную «русификацию», наш литературный язык — в отличие, например, от украинского — остался в своей основе старославянским; другие говорят о равноправном слиянии, скрещении старославянской и русской стихий в нашем литературном языке; третьи полагают, что на протяжении XVIII—начала XIX века сложился вполне самостоятельный русский литературный язык, хотя он и вобрал в себя значительные элементы старославянского языка. Бесспорного решения этого вопроса пока не дано.

Но, как мне представляется, наш литературный язык, сформировавшийся в пушкинскую эпоху, является собственно русским литературным языком *безотносительно* к тому, какова доля вошедших в него старославянских элементов (это можно определить только чисто лингвистическими методами). Пусть даже старославянская стихия в тех или иных отношениях действительно преобладает с количественной точки зрения — литературный язык от этого не становится старославянским.

Это явствует уже хотя бы из того, что русские ни в коей мере не вынуждены специально учиться своему литературному языку,



исключая преодоление отдельных диалектных или специфически просторечных форм, что характерно для носителей любого языка (скажем, английского или немецкого).

А это означает, что русский литературный язык отобрал из старославянского лишь те элементы, которые были понятны без какого-либо «перевода» (исключения здесь, как и всюду, подтверждают правило). Черпаемое из старославянского не делало литературный язык в каком-либо смысле «чужим», а в первую очередь *обогащало* его лексическими, грамматическими и фонетическими вариантами.

Писатели (и вообще пишущие люди) XVIII — начала XIX века создавали литературный язык именно как русский по своему качеству; количественное соотношение тех или иных элементов в данном случае не имеет решающего значения, ибо дело идет не столько о *качестве*, о внутренней природе литературного языка, сколько о его *источниках, материале*, из которого он был создан.

Русские писатели XVIII — начала XIX века черпали из целого ряда различных источников языкового материала. Тут и старославянский литературный язык (разумеется, уже подвергшийся значительной русификации), и разговорный язык образованных слоев населения, и разговорный язык народа (в том числе диалекты), и специфический язык устного народного творчества (которое в течение XVIII века уже так или иначе фиксировалось письменно), и широко открывшийся с петровских времен материал западноевропейских литературных языков (латинского, французского, немецкого и др.), из которых черпался прежде всего так называемый интернациональный языковой фонд, общий для всех европейских литературных языков.

На разных этапах выступали на первый план различные источники языкового материала. Так, в эпоху Ломоносова главную роль играл отбор из старославянского наследия, отчасти из интернационального языкового фонда; Державин и Фонвизин, основываясь на языковой стихии, данной Ломоносовым, стремились открыть двери в литературу разговорному языку народа; Карамзин опирался прежде всего на отчетливо выявившийся к его времени разговорный язык «образованного» общества (в который уже прочно вошли многие элементы интернационального фонда) и т.п.

Все эти (и другие) опыты были необходимы и по-своему плодотворны, но они не могли привести к созданию подлинного литературного языка. У Ломоносова, по определению Пушкина, господствовала «величавость полуславенская, полулатинская», у Державина (опять-таки по пушкинскому слову) — «неровность» несращенных материалов, взятых из самых разных источников, у Карамзина — односторонняя опора на разговорную речь света, отталкивание и от старославянского наследия, и от народного языка\*.

---

\* Правда, в последних, написанных уже в 1820-х годах томах «Истории государства Российского» Карамзин дал образцы русской исторической прозы.

Вплоть до Пушкина пишущим недостает действительно *свободного* овладения теми многообразными материалами, из которых должен был создаваться литературный язык. Правда, уже в начале XIX века подлинные воплощения русского литературного языка являются в баснях Крылова (скажем, в «Вороне и лисице», 1807), баснях, которые и ныне сохраняют значение нормы и образца этого языка. Но дело идет о специфическом, ограниченном определенными рамками проявлении литературного языка. Нельзя не вспомнить здесь замечательное рассуждение Пушкина, записанное Владимиром Далем, показывавшим поэту свои сказки: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, — надо бы сделать, чтобы выучиться, говорить по-русски и не в сказке...» Не нужно доказывать, что зрелый Пушкин «говорит по-русски» — и в «Евгении Онегине», и в «Капитанской дочке», и в своих публицистических и критических сочинениях, и в письмах. Крылов же навсегда останется первоисточником русского литературного языка\*, но лишь в особенной, ограниченной рамками *басенного жанра* сфере. Здесь, в этой сфере, Крылов был полновластным хозяином языкового материала. У Пушкина это полновластие распространилось на *все* литературные сферы.

Пушкину присуще совершенно свободное отношение как к разнообразным источникам языкового материала, так и к самому материалу (внутри этих источников). Это, между прочим, ясно выразилось во множестве его высказываний (которые, в частности, свидетельствуют об его глубоко сознательном отношении к проблеме создания литературного языка). Он писал, например: «Славенский (то есть старославянский. — *В.К.*) язык не есть язык русский, и... мы не можем смешивать их своенравно... если многие слова, многие обороты счастливо могут быть *заимствованы* (курсив мой. — *В.К.*) из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать *да лобжет мя лобзанием...*»

С другой стороны, Пушкин тогда же утверждал: «Письменный (то есть литературный. — *В.К.*) язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка».

В первом рассуждении Пушкин прямо говорит о заимствовании оборотов из старославянского языка; но и во втором речь идет в сущности о том же, о заимствовании выражений из повседневных разговоров. По поводу стиха «Людскую молвь и конский топ» («Евгений Онегин») Пушкин заметил, что он «взят целиком из русской сказки» о Бове Королевиче, то есть опять-таки заимствован из фольклорной речи.

---

\* Пушкин сказал о нем в 1822 году: «Некоторые пишут в русском роде, из них — один Крылов, коего слог русский», а позднее назвал Крылова «представителем духа» русского народа, «самым народным нашим поэтом».

По-видимому, слово «заимствование» недостаточно полно выражает суть дела, не может быть научным термином. Но оно очень ясно показывает *отношение* Пушкина к тем источникам, из которых он черпал материал для создания литературного языка. Они, так сказать, не давили на него, не тяготели над ним, как тяготел, скажем, старославянский язык над Ломоносовым или разговорный язык света над Карамзиным, неспособным, как известно, переварить слова, подобные слову «парень».

При упоминании об этом карамзинском замечании стало общим местом противопоставлять его языковым принципам Пушкина, ни в коей мере не чуждавшегося «грубости и простоты» (по его определению) живой речи народа. Однако дело обстоит гораздо сложнее: ведь Карамзин во многом отвергал и чисто *книжные* выражения старославянского языка, а зрелый Пушкин, напротив, исключительно высоко ценил это древнее наследие. «Как материал словесности, — писал он уже в 1825 году, — язык славяно-русский (то есть старославянский. — В.К.) имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени».

Итак, для Пушкина характерна прежде всего *свобода* в отношении к языку, точнее, к разным языковым стихиям, подлежащим творческому воплощению в литературном языке, и, следовательно, высшая власть над ними. Столь же свободно и его отношение к отдельным элементам внутри тех или иных источников языкового материала. Он столь же далек от догматического пуризма, порождающего искусственный порядок, сколь и от языковой всеядности, ведущей к хаосу.

Замечательно, например, его рассуждение (переданное одним из современников) об использовании иноязычной лексики: «Как скоро при введении в употребление нового предмета не прибрано тотчас для него приличного названия — употребляйте чужезданное; употребляйте его до той поры, пока у кого-нибудь с языка не сорвется счастливое выражение, которое без натяжки, само собою, войдет в общее употребление».

Вполне понятно, что пушкинская свобода в выборе языкового материала опиралась на определенную почву. Решающую роль играл здесь тот классический стиль, который создавался в творчестве поэта. Выше уже отмечалось, что русский литературный язык и классический стиль родились в едином акте. Невозможно говорить о рождении этих двух феноменов по отдельности. Тайна их рождения раскрывается лишь в их органической взаимосвязи. Нельзя, далее, понять становление классического стиля вне становления зрелого содержания литературы, или, иначе говоря, национального художественного *самосознания*, ибо стиль — это

«душа, которая приняла очевидность тела». Выше приводились пушкинские слова о том, что Крылов один имеет «русский слог» и что он «представитель духа» русского народа; эти два качества были нераздельно взаимообусловлены.

В этой главе, разумеется, невозможно исследовать то конкретное художественное самосознание, которое легло в основу творчества Пушкина. Но, строго говоря, это здесь и не нужно: достаточно видеть *содержательность* самого того классического стиля, который создавал Пушкин.

Вместе с тем целесообразно указать на один очень существенный момент, который многое проясняет. Мы редко обращаем внимание на то, что пушкинской эпохе предшествует своеобразный *переводческий* период.

Первые представители новой русской литературы, Кантемир и Тредиаковский, посвятили свои силы в основном вольным переложениям и прямым переводам западноевропейской литературы. Затем переводческая деятельность отходит на второй план: Ломоносов, Фонвизин, Державин создают главным образом оригинальные произведения. Переводы же теперь воспринимаются прежде всего как переводы, а не как полноценные явления русской литературы.

Между тем в начале XIX века опять выходят на первый план переводы и переложения: Жуковский, Гнедич, Мерзляков, Катенин, Козлов, Дельвиг посвящают им свои основные усилия. Много переводят также Батюшков, молодые Грибоедов, Вяземский, Тютчев. Даже многие крыловские басни были вольными переложениями басен Эзопа, Федра и Лафонтена.

Короче говоря, едва ли не все значительные писатели 1800 — 1810-х годов уделяют огромное внимание переводам, и, что особенно характерно, эти переводы выступают тогда как *полноправные* явления *отечественной* литературы. Между тем начиная с 1830-х годов переводческая работа снова воспринимается именно и только как специальная деятельность, которой заняты теперь лишь немногие писатели и поэты.

Все это, конечно, не могло быть случайностью, и целая «переводческая» эпоха в начале XIX века, без сомнения, имеет особенное и существенное значение. Но, как уже говорилось, проблема эта давно выпала из поля зрения исследователей. Объясняется это, по-видимому, опасением, что выдвигание данной проблемы может «принизить» русскую литературу, поставить под сомнение самостоятельность ее развития.

Между тем обращение к опыту более зрелых со стадийальной точки зрения литератур — это своего рода закон становления литературы. И если мы будем понимать такое обращение как свидетельство недостатка собственных корней, нам придется объявить несамостоятельными все литературы мира.

Так, скажем, в Италии литература нового типа сложилась за два столетия раньше, чем во Франции, и основоположники но-

вой французской литературы — Маро, Деперье, Сен-Желе, Маргарита Наваррская, Морис Сев и другие писатели начала XVI века — постоянно обращались к творчеству Петрарки, Боккаччо, Поджо, Пьетро Бембо и других итальянских авторов, переводили и перекладывали на французский лад их стихи, новеллы, поэмы. Сен-Желе, например, как и наш Жуковский, занимался почти исключительно переводами, а «Гептамерон» Маргариты Наваррской представляет собой вариации на темы Боккаччо. Однако это нисколько не умаляет самостоятельности становления новой французской литературы, ибо дело шло не о пассивном влиянии, а об активном и исходящем из уже высоко развитых собственных потребностей овладения итальянским художественным опытом. К середине XVI века во французской литературе уже сложился вполне самостоятельный стиль, нашедший воплощение в поэзии Ронсара и Дю Белле, остающейся образцом и поныне.

Но вернемся к русской литературе. Был, безусловно, глубокий смысл в том, что в преддверии становления классического стиля на первый план в ней выдвинулось активное овладение опытом западноевропейской литературы. Это были необходимые подступы к решению грандиозной задачи. Жуковский, Гнедич, Батюшков и другие стремились создать в материи русского языка своего рода аналоги уже сложившихся классических стилей других литератур. Само по себе это еще, конечно, не было решением задачи создания русского классического стиля. Но это была как бы последняя ступень перед ее решением.

Здесь необходимо напомнить, что в XVIII веке не было создано полноценных переводов, за исключением стихотворных переложений библейской поэзии (псалмы Ломоносова\* и Державина). Многие переводы Жуковского или Гнедича живы и по сей день, между тем переводы XVIII века — а количество их очень велико — имеют ныне лишь чисто историческое значение. С точки зрения стиля «переводческий» период начала XIX века был громадным шагом вперед.

Говоря несколько упрощенно, непосредственные предшественники Пушкина еще не владели в полной мере национальным художественным содержанием и стремились как можно совершеннее воплотить свое восприятие *инонационального* содержания\*\*.

---

\* Пушкин писал о Ломоносове: «Переложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения».

\*\* Необходимо отличать от этого периода характерное для последних лет деятельности Пушкина поэтическое освоение зарубежного мира. В данном случае дело шло не о переводах и даже не о переложениях, а о совершенно самостоятельном творчестве, пусть Пушкин и опирался подчас на те или иные литературные произведения (в «Пире во время чумы», «Анджело», «Подражаниях Корану» и т.п.). Все эти произведения — от «Подражаний древним» до «Моцарта и Сальери» — всецело принадлежат русской литературе (как, скажем, «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского или «Итальянские стихи» Блока).

Вкладывая в свой труд огромную энергию и выдающийся талант, они сумели создать переводы, сохраняющие все свое значение и поныне — как, например, переводы из немецких и английских поэтов Жуковского и Гнедичев перевод «Илиады».

Но эти переводы все-таки не были решением задачи. Подлинный национальный стиль выступал как насущнейшая проблема, притом достаточно ясно осознаваемая. Глава одного из наиболее серьезных литературных объединений рубежа XVIII—XIX веков Андрей Тургенев (1781—1803) говорил в 1801 году, что пока в отечественной литературе «найдешь очень малые оттенки русского» и ей необходим «второй Ломоносов... *Напитанный русскою оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей литературе*».

Замечательная точность постановки вопроса, ее пророческий характер\*\* обусловлены вполне назревшей необходимостью. Стоит привести еще высказывание Вяземского, относящееся к 1814 году: «Мы не знаем своего языка, пишем наобум и не можем опереться ни на какие столбы. Наш язык не приведен в систему, руды его не открыты, дорога к ним не прочищена». Смысл этого высказывания не нуждается в комментариях; но мы не всегда осознаем исторический подтекст такого рода *самокритики*. Чем резче такая самокритика, тем яснее она свидетельствует о том, что в сознании людей уже живет представление об *идеале* — в данном случае об идеале литературного языка и стиля. У писателей XVIII века нет столь резких критических суждений о родном языке.

«Нигилистическая» оценка русского языка, данная в 1814 году Вяземским, обусловлена именно тем, что уже ясно предчувствовалось его созревание. Через какой-нибудь десяток лет подобная оценка была бы заведомо неправильной.

Такое стремительное созревание литературного языка может показаться невероятным. Но факт этот доказан в фундаментальных работах В.В.Виноградова, который утверждал, опираясь на многолетние и исключительно трудоемкие исследования: «Молодой Пушкин (до конца десятых годов) и Пушкин половины двадцатых годов писали на разных языках». Дело идет о почти мгновенной *кристаллизации* в том более или менее хаотическом языковом «растворе», который характерен для литературы XVIII — начала XIX века. Это было, если угодно, «скачкообразное» становление литературного языка и — одновременно — классического стиля.

В.В.Виноградов в своих работах о языке пушкинской эпохи почти не разграничивает понятия *языка* и *стиля*. Об этом не без яда писал в 1946 году Г.О.Винокур: «Из предисловия к книге

\* «Дружеское литературное общество», в которое входили Жуковский, Мерзляков, Кайсаров, Воейков и др.

\*\* «Второй Ломоносов» — Пушкин — уже родился, когда Андрей Тургенев писал эти фразы!

В.В.Виноградова «Язык Пушкина» (1935), высокий научный интерес которой неоспорим, мы тем не менее узнаем, что две главы, не уместившиеся в этой книге по техническим причинам, автор перенес из этой книги в другую, называющуюся «Стиль Пушкина». Таким образом, создается впечатление, что содержание этих глав не зависит от того, какой теме — «языку» или «стилю» Пушкина — посвящено соответствующее исследование. В интересах науки было бы в высшей степени желательно сделать все такого рода вопросы более ясными».

Это, конечно, справедливое замечание. Но в то же время нельзя не сказать, что в действительности Пушкина созревание языка и стиля предстает как двуединый процесс. Было бы недопустимо объединять проблемы языка и стиля при анализе произведений Гоголя или Лермонтова и тем более Достоевского или Толстого. Но у Пушкина становление литературного языка и классического стиля не только совпадают по времени, но и немыслимы друг без друга. Наша задача состоит, понятно, в характеристике становления классического стиля, но невозможно изолироваться от проблемы становления литературного языка, даже не сосредоточивая на ней внимание специально.

Возьмем одно из самых знаменитых суждений Пушкина о стиле (1827): «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Несомненно, дело идет здесь о стиле. Однако нельзя забывать о том, что зрелый литературный язык только лишь создавался в пушкинскую эпоху, и было далеко не ясно, какие языковые ресурсы являются «литературными», а какие нет. Пушкин брал «слова» и «обороты» не из некоего уже опробованного и канонизированного арсенала, а из еще во многом хаотичной и крайне разнородной стихии.

Отвергая то или иное слово либо оборот, он должен был исходить не только из собственно художественных, но и из языковых принципов и критериев.

Было бы, однако, глубоко ошибочным видеть в этом только особую *трудность* задачи. Органическое единство эстетического и «языкового» подхода к делу создавало ту специфическую, неповторимую «легкость», ту свободу пушкинского отношения к слову, о которой уже говорилось выше.

Это легкое, вольное, «игровое» (в смысле эстетической игры) отношение к слову осязаемо запечатлено в любом пушкинском тексте и резко отличает его стиль, скажем, от стилей Достоевского или Толстого с их напряженностью, тяжестью, неуклонной целенаправленностью.

При этом нет никакого противоречия между, казалось бы, сугубо *практической* задачей создания литературного языка (вспомним пушкинское замечание: «...Даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных») и этой вольной «игрой»: необходимость *творче-*

ства в любом языковом акте определяет его принципиально эстетическую природу.

Стихия творчества пронизывает все отношение Пушкина к языку — вплоть до элементарной задачи выбора того или иного слова. Но нельзя не отметить глубочайшее различие между эстетикой слова у Пушкина и «словесной игрой» формалистического толка, характерной, скажем, для начала XX века. В ряде работ эта словесная игра прямо сопоставлялась с творчеством Пушкина. На самом деле здесь нет ничего, кроме чисто внешней, бессмысленной аналогии.

Ибо Пушкин *реально* создавал литературный язык, классический стиль и, наконец, национальное художественное самосознание (которое и не могло бы осуществиться вне этого языка и стиля, так же, впрочем, как и сами язык и стиль могли сложиться лишь как *форма* этого самосознания). Необходимо учитывать к тому же, что в России литература (в широком смысле) явилась основным средоточием общественного самосознания в целом; лишь при этом становится очевидной грандиозность деяния Пушкина и необъятная содержательность его творческой работы над словом.

С внешней точки зрения проблема предстает как предельно простая: свободная власть Пушкина над языковым материалом была обусловлена тем, что стиль всецело и органически воплощал художественный смысл. Об этом четко сказала уже критика XIX века: «У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и церковнославянская форма, и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслию как ее собственное». Отныне любая мысль «может... создавать свой собственный слог, запечатленный ее внутренним свойством... Такое движение мысли по всем слоям языка с равной легкостью показывает, что борьба между стихиями языка прекратилась, что всякая напряженность в их взаимных отношениях исчезла, что все разнородное совместилося и что настала пора внутреннего развития мысли»<sup>\*</sup>.

Здесь необходимо, правда, одно уточнение: дело не просто в созревании языка и слога, а и в том, что настала пора движения и развития зрелой самобытной мысли, или, точнее, художественного смысла. Он и дает возможность свободного овладения всеми разнородными стихиями языка. В то же время нельзя забывать и о том, что вне языка и стиля не могло быть и становления мысли; короче говоря, дело идет о едином процессе, в котором развитие каждой из сторон обуславливает развитие остальных, о целостном созревании языка, стиля, смысла.

Но перейдем непосредственно к проблеме классического стиля, к его, так сказать, конкретной структуре. Когда Пушкин го-

<sup>\*</sup> Это слова «реакционера» М.Н.Каткова, которого во время первой публикации этого моего сочинения (1976 г.) запрещалось упоминать в положительном плане.



ворил о ложности простого «отвержения» того или иного слова либо оборота, он, в сущности, указывал на главный «недостаток» предшествующей работы над созданием стиля — характерный как для Ломоносова, так и для Карамзина. Суть дела не в приятии либо отвержении тех или иных слов, а в «соразмерности и сообразности» их «размещения». У Пушкина, писал Л.Н.Толстой, «гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Хотя речь здесь идет о распределении «предметов поэзии», это имеет самое прямое отношение к словам, ибо для литературы «предмет» существует постольку, поскольку он воплощен в слово.

И главная, быть может, тайна пушкинского стиля состоит в том, что слова (в широком смысле, то есть весь языковой «материал» вообще) «распределены» с «гармонической правильностью».

Слова, разумеется, бесконечно разнообразны по всем своим возможным качествам. Так, слова старославянского языка и слова просторечия или слова интернационального языкового фонда и слова устного народного творчества в прямом, непосредственном соединении оказывались несовместимыми. Это и порождало характерный для литературы XVIII века стилевой хаос. К тому же дело шло не о словах в лингвистическом смысле, а о художественных феноменах\*. Слова как элементы художественного стиля включают в себя, например, тот смысл и окраску, какую они получили в стиле предшествующих и современных поэтов и прозаиков: слова Пушкина «помнят» свое пребывание, скажем, в стиле Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и др.

Слова в пушкинском стиле точнейшим образом «оговорены», опосредованы; на этом и зиждется гармоническое «распределение». Подчас эти «оговоренности» выступают буквально, открыто, давая тем самым своего рода ключ к стилю. Общеизвестны пушкинские строки:

Я снова жизни полн — таков мой организм  
(Извольте мне простить ненужный прозаизм)...

или

И вот уже трещат морозы  
И серебрятся средь полей...  
(Читатель ждет уж рифмы *розы*;  
На, вот возьми ее скорей!)

или

Но *панталоны, фрак, жилет*,  
Всех этих *слов* на русском нет;  
А вижу я, винюсь пред вами,

---

\* См. об этом мою статью «Об изучении «художественной речи» в ежегоднике «Контекст. 1974» (М., Наука).

Что уж и так мой бедный слог  
Пестреть гораздо б меньше мог  
Иноплеменными словами...

До сих пор популярно объяснение подобных «оговорок» как образчиков «обнажения приема», при котором «художественная форма дается вне всякой мотивировки, просто как таковая». На самом деле в этих строках Пушкина обнажены скорее *смысл* и *цель* работы над словом, то есть создание «соразмерности и сообразности» в соотношениях слов.

Часто встречается у Пушкина менее открытая «оговоренность»: слова, которые по тем или иным причинам трудно вратить в стиль, выделяются курсивом. Так выделено в стихотворении «Делибаш» казачье «профессиональное» слово:

Делибаш! не суйся к *лаве*,  
Пожалей свое житье...

Или архаический книжный оборот в послании «Алексееву»:

Я молод юностью чужой  
И говорю: так было прежде  
*Во время оно* и со мной.

Или прозаизм в «Евгении Онегине»:

Как государство богатеет,  
И чем живет, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда *простой продукт* имеет.

В том же «Евгении Онегине» рядом выделены не освоенный до конца варваризм и полужаргонное чисто русское (правда, происходящее от латинского «hipochondria») словечко:

...Подобный английскому *сплину*,  
Короче: русская *хандра*...

Но все это, конечно, исключительные случаи; они существенны лишь потому, что открыто обнаруживают пушкинское отношение к слову (и в лингвистическом, и в художественном смысле). Нельзя не отметить один замечательный факт. Почти все слова, которые оговорены Пушкиным в приведенных цитатах, и ныне, через полтора с лишним века, в той или иной мере требуют известной «оговоренности» при введении их в чисто «поэтический» текст. Это можно понять двояко: либо стилевое чутье Пушкина было так проникновенно, что он предвидел судьбу этих слов (и именно потому счел необходимым дать «оговорки»), либо сама «оговоренность» их в пушкинском тексте навсегда наложила на них печать прозаичности, архаики, жаргонности и т.п. По-видимому, верно отчасти и то и другое.

Приведенные примеры наглядно показывают, как Пушкин «распределял» элементы стиля, как бы расставляя их на опреде-

ленные места, отделенные от стержневой линии стиля (может быть, даже и вообще не воплощенной прямо и непосредственно) известной дистанцией — всегда, разумеется, различной.

Эти примеры, конечно, только точки отсчета; в какой-то мере у Пушкина «оговорен», точно дистанцирован в отношении стилового стержня каждый элемент стиля, хотя это чаще всего скрытая, почти неуловимая «оговоренность».

В частности, у зрелого Пушкина так или иначе «оговорены» различного рода условные и риторические формулы, клише и т.п., поэтому он может их употреблять, не впадая в пресловутый штамп.

Утверждая, что у Пушкина «гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства», Толстой добавил: «Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается».

Толстой, вероятно, не вполне прав. То, что чувствуется и усваивается, так или иначе доступно изучению. Но нужно прямо сказать, что методы изучения столь тонких черт стиля почти не разработаны (анализ, как правило, сбивается на чисто лингвистическую дорогу и не затрагивает собственно художественную сущность стиля).

В то же время отдельные примеры этого «распределения» элементов стиля указать нетрудно. Скажем, в стихотворении «Эхо» в строках:

Ты внемлешь грохоту громов,  
И гласу бури и валов,  
И крику сельских пастухов —  
И шлешь ответ... —

старославянское «глас» отнесено к бурям и валам, а пастухи издают «крик» (по-старославянски — «кричь»).

Или в «Утопленнике» просторечно-фольклорные «али», «аль» —

Рыболов ли взят волнами,  
Али хмельный молодец,  
Аль ограбленный ворами  
Недогадливый купец?

Мужику какое дело?  
Озираясь, он спешит...

— «оговорены» последними двумя строками.

Теперь необходимо коснуться проблемы самого становления стиля в творчестве Пушкина.

У Михаила Пришвина есть очень существенное замечание, восходящее, кстати сказать, еще к гетевским размышлениям о стиле: «Несомненно, что, как человек (родится) сам с собой, так и писатель рождается со своим слогом. Но необходимо, однако, изломать этот природный стиль совершенно, чтобы потом он

возродился, преображенный культурой, и сделался собственным стилем, а не просто слогом, потому что стиль предполагает усвоенную, ставшую своей культуру».

Здесь, пожалуй, неудачно слово «изломать», которое дает повод думать, что писатель должен нарочно разрушить свой «природный стиль». Дело заключается скорее в том, что в процессе освоения художественной культуры первоначальный, природный стиль неизбежно как бы растворяется в ней, и лишь тогда, когда культура всецело станет *своей*, он, этот стиль, вновь кристаллизуется — разумеется, в иное, глубоко преобразованное, «культурное» бытие.

Согласившись с мыслью Пришвина, мы имеем основания предполагать, что самые первые, совсем еще незрелые литературные опыты Пушкина были *ближе* к его зрелому стилю, чем написанное им в годы созревания. Доказать это, к сожалению, трудно. Дошедшие до нас наиболее ранние стихи поэта уже отмечены печатью основательного воздействия отечественной и зарубежной культуры и, более того, уже представляют собою явления определенной литературной школы — «карамзинской». И все же в самом раннем из известных нам стихотворений, «К Наталье» (1813), есть несомненные черты близости к наиболее зрелому стилю поэта:

Так, Наталья! признаюсь,  
Я тобою полонен.  
В первый раз еще, стыжуся,  
В женски прелести влюблен.  
Целый день, как ни верчуся,  
Лишь тобою занят я;  
Ночь придет — и лишь тебя  
Вижу я в пустом мечтанье,  
Вижу, в легком одеянье  
Будто милая со мной;  
Робко, сладостно дыханье,  
Белой груди колебанье,  
Снег затмившей белизной...

Нельзя не сказать, что в стихотворении есть и совсем иные строфы, в которых «природный стиль» заглушен «литературностью», растворен в ней. Но эти и ряд других строк из стихотворения «К Наталье», на мой взгляд, по многим своим чертам ближе к зрелому стилю Пушкина, чем его последующая любовная лирика вплоть до середины 20-х годов. В них предчувствуется то проникновенно пушкинское, «самое пушкинское», что воплотилось и в таких стихах, как «Признание» (1826) или «Подъезжая под Ижоры» (1829), и даже в таких, как «Я вас любил; любовь еще, быть может...» (1829).

«Признание» можно было бы даже понять как своего рода возвращение через тринадцать лет к ненапечатанному и, по всей вероятности, давно забытому юношескому опыту:

Я вас люблю, — хоть я бешусь,  
Хоть это труд и стыд напрасный,  
И в этой глупости несчастной  
У ваших ног я признаюсь!

.....

Когда я слышу из гостиной  
Ваш легкий шаг, иль платья шум,  
Иль голос девственный, невинный,  
Я вдруг теряю весь свой ум.

И в том, и в другом стихотворении отразилась одна из характернейших человеческих черт Пушкина — органическое сочетание артистической легкости переживания, которое как бы мимолетно (вот отвернется, переведет взгляд на другое — и все исчезнет без следа), с полной отдачностью, с несомненной способностью отдать этому вот переживанию всего себя, всю свою жизнь, даже вечность. Это черта, присущая русскому национальному характеру вообще, что отмечено многими отечественными и зарубежными наблюдателями; но в Пушкине она выразилась с недосыгаемой чистотой, изяществом, гармоничностью. В принципе эта черта тяготеет к «бесформенности»: всецело, самозабвенно отдаваясь каждому своему состоянию, характер теряет способность воплотиться в определенные и совершенные формы. Между тем Пушкин при всей «самозабвенности» каждого переживания умел дать последнему пластичное и прекрасное воплощение:

Ваш легкий шаг, иль платья шум...

Разумеется, этого нет в юношеском стихотворении «К Наталье». «Пушкинское» там — еще чисто «человеческое». Правда, и в данном стихотворении есть один — без сомнения, совершенно неосознанный, случайный — прорыв к Пушкину-поэту:

Робко, сладостно дыханье,  
Белой груди колебанье...

Но таких строк — только две на более чем сто строк этого юношеского стихотворения. И заметить эту золотую крупичку можно, строго говоря, лишь зная последующее.

В стихах «К Наталье» уже в обилии выступают почти обязательные для художественной культуры эпохи мифологические, исторические, литературные имена (Купидон, Талия, Катон, Амур, Селадон и т.д.). На материале этого канонического элемента поэтической реальности пушкинского времени можно с особой ясностью увидеть, что означает «усвоенная, ставшая своей культура», которую предполагает истинный стиль. Своего рода пределом и венцом этого освоения является знаменитая пушкинская строка 1830 года:

Парки бабье лепетанье... —

где мифологический образ оказывается настолько «своим», что как бы уже не существует в его отдельном от творческой личности Пушкина, всеобщем бытии, он словно впервые создан здесь, в этом стихотворении (хотя, конечно, сохраняет и свое тысячелетнее значение).

Другой выразительнейший пример — строки:

Зорю бьют... из рук моих  
Ветхий Данте выпадает... —

в которых имя, к тому времени давно ставшее прежде всего символом, если угодно, даже мифом, предстает как частица интимного бытия и, более того, *быта* личности, не теряя, разумеется, своего величия и всеобщности.

Безличное, не ставшее безусловно своим существование мифологических и исторических имен чаще всего выступает у зрелого Пушкина как объект *изображения*, притом нередко иронического изображения. Особенно это характерно для «Евгения Онегина»:

Их дочери Таню обнимают.  
Младые грации Москвы  
Сначала молча озирают... и т.д.

Слово «грации» здесь, без сомнения, слегка иронически процитировано из «общего» языка (эта сторона жизни слова в «Евгении Онегине» в целом раскрыта, как известно, М.М.Бахтиным).

Освоение мифологических и исторических имен — это, конечно, всего лишь одно частное проявление того бесконечно многогранного *освоения* культуры (в самом широком смысле слова), в ходе которого «природный» стиль, или, точнее, слог, Пушкина превратился в национальный классический стиль. Всесторонний анализ становления пушкинского стиля (что, понятно, требует целого трактата) как раз и должен в первую очередь продемонстрировать это «превращение».

Камнем преткновения для такого анализа является то расщепление или даже противопоставление *индивидуального* и *всеобщего* в стиле, которое сознательно или бессознательно выступает в работах о стиле. Стиль Пушкина рассматривается как индивидуальный, неповторимый и — или даже: *но и* — в то же время имеющий всеобщее, эпохальное значение. Это «и» (а тем более «но и») неизбежно подразумевает, что всеобщее — национальное, классическое — в стиле Пушкина существует как бы рядом, помимо или даже вопреки индивидуальному, личному, неповторимому.

Такое представление, строго говоря, абсурдно. Оно вполне уместно и даже необходимо, если речь идет о соотношении индивидуального и всеобщего в действиях или — будем держаться ближе к нашей теме — в *стиле* действий какого-либо *исторического деятеля*, поскольку его мысль и воля становятся *реальностью*

лишь в действиях многих связанных с ним людей или даже целого народа; в этих массовых действиях индивидуальный стиль руководителя буквально приобретает всеобщные черты, которые затем как бы возвращаются в его личность, в его остающийся в истории облик.

Но неправильно было бы автоматически отождествить понятие о роли личности в истории с понятием о роли личности в искусстве, особенно в создании стиля. Пушкин создавал свой стиль сам, так сказать, в одиночку, и «всеобщее» в этом стиле с необходимостью было и не могло не быть в то же время совершенно индивидуальным и личным.

Вполне понятно, что Пушкин так или иначе вобрал в себя и историю мировой культуры, и жизнь и культуру своего времени. Все это было той необходимой конкретно-исторической почвой и питательной средой, в которой только и могла сложиться его творческая личность. И тем не менее все это могло определить и определяло его стиль лишь постольку, поскольку становилось для него непосредственно личным, «своим». Более того, стиль Пушкина набирал высоту, превращался в подлинно классический стиль именно по мере того, как все воспринятое становилось действительно освоенным, то есть вполне «своим».

Это, разумеется, отнюдь не означает, что «свое», индивидуальное в литературном стиле всегда выступает одновременно как всеобщее. В литературе — даже у значительных писателей — сколько угодно частного, заурядного, поверхностного «своего». Но вместе с тем всеобщее входит в стиль лишь тогда, когда оно освоено.

Проблема, коротко говоря, предстает в следующем виде. Одновременно с Пушкиным в том же русле — в русле формирования национального классического стиля — развивались и другие поэты. Можно назвать имена Боратынского, Языкова, Вяземского, Веневитинова и целый ряд других. При всем своеобразии каждого из них в их стилевых исканиях было много родственного, и в конечном счете они вместе с Пушкиным делали одно дело, хотя, конечно, не кто иной, как Пушкин, действительно создал, действительно дал отечественной культуре классический литературный стиль.

И у многих литературоведов возникал и возникает соблазн объяснять это тем, что Пушкин превзошел соратников, так сказать, *всеобщностью* своего стиля. Между тем стиль Пушкина, без сомнения, отмечен печатью глубокого, буквально захватывающего своеобразия. Эта печать наложена даже на те чрезвычайно многочисленные пушкинские строки, в которых — с тем или иным авторским отношением — изображены чужие стили; даже пушкинские пародии — это именно пушкинские пародии, Пушкин слышен в них не меньше, чем пародируемый стиль.

Дело, очевидно, в том, что творческая индивидуальность Пушкина сама по себе наиболее соответствовала поставленной эпохой задаче создания национального классического стиля. Выше

уже говорилось об его уникальной и, конечно, чисто индивидуальной, личной способности к пластичному воплощению «самозабвенности». Столь же личностны и та его черта, которую обычно называют пушкинским протеизмом, и дар видеть жизнь как органическое единство «прозы» и «поэзии», и стихия эстетической «игры», позволявшая разрешать любую сугубо практическую задачу в собственно творческом акте, и т.п. Все это имело определяющее значение для создания классического стиля. Словом, всеобщее в стиле воплощалось не «наряду» (и тем более не «вопреки») с индивидуальным, а именно и только в нем.

Говоря о личном творческом подвиге Пушкина, нельзя все же преуменьшать и роль самой его эпохи.

Уже говорилось об особом и чрезвычайно важном вкладе Крылова в становление классического стиля. Неоценимое значение имела и деятельность ряда непосредственных современников Пушкина — Вяземского, Боратынского, Языкова, Веневитинова и др. Пушкин писал в 1830 году о Языкове: «С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом... Пожалеем, что донныне почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода».

В «тесных родах» (Языков в дифирамбических стихах, Боратынский в элегиях, Вяземский в «прозаической» поэзии, Веневитинов в «философической») эти соратники Пушкина уже очень рано дали такие воплощения стиля, которые — по заслугам — исключительно высоко ценил Пушкин. Его титаническая фигура заслонила от глаз читателей и даже историков литературы многие достижения его соратников. Так, скажем, Вяземский *ранее* Пушкина обратился в стихах непосредственно к повседневной житейской прозе (ср. такие его вещи середины 1820-х годов, как «Станция», из которой Пушкин позднее не случайно взял эпиграф к «Станционному смотрителю», и «Коляска»).

Но проблема имеет и гораздо более широкий характер. Выдающийся филолог Г.О.Винокур так охарактеризовал эпоху Пушкина: «История русской литературы знает эпоху, когда поэтическое творчество было ярким знаменем социальной культурно-лингвистической работы, проводником стилистического самосознания в повседневную жизнь... Речь здесь идет... об эпохе Пушкина, о той «золотой поре» русской культуры, когда она впервые заговорила на собственном языке».

Порою поражаешься прямо, до какой степени живо реагировали друзья, знакомые, собеседники Пушкина — зачастую совершенно случайные — на значение его как культиватора русской речи... Один из кишиневских приятелей Пушкина — В.Горчаков, человек... в истории культуры ничем себя не зарекомендовавший, — оставил... воспоминания о Пушкине, в которых... как блеснувший в глаза электрический свет, поражают следующие, напр., строки: «Конечно, не им началась русская речь, но Пуш-



кина юная муза своим увлекательным словом дала ей права гражданства в быту общественном». Надо же было быть Пушкину, чтобы так заставлял рассуждать кишиневского офицера!..»

Работа над словом как культурным орудием была совершенно органической чертой пушкинской культуры. Племянник поэта Дельвига, человек от литературы не менее, по-видимому, далекий, чем Горчаков, рассказывая о дружеских и семейных вечерах на квартире своего дяди, также не может удержаться, чтобы не занести в свои воспоминания следующей фразы: «На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это тогда было принято в обществе. Обработка нашего языка много обязана этим литературным собраниям». Здесь не сказано даже: литературного языка, настолько очевидно непосредственной, живой и конкретной сознавалась тогда эта связь между поэтическим творчеством пушкинской эпохи и бытовой разговорной речью... Другой эпохи в русской культурной истории, которую можно было бы сравнить в этом отношении со временем Пушкина, мы не знаем.

Ясно, что Пушкин был вождем этой культурной эпохи. Но столь же ясно, что он не мог бы осуществить свое дело в иную эпоху. Ему необходима была та ответная реакция со стороны многих — в том числе совсем далеких от литературы — людей, о которой говорит Винокур. Характерное для эпохи как бы полное отсутствие границы между художественным стилем и живой речью было неотъемлемой основой пушкинского творчества. Винокур замечает, что в истории русской культуры другой такой эпохи не было. Но нельзя не прибавить, что подобные эпохи уникальны в истории любой национальной культуры, как, скажем, для Италии эпоха Петрарки и Боккаччо, для Франции—Рабле и «Плеяды» (Ронсар, Дю Белле и др.), для Англии — Спенсера и Шекспира.

Эпоха объясняет и непревзойденность, недосыгаемость пушкинского стиля. Казалось бы, дело должно обстоять обратным образом. Ведь классический стиль только лишь создается, трудности, стоящие перед художником, громадны (вспомним, что одновременно окончательно формируется и сам литературный язык); логично было бы предположить, что последователи смогут создать более высокие стилевые ценности. Но логика развития искусства более сложна и не укладывается в прямую цепь умозаключений. И дело, очевидно, как раз в *первозданности*, в том, что стиль Пушкина — стиль новорожденный, творимый в живой связи с языковым творчеством и сотворением национального художественного самосознания. Искусность и естественность в нем неразделимы, каждый шаг вперед в сфере *искусности* есть одновременно и тем самым шаг вперед в овладении *естественностью* стиля, так что даже и невозможно сказать о том или ином элементе стиля, является ли он приближением поэзии к жизни или же новой ступенью поэтической искусности; эти задачи тождественны.

В принципе это и есть идеал стилевого творчества вообще. Но в стиле Пушкина он выступает в уже не могущей быть повторенной полноте и чистоте, с не могущим быть превзойденным обаянием, ибо и нельзя повторить еще раз стадию *создания* классического стиля.

Уже при жизни Пушкина многие литературные деятели выражают недовольство излишней «гладкостью» классической гармонии, стремятся к контрастам, диссонансам и резкому заострению отдельных стилевых качеств. Подчас упреки этого рода обращены даже к самому Пушкину!..

Складывается, в частности, заведомо одностороннее представление о пушкинском стиле только как о воплощении чеканности, законченности, искусности. Ныне ясно, что недостижимость пушкинского стиля — в органическом единстве высшего художественного совершенства и предельной жизненности, непосредственности, естественности, способности сохранить в себе живое биение и дыхание бытия.

Кроме того, грандиозное дело создания классического стиля поначалу как бы затмило все остальное в облике Пушкина. Его историческая роль была всецело сведена к этому делу.

Даже Гоголь — при всей его проникновенности — утверждал в 1846 году: «Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин?.. Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше... Пушкину определено было показать в себе... звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе».

Долго, очень долго в творчестве Пушкина видели прежде всего (или только) гениальный артистизм, художество в чистом виде; в сущности, лишь в 1880 году в речи Достоевского он действительно предстал как гений в полном и пророческом смысле. Между тем, говоря теоретически, чем выше и совершеннее «художество», тем богаче, неисчерпаемее его «смысл». Впрочем, это уже другая тема.

После Пушкина все подлинное литературное творчество развивается уже в русле классического стиля — вплоть до Шолохова и Твардовского. Но необходимо выделить и более узкое и определенное понятие классического стиля, к которому следует отнести *только* зрелое творчество Пушкина, выступающее как мера и образец стиля для всей последующей литературы.

Стиль Пушкина нельзя было законсервировать в его совершенстве и «повторять», воспроизводить снова и снова не только в силу того, что стадия языкового и духовного творчества, его породившая, закончилась. Сохраняя пушкинскую цельность, литература не могла бы сделать вперед ни шагу. Естественно, что «разложение» (конечно, не в дурном смысле слова) этого стиля

со всей ясностью выразилось уже у Гоголя и Лермонтова. Говоря упрощенно и кратко, Гоголь берет себе «материальное», низкое, комичное; Лермонтов — духовное, высокое, трагичное. С другой стороны, оба основываются на разного рода открытых стилевых контрастах (которые почти неощутимы в пушкинском стиле). Но *мера стиля* уже была дана, и любой выход за ее пределы, любое отклонение от нее представляло теперь именно как отклонение, обусловленное той или иной конкретной художественной целью.

Более того, даже прямое и сознательное отрицание этой меры, характерное для целого ряда русских писателей середины XIX века и (в еще более резкой форме) начала XX века, оказывалось не разрушением, а, так сказать, испытанием на прочность. С другой стороны, никакая «антиклассическая» стилевая тенденция неспособна уничтожить классический стиль, так как неизбежно представляет собой в сравнении с ним принципиально *одностороннее*, узкое явление. Любая такая тенденция, по сути дела, абсолютизирует лишь одну определенную грань, линию, аспект той многосторонней (или даже, скорее, всесторонней) целостности, которую являет собой классический стиль и к которой литература с необходимостью возвращается на каждом новом этапе развития.

У Пушкина не было прямых продолжателей и последователей (мы не говорим об эпигонах), о чем не раз писали самые разные критики и исследователи. Уже в 1840-х годах линия пушкинского стиля в целом как бы ушла под землю; натуральная школа могла напомнить лишь отдельные произведения Пушкина. Но, уйдя под землю, пушкинская стихия словно создала там мощную и разветвленную корневую систему, из которой поднялись многочисленные и многообразные побеги. Они не были похожи на древо пушкинского творчества, но росли они все же из одного корня; по мере течения времени это становится все более ясным и бесспорным. Разумеется, новые стадии в развитии национального стиля обогащали и углубляли заложенные в пушкинском стиле возможности; в стиле Достоевского и Толстого это обогащение и углубление было поистине безмерным, и их стили обрели непосредственное мировое значение...

\* \* \*

...И все же в классической поэзии Пушкина есть нечто недосыгаемое, не могущее быть превзойденным.

Сошлюсь на размышления И.С.Аксакова, вошедшие в его замечательную книгу о Тютчеве, которую ныне знает почти исключительно только узкий круг специалистов. Аксаков писал: «В истории человеческих обществ художественное откровение предваряет медленный рост сознательной мысли; творческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Нечто подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас... По особым условиям нашей исторической судьбы... на долю литературной поэзии... досталось высо-

кое призвание быть почти единственною воспитательницею русского общества в течение долгой поры».

В поэтах, выступивших в первой трети XIX века, пишет далее Аксаков, «стихотворчество, бессознательно для них самих, было исполнением не только их личного, но и исторического призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии — как самостоятельного явления духа... Их стихотворная форма дышит такою свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова; слышится торжество и радость художественного обладания... Пушкин имел полное право сказать:

...Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, *необходимым, историческим*, а потому в высшей степени *полезным* делом...»

В поэзии Пушкина, как совершенно справедливо говорит И.С. Аксаков, нет противоречия всеобщего и личного, пользы и красоты, искусства и естества.

В «Евгении Онегине» есть строка, которую, как я не раз уверялся, помнят буквально все, кто когда-либо знакомился с романом в стихах Пушкина (а ведь в нем более 5000 строк!). Строка эта по прямому своему смыслу крайне незначительна. Уже представив читателю свою героиню, Пушкин еще раз повторил:

Итак, она звалась Татьяной.

Меня долго удивляло, почему эта строка так неотвратимо врежется в память. И, наконец, я разглядел потаенную искусность, которой обусловлено обаяние будто бы «пустой» строки. Своим «*итак, она*» поэт словно предваряет, начинает лепить дорогое ему имя, а «звалась», соединяющее «итак, она» с «Татьяной», почти палиндром, перевертень: «итак, она» и «Татьяна» смотрятся сквозь него друг в друга, как в зеркало. Наконец, через всю строку проходит (семь раз!) ненавязчивое «а».

И это ни в коей мере не бессодержательная игра звуками; строка полна смысла, ибо в ней воплощена *очарованность* поэта самим именем своей любимой героини — именем, к которому, о чем говорится в предыдущей строфе, нужно еще приучить читательский вкус. И строка мгновенно и навек западает в память.

Классическая поэзия недостижима не в силу своей естественности как таковой, но в силу органического слияния *естественности* и *искусности* — слияния, которое впоследствии уже невозможно...

Мне невольно вспоминаются пушкинские стихи, в которых естественность и искусность поистине нерасчленимы:

Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот верно знает сам,  
Как сильно колокольчик дальный  
Порой волнует сердце нам.  
Не друг ли едет запоздалый,  
Товарищ юности удалой?..  
Уж не она ли?.. Боже мой!  
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.  
Но мимо, мимо звук несется,  
Слабей... и смолкнул за горой...

И эти стихи со всем их, пользуясь термином И.С.Аксакова, творческим простодушием в самом деле являют собой «недосыгаемый образец».

Не неизбежно, но все же возможно читательское недоумение: стоит ли современному стихотворцу постоянно обращаться к классике, раз ее образцы заведомо недосыгаемы? Отвечу на это так: многолетний опыт общения с людьми, пишущими стихи, безусловно убедил меня, что любой созревший и несущий на себе печать подлинности поэт, в какой бы манере он ни творил, превосходно знает классическую поэзию и изо дня в день так или иначе обращается к ней. И наоборот, люди, даже очень одаренные, но пока (или вообще) не нашедшие себя в поэзии, как правило, еще не вжились в классику.

Речь идет, конечно, не просто о знании классической поэзии, но о том, чтобы *пережить* ее ценности всем существом и непрерывно мерить свое творчество ее «недосыгаемыми образцами».

Вполне понятно, что далеко не каждый — даже самый талантливый — пишущий человек, овладев классикой, становится поэтом; рождение поэта зависит от многих условий, начиная от чисто личных душевных свойств и кончая характером исторической эпохи. Но овладение классикой является, по моему убеждению, одним из необходимейших и существеннейших условий рождения поэта.

Л.Н.Толстой писал в 1873 году: «Чтение даровитых, но негармонических (а гармоничность — одно из основных неотъемлемых качеств классики. — В.К.) писателей... раздражает и как будто поощряет к работе... но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина если возбуждает к работе, то безошибочно...» Разумеется, Толстой не просто «читал». Тогда же он признавался: «С восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал... «Повести Белкина», в седьмой раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище». В заключение необходимо сказать о том, что, не опираясь на классику, нельзя не только по-настоящему творить, но и по-настоящему воспринять и оценить современную поэзию. И потому все, что сказано выше, имеет самое прямое отношение не только к поэтам, но в равной степени к читателям поэзии, стремящимся быть истинными читателями.

Читатель, не переживший всем своим существом классическую поэзию, никогда не сможет действительно понять и оценить поэтов своего времени. Найдутся, вероятно, люди, которые с претензией на остроумие заметят, что, погрузившись в поэзию Пушкина, они не смогут потом читать своих современников... Но это не более чем поверхностное остроумие. Современный поэт — если он, конечно, истинный поэт — имеет свои особенные преимущества перед любым классиком, ибо он наш современник.

Более того, не только современная поэзия не может существовать без опоры на классику, но и классическая поэзия не существует без *современной*. Пушкин со всей решительностью сказал об этом:

И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит.

В эти строки редко вдумываются, между тем как смысл их глубок и абсолютно верен. Когда перестала развиваться великая поэзия античности, все, что было ею создано, на целое *тысячелетие* ушло в небытие и воскресло лишь тогда, когда в Италии родились Данте и Петрарка...

### *Тайна поэзии*

Многие люди безосновательно полагают, что для понимания искусства слова (в отличие, скажем, от искусства звука — музыки) не нужна никакая специальная подготовка, что каждый человек, владеющий русским языком, уже только благодаря этому способен полноценно воспринять и русскую поэзию, за исключением разве нарочито усложненных либо даже «зашифрованных» (как, например, в поэзии некоторых символистов) произведений. Это далеко не так. Искусство слова есть именно *искусство слова*, а не слово как таковое, которым владеет каждый человек. К тому же лирика — это, пожалуй, наиболее сложный и трудный для понимания род искусства слова и один из сложнейших видов искусства в целом.

Правда, с внешней точки зрения лирическая поэзия предстает перед нами как слово, речь, выражающие мысли и чувства, вызванные теми или иными жизненными явлениями, событиями, отношениями с людьми. А ведь именно так можно определить и значительную часть нашей обычной, повседневной речи, в особенности письменной. Когда мы беремся за письмо к близким людям, или пишем сочинение на вольную тему, или готовим текст выступления на каком-либо торжестве — мы делаем в общем и целом то же самое, что делает лирический поэт: выражаем свои мысли и чувства в слове.

По всем своим внешним признакам — кроме только ритмического стихотворного строя — произведения лирической поэзии

чаще всего совпадают с различными формами словесного самовыражения, с юных лет знакомыми каждому человеку.

И естественно, встает вопрос: почему, собственно, могут возникать какие-либо трудности для восприятия лирической поэзии, если ее произведения в принципе не отличаются от общепринятых и общедоступных форм словесного выражения мыслей и чувств?

Правда, лирические произведения — в отличие от обычной речи — имеют, как правило, отчетливое ритмическое строение, представляют собой *стихи*. Однако и это никак не может быть серьезным препятствием для восприятия лирики, ибо едва ли не в каждом сообществе молодых людей, в любой небольшой компании сыщется, по всей вероятности, и умелый сочинитель стихов, облакающий в рифмы свои размышления, послания к друзьям, выступления в приятельском кружке.

Короче говоря, стихи как способ выражения мыслей и чувств — привычное и общепонятное явление нашей повседневной жизни. Какие же могут быть сложности на пути восприятия лирической поэзии?

Здесь мы подступаем к главной проблеме, в которой не так просто разобраться. Далеко не все стихи (вернее, даже незначительная часть стихов, в том числе, конечно, и публикуемых стихов) принадлежат к *поэзии*\* в собственном, истинном значении слова.

Это может показаться странным. Мы гораздо более склонны разделять стихи на дурные, посредственные и, с другой стороны, хорошие, совершенные (они-то, мол, и составляют настоящую поэзию), то есть пользоваться *количественным* принципом, представлением о *мере* и *степени* «поэтичности». Конечно, и такой подход к стихам имеет свое важное значение. Но разграничение «стихи и поэзия» лежит, по сути дела, в иной плоскости.

Для наглядности приведу одно сопоставление. На просторах нашей страны возведены миллионы различных строений — от изб и мельниц до дворцов и гидроэлектростанций. Разумеется, одни из них построены лучше, другие хуже. Но есть и иное необходимое разделение: некоторые — весьма немногие — из этих строений (причем не только дворцы, но и избы) мы относим к творениям архитектуры, зодчества; остальные же представляют собой именно и только строения, плоды строительной, а не художественной деятельности людей. Они могут превосходно исполнять свою роль как строения, но к искусству мы их все же не причислим, хотя по основным своим внешним признакам они совпадают с произведениями зодчества (в частности, любое строение обладает пространственным ритмом, симметрией, пропорциональностью элементов и т.д.).

---

\* Для краткости будем употреблять слово «поэзия», имея в виду лирическую поэзию.

Мне могут возразить, что предпринятое мною сравнение неправомерно, ибо любое строение из дерева или из камня имеет практическую цель, а «строение» из слов — стихи — такой цели не имеет. Стоит ли сравнивать несопоставимое?

Однако на самом деле это сопоставление вполне законно. Постоянно имея дело со словом, как бы живя в стихии слова, мы только с большим трудом можем *отделить* его от себя и взглянуть на него объективно, дабы ясно увидеть его истинную природу и роль. Мы как бы забываем, что слово есть *главное* выражение нашего ума и нашей воли. И мы попросту не замечаем, что наше слово, наша речь — это прежде всего *практическая деятельность*.

Вдумаемся в деятельность любого руководителя — директора завода, председателя колхоза, капитана корабля, командующего армией, руководителя космического полета. В чем реально воплощаются все эти виды деятельности? Не в чем ином, как в *слове*, в речи.

А в чем главным образом воплощается деятельность всякого преподавателя, наставника, воспитателя? Или большинства ученых (кроме тех, кто имеет дело с лабораторными экспериментами), политических деятелей, дипломатов, журналистов и др.?

Конечно, значительная часть практической деятельности людей воплощается в телесных действиях и движениях. Но есть все основания предполагать, что в будущем, когда люди создадут многообразнейшие автоматические машины, оборудованные «слышащими» устройствами, реагирующими на человеческую речь, основная практическая деятельность сведется к слову.

И дело, конечно, не только в нашей «профессиональной» деятельности. Слово играет решающую *практическую* роль в нашей повседневной общественной и личной жизни, во всех многообразных *отношениях* с окружающими нас людьми и группами людей. В первую очередь именно словом мы устанавливаем, изменяем и разрываем наши отношения с людьми — отношения товарищества, дружбы, любви или, напротив, отчужденности, вражды, ненависти.

Вот почему иной театральный спектакль, герои которого всего лишь обмениваются словами, может обладать напряженнейшим, захватывающим *действием*.

Именно словом мы утверждаем в нашем окружении, нашем обществе свой разум и свою волю. И в сущности, каждое произнесенное или написанное нами слово имеет непосредственно *практическую* цель (конечно, далеко не всякое слово достигает своей цели, но ведь и отнюдь не каждое телесное действие человека осуществляет намеченную цель).

Однако вернемся к стихам. Не так уж трудно показать, что стихи, как и слово вообще, ставят перед собой *практические* цели, реально участвуют в личной и общественной жизни людей. Чеканная речь стиха обладает нередко гораздо большей силой воздействия, чем обычное слово. Стихи сочиняют влюбленные, стре-



мясь вызвать ответную любовь, и революционеры, чтобы побудить соратников к восстанию. Это, конечно, наиболее наглядные примеры. Стихи пишут и для того, чтобы четко и весомо утвердить свою мысль, и для того, чтобы, выразив мучительное чувство, тем самым преодолеть его, освободиться от него. Вообще, цели стиха чрезвычайно многообразны.

Но в конечном счете все стихи имеют свою практическую цель — широкую или узкую, малую или большую. И когда мы говорим о «хороших» стихах, мы обычно имеем в виду, что стихи хорошо выполняют эту свою роль. Правда, нередко бывает и так, что люди подходят к стихам чрезмерно практически: они оценивают стихи лишь с точки зрения широты их целей и не обращают внимания на то, насколько хорошо осуществлены эти цели. Такие люди, скажем, высоко ставят любые стихи, содержащие призыв к воинам, сражающимся за отечество, или стихи, выражающие общезначимую мысль, и заведомо ниже ценят стихи, обращенные к личному другу, или стихи, воплотившие какое-нибудь интимное чувство.

Это, конечно, совершенно неправильно. Во-первых, стихи, осуществляющие цели, связанные с личной жизнью людей, не менее необходимы, чем стихи открыто общественного характера. С другой стороны, для осуществления целей стиха необходимо не только весомое содержание, но и достойная его *форма*.

Итак, мы в той или иной мере определили, что такое стихи. Теперь можно перейти к поэзии.

Для начала обратимся вновь к сопоставлению стихов и строений. Любое строение воздвигается с практической целью, но, даже очень хорошо осуществляя свою цель, оно вовсе не обязательно принадлежит к архитектурному искусству. Для этого оно должно обладать не только практическим значением, но и собственно художественной ценностью. Эта ценность настолько существенна, что люди как зеницу ока хранят многие строения, полностью утратившие какое-либо практическое значение, скажем, древние крепости.

Все это относится и к стихам. Необходимо иметь в виду, что не только в древние, но и в сравнительно недавние времена практическая направленность выражалась в стихах гораздо отчетливее и определеннее, чем ныне. Даже у Пушкина почти все стихи имеют, так сказать, точный адрес. Это либо послания тому или иному личному другу, либо обращения к выдающимся деятелям эпохи, либо любовные письма, либо прямые отклики на современные события и т.д. Тем более это присуще стихам древности и средневековья. Но мы свято храним стихи великих поэтов прошлого, конечно, не ради осуществленных в них давних практических целей, а ради воплощенной в них художественной, поэтической ценности.

Следует со всей определенностью подчеркнуть, что эта ценность вовсе не противоречит практической направленности сти-

хов и, более того, неразрывно с ней связана. Это ясно видно на примере строений. Дворец, изба, административное здание, церковь обладают архитектурной ценностью именно как дворец, изба и т.д. Точно так же поэтическая ценность стихов неотделима от их практической направленности.

Но столь же ясно, что сама по себе практическая направленность не создает поэтической ценности, хотя многие люди, как уже говорилось, придерживаются именно такой точки зрения.

Не менее ошибочно и весьма распространенное мнение, согласно которому художественная ценность стихов определяется главным образом их *формой*, тем, как осуществлена их практическая цель. При этом деятельность поэта, по сути дела, сводится к *мастерству*, к умению строить образы, речь, ритм. Нет сомнения, что поэт не может не быть мастером, но даже тончайшее мастерство само по себе способно создать только хорошие стихи, а не поэзию.

Ибо поэзия — это не мастерство (хотя оно ей необходимо), но *творчество*.

Можно сказать, что стихи — это речь, выражающая мысли и чувства. Можно дать и, так сказать, обратное определение: стихи — это мысли и чувства, выраженные в речи, но существо *поэзии* эти определения не схватывают. Они характеризуют (и, кстати, вполне правильно) тот *материал*, из которого создается поэзия, а не поэзию как таковую. Мысли и чувства способны выразить в речи — в том числе и в ритмической речи — любой человек, поэт же *творит* из этого материала художественную реальность.

В связи с этим стоит вспомнить о размышлениях Белинского, который в целом ряде своих статей принципиально разграничивал *стихи* и *поэзию*. Он писал, в частности, что и у многих создателей *стихов* есть свой «талант, и еще замечательный, но талант чисто беллетристический и почти вовсе не поэтический. Выразить хорошими по своему времени стихами какое-либо ощущение или чувство — еще не значит быть поэтом». Для этого необходим «непосредственный талант творчества... Поэзия и стихотворство — две вещи совершенно разные». О том же в более широком плане не раз говорил Добролюбов, выдвигая тезис о двух принципиально различных типах литературы. В теоретических разделах своих известнейших статей «Темное царство» и «Что такое обломовщина?» он разграничивает произведения «обыкновенные» и произведения, обладающие «абсолютно-эстетическими достоинствами». Первые «раскрывают и поясняют людям то, что в них живет еще смутно и неопределенно»; эта часть литературы «представляет силу служебную». Произведения эти замечательны «по отношению к каким-либо другим интересам», и при их рассмотрении «нечего... пускаться в определение абсолютноэстетических достоинств» — нужно лишь показать, «в какой мере важны те явления жизни, к которым они (произведения. — В.К.) относятся». Но наряду с этим существует искусство, по определению

Добролюбова, «самобытное, замечательное не по отношению к каким-либо другим интересам, а по своему внутреннему достоинству», искусство, создающее произведения, которые «возвышались над служебной ролью литературы».

Добролюбов, разумеется, вовсе не хотел сказать, что произведения, обладающие «абсолютноэстетическими достоинствами», не имеют отношения к «другим интересам» и реальным «явлениям жизни»; напротив, они в полной мере связаны с многообразными интересами и явлениями жизни. Но эти произведения несут в себе, по мнению Добролюбова, и нечто иное, ценное *само по себе*, а не только по своей связи с иными интересами и явлениями жизни.

\* \* \*

В поэтическом наследии Пушкина сеть немало произведений, непосредственно связанных с крупнейшими историческими событиями, величайшими людьми, главными идейными движениями века. Но если бы была поставлена задача отобрать из пушкинского наследия самое минимальное количество *высших* лирических созданий, в этот ряд шедевров не могло бы не войти следующее короткое стихотворение Пушкина, написанное в 1830 году:

Мне не спится, нет огня;  
Всюду мрак и сон докучный.  
Ход часов лишь однозвучный  
Раздается близ меня,  
Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня...  
Что тревожишь ты меня?  
Что ты значишь, скучный шепот?  
Укоризна или ропот  
Мной утраченного дня?  
От меня чего ты хочешь?  
Ты зовешь или пророчишь?  
Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ишу...\*

Пушкин озаглавил свое творение так: «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». В заглавии этом есть явный оттенок *извинения*: поэт словно бы оправдывает им свое стихотворение, запечатлевшее бездейственное, пассивное и сугубо личное, ничем, кажется, не связанное с жизнью других людей переживание. Чего, мол, не сочинишь в томлящем одиночестве бессонной ночи! — вот что, в сущности, подразумевает это заглавие.

---

\* Известен иной вариант последней строки:

Темный твой язык учу.

Некоторые исследователи считают его окончательной пушкинской редакцией этой строки, но в собраниях сочинений поэта принят в настоящее время вариант «Смысла я в тебе ишу».

Переживания, воссозданные в стихотворении, смутны и невольны, они не приводят к какому-либо итогу, «смыслу»: речь идет лишь об *искании* некоего «смысла» — к тому же, возможно, и тщетном искании. И если сравнить стихотворение с точки зрения выраженных в нем *мыслей* и *чувств* с такими пушкинскими стихами, как «Пророк», «Стансы», «Клеветникам России» или «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», оно окажется не слишком «значительным»... И сам Пушкин, по-видимому, опасался, что стихи именно так и будут восприняты. Предварив их «оправдывающимся» заглавием, он все же за семь лет, которые ему оставалось жить, так и не обнародовал их. Лишь после его гибели стихи были напечатаны, однако в течение нескольких десятилетий они не были по достоинству оценены. Лишь в XX веке стихотворение было причислено к высшим достижениям поэта.

Мысли и чувства, выраженные в слове, или, что в принципе то же самое, слово, речь, выражающая мысли и чувства, — это именно *материал*, из которого творит поэт. Подлинная суть и ценность пушкинского стихотворения заключена в поэтическом *мире*, созданном из слов, выражающих мысли и чувства (которые сами по себе не обладают художественной ценностью).

То, что называют «поэтическим миром», имеет прежде всего непосредственно ощущаемое, объективно-предметное воплощение в *звуковом* строе поэзии. Если внимательно вслушаться в пушкинское стихотворение, можно установить, что в его звучании первостепенную роль играют чередования и сочетания трех звуков — *т, ш, н* (напомню, что звуки *ч* и *щ* — это сложные, составные звуки, включающие в себя как свои элементы «укороченное» звучание *т* и *ш*). Каждый из названных трех звуков встречается в пушкинском стихотворении в *несколько раз* чаще, чем любой другой согласный звук, а совместное количество этих трех звуков составляет *более половины (!) всех* согласных звуков стихотворения (в котором, кстати сказать, представлены и *все* остальные согласные звуки русской речи — б, в, г, д, ж, з, к, л, м, п, р, с, ф, х). Не менее важно, что *т, ш, н* и их сочетания составляют основу всех *рифмующихся* слов, — то есть наиболее выделенных, наиболее ощутимых слов стихотворения (огня — меня, докучный — однозвучный, лепетанье — трепетанье, беготня — меня — дня, шепот — ропот, хочешь — пророчишь, хочу — ищу).

Таким образом, указанные звуки и различные их сочетания (нт, чн, тч, тн, нч, шнч, шт, чш, тш и т.д.) определяют все звучание стихотворения в целом, создавая своеобразную внешнюю, непосредственно ощущаемую реальность поэтического *мира*.

Характеризуя роль звуков в поэзии, чаще всего говорят о «звукоподражании». В известном смысле это верно, и в разбираемых стихах также можно «услышать» своего рода воспроизведение реальных ночных звуков — неясных шорохов и шелестов, тиканья часов (вслушайтесь: «ход часов лишь однозвучный»), неких

приглушенных голосов, сливающихся в смутный шум. Однако поэзии, как и музыке, присуще (в преобладающем большинстве случаев) отнюдь не прямое, буквальное звукоподражание, а создание в тех или иных отношениях соответственного, эквивалентного сочетания звуков. Пушкин не подражал ночным звукам, но создал свою «музыку» ночи.

И это первая, чисто внешняя примета поэзии. Повторы и сочетания *т, ш, н* образуют звучащую реальность поэтического мира.

Но тут искушенный читатель может прервать меня и спросить: а в чем здесь, собственно, творческое достижение? Ведь не так уж трудно сложить стихи, в которых будут постоянно повторяться и сочетаться те или иные звуки, — для этого достаточно, как говорится, хорошо набить руку.

И это действительно так. Дело в том, однако, что специальный, нарочитый подбор звуков в стихе всегда совершенно отчетливо слышен и неизбежно производит впечатление *искусственности*. Истинные поэты вводят в свои стихи нарочитую «звукопись» лишь в особых случаях, в качестве своего рода эффектного жеста, который как бы оговорен, оправдан (вот, мол, и так можно). Всем известная пушкинская строка:

Шипенье пенистых бокалов... —

именно такова. Но если бы все строки произведения были «сделаны» в этом духе, поэзия исчезла бы, остались бы одни звуковые эффекты.

Звуковой состав и строй «Стихов, сочиненных во время бессонницы» создает поэтический мир отнюдь не просто потому, что в нем есть обильное нагнетение, повторы и сочетания трех звуков, но потому, что эта звучащая стихия всецело *органична*. Пока мы не вслушаемся специально, с известным даже усилием, напряжением в этот звуковой строй, мы не заметим ничего необычного: перед нами как бы самая естественная речь. Более того, явно нельзя найти в этом пушкинском стихотворении хотя бы одно слово, о котором можно было бы сказать, что оно введено в стихи ради имеющихся в этом слове звуков, — чтобы поддержать, укрепить звуковой строй целого. А ведь всего три повторяющихся звука составляют более половины согласных звуков этого стихотворения!

Поэт не «мастерил», а *творил* свои стихи, и с очень большой степенью вероятности можно утверждать, что он вообще не думал *отдельно* о звуках; он создавал поэтический мир, в котором необходимую роль играют звуки, но создавал его как органическую целостность.

Если бы звуки «подбирались» отдельно, специально, они бы и оказались отдельным, специальным звуковым эффектом, а не неотъемлемой звучащей реальностью поэтического мира, сотворенного Пушкиным.

Правда, это не вся чувственно воспринимаемая реальность поэтического мира, а лишь одна его сторона, не существующая вне другой — ритма. Именно и только в «магнитном поле» ритма по-настоящему живет звуковой строй стихотворения. Уже говорилось, что ключевые звуки стихотворения особенно выделены в *рифмах*. Однако и все взаимодействие этих звуков обусловлено ритмом, который одновременно и членит, и объединяет элементы стихотворения.

Но, выделяя, подчеркивая и в то же время связывая звуки, ритм имеет прямое отношение и к более глубокому слою поэтического мира. Он прочно соотнесен с непосредственно значащим (а не только звучащим) строем стихотворения — его синтаксически-интонационной структурой.

Первая строка стихотворения:

Мне не спится, нет огня... —

по своему строению являет собой вполне обыденную, так сказать, информационную фразу. Но в то же время — это стройный хореический стих с ударениями на нечетных слогах (что, конечно, вполне ясно обнаруживается, когда мы воспринимаем вторую, третью и дальнейшие строки). Это сочетание естественной простоты синтаксически-интонационного строения со строго соразмерным «искусством» стиха особенно наглядно выражается в строках, представляющих собой как бы невольные, неожиданные вопрошания:

Что тревожишь ты меня?  
Что ты значишь, скучный шепот?..  
От меня чего ты хочешь?  
Ты зовешь или пророчишь?..

Дело, понятно, не в том, что строки ритмизованы; дело в том, что они при этом совершенно естественно построены. Пушкин записал однажды: «Я думал стихами о ...» (о чем — неизвестно; запись оборвана). Человек, изучивший чужой язык, только *говорит* на нем, а *думает* он, как правило, на родном языке, уже потом переводя свою думу на другой язык; точно так же подавляющее большинство пишущих стихи «думает» прозой и лишь переводит свою думу в стихи. И это можно ясно увидеть, разглядеть в их стихах, которые всегда отмечены печатью неестественности.

Между тем в строках Пушкина, в их строении нет ничего неестественного: *иначе* вроде бы и сказать *невозможно*.

Здесь не исключено одно недоумение: выше говорилось, что искусство слова не есть слово, не есть речь, а теперь идеалом поэзии вдруг объявляется естественное строение речи... Но данное противоречие как раз и составляет одну из глубоких основ поэзии вообще.

Тот факт, что подлинная поэзия не нарушает естественного строения речи и в то же время обладает стройным ритмом, риф-

мами и сложными звуковыми повторами и сочетаниями, есть своего рода чудо творчества. Поэт как бы попросту говорит, изливает душу, но получаются словно сами собой стройные стихи. И именно это «чудо» решительно *отделяет* поэзию, искусство слова, от слова как такового. Ведь если естественный строй речи *нарушен*, стихи предстают только как *отклонение* от речи, как в большей или меньшей степени переделанная, переиначенная речь. Когда же речь, словно ничем не отличающаяся от обычной, неожиданно оказывается стройными стихами, это в самом деле есть чудесная метаморфоза, таинственное превращение нашей обычной речи в нечто совсем иное, *претворение* слова в искусство слова, в поэзию. Не так уж трудно заритмизовать и зарифмовать речь, но, для того чтобы речь как бы сама по себе, без всякого насилия над ней стала поэзией, необходимо подлинное творчество. «Мастерство», даже самое изощренное, здесь не поможет.

Мы говорили до сих пор о том, как воплощается творчество во внешних слоях поэтического мира — в звуковом и интонационно-синтаксическом строе. Вполне понятно, что поэт именно *творит* и более глубокие слои поэтического мира. Но эти внутренние, смысловые слои нельзя рассмотреть с той же наглядностью.

Обратимся к более общей проблеме: зачем, собственно, создается, творится поэтический мир стихотворения?

В известном смысле все дело заключается именно в том, что в этом органическом процессе создается, рождается как бы самостоятельное *бытие*. Творение Пушкина — это не слово о ночи и о бессоннице, но как бы *сама ночь* и *сама бессонница* — своего рода непреложный факт, который остается в нашей памяти как нечто будто бы вполне *реально* пережитое и в известном смысле даже более непреложное, чем реальное переживание:

Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня...  
Что тревожишь ты меня?

Для каждого, кто сумел по-настоящему воспринять эти строки (конечно, в цельности стихотворения), они существуют не как некоторое сообщение, но как самостоятельная, суверенная *действительность*, которая не отсылает нас к чему-то, находящейся за ее пределами, но живет сама по себе, словом, являет собой поэтический мир. *Стихи* теряют свое значение и умирают вне связи с породившими их явлениями реальной жизни; между тем *поэзия* живет собственной энергией и — потенциально — бессмертна.

А это качество подлинной поэзии имеет глубокий и богатый смысл. Прежде всего следует сказать о том, что оно вовсе не означает какого-либо отхода, отрыва поэзии от *реального* мира. Напротив, поэзия способна вобрать в себя объективный мир с несравненной широтой и проникновенностью.

Творя мир стихотворения, поэт поднимается, возвышается над своими собственными мыслями и чувствами. Творчество есть сильнейшее и — что очень важно — целостное напряжение, сосредоточение всех сил и способностей разума, души, воли поэта. При этом и становится возможным как бы невероятное, подобное чуду явление: при вполне *естественном* строении речь оказывается вместе с тем строго ритмической, обладающей рифмами и интенсивными звуковыми повторами и сочетаниями, то есть представляет собой уже не речь, а реальность поэзии, искусства слова.

Но и стихотворение в целом, во всех своих сторонах или слоях, являет собой нечто неизмеримо более значительное, чем любая мысль и чувство.

Возвышаясь до творчества, поэт создает мир своего произведения как самодовлеющий организм, который обладает собственной жизненной силой. Этот поэтический мир есть как бы мельчайшее подобие объективного мира жизни и природы. Любое слово, выражающее мысль и чувство, есть только сообщение о *чем-то* отдельном и ограниченном. А истинно поэтический мир устремлен к безграничному, бесконечному; он есть художественное инобытие всей цельности бытия.

Дело в том, что в процессе подлинного творчества поэт не просто высказывает свои мысли и чувства; он начинает как бы жить в создаваемом им мире произведения и воплощается в нем во всей целостной человеческой сущности, которая в конечном счете отражает в себе целостность объективного мира. И конкретные мысли и чувства оказываются именно только *материалом* для выявления, для воплощения стихии творчества, приобщающей нас к миру в целом.

В «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» самый «предмет» не обладает ни яркостью, ни значительностью. Все во мраке ночи, все спит, ясно воспринимается лишь ход часов, а кроме того, слышатся или же только мерещатся неясные, неизвестные звуки, которые и обозначить-то можно, наверное, лишь самими пушкинскими строками (они только что цитировались).

Но в поэтическом мире стихотворения эти вроде бы ничтожные проявления жизни, существующие для нас лишь в часы ночной бессонницы, меряются, так сказать, самой высокой и ответственной мерой. Они представляют здесь всю жизнь в ее целостной сущности. И быть может, именно в этих смутных, невнятных звуках вдруг откроется тайна жизни?

В «Стихах, сочиненных во время бессонницы» присутствует *весь* Пушкин и *весь* мир, который он обнимал своим творчеством. Вот, например, в строке:

Парки бабье лепетанье... —

совмещаются бесконечно далекие друг от друга полюса освоенного Пушкиным мира: мрачная богиня античной мифологии и простоватое бытовое лицо с привкусом смешного; а детское (оно



для Пушкина есть в любой женщине) *лепетанье* преодолевает этот контраст. Та, которая бесстрастно прядет где-то нить жизни поэта, и та, которая болтает пустяки у его плеча, словно объединяются в этом ночном лепетанье...

Далее, смутное звучание принимает в творческом воплощении еще два совершенно разных обличья: одно являет пред нами совсем отдельное от человека чудное существо:

Спящей ночи трепетанье,

а другое, напротив, представляет плетение ночных звуков как обнажившуюся (после того как с нее совлечены яркие одежды дня) мелкую и пустую суету человеческого существования:

Жизни мышья беготня...

Но эта строка вовсе не отменяет, не зачеркивает предшествующие, ибо перед нами подлинно поэтический мир с его принципиальной многозначностью, даже неисчерпаемостью, а не последовательность неких суждений.

Столь же многозначна идущая затем цепь вопрошаний:

Что тревожишь ты меня?  
Что ты значишь, скучный шепот?  
Укоризна или ропот  
Мной утраченного дня?

В центре этих вопрошаний — столь характерная для пушкинской поэзии тема (не тема как «предмет», но нечто подобное музыкальной теме) высшего голоса совести. В «скучном шепоте» ночи ропщет все то, что утрачено, что не исполнено днем. Но это, конечно, только одна из сторон целого. Ночь является и как осуществление того, чего не может осуществить день, и как подтверждение необратимого исчезновения еще одного витка нити, которую прядет та пряха... И повторы звуков *т, ш, н* — это ведь и шелест ее нити...

Впрочем, как уже говорилось, поэтический мир потенциально безграничен, неисчерпаем. Стихотворение Пушкина можно бы разбирать еще и еще. Нам же здесь важно сделать только один вывод.

Имея дело, казалось бы, лишь с невнятными звуками бессонной ночи, поэт соприкасается с целым миром. И незначительность *материала* стихотворения — этих смутных ночных ощущений — приобретает, в сущности, обратный смысл: они с особенной силой выявляют высоту и размах пушкинского творчества. Даже и в этом томленье бессонницы Поэт имеет дело с цельностью мирового бытия.

Поэзия заключена не в мыслях и чувствах, выраженных словом, но в своего рода надстройке над ними, созданной энергией творчества. И в данном случае просто не существенно, насколько значительны сами по себе мысли и чувства, материал которых преобразовала мощная энергия пушкинского творчества...

Пятнадцать строк, имеющих заглавие «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», — одна из безусловных ценностей русской и мировой поэзии.

### *Пушкин и Чаадаев (к истории русского самосознания)*

В своей заслуженно чтимой «пушкинской» речи «О назначении поэта» (1921) Александр Блок сказал, что «жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы».

Главный симптом «ослабления» культуры Блок видел в том, что «над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского... Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку». Ранее поэт написал о влиятельнейшем критике России: «Пусть Белинский был велик и прозорлив во многом, но... он, может быть, больше, чем кто-нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская интеллигенция покатила вниз по лестнице своих российских *западнических* надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больше — о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917—1918 годов».

Верна и глубоко мысль о том, что пушкинская пора — «единственная культурная эпоха». Это было время *творения* культуры, а начиная с «роковых» 1840-х годов культуру все в большей степени стремятся превратить в орудие идеологической борьбы (хотя, конечно же, истинное культурное творчество продолжалось), что объяснялось в конечном счете неотвратимым приближением Революции. Ведь поток испытывает воздействие близящегося водопада задолго до того, как ему, потоку, предстоит низвергнуться в бездну, и то же самое можно сказать о движении, о развитии России за много десятилетий до 1917 и даже 1905 года.

«Критика» Пушкина (и всей культуры его поры) во имя *идеологии* крайне возмущала Блока, и в одной из своих статей он назвал Белинского — ни много ни мало — «*могильщиком*» русской культуры в ее высшем значении. Но вполне уместно упрекнуть поэта в том, что, отвергая идеологический экстремизм критика (недаром получившего прозвание — впрочем, давно опошлившееся — «неистовый Виссарион»), он сам впал в аналогичную экстрему...

Однако главное даже не в этом. Ведь именно Блок сказал так выразительно о «роковых сороковых годах», и, следовательно, винить надо не Белинского, а, как говорится, эпоху... К нашему времени атмосфера «роковых сороковых» изучена значительно полнее, чем при жизни Блока, и ясно, например, что идеологическая «критика» Пушкина характерна вовсе не только для Белинского и деятелей его круга.

Сопоставляя Пушкина с Гете, Белинский утверждал, что русский поэт «велик там, где он просто воплощает... свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов», — имелись в виду, понятно, самые существенные вопросы, которые решали Гете и другие крупнейшие поэты Запада. Но, по сути дела, точно такое же принижение Пушкина присуще (хотя этот факт не столь уж широко известен и ныне) идеологам противостоявшего Белинскому *славянофильства*. Так, соизмеряя Пушкина именно с тем же самым Гете, Хомяков счел возможным утверждать, что русский поэт в отличие от германского «не развил в себе высших духовных стремлений», что их «недоставало» в его «душе, слишком непостоянной и слабой...».

Разумеется, Белинский и Хомяков исходили в своих приговорах Пушкину из совершенно разных оснований. Белинский полагал, что Пушкина фатально ограничивал, как он писал, «недостаток современного европейского образования» (хотя, конечно же, «европеизм» Пушкина был неизмеримо глубже и полнее, чем соответствующее «образование» самого Белинского), а Хомяков, напротив, усматривал в поэте прискорбную «недостаточность» русского национального духа. Даже и в творчестве Гете, с которым они сопоставляли Пушкина, два идеолога выделяли существенно различные стороны. Для Белинского Гете — один из «великих *европейских* поэтов», представитель имеющей всемирное значение цивилизации Запада (далеко-де превосходящей ограниченную узкими целями русскую), а для Хомякова — «высший представитель Германии», то есть полнокровный национальный поэт; в Пушкине же русский характер, по мнению Хомякова, «никогда не развивался вполне; он робко выглядывал из-под чужих форм, не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя». Стоит упомянуть, что эти упреки Белинского (в недостатке европеизма) и Хомякова (в недостатке «русскости») были высказаны почти в одно время (первый — в 1844-м, второй — в 1845 году).

Более того, два противостоявших идеолога прямо и непосредственно «сталкивались» на Пушкине. Оценивая основанную на фольклорной образности пушкинскую балладу «Жених», Белинский писал, что «мир, так верно и ярко изображенный в ней... так тесен, мелок и немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были однообразны, скучны и, наконец, пошлы...». Вскоре Хомяков не без гнева отметил этот «презрительный отзыв... об русской сказке и песне: в нем утверждали, что Пушкин... исчерпал все богатство нашей народной поэзии». Между тем, решительно возражал Хомяков, Пушкин, а вслед за ним и Лермонтов «даже не поняли вполне ее (русской народной поэзии. — В.К.) неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка».

Итак, наследие Пушкина в сороковых годах равно атаковали с двух противоположных сторон, и в этом выражался поистине роковой раскол русской мысли. Правда, и ранее, в 1810—1830-х

годах, имело место подобное раздвоение, но, во-первых, в нем не было непримиримости (так, в русле единой декабристской идеологии без особых конфликтов уживались, по сути дела, западническая и славянофильская линии), а во-вторых, оно, это раздвоение, почти не затрагивало *высшие* явления культуры. При жизни Пушкина ему не противостоял (если брать это слово в его точном значении) ни один из наиболее значительных деятелей русской культуры: таких, как Жуковский, Боратынский, Владимир Одоевский, Тютчев, Иван Киреевский, Кольцов, Гоголь и т.д.; все они, в частности, сотрудничали в пушкинском «Современнике». Имели место только отдельные предвестия будущего раскола (подчас, кстати сказать, весьма причудливые): в 1831 году Вяземский, например, с «западнических» позиций резко осудил стихотворения поэта «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», однако позднее Петр Андреевич оказался близок как раз славянофилам...

В послепушкинское же время раскол так или иначе проявлялся на всех уровнях культуры и к тому же достигал нередко крайней остроты. Правда, через четыре с лишним десятилетия Достоевский провозгласил, притом (что закономерно) именно в своей «пушкинской» речи: «О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение...» — и тут же уточнил: «...хотя исторически и необходимое». По-видимому, Федор Михайлович полагал, что «необходимость» к 1880 году уже отпала; однако раскол, обозначившийся за восемь десятилетий до 1917 года, отнюдь не преодолен и поныне — через восемь десятилетий после революционного взрыва... В речи Достоевского доказывалось, что в Пушкине еще не было «великого недоразумения», или, иначе говоря, раскола, в чем, в частности, и выразилась его гениальность. Но, нисколько не умаляя пушкинский гений, следует все же сознавать, что речь должна идти и об общем характере самой породившей Поэта «единственной культурной эпохи».

Раскол, совершившийся в «роковых сороковых», нанес тяжкий ущерб всему духовному развитию России, притом «великое недоразумение», которое столь наглядно выразилось в процитированных суждениях Белинского и Хомякова, в дальнейшем нарастало и обострялось. Ведь в конечном счете Белинский говорил лишь о том, что Пушкин не был западником (так сказать, «не дорос» до этого мировоззрения), а Хомяков — что поэт не стал славянофилом. И в данном случае оба идеолога по сути дела были совершенно правы...

Между тем позднее, по мере роста общенародного признания Пушкина, его упорно стремились представить в качестве заведомого западника, «европейца», или, напротив, что, впрочем, бывало гораздо реже, ибо западническая идеология играла преобладающую роль, превратить в славянофила.

Но поистине прискорбная участь постигла в условиях идеологического раскола творчество крупнейшего мыслителя пушкинской эпохи — Петра Яковлевича Чаадаева, который в общественном сознании был целиком и полностью превращен в западника, даже в своего рода отца-основателя западничества. Правда, в этом в известной мере был повинен прежде всего сам мыслитель, опубликовавший в октябре 1836 года свое первое (из восьми) «философическое письмо», которое дало слишком много поводов для причисления его к «ненавистникам» России и безоговорочным поклонникам Запада. Вскоре после появления в печати этого письма, в конце 1836 года, Чаадаев, в сущности, выразил сожаление, что опубликовал, как он определил, «введение», чей истинный смысл должен был раскрыться «в труде, который остался неоконченным»; к тому же он так сказал об этой своей вводной статье: «Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в мыслях... было преувеличение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном великому народу... преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Однако эти авторские поправки были опубликованы в России лишь в 1913 году, когда давно сложившееся представление о Чаадаеве уже, так сказать, заостенело и никто не хотел его существенно изменять. Тем более что еще в 1884 году появилось в печати пушкинское послание Чаадаеву от 19 октября 1836 года (которое поэт, правда, не отправил адресату), где оспаривался ряд положений того самого «введения» и вроде бы подтверждалось мнение о западничестве Петра Яковлевича. Между прочим, Пушкин в этом своем послании давал понять, что чаадаевское «введение» (с его, по определению самого мыслителя, «нетерпеливостью», «резкостью», «преувеличениями») не следовало публиковать.

Пушкин и Чаадаев познакомились в сентябре 1816 года и до ссылки поэта (май 1820-го) были в самом тесном общении. 9 апреля 1821 года, уже в Кишиневе, Пушкин, получив весточку от Чаадаева, писал о нем в своем дневнике: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя...» Один из близких приятелей Пушкина отметил, что в юности поэт «естественно делался... с Чаадаевым мыслителем». И философ XX века С.Л. Франк был, очевидно, прав, утверждая, что Чаадаев «пробудил в нем (юном Пушкине. — В.К.) строй мыслей более глубокий, чем ходячее умонастроение французского просветительства» (которое тогда господствовало).

В том же, 1821 году поэт в посвященном Чаадаеву стихотворении так определял его роль в своем развитии: «Ты был целителем моих душевных сил... Твой жар воспламенял к высокому любовь... Ты всегда мудрец, а иногда мечтатель...», а беседы с Чаадаевым назвал «пророческими спорами».

Через десять лет, в продолжение которых поэт и мыслитель по различным причинам общались весьма редко и мало, Чаадаев, отправив Пушкину свои шестое и седьмое «философические письма», сетовал (в послании от 17 мая 1831 года): «Это — несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами (стоит напомнить, что друзья обращались на «вы» только по-французски: по-русски они с первых лет знакомства были на «ты», хотя Чаадаев был пятью годами старше. — В.К.). Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас и для других».

Пушкин так отвечал Чаадаеву (6 июля 1831 года): «Мы продолжим наши беседы, начатые в свое время (в 1816 году. — В.К.) в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». О присланных Чаадаевым «философических письмах» Пушкин писал здесь же: «...изумительно по силе, истинности или красноречию... Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» (то есть поэту более по душе чаадаевские «образы», а не силлогизмы). Вместе с тем Пушкин отметил: «... я не всегда могу согласиться с вами».

Через пять лет в своем неотправленном послании Чаадаеву поэт высказал целый ряд несогласий с опубликованным первым письмом мыслителя. И это впоследствии побудило многих комментаторов достаточно резко противопоставлять поэта и мыслителя. Так, один из первых биографов Пушкина, близкий славянофилам П.И.Бартенев, публикуя полемическое послание поэта к Чаадаеву, утверждал, что оно «надолго останется убедительной апологией древней Руси и основных начал нашей жизни от навета недоброхотов» (то есть таких идеологов, как Чаадаев). Усвоенное Бартеневым представление о принципиальном «западничестве» Чаадаева побудило его прийти к выводу, что взаимоотношения поэта и мыслителя в 1830-х годах якобы разладились и чаадаевским свидетельствам об его неизменной близости с Пушкиным не следует, как он выразился, «доверяться». Однако С.А.Соболевский, который постоянно общался с поэтом в 1833—1836 годах, решительно возразил Бартеневу: «Вздор. Чаадаев был одним из лучших друзей Пушкина...»

Кстати сказать, сам Чаадаев ясно видел, насколько отношение к нему Бартенева диктуется славянофильской ориентацией последнего, и не без горечи писал об этом С.П.Шевыреву, многозначительно утверждая, что дружба с Пушкиным «принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, *какого бы цвета оно ни было*» (выделено мной. — В.К.).

Необходимо подробно рассмотреть сам вопрос о западничестве Чаадаева. Как уже сказано, изолированное восприятие его первого письма вроде бы давало основания для причисления мыслителя к западникам. Правда, в этом письме есть фраза о декабристском бунте, которая решительно противоречит такой

классификации: «... великий монарх (Александр I. — В.К.), приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека».

Прямо-таки замечательно, что при второй публикации этого письма в 1860 году в Париже крайний западник И.С.Гагарин под давлением другого эмигранта, одного из главных идеологов декабризма Николая Тургенева, сделал в чаадаевском тексте «цензурные» изъятия. «Я по требованию Николая Ивановича, — признавался Гагарин, — вычеркнул «дурные идеи и роковые ошибки» и напечатал». Впоследствии, в 1913 году, так же поступил издатель первого в России собрания сочинений Чаадаева М.О.Гершензон...

Оба издателя явно никак не могли допустить, чтобы устами Чаадаева принесенное с Запада определялось как «дурное» и «гибельное» («роковое»). А в позднейшей, 1960-х годов, книге о Чаадаеве утверждалось, что у России, согласно-де взглядам мыслителя, «есть только один путь — духовное сближение с Западом». Так истолковывали чаадаевскую историософию уже в 1830-х годах и так продолжают понимать ее поныне. Никто не вдумался хотя бы в эти вот слова из самого первого письма: «... мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого». Из этого положения будто бы следовало, что русским необходимо заняться усвоением «традиции» Запада; между тем мыслитель не без иронии писал далее о тех, кто склонен к именно такой «программе»: «Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся... мы можем себе усвоить?..»

Эти положения не получили развития в самом письме, но в другом сочинении Чаадаева, написанном в 1835 году (то есть еще до опубликования первого письма), совершенно недвусмысленно сказано (притом слова эти развивают, конкретизируют то, что выражено и в первом письме): «... нам нет дела до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молодцы, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно в таком «решении» суть, ядро западнических утопий. — В.К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р.Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов... Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое... Тогда мы пойдем вперед». (Уместно напомнить, что то же самое убеж-

дение было присуще и Пушкину, который писал, например: «Поймите же... что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы... Не говорите: *иначе нельзя было быть*». Последние слова выделены самим Пушкиным, возражавшим мнению о том, что все народы с необходимостью должны следовать по «западному» пути; естественно полагать, что это убеждение поэта сформировалось не без воздействия Чаадаева.)

Исходя из только что процитированных чаадаевских высказываний 1835 года следует взглянуть и в его первое письмо. Там нет столь же ясного тезиса о «другом начале цивилизации», присущем России, но вполне определенно сказано о бесплодности попыток «нагонять» Запад — попыток, неизбежно сводящихся к пустому «подражанию» и «заимствованию»: «В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошедших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же... не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих... Это естественное следствие культуры заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса».

Стоит отметить, что в опубликованном в 1836 году переводе первого письма заключительная фраза была достаточно верно передана так: «У нас нет развития собственного, самобытного...» Казалось бы, одно уже высказывание должно было заставить задуматься об истинном смысле «программы» Чаадаева. Ведь он и в других местах своего первого письма выразил ту же мысль. Так, он написал, что его угнетает положение, в силу которого русская мысль не останавливается ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе одна за другой, и принимает участие «в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям». В другом своем сочинении, написанном еще в 1832 году (то есть за четыре года до появления в печати первого письма), но опубликованном впервые лишь в 1908 году, Чаадаев со всей определенностью утверждал: «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в нашем взгляде на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, вовсе не подчиняться воздействию других народов».

Согласитесь, что воистину нелепо хоть в каком-то смысле причислять к западникам мыслителя, выдвинувшего такую «программу». Но ведь и в «злополучном», как назвал его сам Чаадаев, пер-



вом письме было достаточно определенно сказано о «пороке» России: он состоит, по убеждению мыслителя, в том, что «у нас нет развития собственного, самобытного», а вовсе не в том, что мы не идем по пути Запада. Почему же этого никто не увидел?

Есть все основания утверждать, что читателями опубликованного в 1836 году письма была воспринята (и полностью заглушила подлинный его смысл) одна только предельно резкая, прямо-таки беспощадная *критика* положения в России, критика, которую сочувственно или даже с восхищением встретили будущие западники и негодующе либо с прямыми проклятиями — будущие славянофилы.

«Опыт времен для нас не существует, — объявил Чаадаев, — века и поколения протекли для нас бесплодно... мы миру ничего не дали... мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» и т.д. и т.п.

Как ни странно, этого рода суждения Чаадаева до сего дня служат поводом для причисления мыслителя к западникам; между тем нет сомнения — особенно если исходить из смысла письма в целом, — что Чаадаев ведет здесь речь об отсутствии в России именно *собственной, самобытной* мысли, которая должна вырасти из «опыта веков и поколений» российского бытия, а не усвоена извне, с Запада.

С западниками Чаадаева сближает только очень «резкая» и очень «преувеличенная» (по позднему признанию самого мыслителя) критика положения в России. Однако при достаточно внимательном анализе существа дела выясняется, что перед нами весьма своеобразная критика. И прежде всего необходимо понять, что это в конечном счете критика не страны, называемой «Россия», а русского *самосознания*. Чаадаев усматривает в России отсутствие подлинной (имеющей, в частности, общечеловеческое значение) мысли (Россия — «пробел в интеллектуальном порядке»).

Помимо приведенных высказываний, именно об этом многократно заходит речь в первом письме: «...неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики... Массы... не размышляют. Среди них имеется определенное число мыслителей, которые дают толчок коллективному сознанию нации (именно это “сознание”, замечу, и волнует Чаадаева прежде и более всего другого. — В.К.)... А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?..»

\* \* \*

Необходимо учитывать, что существует словно бы два феномена: Чаадаев как автор первого письма (толкуемого в качестве

беспощадного и безнадежного «приговора» России) и Чаадаев как личность, как человек в его цельности — человек, являвшийся ближайшим и едва ли не наиболее ценным другом Пушкина, обладавший наивысшей образованностью и культурой, умевший покорить, очаровать даже несогласных с ним. Так, самый страстный славянофил Хомяков говорил о Чаадаеве: «... может быть, никому он не был так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце...»

Представление о Чаадаеве как о безусловно замечательном, принадлежащем к самой избранной русской «элите» человеке утвердилось рано и прочно. И тем, кто жаждал «проклинать» Россию, было чрезвычайно *выгодно* ссылаться на мнение *такого* человека.

Между тем исходя из всей совокупности написанного Чаадаевым невозможно оспорить, что в своей критике он имел в виду не Россию, а русскую мысль и, конечно, тот слой русских людей, который обладал возможностями для развития национальной мысли, то есть людей своего круга. Между прочим, об этом остроумно писал сразу после опубликования чаадаевского письма, как некоторые полагают, тот же Хомяков: «...слова господина сочинителя (Чаадаева. — В.К.): «...Где наши мудрецы, где наши мыслители? кто и когда думал за нас, кто думает в настоящее время?» (цитируется первый, 1836 года, перевод письма. — В.К.) — сказаны им против собственного — в пользу общую — мышления. Он отрицает этим собственную свою мыслительную деятельность».

К сожалению, этот отклик был опубликован лишь в 1986 году — ровно через полтора столетия... В дальнейшем я еще буду приводить существенные доказательства в пользу того, что чаадаевская критика направлена в адрес именно русских «идеологов» и, значит, его самого: он ведь прямо писал: «Кто *из нас* когда-либо думал...», конечно же, включая в это «нас» (то есть весьма узкий тогда круг людей) самого себя.

В то же время Чаадаев, как говорится, знал себе цену и полагал (это ясно хотя бы из его писем к Пушкину), что его мысль призвана стать первым реальным шагом к самосознанию России, которое должно иметь великое *всемирное* значение. Об этом свидетельствует и его переписка с одним из крупнейших западных мыслителей — Шеллингом. В 1832 году Чаадаев писал ему: «Затерянный в умственных пустынях моей страны, я долго полагал, что я один истощаю свои силы... впоследствии я открыл, что весь мыслящий мир движется в том же направлении, и великим был для меня тот день, когда я сделал это открытие». Более того, Чаадаев «дерзал» заявить прославленному немецкому философу: «... мне будет позволено сказать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходиться в конце концов не туда, куда приходили вы» .

Вынося «русскому уму» суровый приговор («мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума»), Чаадаев имел в виду *прошлое*, а не свое время (и тем более не будущее). Он был убежден (о чем еще пойдет речь), что русский ум «дозрел» — в том числе, или, пожалуй, прежде всего, в нем самом, Чаадаеве, до всемирной роли...

Мне могут возразить, что в письме есть «критика» не только русской мысли, но и самой русской истории, вызвавшая, в частности, возражения Пушкина; но к этой стороне дела мы еще вернемся. А прежде необходимо установить следующее. Если основываться не только на первом письме (как ни печально, многие из тех, кто рассуждают о Чаадаеве, ничего другого из его наследия и не знают!), становится совершенно ясно, что резкость, даже беспощадность критики русского самосознания имеет свое глубокое оправдание: Чаадаев, как уже сказано, исходил из того, что время истинного, зрелого становления этого самосознания настало, и именно поэтому так безоглядно обличал его дефицит. Ведь и не было бы смысла настоятельно требовать от своих соотечественников такого свершения, для которого они в данный момент еще не созрели...

Нет сомнения, что одним из главных (или даже самым главным) «показателей» зрелости русского самосознания явилось для Чаадаева творчество Пушкина. Весной 1829 года (то есть во время работы над своим первым письмом, завершенной 1 декабря этого года) Чаадаев отправил поэту послание, в котором, называя его «гениальным человеком», призывал: «...погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей (то есть «гениальной». — *В.К.*)! Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг» (слово «заблудившейся» имеет в виду, надо полагать, недостаток национального самосознания).

Через два года, в 1831-м, Чаадаев опять пишет Пушкину о том же самом: «О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем...» По-видимому, Чаадаев написал это в июле—августе 1831 года в ответ на пушкинское письмо к нему от 7 июля, но — что было ему свойственно — не торопился отправить свое послание адресату. А 18 сентября, после знакомства с только что вышедшей брошюрой, где были опубликованы пушкинские стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», Чаадаев сделал следующее добавление к своему посланию (и тогда уже отправил его Пушкину): «Я только что увидел два ваших стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт: вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетво-

рения, которое вы заставили меня испытать... Стихотворение к врагам России в особенности изумительно: это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране... Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед: когда угадал малую часть той силы, которая нами (то есть русскими. — В.К.) движет, другой раз угадаешь ее наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант...»

Здесь все чрезвычайно многозначительно. Во-первых, уже одно это рассуждение начисто опрокидывает бесосновательный миф о западничестве Чаадаева. Предшественники западничества А.И.Тургенев и П.А.Вяземский (который, о чем уже говорилось, позднее был склонен как раз к русофильству) не приняли этих пушкинских стихотворений и, в частности, спорили о них с Чаадаевым. Герцен впоследствии говорил (в «Былом и думах») о «негодованиях», которое эти стихотворения Пушкина вызвали у «лучшей части нашей журналистики». Во-вторых, «удовлетворение» Чаадаева — настолько глубокое, что он не берется его «выразить», — порождено именно воплощением в пушкинском «Клеветникам России» русского самосознания («в нем больше мыслей, чем их было высказано... за последние сто лет в этой стране»).

Пушкинские стихотворения 1831 года были вызваны попытками Запада (в лице его влиятельных идеологов) навязать России свою волю в связи с тогдашним польским восстанием — вплоть до угрозы военного вмешательства. Чаадаев исключительно высоко ценил Запад, о чем мы еще будем говорить. Но он ни в коей мере не мог согласиться с каким-либо западным диктатом в отношении России. Когда позднее, в октябре 1835 года, Николай I, находясь в Варшаве, произнес речь перед представителями польской знати, категорически отвергая попытки Запада повлиять на политику России, Чаадаев воспринял это прямо-таки восторженно. Он писал тогда же об этой императорской речи:

«Могучий голос, на этих днях раздавшийся в мире, в особенности послужит к ускорению исполнения судеб наших. Пришедшая в остолбенение и ужас Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана: мы, слава Богу, *больше не принадлежим к Европе*; итак, с этого дня наша вселенская миссия началась... в данном случае само Провидение говорило устами монарха».

В России эти слова Чаадаева были опубликованы только в 1913 году, когда в его западничестве никто не сомневался и никак не хотел усомниться. Между тем эти (как и многие другие) суждения Чаадаева ясно говорят о том, что причисление его к западникам попросту абсурдно.

Грубейшее искажение подлинного смысла чаадаевской историософии объясняется в конечном счете тем, что в России готовилась грандиозная революция, и идеологи, так или иначе уча-

ствовавшие в этой подготовке, стремились использовать в своих целях все и вся. Ведь и в наследии Пушкина выдвигали на первый план произведения, написанные юношей, увлеченным декабристскими веяниями. Между тем в 1826 году в своем «Пророке» Поэт сказал о деянии явившегося ему серафима, несомненно имея в виду и эти незрелые свои сочинения:

И он к устам моим приник,  
И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный и лукавый...

Ныне, когда мы начинаем обретать объективное понимание революции, необходимо увидеть в этом свете и все развитие отечественной культуры XIX — начала XX века. И начать наиболее уместно, пожалуй, именно с Чаадаева. Кстати сказать, некоторые основные положения этой главы моей книги были высказаны (правда, менее открыто, ибо цензурные условия не позволяли тогда поступать иначе) в статье, которую я опубликовал еще в 1968 году и которая вызвала долгую идеологическую «проработку».

Но пойдем далее. В истории освоения чаадаевского наследия были попытки отхода от «общепринятого» толкования; так, когда в 1860 году Н.Г.Чернышевский получил возможность познакомиться не только с первым письмом, он написал статью, в которой со свойственной ему решительностью пересматривал репутацию Чаадаева, утверждая, что он не столько западник, сколько славянофил (что, впрочем, столь же неверно). Но статья эта не была опубликована, и, в сущности, до сего дня господствует та трактовка чаадаевской историософии, которую не единожды высказал исходивший только из первого письма (к тому же превратно истолкованного) Александр Герцен, утверждавший, что письмо является-де «мрачным обвинительным актом против России», говорящим, что «прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет».

Как уже говорилось выше, чаадаевские обвинения относились, в сущности, не к России, но к ее национальному самосознанию, которое, по мнению мыслителя, заведомо недостойно такого народа, как «русский народ, великий и мощный» (см. его приведенные выше слова 1832 года); преувеличивая, он утверждал даже, что русское самосознание еще не существует вообще.

И в чем уж Герцен и все поверившие ему были абсолютно не правы — в том, что для России, с точки зрения Чаадаева, «будущего вовсе нет». Чаадаев исповедовал *прямо противоположное убеждение*.

Прежде чем цитировать его соответствующие высказывания, следует сделать одно существенное пояснение. Те, кто рассуждали о Чаадаеве, зная не только его первое письмо (таких, увы, было не столь уж много), неизбежно сталкивались с всецело противоречащими общепринятой версии тезисами мыслителя. И чаще всего их пытались толковать как якобы позднейшие отступления,

вызванные начавшимися в 1836 году гонениями, которые-де «сломили» Чаадаева и т.д. Чтобы исключить такого рода соображения, я буду основываться на сочинениях мыслителя, созданных *до опубликования* его письма.

В 1833 году, то есть за три года до публикации первого письма, Чаадаев писал: «... мы, русские, подвигаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся несомненно. Пройдет немного времени, и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удачную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем *где-либо*». Эту уверенность Чаадаев высказывал многократно.

1834 год: «Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих ум европейцев».

1835 год: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе... она (Россия. — *В.К.*), на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки... Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас (после русских побед 1812—1815 годов. — *В.К.*) являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу». Сразу же после опубликования первого письма, в конце 1836 года, Чаадаев еще раз подчеркивал: «... у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества»; для этого, пояснял Чаадаев, «нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в его готовом виде, каким его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю возможную пользу» — то есть выработать национальное самосознание.

Горделивый прогноз Чаадаева с несомненностью осуществился уже хотя бы в том, что вскоре начали свой творческий путь Достоевский и Толстой, действительно представшие в своем творчестве как «настоящий совестный суд... перед великими трибуналами человеческого духа», что давно признано всем миром.

И приведенные высказывания мыслителя (а их можно бы значительно умножить) начисто опровергают не раз повторенное герценовское утверждение, согласно которому у России, с точки зрения Чаадаева, «нет будущего».

Здесь следует вернуться к речи Александра Блока, с упоминания о которой я начал разговор. Поэт говорил, что «лепет» Бе-

линского «над смертным одром» Пушкина «казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа... Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так». И добавил: «... приговор по этому делу — в руках будущего историка России».

Ныне есть все основания утверждать, что такое внешне парадоксальное «сближение» Белинского и шефа жандармов Бенкендорфа или, скажем, Герцена и министра просвещения в 1833—1849 годах графа Уварова вполне уместно. И в том, и в другом случае речь идет об *отношении политики к культуре*. Уваров в докладной записке Николаю I от 20 октября 1836 года определил чаадаевское письмо как «прямое обвинение прошлого, настоящего и будущего своей родины», а Герцен позднее назвал письмо (почти в тех же словах!) «обвинительным актом против России», в котором Чаадаев-де проклинает свою родину «в ее прошлом, настоящем и будущем». Разумеется, Уваров гневно осуждал, а Герцен, напротив, одобрял письмо; но это различие объясняется, в сущности, тем, что первый политик находился у власти, а второй только стремился к ней (если бы Герцен оказался у власти, он, конечно же, не стал бы одобрять проклятия и настоящего, и будущего той страны, которой он правит).

Главное же в том, что и Герцен, и Уваров в равной мере свели чаадаевскую мысль к прямолинейному «обвинению» России...

\* \* \*

Как уже сказано, в литературе о Чаадаеве предпринимались попытки толковать противоречащие западничеству высказывания мыслителя в качестве уступок господствовавшему режиму, уступок, на которые Чаадаев, мол, пошел после «скандала» вокруг его сочиненного в 1829 году и опубликованного в 1836-м первого письма.

Между тем — хотя для многих людей это будет полной неожиданностью — дело обстояло *прямо противоположным* образом: Чаадаев был настроен наиболее антизападнически как раз во время публикации своего столь ложно понятого письма! Ведь именно в конце 1835 года, всего за несколько месяцев до того момента, когда он передал свое якобы западническое письмо в журнал «Телескоп», Чаадаев восхищался резкой антизападной речью Николая I, прозвучавшей в Варшаве. Эти его слова только что цитировались — о «роковой странице... написанной рукой Петра Великого», — странице, которая теперь «разорвана», и «мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе». Как видим, Чаадаев в это время очень критически относится к западничеству самого Петра Великого! Но это был, надо прямо сказать, своего рода экстремизм, и позднее Чаадаев сумел отнестись к проблеме соотношения России и Запада вполне объективно. В его первом письме все беды России предстают, в сущности, как «следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет

развития собственного, самобытного ...Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают (невольнo напрашивается каламбур: *западают* — то есть сваливаются с *Запада*. — В.К.) к нам Бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже *развитые*. Мы *растем*, но не *зреем*; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели» (Т.1. С. 652—653).

Вполне понятно, что никаким западничеством здесь и не пахнет! И в мае 1836 года Чаадаев пишет о Пушкине, замыслившем создать историю Петра I: «Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет *разрушено* все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему...странная у нас страсть приравнять себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только».

Но через семь лет, в 1843 году, Чаадаев, в сущности, кается: «Было время, когда я ... думал, что тот великий катаклизм, который мы именуем Петром Великим, отодвинул нас назад, вместо того, чтобы подвинуть вперед; что поэтому нам нужно возвратиться вспять (то есть в допетровскую Русь. — В.К.) и сызнова начать свой путь, дабы дойти до каких бы то ни было крупных результатов в интеллектуальной области. Ознакомившись с делом ближе, я изменил свою точку зрения. Теперь я уже не думаю, что Петр Великий произвел над страной насилие, что он в один прекрасный день похитил у нее национальное начало, заменив его началом западноевропейским...»

И вот что исключительно важно в связи с этим осознать: Чаадаев не был согласен со славянофилами вовсе не из-за их чрезмерного превознесения России, но, напротив, из-за того, что они, на его взгляд, были склонны принижать мировую роль России, настаивая прежде всего или даже только на ее национально-религиозном своеобразии, которое надо оберегать, даже спасать от внешних воздействий, замкнувшись в «семейном» (славянском) кругу.

\* \* \*

Все вышеизложенное так или иначе говорит о том, что Чаадаев — подобно Пушкину — не впадал ни в западничество, ни в славянофильство; он, если угодно, возвышался над прискорбным расколом русской мысли, от которого, кстати сказать, начиная с 1840-х годов было очень нелегко удержаться.

В основе этого раскола лежало, в частности (или даже прежде всего), оценочное сравнение Запада и России, более или менее явная постановка вопроса о том (если выразиться наиболее кратко и наиболее просто), что лучше — Запад или Россия. Конечно, далеко не всегда вопрос этот ставился прямолинейно и категорически, но все же он с несомненностью проступает, скажем, в спорах Белинского и Хомякова, Добролюбова и Аполлона Григорьева.



рьева и даже позднего Владимира Соловьева и Николая Страхова и т.д.

Между тем в творчестве — в том числе в публицистике — Пушкина нет такого оценочного сопоставления Запада и России: и там, и здесь поэт видит свою истину и свою ложь, свое добро и свое зло, свою красоту и свое безобразие, свою святость и свою греховность. Об этой основополагающей для творчества Пушкина «беспристрастности» верно и глубоко сказано в последние десятилетия в трудах В.С.Непомнящего.

Но то же самое с полным правом можно сказать и об историософии Чаадаева. Мыслитель, например, исключительно высоко ценил *воплощенность* христианских идей в социальном бытии и самом повседневном быте Запада и не находил такой воплощенности в России. И, между прочим, именно эта сторона, этот аспект историософии Чаадаева особенно способствовали причислению его к западникам. Поскольку религиозные, христианские проблемы занимают преобладающее место в мысли Чаадаева, западничество стали усматривать в его приверженности (как мы увидим, мнимой) к католицизму, а не к русскому православию.

В действительности же Чаадаев утверждал «равноправие», равноценность православия и католицизма. Поэтому он, например, оспаривал Тютчева, который был склонен (хотя и не являлся последовательным представителем славянофильства) отрицать полноценность католицизма. Чаадаев писал о Западе: «Если церковь устроилась там как царство мира сего (выделенные Чаадаевым слова — цитата из статьи Тютчева «Папство и римский вопрос». — В.К.), это было потому, что она не могла поступить по-другому, это было потому, что ее великим призванием в этом полушарии христианского мира было спасение общества, которому угрожало варварство» (Чаадаев имел в виду воинственные германские племена, беспощадно сокрушавшие античную цивилизацию). И, согласно убеждению мыслителя, на Западе церковь ставила своей задачей создание «христианского общества» (как сказали бы теперь, «христианского социума»).

Между тем русский народ, утверждал Чаадаев, «принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели *социальный* характер».

Чаадаев, повторяю, восхищался западным строем жизни, в котором, по его убеждению, всесторонне воплотились, «опредметились» христианские идеи. Но он вовсе не отрицал на этом основании русскую жизнь, ибо, по его словам, поскольку «христианство осталось в ней не затронутым людскими страстями и земными интересами», оно сохранилось в «первоначальной чистоте». «Эта чистота, без сомнения, — утверждал мыслитель, — неоценимое благо, и она должна утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя». И как своего рода итог: «Благословим же небо за то, что оно поставило восточную Церковь в самые

благоприятные в мире условия для того, чтобы жить в христианском смирении и его проповедовать, но не будем слишком строго обвинять западную Церковь в честолюбии, ибо кто знает, что стало бы с восточной, окажись она в подобных условиях». Итак, Чаадаев отнюдь не возвышал католицизм над православием (и наоборот): он воспринимал их как принципиально различные, но равно имеющие право на существование христианские церкви. В связи с этим следует сказать, что, согласно представлениям Чаадаева, мышление об обществе и его истории может и должно стать «наукой» (science), которая «в области социальных идей оперирует также *беспристрастно* и безлично, как... в естественных науках... Я уверен, придет время, когда мы сумеем так понять наше прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы для нашего будущего».

Нетрудно оспорить чаадаевскую уверенность в будущем всемогуществе науки об обществе. Но плодотворнейшее «беспристрастие» в мышлении о России и Западе (и, конечно, о других «предметах») безусловно было присуще Чаадаеву, как и Пушкину. И в этом, если угодно, выразилось превосходство «единственной культурной эпохи» над позднейшим развитием русской мысли.

Поистине великолепное «беспристрастие» воплотилось в чаадаевском отношении к сложившимся на его глазах российским западничеству и славянофильству. Совокупность его суждений об этих, как он их называл, «школах» имеет первостепенное значение. Мыслитель достаточно высоко ценил усилия и тех, и других, но в то же время с замечательной меткостью говорил об их способной завести в тупик односторонности.

Слово «западник», которое тогда еще только начинало входить в язык, Чаадаев не употреблял, он писал: «Русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче: солнце это — солнце Запада».

Необходимо сознавать, что в отличие от славянофилов в глазах Чаадаева (это ясно видно из всего его наследия), как и в глазах Пушкина, «солнце Запада» излучало великий и покоряющий свет; однако он вовсе не считал, что оно может и должно быть и «солнцем России». Он недвусмысленно писал западному дипломату и публицисту графу А. де Сиркуру, что плодотворное духовное развитие России начнется лишь тогда, когда русское самосознание сумеет «свергнуть иго вашей культуры, вашего пресечения и авторитета».

И дело здесь вовсе не в том, что Запад несет в себе негативные, дурные, ложные идеи; Чаадаев ни в коей мере не разделял этих славянофильских оценок. Когда он говорил, что декабристы принесли с собой с Запада «дурные идеи», он явно имел в виду не сами по себе западные идеи, а их *неприменимость* к русскому бытию. Дело не в том, что Запад «плохой», а в том, что он *другой*... «Исходные точки у западного мира и у нас, — писал Чаадаев, — были слишком различны... Идея законности, идея права (столь

беспредельно любезная западникам. — В.К.) для русского народа — бессмыслица (выделено самим Чаадаевым. — В.К.)... Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который составляет всю поэзию нашего существования». Итак, западничество (но, конечно, не сам Запад), по убеждению Чаадаева, бесперспективно.

Но не менее беспристрастно говорил Чаадаев и о славянофилах: «Чего хочет новая школа? Вновь обрести, восстановить национальное начало, которое нация по какой-то рассеянности некогда позволила Петру Великому у себя похитить... (присущее так или иначе всем славянофилам убеждение. — В.К.). Сушая истина, — и мы первые под этим подписываемся, — что народы... не могут ни на шаг продвинуться по пути предназначенного им развития без глубокого чувства своей индивидуальности, без сознания того, что они такое; более того, лишённые этого чувства и этого сознания, они не могли бы и существовать; но именно это и доказывает ошибочность вашего учения, ибо никакой народ не утрачивал своей национальности, не перестав в то же время существовать; между тем, если я не ошибаюсь, мы как-никак существуем!»

Уместно здесь взглянуть в нашу современность и заметить, что и сегодня есть своего рода прямые продолжатели славянофилов, усматривающие уничтожение «национального начала» в российской революции. Полтора столетия назад славянофилы в сущности также толковали коренные преобразования конца XVII — начала XVIII века...

\* \* \*

В свете всего вышеизложенного обратимся теперь к знаменитому посланию Пушкина, в котором поэт оспаривал ряд положений первого чаадаевского письма. Собственно, речь должна идти даже о двух текстах — черновом и более или менее беловом (который, впрочем, также не был отправлен адресату). О послании Пушкина написано немало, но, как представляется, весьма и весьма неточно. Так, едва ли сколько-нибудь основательно положение о том, что Пушкин спорит с Чаадаевым в славянофильском (или хотя бы близком славянофильству) духе, о чем писал еще в прошлом веке П.И.Бартенев, а в наши дни, скажем, известный ученый В.А.Кошелев в статье под названием «Пушкин у истоков славянофильства», статье, где в очередной раз утверждается, что согласно «чаадаевской концепции» русское общество будто бы «должно себя «переначать» и «перестроить» в соответствии с воспринятыми извне культурными установлениями», то есть западными установлениями.

На деле перед нами характеристика вовсе не «чаадаевской концепции», а давным-давно бытующей убогой западной концепции о Чаадаеве — убогой хотя бы уже потому, что ее сконструировали люди, не знавшие ничего, кроме первого «философического письма». Мыслитель заявлял западному идеологу де Сир-

куру, что истинное развитие России невозможно, пока русский ум не сумеет «свергнуть иго вашей (то есть западной. — В.К.) культуры», а ему и теперь приписывают настоящее стремление перенести в Россию западные «культурные установления»...

Но столь же безосновательна и попытка сблизить Пушкина со славянофильством. Хомяков был со своей стороны вполне прав, когда отнес Пушкина к «художникам», которые «трудились над формой и лишены были истинного содержания», понятно, «содержания» в духе славянофильских идей.

Хоть как-либо связывать Пушкина со славянофилами невозможно уже потому, что он с юных лет и до конца жизни был певцом Петербурга, в котором Хомяков и его собратья видели, в сущности, нечто заведомо чуждое и даже враждебное России. К этому, правда, необходимо добавить, что Пушкин нисколько не принижал и бесконечно ценимую славянофилами Москву, с непревзойденной проникновенностью провозглашая:

Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось!

Уже в самом осознании равноценности Петербурга и Москвы ясно выражается пушкинский дух, не грешивший какой-либо односторонностью.

Могут возразить, что преклонение Пушкина перед Петербургом — слишком слабый аргумент для доказательства его непричастности к славянофильству. Однако в пушкинском образе Петербурга воплощен богатый и вполне определенный смысл, который в конечном счете несовместим со славянофильским пониманием России. Речь идет прежде всего о верховной роли государства (средоточием и символом которого и был с начала XVIII века Петербург). В глазах славянофилов государство представляло скорее как прискорбная необходимость, нежели двигатель истории и самой цивилизации.

Между тем в своем послании по поводу первого письма Чаадаева Пушкин писал: «Что надо было сказать и что вы сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо... Надо было прибавить (не в качестве уступки цензуре, но как правду), что правительство все-таки единственный европеец в России»; «европеец» здесь явно означает «цивилизующее» начало.

Предлагая «прибавить», Пушкин, без сомнения, подразумевал, что Чаадаев разделяет его мысль. И в самом деле: Чаадаев тогда же, в конце 1836 года (кстати сказать, не зная пушкинского послания), написал: «Мы с изумительной быстротой достигли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется Европа... но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших государей... Просмотрите от начала до конца наши летописи — вы найдете в них на каждой странице

глубокое воздействие власти... и почти никогда не встретите проявлений общественной воли».

Под «обществом» и Пушкин, и Чаадаев имели в виду ту (понятно, очень небольшую) часть населения тогдашней России, к которой и обращена была чаадаевская критика, вызвавшая полное согласие Пушкина («что надо было сказать и что вы сказали...»). А теперь перейдем к пушкинским возражениям мыслителю.

Чаадаев говорил (цитирую первый — 1836 года — перевод его письма, на который и откликнулся Пушкин) о «юности» народов Запада: «Все общества проходили через этот период. Он даровал им их живейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи... Мы не имеем ничего подобного... нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях... много ли соберете вы у нас начальных идей, которые... могли бы руководствовать нас в жизни?»

Вскоре после опубликования этого письма, в том же 1836 году, Чаадаев четко пояснил, что он имел в виду: «История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей: через события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться... эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовую и рассказывает ее... Именно этой истории мы не имеем».

Итак, согласно мысли Чаадаева, изъян истории России в том, что она представляет собой только последовательность фактов, а не связь идей, осуществившихся в фактах. Правда, он тут же делает очень важную оговорку: «... мы никогда не рассматривали еще нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих периодов нашей истории не был добросовестно оценен».

Таким образом, утверждая, что факты прошлого в России не проникнуты идеей, Чаадаев был готов увидеть в этом «вину» не русской истории, а русских *мыслителей* (или, вернее, результат их отсутствия).

Он отметил, что «Карамзин поведал звучным слогом дела и подвиги наших государей», но вполне справедливо утверждал, что пока «история нашей страны... рассказана недостаточно... Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает».

И в конечном счете именно неразработанность русской философии истории как необходимой основы национального самосознания породила резкий критический пафос Чаадаева. Он писал, например, 2 мая 1831 года по поводу декабристского бунта: «Я много размышлял о России, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде

всего — глубины. Мы прошли века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей, и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина...» Особенно примечательно, что перед нами беспощадная по отношению к героям 14 декабря цитата из письма в Сибирь к старому другу Чаадаева, одному из виднейших декабристов — И.Д.Якушкину !..

В том же 1836 году Чаадаев провозглашал: «Настоящая история народа начнется лишь с того момента, когда он проникнется идеей, которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым инстинктом, который ведет народы к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего сердца призываю для моей родины».

В своем первом письме, вызвавшем полемику Пушкина, Чаадаев определил эпоху монгольского нашествия как нечто «бессмысленное», лишенное идеи. И даже «свергнув иго чужеземное», считал Чаадаев, мы, «уединившись в своих пустынях... не вмешивались в великое дело мира», то есть у России не было подлинного исторического «предназначения».

Пушкин решительно возразил. «Нет сомнения, — писал он, — что Схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие...» и т.д.

Пушкинские возражения Чаадаеву с давних пор (о чем шла речь) толкуются как славянофильские, но дело явно не в этом. Пушкин оспаривает чаадаевское утверждение, что «монгольская эпоха» в истории России — это-де только прискорбный факт, в котором нет «идеи», нет «предназначения».

Таково же и другое пушкинское возражение. Чаадаев писал, что в начале истории западных народов есть «период сильной, страстной, бессознательной деятельности... Народы движутся в то время сильно, без видимой причины, но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. Он даровал им... все их высшие и плодотворнейшие идеи... Мы не имеем ничего подобного».

Пушкин писал об этом: «Юность России весело прошла в набегах Олега и Святослава и даже в усобицах, которые были только непрерывными поединками — следствием того брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите в вашем письме». Еще в 1827 году Пушкин сказал: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории».

Чаадаев, конечно же, имел представление о «набегах Олега и Святослава», но, движимый своим мощным критическим пафо-

сом, не пожелал увидеть в них *смысл*, который усматривал в юности народов Запада.

Итак, Пушкин спорил с Чаадаевым не о том, было ли у России историческое прошлое (а именно так обычно истолковывают их полемику), а о том, несло ли в себе это прошлое весомый смысл, идею.

Необходимо отметить также, что позднее — не без воздействия плодотворно развивавшихся в России исторических исследований — Чаадаев многое воспринимал иначе. Так, например, в 1843 году он писал о монгольском иге: «... как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того, чтобы разрушить народность, оно только помогало ей развиваться и созреть... оно сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание».

Чаадаев говорит здесь об ином смысле монгольского периода русской истории, чем Пушкин, но главное в том, что он теперь, через полтора десятилетия после своего первого письма, открыл для себя этот смысл, эту идею.

И не будет натяжкой утверждение, что, говоря с крайней резкостью об отсутствии в России национального самосознания, Чаадаев тем самым, в сущности, как бы подстегивал мыслящих русских людей (в том числе самого себя), побуждал их к постижению смысла отечественной истории.

\* \* \*

В заключение вернемся к проблеме «единственной культурной эпохи», которую сменило столь долгое — более чем полуторазековое — время раскола русской мысли на западничество и славянофильство (термины эти я употребляю в самом широком их значении). Этот раскол настолько подчинил, даже поработил общественное сознание, что, как мы видели, в его свете непрерывно стремились и стремятся истолковать состоявшийся до *действительного раскола* спор Пушкина с Чаадаевым. Более того, суждения самого Чаадаева, явно никак не уместяющиеся в рамках западничества, пытаются связать со славянофильством. Это делал в свое время Чернышевский, а в наши дни, например, издатель сочинений Чаадаева З.А.Каменский.

Стоит, правда, отметить, что Каменский пишет и о прямо противоположном устремлении мыслителя, утверждая, в частности: «Чаадаев дает развернутую критику политики русского царизма — цензуры, ограждавшей Россию от влияния освободительных идей... Запада» и т.п.

Выше шла речь о том, как оценивал Чаадаев усвоение этих «освободительных идей» декабристами. Но еще выразительнее другое. В 1846 году Чаадаев в письме в Париж А. де Сиркуру резко говорил об отсутствии демократических свобод в России, где, по

его словам, «все направлено к порабощению личности и мысли»; ясно, что он имел в виду здесь и свою собственную судьбу. Но, как это ни неожиданно для тех, кто видит в Чаадаеве западника, он скорбит вовсе не из-за «ограждения» России от «влияния освободительных идей Запада», а по противоположной причине.

«Можно ли ожидать, — пишет он, — чтобы при таком беспримерном в истории социальном развитии... народный ум (в оригинале письма — l'intelligence nationale, и, пожалуй, правильнее перевести словами «национальное сознание». — В.К.) сумел свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек... Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь».

Итак, Чаадаева заботили вовсе не «ограждения» на пути западных идей в Россию, а препоны развитию *собственно русского* национального самосознания, хотя это вовсе не значит, что он был славянофилом.

Попытки причислить Чаадаева как к западникам, так и к славянофилам не только не соответствуют реальности, но и заслоняют от нашего взгляда великую, уникальную ценность Пушкинской эпохи. Как представляется, в наше время, через восемь десятилетий после революции (устремление к которой и явилось едва ли не главной причиной российского «раскола»), мы обретаем возможность так или иначе восстановить присущее Пушкинской эпохе понимание соотношения России и Запада в качестве равноправных и равноценных исторических реальностей.

Напомню еще раз слова Пушкина: «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою... история ее требует другой мысли, другой формулы» — и Чаадаева: «... мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали... У нас другое начало цивилизации... нам незачем бежать за другими». При этом, понятно, необходимо ни на миг не забывать, что и Пушкин, и Чаадаев предельно высоко ценили западную культуру и цивилизацию и никогда не впадали в славянофильское принижение устоев и ценностей Европы.

Вместе с тем Чаадаев, который постоянно и глубоко изучал западную мысль, ясно видел, что в Европе совершенно не понимают России. Он писал тому же де Сиркуру: «Не могу надивиться на то, что делается с вашими наиболее серьезными мыслителями, как только они оказывают нам честь заговорить о нас. Точно мы живем на другой планете, и они могут наблюдать нас лишь при помощи одного из тех телескопов, которые дают обратное изображение...»

Что же касается России, Чаадаев многократно говорил, что русскому взгляду (в том числе взгляду на Запад) присуще уникальное «беспристрастие». И среди его формулировок «русской идеи» весомое место занимает утверждение 1835 года о том, «что



Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее...».

Как всем известно, именно этот вывод из осмысления творчества Пушкина был провозглашен через сорок пять лет в великой речи Достоевского, напоминанием о которой вполне уместно завершить эту главу.

### *О тайне гибели Поэта*

О роковой дуэли 27 января 1837 года и ее предыстории написано до сего дня чрезвычайно и даже чрезмерно много. Я говорю «чрезмерно» потому, что избыточность информации нередко способна помешать пониманию сути дела не в меньшей степени, чем ее недостаточность... Скажут, что, обращаясь к этой теме, я сам увеличиваю потенциально вредную избыточность. Но, во-первых, уже давно перейден тот рубеж, на котором еще возможно было остановиться, а, во-вторых, в продолжение последних двадцати—тридцати лет в сочинениях о пушкинской дуэли явно господствует тенденция, которая, как я буду стремиться доказать, уводит в сторону от истины.

В 1916 году видный историк и литератор П.Е.Щеголев опубликовал объемистую (около 400 с.) книгу «Дуэль и смерть А.С.Пушкина», в которой подвел итоги предшествующих — восьмидесятилетних — разысканий, но позднее, в 1928-м, вышло новое, почти в полтора раза увеличившееся по объему издание этой книги, и в предисловии П.Е.Щеголев констатировал, что «новые материалы, ранее мне недоступные и раскрытые революцией в 1917 году... побудили меня к пересмотру истории дуэли».

Этот пересмотр так или иначе отразился в сочинениях и других виднейших тогдашних пушкиноведов, таких, как М.А.Цявловский, Б.Л.Модзалевский, Б.В.Казанский, Д.Д.Благой. Последний много позднее, в 1977 году, резко критически высказался о первом издании книги П.Е.Щеголева: «Национальная трагедия превратилась под пером исследователя в довольно-таки банальную семейную драму: муж, молоденькая красавица жена и разрушитель семейного очага, модный красавец кавалергард».

Резкость Д.Д.Благого имеет свое объяснение. Дело в том, что в 1960—1970-х годах часть пушкиноведов в значительной мере возвратилась к давнему и, казалось бы, полностью пересмотренному представлению о событиях 4 ноября 1836 года — 27 января 1837 года. Благой считал (и не без оснований) инициатором этого возврата А.А.Ахматову, питавшую своего рода «ревность» к жене Пушкина, ревность, которую можно понять и даже принять — как состояние души Ахматовой-поэта, но которая едва ли уместна в исследовании истории пушкинской дуэли, а Анна Анд-

реевна долго работала над сочинением «Гибель поэта». Благой писал тогда же об этом сочинении: «До крайних пределов осуждения и обвинения жены Пушкина дошла Анна Ахматова...» И поскольку главной «виновницей» гибели Поэта оказывалась его жена, вся история дуэли с неизбежностью превращалась в чисто семейно-бытовую драму...

Вслед за Ахматовой по этому пути пошли преклонявшиеся перед ней пушкиноведы — прежде всего С.Л.Абрамович. Ее сочинения, опубликованные массовыми тиражами (так, в 1984—1994 годах четыре ее книги о последнем годе жизни Поэта были изданы общим почти полумиллионным тиражом), как бы заслонили то, что написано о гибели Поэта в результате упомянутого «пересмотра».

Многие существеннейшие факты, которые, в частности, были со всей достоверностью выявлены в книге П.Е.Щеголева 1928 года, либо перетолковывались, либо попросту замалчивались в сочинениях пушкиноведов «ахматовского» направления. И цитированная отповедь Д.Д.Благого не изменила положения. В результате ныне опять, как и в начале века, широко распространено представление, сводящее историю дуэли к противостоянию Пушкина и пошлого красавчика Дантеса, что не только искажает суть дела, но и, в сущности, принижает Поэта...

Действительное противостояние с этим, по пушкинским словам, «юнцом», изрекающим «пошлости», которые к тому же «диктовал» ему нидерландский посланник Геккерн, имело место только *в самом начале* — 4 ноября 1836 года. В тот день Пушкину и нескольким близким ему людям был доставлен пасквильный «диплом», сообщавший об измене его жены. И поскольку в предшествующие месяцы Дантес довольно-таки нагло волочился за Натальей Николаевной, Поэт сгоряча (что вообще было ему свойственно) послал ему вызов. Однако на следующее же утро по просьбе заявившегося к Пушкину «приемного отца» Дантеса, Геккерна, дуэль отложили на сутки, еще через день — на две недели, а 17 ноября Пушкин взял свой вызов обратно, признав при этом устно и письменно, что Дантес — «благородный» и «честный» человек; позднее, в декабре, он в письме к своему отцу даже назвал Дантеса «добрым малым»...

Все это давно и точно известно, но, поскольку история дуэли сведена в популярных сочинениях о ней к пресловутому бытовому треугольнику, многие люди полагают, что отсрочки имели, так сказать, случайный характер, Пушкин жаждал «наказать» Дантеса и позднее, 25 января 1837 года, послал ему имевший роковые последствия новый вызов, хотя на деле-то он отправил тогда крайне оскорбительное письмо не Дантесу, а Геккерну...

4 ноября и в ближайшие последующие дни Пушкин был, как известно, наиболее откровенен со своим тогдашним молодым (ему было 23 года) приятелем — будущим незаурядным писателем графом В.А.Соллогубом, который 4 ноября принес получен-

ный им (и не распечатанный) конверт с экземпляром «диплома». Ряд сведений из воспоминаний Владимира Александровича очень важен, и мы к ним еще вернемся. Пока же отмечу, что молодой человек тогда же предложил Пушкину быть его секундантом, но тот, горячо поблагодарив, решительно возразил: «Дуэли никакой не будет...» (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т.2. С.300).

И дело здесь, очевидно, в том, что Пушкин только после отсылки вызова Дантесу вчитался в «диплом» и уяснил истинный его смысл. В нем говорилось, что Александра Пушкина «избрали» заместителем «великого магистра» ордена рогоносцев Д.Л.Нарышкина и «историографом ордена»; подписал «диплом» «непременный секретарь» ордена граф И.Борх.

Все детали здесь были, пользуясь модным сейчас определением, сугубо *знаковыми*. Во-первых, весь тогдашний свет знал, что в 1804 году молодая красавица жена Д.Л.Нарышкина (моложе мужа почти на столько же лет, что и жена Пушкина) стала любовницей императора Александра I и Нарышкин за «услуги» жены получил высший придворный чин оберегермейстера\*. И вот Пушкина, оказывается, «избрали» в «заместители» Нарышкина, «избрали» во время царствования младшего брата Александра I — Николая I!

Далее, красавица жена «непременного секретаря ордена рогоносцев» графа И.М.Борха, Любовь Викентьевна, славилась крайне легким (да и попросту непристойным) поведением, о чем говорил и сам Пушкин; но главное заключалось в том, что она была ровесницей и *родственницей* жены Поэта: ее дед И.А.Гончаров — родной брат (младший) Н.А.Гончарова, прадеда Натальи Николаевны. То есть имя графа Борха было введено в «диплом» потому, что его распутная супруга и Наталья Николаевна — из одного рода... (см. об этом: Щеголев П.С. Дуэль и смерть А.С.Пушкина. М., 1987. С.374).

Наконец, сугубо многозначительным было и «избрание» Поэта «историографом ордена». Через полгода после женитьбы Пушкина Николай I назначил его «историографом», о чем Александр Сергеевич писал 3 сентября 1831 года своему душевному другу П.В.Нащокину: «... Царь... взял меня в службу, т.е. дал мне жалования... для составления Истории Петра I. Дай Бог здравия Царю!»

Здесь целесообразно сделать краткое отступление на тему «Поэт и царь». В течение длительного времени (это началось задолго до революции) Николая I изображали в виде яростного ненавистника Поэта, думающего только о том, как бы его унижить и придавить. Это, конечно, грубейшая фальсификация\*\*, хотя вместе с

\* Пушкин ввел жену Нарышкина в свою юношескую фривольную поэму «Монах» (1813). А в 1834-м сообщал в письме к жене: «Вчера я был в концерте... в великолепной зале Нарышкина, в самом деле великолепной».

\*\* См. хотя бы цитированную выше записку царя Бенкендорфу, требующую наказать Булгарина за его нападки на Поэта.

тем определенные противоречия и даже несовместимость царя и Поэта были неизбежны. Очень характерна в этом отношении предсмертная фраза, которую, как считают многие, сочинил за Пушкина Жуковский: «Скажи Государю, что мне жаль умереть; был бы весь его», то есть, значит, при жизни — *не был...* И если даже эту фразу сочинил Жуковский, она тем более выразительна: не мог не признать и Василий Андреевич, что Поэт принадлежал иному духу и воле.

Но при всех возможных оговорках Николай I в последние годы жизни Поэта относился к нему благосклонно, что нетрудно доказать многочисленными фактами и свидетельствами. Сам Пушкин 21 июля 1831 года поведал в письме к Нашокину: «Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики». В феврале 1835-го, отмечая в дневнике, что министр просвещения Уваров «кричит» об его «Истории Пугачевского бунта» как о «возмутительном сочинении», Пушкин резюмирует: «Царь любит, да псарь не любит» («История» была издана на деньги, предоставленные царем).

Говоря обо всем этом, я отнюдь не имею намерения идеализировать отношение царя к Поэту. Как известно, после первой же их беседы 8 сентября 1826 года Николай I сказал статс-секретарю Д.Н.Блудову (и последний не скрывал этого), что разговаривал с «умнейшим человеком в России». Но необходимо иметь в виду, что «умнейший человек» потенциально «опасен» для власти, и Николай I, как явствует из ряда его суждений, это сознавал... Тем не менее Поэт в 1831 году получил статус историографа (правда, менее полноценный, чем ранее Карамзин) и царь поощрял и финансировал его работу и над «Историей Пугачева» (предложив, впрочем, заменить в заглавии сочинения «Пугачев» на «Пугачевский бунт»), и над монументальной (увы, далеко не завершенной) «Историей Петра».

И вот Пушкин, вчитавшись в «диплом», увидел, что в нем — по верному определению составителя книги «Последний год жизни Пушкина» (1988) В.В.Кунина — «содержался гнуснейший намек на то, что и камер-юнкерство, и ссуды, и звание «историографа» — все это оплачено Пушкиным тою же ценою, что и благоденствие Нарышкина. Большого оскорбления поэту нанести было невозможно...».

\* \* \*

Наиболее существенно, что «гнуснейший намек» упал на вполне готовую почву... Наталья Николаевна была первой красавицей двора, и император уделял ей достаточно явное внимание (хотя нет никаких оснований говорить о чем-либо, кроме придворного флирта). И, уезжая из Петербурга без жены, Пушкин не раз высказывал беспокойство — пусть и в шуточной форме. Так, в письме к ней из Болдина 11 октября 1833 года он настаивает: «... не кокетничай с Ц» (то есть царем). А 6 мая 1836 года — всего за

полгода до появления «диплома» — пишет ей из Москвы: «... про тебя, душа моя, идут кой-какие толки... видно, что ты кого-то (имелся в виду, вне всякого сомнения, император. — *В.К.*) довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел...»

Конечно, это можно воспринять как юмор, а не реальные подозрения, но все же... По свидетельству П.В.Нашокина, Пушкин тогда же, в мае 1836-го, говорил, что «царь, как офицеришка, ухаживает за его женою». И вот через полгода, 4 ноября, — пресловутый «диплом»...

Состояние души Поэта после того, как он вчитался в «диплом», с полной ясностью выразилось в письме, отправленном им 6 ноября министру финансов графу Е.Ф.Канкрину: «... я состою должен казне ... 45 000 руб...» Выражая желание «уплатить ... долг *сполна и немедленно*», Пушкин утверждает: «Я имею 220 душ в Нижегородской губернии... В уплату означенных 45 000 осмеливаюсь предоставить сие имение» (курсив мой. — *В.К.*).

Сторонники «ахматовской» версии пытаются объяснить этот поступок Поэта тем, что ему-де накануне дуэли с Дантесом «нужно было привести в порядок свои дела» (формулировка С.Л.Абрамович). Однако, во-первых, как уже сказано, Пушкин согласился тогда на двухнедельную отсрочку и даже утверждал, что «дуэли никакой не будет». Далее, предложение Канкрину было в сущности жестом отчаяния, а не «упорядочением» дел, ибо имение Кистенево, о котором писал Пушкин, было в 1835 году фактически передано им брату и сестре (это показал еще П.Е.Щеголев). Наконец (что наиболее важно), в письме содержалась предельно дерзкая фраза об императоре Николае I, который, писал Пушкин, «может быть... прикажет простить мне мой долг», но «я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием...» и т.д.

Эти слова не могут иметь двусмысленного толкования: ясно, что они означали отвержение каких-либо милостей царя, поскольку есть подозрения об его связи с Натальей Николаевной...

Как уже отмечалось, в первое время после появления «диплома» Пушкин был наиболее откровенен с В.А.Соллогубом, который впоследствии объяснял тогдашнее состояние души Поэта именно подозрением, «не было ли у ней (Натальи Николаевны. — *В.К.*) связей с царем...»

Ранее говорилось, что сторонники «ахматовской» версии не только искусственно перетолковывают смысл тех или иных фактов и текстов, но и замалчивают «неудобные» для этой версии документы. Так, в составленной С.Л.Абрамович хронике «Пушкин. Последний год», занявшей около 600 страниц, не нашлось места для упоминания о письме к Канкрину, между тем как его первостепенная значимость неоспорима. Ведь из беспрецедентно дерзостного письма к министру (!) с угрозой «отказаться от цар-

ской милости» явствует, что именно было *главной* проблемой для Поэта. Вопрос о Дантесе и даже о Геккерне был существенным *только* в связи с этим — главным.

Мне, вполне вероятно, возразят, что Пушкин — если исходить из написанного и высказанного им тогда — был озабочен не поведением Николая I, а кознями Геккерна (и отчасти Дантеса). Однако *писать* и *говорить* сколько-нибудь публично об императоре как соблазнителе чужих жен было абсолютно невозможно.

Вот очень многозначительное отличие двух текстов. Нам известно свидетельство о *личном* разговоре В.А.Соллогуба с видным литературным деятелем А.В.Никитенко в 1846 году: «... обвинения в связи с дуэлью пали на жену Пушкина, что будто бы была она в связях с Дантесом. Но Соллогуб уверяет, что это суший вздор... Подозревают другую причину... не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на каждого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти...» (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т.2. С.482).

Но обратимся к воспоминаниям, *написанным* Соллогубом несколько позднее (но не позже 1854 года) по просьбе биографа Поэта П.В.Анненкова и излагавшим в сущности то же самое представление о свершившемся: «Одному Богу известно, что он (Пушкин) в это время выстрадал... Он в *лице* (выделено мною. — В.К.) Дантеса искал... смерти...» (там же, с.302).

Можно спорить о том, действительно ли Поэт «искал смерти», но в данном случае важно другое: Соллогуб, излагая письменно то же самое, что ранее поведал устно, не решился упомянуть о царе; он только дал понять, что дело было *не* в Дантесе...

\* \* \*

Вглядимся внимательнее в ход событий. Утром 4 ноября 1836 года Пушкин получает «диплом» рогоносца и, не вчитываясь из-за охватившего его негодования, посылает вызов Дантесу, давно уже вертевшемуся вокруг Натальи Николаевны. Утром следующего дня к нему заявился перепуганный Геккерн — и дуэль откладывается на сутки, а после второго визита 6 ноября (как раз в день отправления столь многозначительного письма к Канкрину) — на две недели. Тогда же Поэт заверяет Соллогуба, что «дуэли никакой не будет».

И с 5 ноября Пушкин был занят отнюдь не подготовкой к дуэли, но расследованием, имевшим целью выяснить, кто изготовил «диплом». Он, в частности, попросил провести «экспертизу» «диплома» своего лицейского товарища М.Л.Яковлева как специалиста (тот с 1833 года был директором императорской типографии). И вскоре — не позднее середины ноября — Пушкин пришел к убеждению, что «диплом» сфабриковал Геккерн, хотя вместе с тем считал, что инициатором была графиня М.Д.Нессельроде — жена министра иностранных дел, о чем сказал Соллогубу. Прав-

да, тот в своих воспоминаниях, написанных не позже 1854 года, когда Нессельроде еще был всевластным канцлером, не решился назвать имя «канцлерши», ограничившись сообщением, что Пушкин «в сочинении... диплома... подозревал одну даму, которую мне и назвал», но многие исследователи полагали и полагают, что речь шла, без сомнения, о графине Нессельроде.

Пушкин, надо думать, считал Геккерна причастным к «диплomu» как раз из-за его самых тесных отношений с четой Нессельроде. Д.Ф.Фикельмон записала в дневнике еще в 1829 году о Геккерне: «... лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь (в Петербурге. — В.К.) считают его шпионом г-на Нессельроде»; очевидно, так считал и Пушкин.

Было бы бессмысленным бросить обвинение самой супруге министра, но поскольку, как был убежден Пушкин, «диплом» непосредственно сфабриковал (это пушкинское слово — «fabriqué») Геккерн, он 16 ноября вызвал его «приемного сына» (как явствует из воспоминаний К.К.Данзаса, «Геккерн, по официальному своему положению, драться не может»), который так или иначе был причастен к фабрикации. Это в сущности был *второй* вызов, и он имел *другое* значение: 4 ноября Пушкин вызвал «ухажера» своей жены, а 16 ноября — соучастника фабрикации «диплома».

В начале ноября, как уже отмечено, Пушкин отказался от предложения Соллогуба быть его секундантом, ибо «дуэли никакой не будет». И когда 16 ноября он сказал Соллогубу: «Ступайте завтра к д'Аршиаку (секундант Дантеса. — В.К.). Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь», — тот, по его признанию, остолбенел...

Новый вызов Пушкина в самом деле разительно противоречил его поведению 5—6 ноября, когда он легко соглашался на отсрочки дуэли из-за «объяснений» Геккерна\*. Так, по свидетельству весьма осведомленного П.А.Вяземского, «Пушкин, тронутый волнением и слезами отца (то есть Геккерна — «приемного отца» Дантеса. — В.К.), сказал: «... не только неделю — я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло»... Между тем 16 ноября Пушкин категорически заявил: «Ни на какие объяснения не соглашайтесь».

Однако дуэль все же не состоялась, ибо, как известно, Дантес 17 ноября объявил, что просит руки сестры Натальи Николаевны, Екатерины. Пушкин воспринял это в качестве полной капитуляции Дантеса и согласился отказаться от вызова. Но он не собирался отказываться от борьбы с тем, кто, по его убеждению, сфабриковал «диплом» (в Дантесе он видел только марионетку в

\* Итак, 6 ноября Пушкин еще не считал Геккерна изготовителем «диплома».

руках Геккерна). И 21 ноября Пушкин сказал Соллогубу: «... я не хочу ничего делать без вашего ведома... Я прочитаю вам мое письмо к старику\* Геккерну. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте».

В письме, в частности, прямо говорилось, что «диплом» составлен Геккерном. В тот же день Пушкин написал другое письмо — к министру иностранных дел графу Нессельроде. Как ни странно, оно (письмо начинается обращением «Граф» — без имени) считается адресованным графу Бенкендорфу, хотя в то же время признаются кардинальные отличия всего его тона и стиля от известных нам 58 пушкинских писем к Бенкендорфу.

П.Е.Щеголев с полным основанием определил его вначале как письмо к Нессельроде, но позднее он узнал, что через день, 23 ноября, императора посетили Бенкендорф и Пушкин, и волеяневолей стал сомневаться в адресате, поскольку, естественно, напрашивалось представление, согласно которому начальник III отделения, получив письмо, устроил Поэту встречу с Николаем Павловичем.

Между тем впоследствии выяснилось, что Пушкин вообще не отправил это письмо адресату, — и все же, вопреки логике, оно и доныне публикуется как письмо к Бенкендорфу. А ведь письмо, обвиняющее в составлении «диплома» гражданина, и тем более посланника, иного государства, следовало адресовать именно министру иностранных дел. Впрочем, важнее другое: в пушкинском письме явно выразилось враждебное пренебрежение к адресату (например: «я не хочу представлять... доказательства того, что утверждаю...»), чего нет в каких-либо пушкинских письмах к Бенкендорфу и не могло быть в данном случае, так как начальник III отделения, в отличие от Нессельроде, не имел никакого отношения к «диплому».

Впрочем, о связке Нессельроде—Геккерн речь пойдет далее. Итак, 21 ноября Пушкин прочитал Соллогубу свое крайне оскорбительное письмо к Геккерну, и Соллогуб немедля разыскал В.А.Жуковского, который тут же отправился к Пушкину и уговорил его не отсылать письмо. На следующий день Жуковский попросил Николая I принять Пушкина, и 23 ноября состоялась беседа Поэта с царем.

\* \* \*

О содержании этой их беседы, как и следующей, имевшей место за три дня до дуэли, можно, к сожалению, только гадать. По-видимому, верно мнение, что Пушкин дал 23 ноября императору слово не доводить дело до дуэли, ибо иначе была бы непонятна фраза из записки, посланной Николаем около полуночи 27 января умирающему Поэту: «... прими мое прощенье». Но гораздо важнее другое: *почему* было дано это слово и ровно два

\* Тогда было иное представление о «старости»: Геккерну исполнилось 45 лет.



месяца — до 23 января, как ясно из фактов, — Пушкин не имел намерения его нарушить? Правда, он категорически отказывался от общения с Геккерном и Дантесом, который 10 января 1837 года стал супругом сестры Натальи Николаевны и, следовательно, «родственником». Но этот отказ, выражая враждебность, в то же время предохранял от столкновений (враги постоянно оказывались рядом на балах и приемах).

Сторонники «семейной» версии дуэли утверждают, что Дантес и Геккерн, будто бы узнав о данном Пушкиным царю обещании не прибегать к поединку (это, надо сказать, только легковесная гипотеза), обнаглели от чувства безнаказанности и к 25 января довели Поэта до крайнего возмущения, заставившего его послать оскорбительное письмо Геккерну.

Как точно известно, резкий перелом в сознании Поэта произошел между 22 и 25 января. Дело в том, что 16 января в Петербург приехала душевная приятельница Пушкина, соседка его по селу Михайловское, которую он знал еще девочкой, Е.Н.Вревская. Они встречались 18 и 22 января и вели мирные беседы, но при встрече 25 января Пушкин потряс ее сообщением о близкой дуэли.

Итак, перелом произошел 23—24 января. Воспоминания Вревской дают ключ и к пониманию причины этого перелома. Пушкин сказал ей, что императору «известно все мое дело». А, по словам самого Николая I, за три дня до дуэли — то есть 23-го или 24-го — он беседовал с Пушкиным, который явно поразил его признанием, что подозревал его в «ухаживании» за Натальей Николаевной (из этого, кстати сказать, следует, что Пушкин, так или иначе, *верил* полученному им «диплому»).

Нет сомнения, что эта беседа состоялась на балу у графа И.И.Воронцова-Дашкова, продолжавшемся с 10 часов вечера 23 января до 3 часов утра 24-го. Ранее Пушкин мог встретиться с императором 19 января, на оперном спектакле в Большом Каменном театре, но Николай I сказал о «трех днях», а не о более чем недельном сроке, а известно, что у него была превосходная память.

И эта беседа Поэта с царем, как представляется, — главная тайна. Можно предположить, что в ходе беседы он убедился в абсолютной ложности своих подозрений и, следовательно, в чисто клеветническом характере «диплома», который, как он считал, состряпал Геккерн, и в результате Пушкин пишет и отправляет тому (25 января) известное нам письмо. Давно замечено, что тогдашнее состояние души Поэта выразилось в написанном им на следующий день, 26 января, письме к генералу К.Ф.Толю, в котором он, упоминая об одном оклеветанном военачальнике, многозначительно обобщал: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлетя клевета, но одно слово... навсегда их уничтожает... *Истина сильнее царя...*»

Вполне вероятна связь этих фраз с состоявшейся в ночь на 24-е беседой с Николаем. Но, конечно, это лишь предположения. Бес-

спорным является только то, что именно беседа с императором (какой бы она ни была) *определила* перелом в сознании и поведении Поэта.

Мне, скорее всего, возразят, что целый ряд свидетелей объясняли этот перелом тогдашними развязными выходками Дантеса, в частности, на том самом балу у Воронцова-Дашкова. Тем более что и в пушкинском письме к Геккерну сказано: «Я не могу позволить, чтобы ваш сын... смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры...» (речь шла о грубой остроте Дантеса на том же бале). Однако попытки объяснить «перелом» выходками Дантеса нелогичны и даже просто нелепы: ведь если бы суть дела была в этом, Пушкин послал бы 25 января *вызов Дантесу*, а не письмо Геккерну!

Далее нельзя не учитывать, что, во-первых, никто не знал тогда о пушкинской беседе с царем\*, а, во-вторых, Поэт, понятно, никак не мог упоминать о ней в письме к Геккерну. Как ни странно, до сих пор не обращено пристальное внимание на одно очень многозначительное суждение П.А.Вяземского, который более, чем кто-либо, занимался расследованием причин гибели Пушкина. В феврале—апреле 1837 года он написал об этом десяток пространных писем различным лицам и, в сущности, свел в них все к семейно-бытовой драме. Но, очевидно, его расследование продолжалось, и через десять лет после дуэли, в 1847 году, он опубликовал статью, в которой заявил: «Теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина. Но во всяком случае, *зная ход дела* (выделено мною. — В.К.), можем сказать положительно, что злорадству и злоречию будет мало поживы от беспристрастного исследования и раскрытия существенных обстоятельств этого печального события» (цит. по кн.: Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С.325). Невозможность «раскрыть» едва ли уместно объяснить иначе, чем причастностью к делу самого царя. Могут возразить, что эта невозможность была обусловлена интересами других лиц. Однако должожитель Вяземский вновь вернулся к своей цитируемой статье почти через *тридцать* лет, значительно ее переделал для собрания своих сочинений, которое начало издаваться в 1878 году, но процитированные только что фразы оставил без каких-либо изменений. То есть и через сорок с лишним лет после дуэли нельзя было «раскрыть существенные обстоятельства»; тут явно были замешаны государственные, а не частные интересы.

Как уже сказано, Пушкин был убежден, что «диплом» сфабриковал Геккерн (хотя видел за ним и «заказчицу»). Неоспоримых доказательств этого нет. Высказанное рядом авторов соображение, согласно которому Геккерн предназначал «диплом» для того, чтобы, сделав мишенью императора, отвлечь Пушкина от

---

\* И поэтому сводили все к Дантесу.

Дантеса, вряд ли хоть сколько-нибудь основательно, ибо подобное перекладывание вины на Николая I было слишком уж рискованным делом для Дантеса, волочившегося за Натальей Николаевной.

Впрочем, к вопросу об изготовителе «диплома» мы еще вернемся. В конечном счете для понимания хода событий важен в данном случае тот факт, что Пушкин был *уверен* в виновности Геккерна, а кроме того, *главным* для него был, как явствует из сообщения Николая I о наиболее остром пункте их последней беседы («я вас самих подозревал в ухаживании за моей женой»), вопрос о достоверности заключенной в «дипломе» информации... Убедившись, как я предполагаю, в ходе беседы с Николаем I, что она абсолютно лжива\*, Поэт уже не смог удержаться от отправления письма к Геккерну (как смог в ноябре 1836 года).

Очень важен (хотя до сих пор недостаточно оценен) тот факт, что, познакомившись после гибели Поэта с его письмом к Нессельроде и с текстом пресловутого «диплома», царь отреагировал на них в сущности так же, как Пушкин. Геккерн сразу стал в его глазах «гнусной канальей» и по его указанию был унижительно изгнан из России; особенный гнев Николая вызвали, без сомнения, козни не против Пушкина, а против него самого (достаточно прозрачный намек в «дипломе» на его мнимую связь с Натальей Николаевной). Некоторые исследователи гадали о том, откуда царю стало известно, что «диплом» сфабриковал Геккерн, но естественно предполагать простую разгадку — он поверил утверждению в ставшем известном ему письме Пушкина к Нессельроде.

Стоит добавить, что, выдворяя посланника (имевшего ранг «полномочного министра»), император не посчитался с заведомой оскорбительностью этого акта для Нидерландов. Правда, он письменно объяснялся с принцем Оранским, женатым на его сестре Анне, но все равно русский посланник в Нидерландах докладывал Нессельроде: «Я не мог не заметить тяжелого чувства, вызванного здесь всем этим делом, и я не скрою от вашего сиятельства, что здесь были, по-видимому, оскорблены теми обстоятельствами, которые сопровождали отъезд барона Геккерна из С.-Петербурга...»

Наконец, существеннейшее значение имеет резкий перелом в отношении к конфликту Пушкина и Геккерна со стороны императрицы Александры Федоровны, как известно, весьма сочувствовавшей «отцу и сыну». На другой день после дуэли, 28 января, она записала в дневнике: «Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать дуэли». Однако через неделю, 4 февраля, Александра Федоровна записывает: «Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын. — Я знаю теперь всё анонимное письмо, подлое и вместе с

\* Ср. в письме генералу Толю: «одно слово» уничтожает клевету.

тем отчасти верное»(то есть она замечала «интерес» своего супруга к Наталье Николаевне). Стоит отметить, что пушкиноведы «ахматовского» направления замалчивают и эту многозначительную дневниковую запись...

\* \* \*

Я, как, впрочем, и многие другие, сильно сомневаюсь в причастности Геккерна к «диплому» — уже хотя бы из-за крайней рискованности для него подобной проделки (ведь он был замешан и в волокитство Дантеса). Казалось бы, доказательством может служить тот факт, что сам Николай был уверен в виновности Геккерна. Однако, по свидетельству придворного вельможи, князя А.М.Голицына, сын Николая, Александр II, получил иную информацию: «Государь Александр Николаевич... в ограниченном кругу лиц, громко сказал: «Ну, так вот теперь знают автора анонимных писем (то есть экземпляров «диплома». — В.К.), которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде». Из этого текста, правда, не ясно, шла ли речь о графе или графине; П.Е.Щеголев считал, что о второй.

Между прочим, Нессельроде и его жена лично знали «подписавшего» клеветнический «диплом» графа Борха, служившего с 1827 года в Министерстве иностранных дел. Что же касается Нарышкина, то чета Нессельроде знала не только его и его жену, но и дочь его жены Софью, зачатую от Александра I: к ней сватался опять-таки чиновник Министерства иностранных дел А.П.Шувалов, которого по ходатайству Нессельроде произвели тогда в камергеры.

Хорошо известно, что супруги Нессельроде питали настоящую ненависть к Пушкину, который еще с юных лет, с июня 1817 года, числился на службе в Министерстве иностранных дел. 8 июля 1824 года Александр I под нажимом Нессельроде уволил Поэта со службы и отправил его в ссылку в село Михайловское.

Однако Николай I 27 августа 1826 года отменил ссылку, а в июле 1831-го распорядился о возвращении Пушкина в Министерство иностранных дел. И выразительный факт: Нессельроде, рискуя вызвать недовольство царя, в течение более трех месяцев отказывался выплачивать Пушкину назначенное ему жалованье в 5000 рублей (в год).

П.П.Вяземский (сын поэта) свидетельствовал, что существовала острейшая вражда между Пушкиным и графиней Нессельроде. Стоит сказать здесь и о том, что супруги Нессельроде были в высшей степени расположены к Геккерну и — по особенным причинам — к Дантесу: дело в том, что последний являлся родственником или, точнее, свойственником графа Нессельроде. Мать Дантеса Мария-Анна-Луиза (1784—1832) была дочерью графа Гацфельда, родная сестра которого стала супругой графа Франца Нессельроде (1752—1816), принадлежавшего к тому самому роду, что и граф Вильгельм Нессельроде (1724—1810), отец рос-

сийского министра иностранных дел (это выяснил еще П.Е.Щеголев). Поэтому не было ничего неестественного в том, что супруга министра стала «посаженой матерью» («отцом» был Геккерт) на свадьбе Дантеса с Екатериной Гончаровой 10 января 1837 года.

Вышеизложенное вроде бы дает основания для того, чтобы объяснить причастность графини М.Д.Нессельроде и в конечном счете самого графа к составлению «диплома» их *личной* враждебностью к Пушкину. Но, как представляется, главное было в другом.

Уже упомянутый хорошо информированный П.П.Вяземский писал, что графиня Нессельроде была «могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в Петербурге». Отсюда вполне понятна, как писал Павел Петрович, «ненависть Пушкина к этой представительнице космополитического олигархического ареопага... Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски».

Противостояние Пушкина и четы Нессельроде имело в своей основе отнюдь не «личный» характер, о чем убедительно писал в уже упоминавшемся исследовании Д.Д.Благой. Дело шло о самом глубоком противостоянии — политическом, идеологическом, нравственном; кстати сказать, после гибели Пушкина Тютчев (написавший об этой гибели как о «цареубийстве») словно бы принял от него эстафету в противостоянии Нессельроде\*.

По словам Благого (пожалуй, несколько вычурным, но по сути верным), Нессельроде и его круг представляли собой «антинародную, антинациональную придворную верхушку... которая издавна затаила злобу на противостоящего ей русского национального гения».

Это противостояние обострилось, показал Благой, по мере того, как Николай I все более покровительствовал Пушкину и, с точки зрения придворной верхушки, усиливалась «опасность, что царь... может прислушаться к голосу поэта». Факты достаточно выразительны: в конце 1834 года выходит в свет «История Пугачевского бунта», на издание которой император предоставил 20 000 рублей и которую намерен был учесть при разработке своей политики в крестьянском вопросе; летом 1835 года Николай I дает Пушкину, занятому историей Петра I, ссуду в 30 000 рублей; в январе 1836 года разрешает издание пушкинского журнала «Современник», первые три номера которого вышли в свет в апреле, июле и начале октября (то есть за месяц до появления «диплома») 1836 года, и, несмотря на то, что журнал назывался «литературным», на его страницах было немало «политического».

---

\* См. об этом подробно в моей книге «Тютчев».

Исследование многостороннего сближения Поэта с царем в течение 1830-х годов опубликовал недавно один из виднейших наших пушкиноведов Н.Н.Скатов («Наш современник». 1998. № 11—12). В другой статье Николай Николаевич справедливо писал о *неизбежности* противоборства Пушкина и «лагеря» Нессельроде: «Если можно говорить (а это показали все дальнейшие события) об антирусской политике «австрийского министра русских иностранных дел» (таково было ходячее ироническое «определение» Нессельроде. — В.К.), то ее объектом так или иначе, рано или поздно, но неизбежно должен был стать **главная опора русской национальной жизни** — Пушкин» («Труд». 1998, 21 августа. — Выделено Н.Н.Скатовым).

В связи с этим в высшей степени существенны суждения германского дипломата князя Гогенлоэ. Ко времени гибели Поэта он уже двенадцать лет пробыл в России, женился на русской женщине, хорошо знал и высоко ценил русскую культуру. Не менее важно, что он, во-первых, видел ситуацию, так сказать, со стороны, объективно, а во-вторых, мог выразить свой взгляд свободно, не опасаясь каких-либо «неприятностей». И 21 февраля 1837 года он писал, что о Поэте по-настоящему скорбит *«чисто русская партия*, к которой принадлежал Пушкин» и которой противостоит значительная часть аристократии.

Учитывая все это, есть достаточные основания согласиться с выводом Д.Д.Благого, что пресловутый «диплом», который, по его убеждению, был задуман в салоне графини Нессельроде, преследовал цель вовлечь Пушкина «в прямое столкновение с царем», которое, при хорошо всем известном и пылком нраве поэта, могло бы привести к тягчайшим для него последствиям» — и в самом деле привело... Много лет близко наблюдавший графиню Нессельроде М.А.Корф (тот самый, который был одноклассником Поэта в Лицее), отметил: «вражда ее была ужасна и опасна»...

Необходимо осознать, в частности, что конфликт с императором, независимо от его причины, никак не умещался в границы «семейной драмы» (в отличие от конфликта с Дантесом).

Хотя подтверждений решающей роли «салона Нессельроде» в появлении «диплома» не так уж много, несколько исследователей убежденно признавали эту роль, Д.Д.Благой не был здесь первооткрывателем. В 1928 году П.Е.Шеголев отметил, что «слишком близка была прикосновенность супруги министра к дуэльному делу». В 1938-м Г.И.Чулков, автор книг не только о Пушкине, но и о российских императорах, писал: «В салоне М.Д.Нессельроде... не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа... ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу...» В 1956 году И.Л.Андронников утверждал: «Ненависть гра-

---

\* О более ранних попытках «поссорить» Поэта и царя говорится в известных «Записках А.О.Смирновой».

фини Нессельроде к Пушкину была безмерна... Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного «диплома»... Почти нет сомнений, что она — вдохновительница этого подлого документа».

Не исключено такое возражение: перед нами, мол, утверждения представителей послереволюционного, советского литературоведения с характерной для него политизированностью и идеологизированностью. Однако выдающийся поэт и один из наиболее глубоких пушкинovedов Владислав Ходасевич в 1925 году опубликовал в эмигрантской газете небольшое сочинение под названием «Графиня Нессельроде и Пушкин», в котором с полной убежденностью говорится о графине как заказчице «диплома».

\* \* \*

Как уже сказано, причастность Геккерн — несмотря на всю его близость к чете Нессельроде — к «диплому» представляется весьма сомнительной. Гораздо более достоверна версия Г.В.Чичерина, хотя излагающее ее письмо к П.Е.Щеголеву, опубликованное двадцать с лишним лет назад\*, не нашло должного внимания пушкинovedов (по-видимому, в связи с господством чисто «семейного» толкования событий).

Необходимо иметь в виду, что Г.В.Чичерин, известный как нарком иностранных дел в 1918—1930 годах, во-первых, принадлежал к роду, давшему целый ряд видных дипломатов, хорошо осведомленных о том, что делалось в Министерстве иностранных дел при Нессельроде, во-вторых, его дед и другие родственники лично знали Пушкина, а его тетя, А.Н.Чичерина, была женой сына Д.Л.Нарышкина, о котором и говорилось в «дипломе»... И Г.В.Чичерин, надо думать, опирался на богатые семейные предания. В письме Чичерина от 18 октября 1927 года как о само собой разумеющемся говорится о том, что инициатором «диплома» была графиня Нессельроде, но составил его по ее указанию вовсе не Геккерн, а Ф.И.Брунов (или, иначе, Брунов) — чиновник Министерства иностранных дел. Примечательно, что в 1823—1824 годах он служил вместе с Пушкиным в Одессе и вызвал негодование Поэта своим пресмыкательством перед вышестоящими. А в 1830-х годах Брунов стал «чиновником по особым поручениям» при Нессельроде и в 1840 году получил за свои заслуги — или услуги — престижный пост посла в Лондоне. Стоит сказать, что накануне роковой для России Крымской войны Брунов (как убедительно показано в знаменитом исследовании Е.В.Тарле «Крымская война») неоднократно отправлял в Петербург дезинформирующие донесения, внушавшие, что Великобритания отнюдь не намерена начать войну против России...

В своем неотправленном письме к графу Нессельроде от 21 ноября 1836 года Пушкин сказал о «дипломе» (он назван «ано-

\* «Нева». 1976. № 12.

нимным письмом») следующее: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Это характеристика барона Геккерна, но она полностью применима к графу Брунову, который родился и до двадцати одного года жил в Германии.

Конечно, вопрос о роли Брунова нуждается в специальном исследовании, но по меньшей мере странно, что в течение долгого времени никто не занялся таким исследованием.

Предложенное выше истолкование событий 4 ноября 1836 года — 27 января 1837 года, разумеется, можно оспаривать. Но, как представляется, невозможно спорить с тем, что гибель поэта имела не только «семейную», но и непосредственно *историческую* подоплеку, хотя в большинстве новейших сочинений это, в сущности, игнорируется.

Из приведенных выше свидетельств В.А.Соллогуба, Е.Н.Вревской, самого Николая I, а также письма Пушкина к Канкрину, намеков в сочинениях П.А.Вяземского и т.д. с достаточной ясностью следует, что суть дела заключалась в коллизии Поэт—царь, исходным пунктом которой явился «диплом», к тому же упавший на почву пушкинских «подозрений».

Сам же «диплом» был составлен опять-таки не ради личных интересов кого-либо, а с целью рассорить Поэта с императором, ибо имели место обоснованные опасения, что Пушкин может обрести существеннейшее воздействие на его политику. Это, разумеется, отнюдь не означает, что в салоне Нессельроде была запланирована состоявшаяся 27 января дуэль; но именно «диплом» явился «пусковым механизмом» тех мучительных переживаний и событий, которые в конечном счете привели к этой дуэли.

Наконец, свидетельства императора Александра II, П.П.Вяземского и — впоследствии — опиравшегося на семейные предания Г.В.Чичерина, а также резкое письмо Пушкина к Нессельроде (совершенно безосновательно публикуемое как письмо к Бенкендорфу) недвусмысленно говорят о том, что «диплом» исходил из салона Нессельроде, а салон этот тогда — во второй половине 1830-х годов — был, по определению М.А.Корфа, «неоспоримо первый в С.-Петербурге» и играл очень весомую *политическую роль*. И едва ли уместно видеть в фабрикации «диплома» сведение каких-либо *личных* счетов. Дело шло о борьбе на исторической сцене, и гибель Пушкина — подлинно историческая трагедия. Напомню его строки:

На большой мне, знать, дороге  
Умереть Господь судил...

Нельзя отрицать, что историческая трагедия имела вид семейной, и именно так воспринимало и продолжает воспринимать ее преобладающее большинство людей. Но под треугольником Наталья Николаевна — Пушкин — Дантес (вкуче с его так называ-



емым «отцом») скрывается (если взять ту же геометрическую фигуру) совсем иной треугольник: Николай I — Пушкин — влиятельнейший политический салон Нессельроде (и в конечном счете сам министр). И гибель Поэта в этой коллизии была в полном смысле слова *исторической* трагедией...

\* \* \*

Необходимо сказать о еще одной стороне дела, которая при верном ее освещении даст дополнительные аргументы в пользу изложенного представления о происшедшем. Как известно, немало близких Поэту людей — Вяземские, Карамзины, Россеты и другие достаточно резко осуждали его поведение накануне дуэли, ибо полагали, что оно обусловлено чрезмерной и к тому же не имевшей серьезных оснований *ревностью* к Дантесу.

И надо прямо сказать (хотя, конечно, многим трудно будет согласиться с моим утверждением), что эти люди были, со своей точки зрения, в той или иной мере *правы*... Поскольку им представлялось, что Поэтом движет прежде всего или даже исключительно ревность к Дантесу, их упреки понятны и по-своему справедливы...

Вечер 24 января — то есть уже после беседы с императором и всего за два дня до дуэли — Пушкин провел в доме женатого на дочери Карамзина Екатерине Николаевне князя П.И.Мещерского, где присутствовали тогда Вяземский, другая дочь историка — Софья и другие, в том числе и Дантес с женой. Софья Карамзина написала об этом вечере своему брату Андрею: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое выражение тигра... В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».

Примечательно, что Софья Николаевна сочла происходящее «очень странным», то есть не объясняемым известными ей фактами, как бы догадываясь, что имеет место не только пресловутая «ревность», хотя вообще-то окружающие в конечном счете сводили все к ней.

Еще более существенно, что на следующий день Поэт явно попытался убедить своих друзей в отсутствии этой самой ревности. 25 января вечером он был у Вяземских, и опять там присутствовали Дантес с женой... Правда, не было самого хозяина: он уехал на бал к Мятлевым, осуществляя, возможно, свое обещание «отвратить лицо» от Пушкиных. Но позднее и жена, и сын Вяземского вспоминали, что Поэт сказал им о Дантесе: «... с этим молодым человеком мои счеты кончены», то есть дело вовсе не в ревности к пошлому юнцу, а в чем-то ином...

Ясно, что Пушкин не мог говорить о «роли» императора; он упомянул о нем в тот же день (другие такие факты не известны) в разговоре с Е.Н.Вревской, которая не была связана с петербургским светом.

Повторю еще раз: друзья Пушкина, убежденные, что причина его поведения — ревность к Дантесу, были в сущности правы в своих упреках. И с этой точки зрения нелогична позиция упомянутой современной исследовательницы С.Л.Абрамович, которая предлагает, в сущности, такое же толкование преддуэльной ситуации, как и тогдашние пушкинские друзья, но в то же время гневно их *обличает* за упреки Поэту!..

Поскольку всецело господствовало представление о дуэли как результате чисто семейной коллизии, целый ряд выдающихся людей упрекали Поэта даже и *после его гибели!*

Так, Евгений Боратынский писал: «... я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, *недоумением* (выделено мною. — В.К.), беспрестанно спрашиваю себя: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной...?»

Более резко судил Поэта А.С.Хомяков: «Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом... Жалкая репетиция (здесь — «повторение». — В.К.) Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было... Пушкин не оказал твердости в характере...»

Упреки содержатся, в сущности, даже и в знаменитом стихотворении Лермонтова: «невольник чести... не вынесла душа поэта позора *мелочных* обид... зачем он руку дал клеветникам ничтожным?...» и т.п. И следует признать, что, если бы суть дела состояла в конфликте с Дантесом, эти упреки были бы в какой-то мере оправданными... Но выше приведены факты и свидетельства, которые убеждают, что гибель Поэта имела совсем иную и неизменно более существенную подоснову.

И последнее (но далеко не последнее по своей важности) соображение. Лермонтов недоумевал — или даже обвинял Пушкина:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной  
Вступил он в этот свет завистливый и душный...

Казалось бы, с этим мог согласиться и сам Александр Сергеевич, который в 1834 году написал начальные строфы стихотворения

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —

завершение которого он наметил прозой так: «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь...»

Да, это стремление — и достаточно сильное — присутствовало в душе Поэта в зрелые его годы. Но, сознавая свое высшее назначение (что недвусмысленно выразилось в его «Памятнике»), Пушкин испытывал и более сильное стремление находиться в *центре бытия* России. Нередко утверждают (особенно авторы «ахматовского» направления), что Александр Сергеевич был при импера-

торском дворе только ради желавшей блистать на балах Натальи Николаевны\*. Однако Поэт высоко ценил возможность влиять на верховную власть; так, после «долгого разговора» с братом царя, великим князем Михаилом Павловичем, он записал в дневнике: «Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра».

Вообще едва ли Пушкин был бы именно таким, каким мы его знаем, если бы он осуществил то стремление, о котором говорится в стихотворении «Пора, мой друг, пора...». Так поступил, кстати сказать, Евгений Боратынский, живший в зрелые годы, главным образом, в деревне, но ведь он — при всех его достоинствах — все же никак не Пушкин...

### «Посмертная книга»

В отечественном самосознании живут, то противореча друг другу, то сливаясь воедино, два представления о пушкинском творчестве. Его поэзия воспринимается и как предельно близкое всем и каждому, заведомо общедоступное наследие, и как явление, исполненное великой тайны, требующее глубочайшего — и никогда не достигающего последней глубины — духовного проникновения.

Когда-то Виссарион Белинский провозгласил: «Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства». А ведь для того чтобы «образовывать» юное чувство, поэзия должна быть внятна еще не развившемуся и отнюдь не изощренному восприятию отрока. И пушкинская поэзия действительно в той или иной мере и степени открыта для неопытных душ.

Но в то же время о поэзии Пушкина размышляли как о *предельно трудно постигаемом* феномене Иван Киреевский и Николай Гоголь, Федор Достоевский и Аполлон Григорьев, Владимир Соловьев и Василий Розанов, Вячеслав Иванов и Семен Франк, Александр Блок и Сергей Булгаков, Владислав Ходасевич и Георгий Фелотов, Анна Ахматова и Сергей Бонди. Все они открывали в творчестве поэта нечто ранее неизвестное, и все они, так или иначе, признавали *неисчерпаемость* Поэта. Да, каждая эпоха открывала в поэзии Пушкина не освоенное ранее богатство, и это всецело относится к нашему времени; чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать в книги и статьи таких современных мыслящих пушкиноведов, как Сергей Бочаров, Валентин Непомнящий, Петр Палиевский, Николай Скатов.

---

\* Стоит сказать, что ее бальная жизнь была довольно-таки ограниченной, ибо, выйдя замуж в 1831 году, она *каждую* осень оказывалась беременной, притом почти все ее роды приходились на май, то есть вскоре после разгара балов в конце зимы (Масленица); 4 марта 1834 года у ней сразу после бала случился выкидыш, и в 1835 и 1836-м (роды в эти годы пришлись на май) она уже не «плясала» (по слову Пушкина)...

Противоречие открытости, простоты, прозрачности пушкинского наследия, с одной стороны, и его же непостижимой глубины и богатства — с другой, давно стало своего рода камнем преткновения для *зарубежных* исследователей и толкователей русской литературы. Это хорошо показано в содержательном обзоре современного западного пушкиноведения, написанном Ренатой Гальцевой и Ириной Роднянской. Они, в частности, приводят слова норвежца (а в Норвегии русская литература пользуется немалым вниманием) Э.Эгеберга: «Перед желающими изучать Пушкина встает у нас своеобразное затруднение. До сознания публики предстоит довести, что именно он, а не Достоевский или Толстой, считается у русских величайшим национальным писателем». Английский критик Д.Дэви высказался по этому поводу более резко: «Уж не дурачат ли нас, пользуясь нашим легковерием?! Подозрение недостойное, но неизбежное». Другой англичанин, А.Бриггс, откликнулся на эти слова так: «Даже рискуя прослыть адвокатом дьявола, невозможно полностью игнорировать возглас Дэви».

Это вовсе не новое недоумение; авторы обзора напоминают давнее суждение Флобера о Пушкине в разговоре с Тургеневым: «Он плоский, этот ваш поэт». Но тут же Гальцева и Роднянская показывают, что в наше время наметился явный сдвиг в западном восприятии Пушкина: «... там, где Флобер, а вслед за ним и другие видели «плоскость», теперь перед наиболее проницательными авторами открывается глубина». Как писал (в 1983 году) уже упомянутый А.Бриггс, в поэзии Пушкина «идеи внушаются столь непринужденно... что поначалу они и не кажутся мыслями, тем более серьезными», то есть мысли вроде бы есть, но их не воспринимают.

Прямо-таки замечательно, что сам-то Пушкин в мае 1826 года написал Петру Вяземскому: «Твои стихи... слишком умны. А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Одни выражали по поводу этого пушкинского требования недоумение, другие как бы испуганно обходили его стороной. А ведь выглядящее озорным парадоксом требование, в сущности, совпадает с тем определением *высшего* уровня искусства (и, конечно, поэзии), которое ранее, в 1790 году, сформулировал в своей «Критике способности суждения» Иммануил Кант, утверждая, в частности, что «целесообразность» в произведении искусства «должна казаться столь свободной... как если бы оно было продуктом одной только природы... не основываясь ... на понятиях». Иначе говоря, поэзия не должна представлять как продукт человеческого ума, то есть, если угодно, должна быть «глуповатой» (ведь в «продукте природы» человеческого ума нет).

Могут возразить, что Пушкин был слишком далек от Канта и вообще философской эстетики и потому стремление найти здесь перекличку неправомерно. Но это ведь не так или, по крайней мере, не совсем так. Во-первых, Пушкин еще в лицее достаточно

широко познакомился с наследием Шиллера, который во многом был связан с кантовской эстетикой, а во-вторых, едва ли стоит недооценивать суждение Пушкина, относящееся к 1830 году (уже после нескольких лет его тесной близости со штудировавшими Канта «любомудрами»), о том, что «эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью...».

Своим дерзким «поэзия должна быть глуповата» (и потому стихи, которые «слишком умны», заведомо сомнительны) Пушкин как бы заранее отвел все характерные для иностранцев претензии к его творчеству. И Рената Гальцева, и Ирина Роднянская с удовлетворением излагают всецело оправдывающие пушкинскую поэзию выводы А.Бриггса: «... его (Пушкина. — В.К.) взгляд на мир стоит метафизической системы. В такой системе у поэта и не было надобности, он был философом опыта... Важно, — резюмируют авторы обзора, — что в Пушкине найден ключ к жизненной мудрости, превосходящей отвлеченные истины». И Бриггс с почтительным изумлением открывает, что на родине поэта «к нему относятся сразу как к личному другу, как к кровному родственнику и как к полубогу...».

Это суждение возвращает нас к тому, с чего мы начали: Пушкин предельно близок каждому русскому, но одновременно он недостижимый полубог, стоящий выше кого бы то ни было (по крайней мере, из людей русской культуры). На эту двойственность четко указал Гоголь еще при жизни поэта, за два года до его гибели. С одной стороны, Гоголь констатировал: «Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм». С другой стороны, участь *зрелого* творчества Пушкина Гоголь представил в совершенно ином свете. «По справедливости ли оценены последние его поэмы?» — вопрошал он, а далее специально говорил о зрелых *стихотворениях*, в которых, по его убеждению, «Пушкин разносторонен необыкновенно и *является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах...* большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы... Чем более поэт становится поэтом (это уместно конкретизировать: чем более Пушкин становится Пушкиным. — В.К.)... тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и наконец так становится тесен, что он может *перечесать по пальцам* всех своих *истинных ценителей*» (выделено мною. — В.К.).

\* \* \*

Здесь мы соприкасаемся с особенной и, как я попытаюсь показать, чрезвычайно существенной стороной проблемы: Гоголь, констатировав ни с чем не сравнимую «общедоступность» пушкинской поэзии, затем как-то даже неожиданно сообщает, что

«лучшие», наиболее зрелые стихотворения ценят по достоинству (в 1834 году) всего лишь *несколько человек* (их можно «перечсть по пальцам»).

Начиная с 1831 года Гоголь находился в тесном общении с Пушкиным и, по всей вероятности, слышал (или читал в рукописи) высказывания Поэта, близкие к тому, что о нем написал. Ибо в косвенной форме Пушкин утверждал, в сущности, то же самое, что и Гоголь. Осенью 1830 года он записал в своем Болдине (набросок этот был опубликован лишь после его гибели): «Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому ... Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет... Песни его уже не те. А читатели те же ... Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка еще *обнародывает* свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных...» (выделено мною. — *В.К.*).

Знатоки пушкинских текстов напомним, что перед нами отрывки из его незавершенной статьи о *Боратынском*<sup>\*</sup>; более того, Пушкин отчасти просто пересказывает здесь мысли из письма Боратынского. Но ясно выраженное нежелание «обнародывать свои произведения» принадлежит самому Пушкину. Боратынский не только не говорил об этом, но и опубликовал при жизни все свои стихотворения, кроме немногих эпиграмм и иных «стихов на случай» (а также, естественно, нескольких предсмертных, которые просто не успел отдать в печать).

Между тем Пушкин за шесть с лишним лет, которые довелось ему прожить после «болдинской осени», так и не обнародовал большую часть созданных им в Болдине «высших» стихотворений («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Заклинание», «Румяный критик мой...», «В начале жизни школу помню я...», «Для берегов отчизны дальней...», «Моя родословная», «Два чувства дивно близки нам...», «Паж, или Пятнадцатый год» и др.). При этом необходимо иметь в виду, что ранее, до 1830 года, Пушкин обычно без промедления публиковал свои новые стихотворения (исключая, понятно, те, которые не соответствовали цензурным требованиям). Однако начиная с «болдинской осени» положение решительно изменилось, и более трех десятков стихотворных шедевров оставались до его гибели в рукописях (к цензурным условиям это не имело никакого отношения).

---

\* Как ни прискорбно, имя поэта нередко искажают. По случайным причинам (о коих трудно рассказать коротко) возникло ложное написание «Баратынский». Между тем в тщательно подготовленной поэтом последней его книге «Сумерки» он именовал себя Боратынским, а его задушевный друг поэт Николай Коншин позднее засвидетельствовал, что «Боратынский всегда употреблял *о* и горячо всегда отстаивал честь этого *о*». Тем не менее некоторые, лишенные должной ответственности редакторы и авторы еще и сегодня позволяют себе повторять случайную графическую неточность.

М.П.Погодин сообщал С.П.Шевыреву после возвращения поэта из Болдина: «Пушкин написал тьму. Он показывал и читал мне все по секрету, ибо многое хочет выдавать без имени». И действительно, написанное в Болдине стихотворение «Герой» было опубликовано в № 1 журнала «Телескоп» за 1831 год анонимно, очевидно, потому, что Пушкин, согласно его собственным словам, в то время «встречает холодность...». Впрочем, поэт не продолжил эту тактику и просто не стал обнародовать многие вершинные свои стихотворения.

Наиболее прискорбное впечатление произвела на Пушкина, надо думать, реакция на опубликованное им в мае 1830 года стихотворение «К вельможе» (оно было озаглавлено «Послание К.Н.Б.Ю.», то есть князю Николаю Борисовичу Юсупову). Не восприняв той глубокой и всеобъемлющей *поэтической историософии* (о ней пойдет речь далее), которая воплотилась в «послании», критика встретила его издевательскими нападками на низкопоклонство поэта перед вельможей... По-видимому, именно эта травля вызвала строку в написанном вскорее, в июле 1830-го, пушкинском сонете «Поэту»:

...Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...

(Опять этот «холод».) Пушкин явно не желал встречать «холодность» по отношению к прекраснейшим своим стихотворениям и предпочитал знакомить с ними только очень немногих, способных понять их людей. Среди них было, очевидно, и Гоголь. В уже цитированном очерке он с восхищением писал о поздних «мелких сочинениях» (то есть именно *стихотворениях*, которые Гоголь ставил даже выше пушкинских поэм): «Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения... Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия... Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства...» Гоголь явно основывался здесь — хотя бы отчасти — на *неопубликованных* стихотворениях Пушкина; по-видимому, именно поэтому он ничего не процитировал, не привел ни одного названия стихотворений.

Мое соображение подтверждается известным письмом другого великого современника Пушкина, Евгения Боратынского, который в последние годы жизни поэта общался с ним очень редко и до 1840 года не знал его высших произведений. В начале февраля 1840 года Боратынский писал жене из Петербурга: «...был у Жуковского, провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формой... Все последние пьесы его отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною! Он только что созревал. *Что мы сделали, россияне, и кого погребли?* — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления». Пря-

мо-таки невозможно не задуматься самым серьезным образом над этим текстом: только познакомившись с посмертными стихотворениями Пушкина, Боратынский действительно осознал, *кого* погребла Россия три года назад!

Гоголь, в отличие от Боратынского, был в постоянном общении с Пушкиным, знал то, что стало известно Боратынскому лишь в 1840 году, и потому уже в конце 1834 года смог написать: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа...» — слова, к которым Боратынский, наверное, присоединился бы в 1840-м, но не раньше; ведь в 1832 году он писал, например, о «Евгении Онегине»: «Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам, более, чем из настоящей потребности выражаться». Иначе говоря, Боратынский не видел в пушкинском романе в стихах высокого содержания, выражения глубокого и рвущегося из души («настоящая потребность выражаться») смысла; взгляды Боратынского, по сути дела, совпали с высказываниями многих позднейших *западных* судей Пушкина...

\* \* \*

Итак, вырисовывается несколько странная — и, по всей вероятности, для многих читателей неправдоподобная — ситуация: те, кто знали поздние стихотворения Пушкина, и те, кто не знали их, весьма различно оценивали творчество Поэта. К этому надо добавить следующее. Пушкин, встретив холодное восприятие своих наиболее зрелых стихотворений, почти перестал «обнародывать» их (помимо того, он имел намерение, от которого, правда, после первого же опыта отказался, «выдавать без имени»). Но в известном смысле это еще ухудшило дело: Боратынский, например, только через три года после гибели Поэта познакомился с его шедеврами...

Чтобы ситуация, о которой идет речь, стала в глазах читателей более правдоподобной, сошлюсь еще на одного свидетеля — Виссариона Белинского. Именно в то время (конец 1834 года), когда Гоголь (знавший неопубликованные стихотворения Пушкина) завершал свои восторженные «Несколько слов о Пушкине», Белинский опубликовал такой приговор: «...Тридцатым годом кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры».

Сейчас это, конечно, воспринимается как нелепость: ведь выходит, что Пушкин «кончился» в Болдине, ибо «болдинская осень» — это осень именно «тридцатого года»! Вместе с тем Белинский не без чуткости отметил тогда же: «У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы». (Белинского, понятно, не известили, что поэт решил не обнародовать большинство своих стихотворений.)



В той же статье 1834 года Белинский утверждал: «Пушкин царствовал десять лет (то есть в течение 1820-х годов. — В. К.)... Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер (! — В.К.) или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет...» Сегодня это читается, по меньшей мере, с удивлением, но Белинский выразил безусловно господствовавшее тогда представление; ранее, в 1832 году, примерно то же самое писали о Пушкине влиятельные критики Н.И.Надеждин и Н.А.Полевой. Позднее, когда «посмертные» произведения Пушкина были изданы, Белинский судил о позднем творчестве поэта совершенно иначе и в 1844 году напоминал, что зрелая поэзия Пушкина «аристархами того времени... была принята очень дурно...». В лучших произведениях поэта, возмущался Белинский, «критиканы 1832 года (имелись в виду Надеждин и Полевой. — В.К.) увидели несомненные признаки падения Пушкина!.. То-то были люди со вкусом!..»

Наверное, можно с полным правом обратить ядовитые слова Белинского к нему самому, и он, конечно, понимал, как заблуждался в 1834 году (даже признавался в письме к Герцену от 6 апреля 1846 года: «И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я... всегда могу отпереться от того, что говорил встарь, если б меня стали уличать»). Однако, если всерьез разобраться в существе дела, «вина» Белинского не столь уж велика; к тому же ее разделял с ним, как мы видели, даже ближайший сподвижник Пушкина — Боратынский. «Виноват», если угодно, был и сам Пушкин, который многое не стал обнародовать. Впрочем, проблема гораздо сложнее, и здесь мы подходим к самому, пожалуй, существенному ее аспекту.

Выше приводились слова Гоголя о Пушкине как о «чрезвычайном», «единственном» явлении русского духа. Конкретизируя свое утверждение, Гоголь продолжал: «... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». «Двести лет» (которые должны исполниться в 2034 году), как уже говорилось, едва ли следует понимать в буквальном смысле. Речь идет просто о дальней перспективе, о некоем заветном будущем вообще. Важнее, пожалуй, другая сторона дела: Гоголь, по существу, имел в виду, что русский человек (разумеется, русский человек вообще, то есть как бы Россия в целом) действительно *поймет* Пушкина лишь тогда, когда достигнет его духовного уровня.

Пушкин сознавал (это ясно чувствуется в «Памятнике»), что его признание — и, конечно, понимание — будет расти и расти. И в том, что он не хотел публиковать свои высшие творения, позволительно увидеть не только нежелание «встречать холодность», но и гораздо более существенный смысл: Пушкин как бы оставлял эти творения для *будущего*, обращал их не к современникам, а к «русскому человеку в его развитии» (так сказать, «полном» развитии). И это стремление, эта воля поэта, проявленная в

отношении целого ряда наиболее зрелых его стихотворений, так или иначе осуществилась, реализовалась...

Мне возразят, что я фантазирую: ведь после гибели Поэта не опубликованные им произведения стали появляться в печати и давно доступны любому, кого интересует пушкинское наследие. Казалось бы, тут не о чем спорить. Тем не менее при специальном исследовании выясняется, что не обнародованные Пушкиным стихотворения — по крайней мере, большинство из них — не вошли (и в значительной степени до сих пор не входят!) в своего рода канонический, основной фонд пушкинской поэзии. Они почти не включаются в антологии и хрестоматии, редко характеризуются (а иные из них и вообще не упоминаются) в громадной по объему пушкиноведческой литературе и т.д.

Проблема эта заинтересовала меня давно, более трех десятилетий назад, и, пользуясь каждой возможностью, я производил своеобразные опросы: цитировал не опубликованные *при жизни* Пушкина стихотворения и всякий раз обнаруживал, что почти все они *неизвестны* абсолютному большинству слушателей. Причем опросы предпринимались мною среди достаточно просвещенных и, более того, так или иначе причастных поэзии людей — профессиональных или хотя бы «начинающих» стихотворцев, критиков, филологов. Уверен, что любой тщательно подготовленный и самый широкий опрос выявил бы то же самое.

\* \* \*

Обратимся к некоторым из необнародованных, как бы обращенных к будущему стихотворений Пушкина.

Поэзия издревле воссоздавала борьбу *добра* и *зла*. И вот одно из последних пушкинских стихотворений — об Иуде Искариоте:

Как с древа сорвался предатель ученик,  
Диявол прилетел, к лицу его приник,  
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной  
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...  
Там бесы, радуясь и плеща, на рога  
Прияли с хохотом всемирного врага  
И шумно понесли к проклятому владыке,  
И сатана, привстав, с веселием на лике  
Лобзанием своим насквозь прожег уста,  
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Когда Боратынский говорил о «силе и глубине», которыми отличаются «все последние пьесы» Пушкина, он, вероятно, имел в виду и это поразительное стихотворение. Надо только уточнить, что поздний Боратынский выступал (и осознавал это) как *поэт мысли*; между тем приведенное пушкинское стихотворение, пользуясь определением самого Боратынского, — «чистая пластика». Стоит только прочесть его вслух, чтобы словно вполне реально увидеть, услышать, обонять и даже как бы непосредственно *осязать* совершающееся. И в то же время предельные «сила и глуби-

на» несомненны: только речь идет не о «силе и глубине» *мысли*, которую так или иначе можно извлечь из стихотворения, но о силе и глубине *смысла бытия*, в конце концов, самого бытия, или, еще точнее, бытия, которое как бы *само* (а не устами поэта) говорит о *себе*, говорит нечто такое, что и нельзя выразить прямолинейной мыслью. Чего стоит хотя бы эта, словно бы не лишенная восхищения, строка:

И сатана, привстав, с *веселием* на лике...

Говоря о необнародованном, естественно обратиться и к стихотворениям о *любви* — этой извечной поэтической теме. Ее неопценное значение для поэзии, в общем-то, совершенно ясно, но именно потому мы редко о нем рассуждаем. Дело в том, что в любви человек способен воплотиться и раскрыться целиком и полностью — от сугубо земной, плотской, телесной, в конце концов, животной своей природы до самых возвышенных, духовных, небесных устремлений. И в тайне реальной любви это единство вроде бы несовместимого осуществляется естественно и органически и, по всей вероятности, знакомо любому человеку — пусть по отдельным и не часто испытываемым чудесным состояниям. В поэзии же, как свидетельствует ее история, воплотить это единство вовсе не просто. И с поистине исключительной, непревзойденной силой воплощена тема столь противоречивой полноты любви в «посмертном» пушкинском стихотворении:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,  
Восторгом чувственным, безумством, испугленьем,  
Стенаньем, криками вакханки молодой,  
Когда, виваясь в моих объятиях змией,  
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний  
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!  
О, как мучительно тобою счастлив я,  
Когда, склоняясь на долгие моления,  
Ты предаешься мне нежна без упоенья,  
Стыдливо-холодна, восторгу моему  
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему  
И оживляешься потом все боле, боле —  
И делишь наконец мой пламень поневоле!

В стихотворение можно долго вглядываться — как в целую многостороннюю поэму (напомню слова Гоголя о том, что в поздних стихотворениях «Пушкин является... обширнее, виднее, нежели в поэмах»); это действительно *говорящее о себе бытие*, а не речь о нем. Первая же строка — полусознательно или бессознательно — воплощает непреодоленное до конца противоречие: «Нет, я не дорожу...» — убеждает себя... Впрочем, кто убеждает? Может быть, жаждающее безумствующей чувственной любви тело? Или все же тот, для кого действительно несомненно *милее* «стыд-

ливо-холодно» предающаяся «смиреница»? В стихотворении словно предстает вся цельность любовного бытия, и оно, можно с полным правом сказать, *не превзойдено в позднейшей поэзии*, где выделяется и подавляет целое какая-либо отдельная сторона.

Противоречие не преодолено, не снято в пушкинском стихотворении; и в первой, и во второй строфе внятно звучит мотив *муж любви*, от которых ничто не может спасти и охранить: «иступленье», «язва лобзаний», но и во второй строфе, там, где нет «упоенья», так тревожат слова:

О, как мучительно тобою счастлив я...

Поскольку самые углубленные и, можно даже сказать, таинственные стихотворения Пушкина как бы выведены за пределы хрестоматий, общеизвестное подчас воспринимается слишком прямолинейно и однозвучно. Так, живущее в памяти каждого человека:

Я вас любил: любовь еще, быть может...

представляется воплощением полнейшего смирения, безграничной жертвенности истинной любви:

Я вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Итак, вроде бы идущее из самой сердцевины души желание: я был бы, мол, счастлив, если бы другой полюбил бы вас так, как я... Тонкий критик Ирина Роднянская едва ли не первой прочитала здесь иное. Не столь безгранично смиренным, по ее мнению, предстает поэт. «Как дай вам Бог...» Но даст ли Он ей, пренебрегшей столь бесценной любовью? Или хотя бы иной оттенок смысла: только разве сам Бог в Его безмерном милосердии может еще раз одарить ее такой любовью... Но, во всяком случае, «дай вам Бог» вовсе не значит, что Поэт готов сделать все для вашего — едва ли заслуженного — счастья... И тот прямолинейный «смиранный» смысл, который нередко пытаются увидеть в стихотворении, по сути дела, был бы фальшив, особенно в контексте пушкинского творчества в целом...

... Существует имеющая долгую традицию поэтическая тема *безумия*. В посмертном наследии Пушкина представлено воистину гениальное стихотворение, опять-таки воспринимаемое как поэма, хоть и всего из тридцати коротких (состоящих из семи-восьми слогов) строк:

Не дай мне Бог сойти с ума.  
Нет, легче посох и сума;  
Нет, легче труд и глад.  
Не то, чтоб разумом моим  
Я дорожил; не то, чтоб с ним  
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня  
На воле, как бы резво я  
Пустился в темный лес!  
Я пел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чаду  
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,  
И я глядел бы, счастья полн,  
В пустые небеса;  
И силен, волен был бы я,  
Как вихорь, роющий поля,  
Ломающий леса.

Перву стихотворение, чтобы сказать о пронизательном наблюдении одного из лучших пушкинovedов нашего времени — Валентина Непомнящего: «пустые небеса» означают небеса, в которых *нет Бога*, и только безумец может исполниться счастья, глядя в них...

Но читаем далее:

Да вот беда: сойди с ума,  
И страшен будешь как чума,  
Как раз тебя запрут,  
Посадят на цепь дурака  
И сквозь решетку как зверка  
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я  
Не голос яркий соловья,  
Не шум глухой дубров —  
А крик товарищей моих,  
Да брань зрителей ночных,  
Да визг, да звон оков.

Не могу еще раз не заметить, что это стихотворение по своему видению бытия опять-таки пребывает как бы впереди нас; наши потомки, мне кажется, воспримут его внятнее и глубже, чем мы...

\* \* \*

Несколько стихотворений, которых я здесь коснулся, конечно, не исчерпывают всю «посмертную книгу», о которой идет речь и в которую уместно включить несколько десятков пушкинских стихотворений конца 1820 — 1830-х годов. В частности, поражает та разносторонность, о которой сказал Гоголь. Рядом с воплощениями острого драматизма и трагедийности бытия (явного в приведенных стихотворениях) поэт создает образы такого скудного — будто бы совсем убитого ничтожной тщетой — *существования*, которое вроде бы и нельзя назвать бытием. И снова, прошу извинить меня, приходится говорить о непревзойденности этого пушкинского воплощения, притом не только в поэзии, но, пожалуй, даже и во всей позднейшей прозе:

... Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,  
За ними чернозем, равнины скат отлогий,  
Над ними серых туч густая полоса.  
Где нивы светлые? где темные леса?  
Где речка? На дворе у низкого забора  
Два бедных деревца́ стоят в отраду взора,  
Два только деревца, и то из них одно  
Дождливой осенью совсем обнажено...  
И только. На дворе живой собаки нет,  
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.  
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка  
И кличет издали ленивого попенка,  
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.  
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил...

Существование, пожалуй, безнадежнее, чем то, о котором Александр Блок в следующем столетии напишет:

... Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне.

Но главное, по-видимому, в том, что Пушкин все же дал этому вроде бы небытию вечное поэтическое бытие, и достаточно одного проникновенного повтора:

Два бедных деревца́ стоят в отраду взора,  
Два только деревца... —

чтобы мы почувствовали: бытие есть и здесь, хоть «на дворе живой собаки нет»... И еще стоит напомнить: ведь это то самое Болдино, та осень 1830-го...

Позднее, возвращаясь в 1833 году из Болдина, поэт воссоздал, в сущности, явление из *той же самой жизни*, прервав себя на строках заветной песни, и стихотворение также осталось в рукописи, в «посмертной книге», которая столь недостаточно известна и по сию пору:

В поле чистом серебрится  
Снег волнистый и рябой,  
Светит месяц, тройка мчится  
По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,  
На дороге, в тьме ночной  
Сладки мне родные звуки,  
Звуки песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно  
Буду слушать голос твой.  
Месяц ясный светит хладно,  
Грустен ветра дальный вой.

Пой: «Лучинушка, лучина,  
Что же не светло горишь?»

Как, значит, может обернуться жизнь — ведь ямщик этот на-верняка именно оттуда, где «два только деревца...». Стоит доба-вить, что это сопоставление — Поэт и ямщик — постоянно и очень существенно для Пушкина; он воспринимал себя и ямщи-ка как родных людей:

Фигурно иль буквально: всей семьей,  
От ямщика до первого поэта,  
Мы все поем уныло. Грустный вой  
Песнь русская...

Уже говорилось, что ряд посмертных стихотворений Пушкина незавершен, и естественно видеть причину в отсутствии намере-ния обнародовать эти стихотворения. Но в большинстве случаев в незавершенных стихотворениях полнокровно воплощен их основ-ной смысл, и незаконченность несколько не мешает нам вос-принимать то же восьмистишие «Пора, мой друг, пора!..» (Кста-ти сказать, достаточно много великих или даже величайших тво-рений мировой литературы не были завершены авторами.)

Некоторые рукописи посмертных пушкинских стихотворений, поскольку поэт ни в коей мере не подготовил их к публикации, пришлось впоследствии буквально расшифровывать. Лучшее всех это делал прямо-таки фатально влюбленный в Пушкина Сергей Михайлович Бонди. Не могу умолчать, что в 1951—1952 годах с благоговением слушал его лекции в Московском университете, ставшие для многих основой филологической, да и общей куль-туры (хотя сейчас господствует мнение, что в те годы культуры-де вовсе не было). По трудно читаемой копии Сергей Михайлович восстановил одно из посмертных стихотворений Пушкина (про-тоотипом героя стихотворения был, по-видимому, популярный в 1820—1830-х годах и хорошо знакомый поэту московский либе-рал Г.А.Римский-Корсаков — хозяин замечательного дома на Пушкинской — Страстной — площади, в 1972 году варварски уничтоженного ради расширения комплекса зданий газеты «Из-вестия»):

Ты просвещением свой разум осветил,  
Ты правды чистый лик увидел,  
И нежно чуждые народы возлюбил,  
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась  
И ярим бунтом опьянела,  
И смертная борьба меж нами началась  
При клике «Польша не гинела!» —

Ты руки потирал от наших неудач,  
С лукавым смехом слушал вести,  
Когда разбитые полки бежали вскачь  
И гибло знамя нашей чести.

Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал  
Во прахе, пламени и в дыме,  
Поникнул ты главой и горько возрыдал,  
Как жид о Иерусалиме.

Многие назовут это стихотворение политическим, некоторые скажут, что оно звучит удивительно злободневно. Но для Пушкина поэзия была, конечно же, выше политики; он ведь говорил, что поэзия «выше нравственности» (даже!). И это стихотворение не злободневно, а *вечно* — независимо от каких-либо политических ситуаций. Пушкин — о чем свидетельствует и целый ряд других его произведений — отнюдь не предлагал «потирать руки» потому, что бунт Варшавы «раздавлен». Он видел характерную для значительной части российской публики «извращенность», выражающуюся и в «мудрой» ненависти к своему народу, и в том, что вести о поражениях русских полков слушают с «лукавым смехом».

Политические стихотворения Пушкина часто как бы вводят в русло общепринятых понятий. Между тем в зрелом творчестве Пушкина явлена вовсе не политика, а проникновенная *поэтическая историософия*. Так, в стихотворении «К вельможе» Пушкин в немногих строках сказал о том, что свершилось в мире с 1789-го по 1830-й — сказал навечно (стоит заметить: в наше время не явился еще поэт, могущий действительно говорить о 1917—1990 годах):

Все изменилося. Ты видел вихорь бури,  
Падение всего, союз ума и фурий,  
Свободой грозною воздвигнутый закон,  
Под гильотиною Версаль и Трианон  
И мрачным ужасом смененные забавы.  
Преобразился мир при громах новой славы.

.....  
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти  
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя  
Всё новое кипит, бывшее истребя.  
Свидетелями быв вчерашнего паденья,  
Едва опомнились молодые поколенья.  
Жестоких опытов сбирая поздний плод,  
Они торопятся с расходом свесть приход...

Между тем об этом послании князю Н.Б.Юсупову судили в терминах мелкого политиканства, и такая реакция послужила, по-видимому, последним толчком для решения Поэта не обнародовать лучшие свои стихотворения...

\* \* \*

О совокупности тех стихотворений Пушкина, в которой я склонен видеть его «посмертную книгу», можно сказать еще очень и очень многое (я не касаюсь целого ряда созданных Поэтом в кон-



це жизни и не опубликованных им глубочайших стихотворений *религиозного* содержания; замечательно, что он вступил на эту стезю только на высшей ступени своей творческой и человеческой зрелости). Для обсуждения проблемы, которой посвящена эта глава, достаточно уже приведенных примеров. Основываясь на цитированных выше стихотворениях, едва ли кто мог бы сказать так, как сказал Тургеневу Флобер: «Он плоский, этот ваш поэт».

Впрочем, возразят мне, это же слова иностранца. Что ж, обратимся к Л.Н.Толстому, который, разумеется, исключительно высоко ценил Пушкина, и тем не менее решительно заявил: «Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина». Не просто «глубже», а «несравненно»! И, значит, пушкинская поэзия «несравненно» более *плоская*, чем тютчевская. Трудно усомниться в том, что, освоив в полной мере «посмертную книгу» Пушкина, Толстой так бы не сказал... Но, хотя это звучит неправдоподобно, стихотворения, которые Пушкин не обнаружил, словно обращая их к будущему, и в XIX веке, и даже в XX веке оставались, по сути дела, в тени.

И одна из причин, по-видимому, в том, что еще при жизни Пушкина создан, откристаллизовался его канонический образ — ясный, светлый, всем и каждому открытый. Как сказал Дельвиг:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;  
Муза выдаст его громким пением...

Поздние стихотворения, хотя бы те, которые цитировались мною, явно отклонялись от привычного образа, и потому их — вероятно, совершенно бессознательно — редко включали (или же совсем не включали) в книги *избранных* произведений Поэта, хрестоматии и т.п. и уделяли им мало внимания (либо вообще не уделяли) в литературе о Пушкине. Между тем эти стихотворения — не только вершинные явления пушкинской лирики, но и, если угодно, *ключ* к его поэзии в целом. Эти стихотворения не просто помогают, но *заставляют* понять всю безосновательность представления о «плоскости», общедоступной «простоте» Пушкина. Но то, что очевидно предстало в поздних стихотворениях, конечно же, назревало в более ранних, так или иначе присутствовало в них.

Стихотворения Пушкина, обращенные им в будущее, позволяют разгадать тайну двойственности его образа, о которой шла речь, — Пушкин как самый общедоступный и как самый непостижимый поэт. Многие полагают, что виднейшие поэты XX века проникли в глубины, к которым Пушкин-де и не прикасался. Но это мнимое превосходство. В действительности в поэзии XX столетия крупным планом предстают те или иные резко выделенные *границы* человеческого бытия, что внушает мысль о не имевшей места ранее проникновенности художественного видения. У Пушкина же — глубочайшее постижение той *цельности* бытия, которая уже не подвластна поэтам нашего века. Об этом замечательно сказал

Михаил Пришвин, размышляя о «Медном всаднике»: «Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Наверно, надо быть очень богатым душой и мудрым... Пушкин, замученный мыслью о судьбе бедного Евгения, вдруг как будто на берег океана выходит и говорит: «Красуйся, град Петров, и стой!» Неточно здесь, по-моему, только слово «разделить себя»: Пушкин именно не «разделялся», он схватывал бытие в его целостности...

Каждый человек в *детскую* свою пору способен переживать бытие как целое, хотя, конечно, это только неосознанное переживание, которое к тому же с годами утрачивается, сохраняясь скорее в качестве воспоминания о давнем *даре*, чем в качестве реальной способности. Но эта живущая в любом из нас память обуславливает общедоступность Пушкина. Вместе с тем, поскольку в пушкинской поэзии постижение целостности бытия вполне *реально*, она предстает перед нами как не раскрываемая до конца тайна, как воплощение высшей, «божественной» мудрости. И с этой точки зрения поэзия Пушкина обращена к «русскому человеку в его развитии», в будущее. Но, чувствуя и понимая, что пушкинская поэзия всегда *впереди* нас, мы тем самым и делаем ее нашим бесценным достоянием...

**Необходимое и очень существенное добавление.** Мои размышления о «посмертной книге» Поэта были впервые опубликованы в 1994 году в № 5 журнала «Российская провинция». А через три года, в 1997-м, вышла в свет монография высококвалифицированного пушкиноведа А.А.Макарова «Последний творческий замысел А.С.Пушкина», в которой убедительно доказано, что Александр Сергеевич составлял «однотомник своих избранных стихотворений в октябре 1836 г. — январе 1837 г.», то есть «до последних дней жизни...».

Этот вывод был сделан исследователем абсолютно независимо от моей статьи и на основе совершенно иной методологии — главным образом на пути тщательнейшего анализа сохранившихся рукописей Пушкина и его «душеприказчика» В.А.Жуковского, анализа, который дал возможность обнаружить незамеченные ранее существенные детали.

В моей статье речь шла о целом ряде «высших» поздних стихотворений Поэта, которые он явно не стремился публиковать, как бы оставляя их будущему. Но, оказывается, в преддверии гибели (а, по убеждению некоторых пушкинистов, он предчувствовал ее близость) Поэт все же готовил книгу, которую можно считать «посмертной», и в нее — согласно аргументированному исследованию А.А.Макарова — должны были войти почти все стихотворения, о коих говорилось в моей статье.

Не столь уж часто имеющее место *совпадение* вывода двух авторов, исходивших из принципиально различных методов, дает основания считать этот вывод особенно достоверным.

Как уже сказано, вплоть до наших дней наиболее зрелые стихотворения Пушкина находились словно бы на обочине внимания, и, главное, не осознавалось их самостоятельное и первостепенное, исключительное значение. И позволительно усмотреть глубокий смысл в том, что открытие этой — «последней» или «посмертной» — книги Поэта происходит накануне его 200-летия; таким образом лишний раз подтверждается неисчерпаемое богатство пушкинского наследия, в котором с течением времени вновь и вновь открывается неведомое ранее...

### *Воспоминания о воспоминаниях...*

Громадный интерес широчайших слоев людей к Пушкину и ко всему, что с ним непосредственно связано (а связано с ним теснейшим образом очень многое — и, конечно же, вся отечественная культура его времени), — очевиден. Мы с волнением вчитываемся даже в самые беглые и малосущественные свидетельства современников, включенные, скажем, в книгу В.В.Вересаева «Пушкин в жизни».

А между тем никто — за исключением чрезвычайно узкого круга специалистов — не знает опубликованных почти столетие назад очень малым тиражом «Записок» Александры Осиповны Смирновой, на страницах которых Пушкин предстает в кругу наиболее важных своих друзей и собеседников и является перед читателем как мыслитель, историк, человек широчайшей образованности.

Почему же так случилось? В принципе дело объясняется просто: ровно семьдесят лет назад, в 1929 году, записки Александры Смирновой были объявлены чистойшей подделкой, изготовленной ее дочерью, и это мнение вплоть до последнего времени было не только общепринятым, но и как бы вообще не подлежащим обсуждению. В двухтомнике «А.С.Пушкин в воспоминаниях современников», изданном впервые в 1974 году, сказано, что эти «Записки» Смирновой «представляют собой прямую фальсификацию дочери ее, О.Н.Смирновой, где лишь отчасти использованы сообщения матери».

Заметим, что даже и в этом, крайне резком приговоре есть такая оговорка («использованы сообщения матери»), которая, если в нее серьезно вдуматься, пробудит в каждом нынешнем страстном поклоннике Пушкина желание все же познакомиться с отвергнутыми в 1929 году «Записками». Ведь Александра Смирнова не только принадлежала к самым близким и наиболее высоко ценимым друзьям поэта, но и была поистине *выдающейся* женщиной; есть даже основания утверждать, что она была самой выдающейся женщиной своей эпохи. Это явствует уже хотя бы из того, что она оставила глубокий след в жизни и сознании множества людей, среди которых — ни много ни мало — Жуковский, Вяземский, Гоголь, Лермонтов, Хомяков, Тютчев, Иван Акса-

ков, Полонский, Алексей Толстой, Иван Тургенев, Юрий Самарин...

Даже предельно далекий по своим убеждениям от Смирновой Белинский, познакомившись с ней в 1846 году, писал: «...свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез... Чудесная, превосходная женщина — я без ума от нее».

Большим и непростительным упущением является тот факт, что не существует подробного, развернутого жизнеописания Александры Смирновой; такая книга, которая, я надеюсь, еще будет написана, явится важной и неотъемлемой частицей истории отечественной культуры и жизни.

Александра Осиповна родилась в 1810 (по другим сведениям — в 1809-м) году. Отец ее был офицером флота, героем знаменитых сражений под Очаковым и Измаилом, а позднее — комендантом Одесского порта, сподвижником знаменитого строителя Одессы — «дюка» Ришелье. Но он скончался, когда его дочери было всего четыре года. Детство и отрочество Александры Смирновой прошли в причерноморской степи вблизи города Николаева — в имении ее бабушки по материнской линии Екатерины Евсеевны, представительницы славного грузинского рода князей Цициановых. Мать Смирновой, также рано умершая, была дочерью херсонского вице-губернатора и сестрой видного декабриста Николая Ивановича Лорера, осужденного в 1826 году на восемь лет каторги.

Александра Смирнова училась в Петербурге, в одном из тогдашних лучших учебных заведений, Екатерининском институте, где любимым ее наставником был близкий друг Пушкина Петр Плетнев. Затем она стала фрейлиной, но годы, проведенные при императорском дворе, ни в коей мере не наложили на нее печать «придворности». Она сумела преодолеть давление среды и в то же время многообразно использовать свою близость к верховной власти — и для плодотворных дел, и для обретения широкого и глубокого взгляда на Россию и мир. Пушкин, познакомившийся со Смирновой в 1829 году, написал (в 1832 году) стихи как бы от ее имени:

В тревоге пестрой и бесплодной  
Большого света и двора  
Я сохранила взгляд холодный,  
Простое сердце, ум свободный  
И правды пламень благородный  
И как дитя была добра...

Трудно представить себе более лестную характеристику... И, естественно, любые суждения и свидетельства такой женщины о Пушкине представляют огромный интерес и ценность.

Александра Смирнова вела дневники и не раз принималась писать мемуары, правда, обычно в виде кратких или вообще незавершенных отрывков. Она прожила долгую жизнь (умерла в 1882

году) и любила вспоминать и рассказывать о прошлом (ее рассказы о Пушкине записал, в частности, поэт Полонский). Ее *собственноручные* дневники и мемуары не раз издавались\*.

Но сегодняшним читателям практически недоступны (они есть лишь в крупнейших библиотеках) напечатанные в 1893—1897 годах (в журнале «Северный вестник») «Записки А.О.Смирновой», в которых, в отличие от указанных изданий, много страниц, посвященных Пушкину. Эти «Записки» были переданы в редакцию журнала старшей дочерью Александры Осиповны, Ольгой Смирновой (1834—1893), которую, между прочим, в ее младенческие годы знал сам Пушкин. Текст, переданный в журнал, был написан рукой Ольги Смирновой (по-французски).

Никто не сомневался, что, готовя этот текст, Ольга Смирнова использовала, во-первых, не дошедшие до нас собственноручные записи самой А.О.Смирновой, во-вторых, свои дневниковые записи о том, что очень близкая с ней мать рассказывала ей, и, наконец, запомнившиеся ей, но записанные позже, уже во время подготовки текста для печати, материнские рассказы. Таким образом, текст, напечатанный в 1890-х годах в «Северном вестнике», представлял собой, строго говоря, не воспоминания самой Александры Смирновой, но *воспоминания Ольги Смирновой о воспоминаниях своей матери*.

В тексте «Записок» нетрудно обнаружить различного рода ошибки, неточности, несоответствия, что, впрочем, характерно и для воспоминаний вообще, а не только для подобных, так сказать, «вторичных» воспоминаний. И сразу же после выхода в свет начальных частей «Записок А.О.Смирновой» в печати стали появляться статьи и заметки, указывающие на ошибки и огрехи.

Но после окончания публикации «Записок» вышла книга Д.С.Мережковского «Вечные спутники» (1897), в которой он, не сосредоточиваясь на очевидных отдельных ошибках, дал этим «Запискам» очень высокую оценку, отметив, что Пушкин предстает в них как «великий мудрец и мыслитель», что пушкинские беседы, воссозданные в «Записках», достойны его творчества (между тем как во многих других воспоминаниях о нем воссозданы только чисто «бытовые» разговоры).

Против Мережковского тут же выступил широко известный тогда либеральный польский публицист и литературовед В.Д.Спасович (он писал чаще всего по-русски), который, делая упор на ошибки, объявил «Записки» Смирновой полнейшей фальсификацией. В дальнейшем точку зрения Спасовича поддержали литературоведы В.В.Каллаш, С.А.Венгеров, В.Ф.Саводник, П.Е.Щеголев.

Однако другие видные и авторитетные литературоведы — такие, как А.Н.Веселовский, В.И.Шенрок, В.В.Сиповский, Е.А.Со-

---

\* Смирнова А.О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 1929; Автобиография. М., 1931; Дневник. Воспоминания. М., 1989.

ловьев (Андреевич), П.Н.Сакулин, Б.Л.Модзалевский, М.Н.Розанов, — не отрицая, что в «Записках» есть ошибки и неточности, все же признавали определенную их достоверность.

Но, как уже говорилось, в 1929 году «Записки А.О.Смирновой» были отринуты «навсегда и решительно» (именно эти слова были употреблены в одной из тогдашних статей). И, вглядываясь внимательно в суть дела, приходишь к выводу, что подоплекой этого решения были не столько «ошибки», сколько своего рода «неудобность» того образа Пушкина, который является в «Записках». Речь идет прежде всего об отношении Пушкина к монархии и к религии.

Хотя всем имеющимся в «Записках» высказываниям поэта трудно найти определенные *соответствия* в пушкинских стихах, прозе и письмах конца 1820—1830-х годов, было сочтено нежелательным признать какую-либо достоверность «Записок». Ибо в сознание читателей внедрялся совсем иной образ Пушкина, исходящий из его ранних (да и то специально отобранных) «либеральных» сочинений 1810 — начала 1820-х годов.

Особенно раздражали в «Записках» сцены общения Поэта с царской семьей. Между тем известный пушкинист Д.Д.Благой доказал в своих работах 1960 — 1970-х годов, что Пушкин вполне сознательно стремился к сближению с царем, чтобы обрести возможность воздействия на государственно-политические дела, и даже немало сумел сделать на этом поприще. Так, есть все основания полагать, что не без энергичного воздействия Пушкина\* царь уже в 1832—1835 годах перевел большинство осужденных декабристов из положения каторжных в положение ссыльных с разрешением к тому же всем желающим отправиться в Кавказскую армию рядовыми в целях «выслуги» заново офицерского звания и дворянства.

Александра Смирнова сыграла очень большую роль в отношениях Пушкина с царем и его семьей и, кстати сказать, была одним из очень немногих непосредственных свидетелей этих отношений. Поэтому, в частности, так важны ее сообщения.

\* \* \*

Но вернемся еще раз к вопросу о достоверности «Записок А.О.Смирновой». В последние годы ряд литературоведов высказал убеждение в необходимости пересмотреть «смертельный приговор», который был вынесен «Запискам» семьдесят лет назад. Так, например, на страницах солидного академического издания «Временник Пушкинской комиссии» (Выпуск 21. Л., 1987. С.34) В.А.Кошелев писал, что «Записки» являются «отчасти литературно-мемуарной подделкой», но вместе с тем «имеют под собой многочисленные реальные основания».

---

\* Эта тема, кстати, затронута в «Записках А.О.Смирновой».

Интересную характеристику текста, подготовленного Ольгой Смирновой под названием «Записки А.О.Смирновой», дал П.Е.Щеголев — автор знаменитой книги «Дуэль и смерть Пушкина». Эти его суждения были впервые опубликованы не так давно — в IX томе серийного издания «Пушкин. Исследования и материалы» (Л., 1979. С. 334—335). Щеголев писал, в частности, что Ольга Смирнова «была так убеждена в точности и непреложности своих представлений о людях и событиях, представлений, созданных уже не непосредственным их созерцанием (ведь когда погиб Пушкин, Ольге было около трех лет. — В.К.), а всем жизненным опытом, что, по всей вероятности, удивилась бы, если бы ей сказали, что того-то и того-то, таких-то бесед не было...». И Щеголев заключал: «...эти речи не были сказаны, но, конечно, *могли бы быть сказаны*» (выделено мной. — В.К.).

Важно подчеркнуть, что Щеголев, как уже отмечалось, принадлежал к тем, кто отрицали достоверность «Записок». Однако он, как видим, признал не только «субъективную» правдивость Ольги Смирновой (она была уверена в истинности рассказываемого), но и достоверность того, что можно назвать *атмосферой* подготовленных ею «Записок». Щеголев полагал, что, если даже имеющиеся в «Записках» речи и не были на самом деле сказаны Пушкиным, они *могли быть* сказаны...

Отнюдь не исключено, что в «Записках» немало таких — только «возможных», только «вероятных» — речей. Но в целом перед нами все же, как уже сказано, не выдуманные Ольгой Смирновой воспоминания, а ее воспоминания о *реальных* воспоминаниях ее матери. Никто, кстати, не отрицал, что в текст вошли и подлинные записи Александры Смирновой (переписанные дочерью), спорной является лишь проблема *количества* этих записей. Скептики считали, что их весьма немного; современный исследователь В.А.Кошелев, чья оценка приводилась ранее, полагает, что они «многочисленны». Но сколько бы их ни содержалось в «Записках», свидетельства о размышлениях Пушкина, посвященных существеннейшим проблемам, драгоценны. Стоит сообщить, что в одном из подлинных писем А.О.Смирновой сказано: «Моя дочь записывает все, что слышит и что я ей говорю... Я поддерживаю в ней этот интерес».

Конечно, тексты «Записок» нуждаются, без сомнения, в тщательном изучении и скрупулезном отделении вполне достоверного от мало или совсем недостоверного. Это сложная и трудоемкая задача, требующая долговременных исследований. Но едва ли уместно скрывать от читателей эти «Записки» до тех пор, пока будет проделана столь кропотливая работа. Достаточно того, что «Записки» были «отвергнутыми» целых семьдесят лет. Поэтому я и предлагаю читателю фрагменты из них.

Их полноценное издание подразумевает, без сомнения, подробные комментарии, которые займут много места. В этой публикации приходится обойтись без такого объемистого научного ап-

парата. Сведения о неизвестных или малоизвестных им деятелях истории и культуры, о которых идет речь в тексте, читатели найдут в энциклопедических словарях. В высшей степени желательно и полезно также, знакомясь со страницами «Записок А.О.Смирновой», заглядывать одновременно в поздние (1829—1836 годы) сочинения Пушкина, особенно в его литературно-критические и публицистические статьи, заметки, наброски (в популярном десятитомном собрании сочинений поэта, переиздававшемся в последние десятилетия несколько раз, они занимают седьмой том), а также в стихи этих лет (том третий).

Есть все основания полагать, что знакомство с публикуемыми фрагментами «Записок А.О.Смирновой» поможет читателям глубже и многостороннее представить себе образ бесконечно дорогого всем нам Пушкина.

### *Из «Записок А.О.Смирновой»\**

*Son souvenir nous reste, pur, et inaccessible à la colonne\*\*.*

*Из письма А.О.Смирновой к кн.  
П.А.Вяземскому, марта 1837 г.*

«... Искра (Пушкин. — В.К.) насмешил меня сегодня вечером, рассказывая, что он прочел биографию Байрона, от которой ему стало жутко, и что он будет впредь утром и вечером читать следующую молитву: Боже милостивый, защити меня от моих будущих биографов, от моих почитателей, так же как и от моих критиков. Первые будут оказывать мне медвежьи услуги, вторые утопят меня в море отравленных чернил. Сохрани меня, Господи, от тех и других!

... Вечером Государь получил еще депешу; он говорил об этом с Нессельроде и сказал между прочим: «Я уверен, что «король французов» не процарствует и 20 лет. Те, которые возвели его на престол, возведут и другого. Принцип погиб. Но я вмешиваться ни во что не буду; внутренние дела Франции совсем меня не касаются; я не обязан в них вмешиваться. В 1814 г. мой брат действовал заодно с другими державами; положение дел этого требовало. Теперь оно изменилось. Я писал королю Луи-Филиппу совершенно искренно и высказал ему то, что я думал; говорят, что мое письмо его неприятно затронуло; но честный человек должен говорить откровенно, и я объяснил ему, какая в его положении заключается опасность для монархического принципа, которого он является представителем. Эта опасность будет ему угрожать постоянно: она — следствие его избрания. Впрочем, я говорил об этом генералу Аталену, который кажется мне очень неглупым человеком и который прекрасно понял, что это Ахиллесова пята новой французской монархии. Может быть, я ошиба-

\* Текст подготовил к печати П.Г.Горелов.

\*\* Образ его сохранится для нас, чистый и недоступный клевете (франц.).



юсь — тем лучше, так как я не желаю французскому народу ничего, кроме добра. Я говорил генералу Аталену, что я желаю добра королю и народу, но по совести не мог не предупредить короля Луи-Филиппа, и я написал ему то, что думал, без всяких дипломатических тонкостей, которые я ненавижу и к которым никогда не стану прибегать».

Я передала этот разговор Пушкину под большим секретом. Он был очень поражен этим и сказал мне:

— Государь стоит выше дипломатических тонкостей, он говорил, как всегда, со свойственной ему прямоотой. Он прав. Это избрание короля совершилось благодаря 3-му сословию, главным образом буржуазии, но придет время, когда и блузники захотят возвести на престол своего кандидата и возмутятся против министров буржуазии; за этим последует новая революция, это неизбежно! Сеймы и избрания погубили Польшу. Во Франции больше внутренней силы. Она постоянно доказывала это с 1789 г., другая страна давно погибла бы. Но новая монархия непрочна, по моему мнению; в деревне я перечитывал Тацита и других римских историков. В Риме преторианцы кончили тем, что избрали Гелиогобала, это — упадок. Государь прав: монархический принцип погиб во Франции, исчезла неприкосновенность этой власти, и теперь, может быть, более, чем в 1791 г.

Я просила Пушкина не передавать никому того, что я ему сказала, и предупредила его, что я передам Государю о нашем разговоре. Когда я сказала об этом Государю, он отвечал: «Пушкин умеет молчать, у него бездна такта, и это большое достоинство. Впрочем, я не скрываю своего мнения, вы можете сообщать ему все, что его интересует; он не злоупотребит этим, он слишком щепетилен».

... Пушкин оставил у меня стихи для передачи Е.В.\* Государь встретил Пушкина в Летнем саду и приказал ему передать эти стихи мне. Они много беседовали. Он сообщил Пушкину, что Пугачев рассказывал своим казакам, будто бы Петр Великий пожелал поклониться праху Стеньки Разина и для этого велел вскрыть его курган. Это вымысел: Разин был четвертован, и так как народ считал его колдуном, то труп Стеньки был сожжен и прах рассеян. Говорят, что Пугачев зарыл в землю деньги. Их и до сих пор разыскивают в той местности. Е.В. сказал: «Если это правда — значит, он был скуп, и значит, его можно было бы подкупить». Они также говорили об Отрепьеве. Пушкин верит в рассказ Карамзина. Государь же сомневается, чтобы он мог сыграть роль самозванца: его слишком хорошо знали в Москве, и если бы спасли Димитрия, то его предъявили бы до избрания Годунова, так как хотели избрать даже вдову царя Федора. Ребенка отвели бы к Ирине. Дума ненавидела Годунова; его избрал патриарх Иов. Госу-

\* Его Величеству.

дарь полагает, что король польский знал, кто был Димитрий. Он был белокурый. Иван IV был совершенно смуглый. Второй, Тушинский Вор, был смуглый, хромой, пьяница и без всякого образования. Первый самозванец был образован, знал польский язык, даже латынь, чего не знали ни Отрепьев, ни Тушинский Вор.

Пушкин сказал Государю, что он хочет написать трагедию из жизни царевны Софьи\*. Государь обещал разрешить ему доступ в Кремлевские архивы, даже в секретные, где хранятся дела, касающиеся стрелецкого бунта. Государь говорил с ним про Годунова, которого порицал за крепостное право, совершенно бесполезное для поднятия земледелия. Он не разделяет мнения Карамзина о необходимости этой меры в XVII ст. Он сожалеет, что Михаил Федорович его не уничтожил, и одобряет правителя Д. Трубецкого, который хотел уничтожить крепостное право, говоря, что у него был правильный и разумный взгляд. Государь желает выкупить крепостных, но представляются большие затруднения, потому что при этом мелкие помещики будут разорены. Он много об этом думает. Он считает, что английский сквайр полезен, а у нас они заменяют третье сословие. Е.В. говорил также о прежней русской «буржуазии». Он очень восторгается Кузьмой Мининым, гораздо более, чем Пожарским, который был прежде всего вояка. Он сказал Пушкину, что Скопин-Шуйский, прозванный народом «отцом отечества», может годиться для трагедии; рассказал, что и жену Василия Шуйского обвинили в отравления Скопина. Затем Государь сказал Пушкину: «Ржевский\*\* герой; он пожертвовал собственной жизнью для Ляпунова, хотя ненавидел его: он считал его нужным для отечества; вот тебе еще тема для трагедии». Потом Государь говорил о Петре I, выражая сожаление, что он сохранил крепостное право, существовавшее тогда в Германии, откуда Петр позаимствовал много хорошего и много дурного. Когда Петр Великий советовался с Лейбницем, составлявшим «табель о рангах», этот великий философ ни словом не высказался против крепостного права. Императрица Екатерина советовалась с другим философом, Дидро, написавшим проект конституции и воспоминания. По мнению Государя, Екатерина II сделала крупную ошибку, закрепостив крестьян в Украине. Государь кончил словами: «Философы не научат царствовать. Моя бабка была умнее этих краснабаев в тех случаях, когда она слушалась своего сердца и здравого смысла. Но в те времена все ловились на их фразы. Они советовали ей освободить крестьян без наделов; это — безумие».

---

\* Между прочим, царевна Софья Алексеевна была дальней родственницей Пушкина: прадед ее матери Марии Милославской. Иван Милославский, был родным братом Степана Милославского, чья внучка Степанида вышла замуж за Ивана Ржевского, прапрадеда Сарры Ржевской — супруги прадеда Поэта (по материнской линии) Алексея Федоровича Пушкина. Царевна была, в частности, писателем, и Пушкин отметил в одной из своих статей, что «трагедии царевны Софьи Алексеевны были представлены при царском дворе».

\*\* Из семьи предков Пушкина.

Пушкин был на седьмом небе, когда случайно утром встретил Государя в Летнем саду. Он шел вдоль Фонтанки между Петровским дворцом и Цепным мостом. Увидев Пушкина, Государь поздравил его и сказал: «Поговорим!» В саду никого не было. В разговоре Е.В. сказал ему: «Ты знаешь, что я всегда гуляю рано утром, и здесь ты меня часто будешь встречать — но это между нами». Пушкин понял и после этого встречал Государя несколько раз (все случайно). Вернувшись домой, он записывал их разговоры. Пушкин считал долгом чести доложить об этом Государю и обещал перед смертью сжечь эти заметки. Государь ответил: «Ты умрешь после меня, ты молод, но во всяком случае благодарю тебя. Про наши беседы говори только с людьми верными, например, с Жуковским. Иначе скажут, что ты хочешь влезть ко мне в доверие, что ты ищешь милостей и хочешь интриговать, а это тебе повредит. Я знаю, что у тебя намерения хорошие, но у тебя есть недоброжелатели. Всех тех, с кем я разговариваю и кого отличаю, считают интриганями. Мне известно все, что говорят». Пушкин разрешил мне записать все, что он мне рассказал, прося никому об этом не говорить, кроме Жуковского, которому он сам все говорит. Я знаю, что при дворе и в свете много завистников, я, конечно, буду молчать обо всем, что Пушкин рассказывает мне про свои встречи с Его Величеством...

Е.В. говорил также о Соловецких застенках, которые он велел заделать; они были ужасны. Интересная подробность, касающаяся крепостных синодиков. В крепости служат панихиды по царевиче Алексее и Иоанне Антоновиче и даже по Таракановой в день именин их.

— Мне очень хотелось бы знать, поминают ли также пятерых декабристов? — сказал мне Пушкин.

Я спросила об этом В. Кн. Михаила Павловича, который отвечал мне: «Само собою разумеется, как и всех других». Я передала это Пушкину. Он признался мне, что всегда служит панихиду по декабристам в день именин их, но что не хочет говорить об этом, так как уверен, что его обвинили бы в желании выставить напоказ свою религиозность, а это надо делать втихомолку.

На днях Е.В. сказал Пушкину:

— Мне хотелось бы, чтобы нидерландский король подарил мне дом Петра Великого в Саардаме.

— Если он подарит его Вашему Величеству, — ответил Искра, — я попрошусь в дворники.

Государь рассмеялся и сказал:

— Я согласен, а пока я поручаю тебе быть его историографом и разрешаю тебе заниматься в архивах.

Искра ничего лучшего не желает. Он в восторге.

Вчера Е.В. заставил меня прочесть строфы из «Евгения Онегина», доверенные мне Пушкиным. Находят, что я хорошо читаю. Государь был доволен чтением, он терпеть не может напыщен-

ности. Он спросил меня, «составляют ли эти стихи конец песни. Мне кажется, что последняя песня, которую я читал, была закончена».

— Это наброски, В.В., — ответила я. — Пушкин только хотел, чтобы Вы прочли их на случай, если он напишет еще главу, куда они войдут. Он утверждает, что часто видит во сне стихи и что они одни только и хороши.

Государь улыбнулся.

— Скажите ему от меня, что я прошу его видеть таких снов побольше, так как для русской поэзии это прекрасные сны.

Тогда я сказала:

— Пушкин говорил мне, что русский язык алмаз и что он подходит ко всякого рода поэзии.

Государь опять улыбнулся.

— Алмаз для того, кто умеет его гранить.

Он оставил у себя стихи, чтобы перечитать их.

Императрица передала мне стихи Пушкина от Государя, уехавшего в Гатчину на чьи-то похороны. Она заставила меня перечитать эти стихи и объяснить то, что нехорошо понимала. Затем она сказала мне, что удивляется, как мало восхищаются талантом Пушкина, что в Германии Шиллер и Гете прославились очень быстро, а русское общество слишком равнодушно к родной литературе...

Говоря о Византии, Пушкин сказал: «Существует три города, принадлежащие всему человечеству: Иерусалим, Константинополь и Рим, и они не должны бы принадлежать ни одному государству в отдельности. Для евреев, как для христиан и даже для мусульман, Иерусалим является городом священным перед всеми остальными; для одной части христиан Рим составляет религиозный центр, а для другой — Константинополь. Собор Святой Софии — один из древнейших христианских соборов. А между тем эти три города обогрелись кровью с самого дня, когда божественная кровь потекла по кресту, и есть основание полагать, что владение этими тремя городами еще причинит войны, раздоры и ссоры. Эта война окончится, когда церкви перестанут ссориться. Надо надеяться, что собор Святой Софии будет возвращен христианам и что он примирится со св. Петром, а также что к тому времени Иерусалим уже не будет турецкою провинциею. Ни один из этих городов не представляет из себя политической столицы. Знаете ли вы пророчество: «Когда Рим падет, миру придет конец»? Хомяков отвечал: «Ссоры между двумя Римами были причиной неуспеха крестовых походов: другою ошибкой было создание иерусалимского короля».

Затем Пушкин говорил о своей кавказской поэме Галуб. Он хочет изучить характер мусульманина, принявшего христианство. Он говорит, что единственное средство цивилизовать край — это ввести там Христианство, так как вся война горцев с нами не что иное, как война религиозная. В Персии и на Кавказе появились

две новые секты, очень фанатичные. В Тифлисе шииты и сунниты постоянно режут друг друга. К этому Пушкин прибавил: «У них тоже два Рима: Мекка и Кербела. Я теперь прочитываю Коран, чтобы понять, что должен забыть мой Галуб, чтобы стать христианином». Пушкин меня сильно поразил. Он остался у меня после ухода Хомякова и опять говорил о Константинополе. Он ненавидит Византию и сказал: «Она удачно названа (*Bas-Empire*<sup>\*</sup>): они (греки) погибли по собственной вине. Они призвали турок против христианских славян; это мерзость». Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, говорил также об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видела ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное, серьезное выражение; он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: «Вот единственная книга в мире: в ней все есть». Я сказала Пушкину: «Уверяют, что вы неверующий». Он расхохотался и сказал, пожимая плечами: «Значит, они меня считают совершенным кретином». Я прибавила: «Государь сказал Блудову в 1826 году, что вы самый замечательный человек в России. Блудов рассказывал это у Карамзиных, и я думаю, что Государь прав». Пушкин отвечал: «Государь заблуждается на мой счет; я делаю, что могу, но, увы, не всякий тот гений, кто этого желает». Затем он сказал: «Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трех городах, но надо их увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, св. Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море. Иордан! Какой чудесный сон!» Ему стало грустно, и он вздохнул. «Увидеть Рим, *the city of the soul, the Niobe of nations*<sup>\*\*</sup>, Ватикан, собор св. Петра, Колизей, увидеть этот мир в развалинах, *as fragile, as our clay*<sup>\*\*\*</sup>. Увы! Я никогда этого не увижу!»

Пушкин приходил ко мне и показывал стихи Одоевского и письмо, присланное из Сибири. Он долго говорил о деятелях 14-го числа: как он им верен! Он кончил тем, что сказал:

— Мне хотелось бы, чтоб Государь был обо мне хорошего мнения. Если бы он мне доверял, то, может быть, я бы мог добиться какой-нибудь милости для них. Что вы об этом думаете?

Я убедила его, что Государь верит в его прямотушие. Пушкин улыбнулся.

\* Низменная империя (*франц.*).

\*\* Город духа. Ниобея (древнегреческий символ печали, горя) народов (*англ.*).

\*\*\* Как бренность, как наш прах (*англ.*)

— Тем лучше. Я ему очень предан. У него характер непреклонный, но ум — нет. Когда он убедится в чем-нибудь — он первый признает свою ошибку и дает себя разубедить. Это громадное достоинство. От этого с ним и можно говорить откровенно. Но меня хотят выставить перед ним каким-то Стенькой Разиным, уверяют его, что «Кинжал» — мое credo, мое политическое и религиозное исповедание веры. Точно у мальчика девятнадцати—двадцати лет может быть серьезный символ веры. Это ребячество!

... Вьельгорский пришел рассказать мне все сплетни. Он возмущен тем, что хотят восстановить Государя против Сверчка (Пушкина. — В.К.), посорить двоих людей, созданных, чтобы понимать друг друга. Милости к Пушкину не переваривают.

— Какой милости? — сказала я. — Пушкин ничего не просит: ни денег, ни места, ни орденов, ни даже приглашения на бал. Он даже хотел выйти в отставку (он служил в Министерстве иностранных дел). Я полагаю, что они могли бы оставить его в покое, так как не думаю, чтобы они особенно добивались рыться в архивах и перечитывать их. Вьельгорский улыбнулся.

— Дитя мое! Государь разговаривает с ним, вот и довольно.

Вечером я поехала к Карамзиным, чтобы передать все это Сверчку. Он засмеялся и сказал мне:

— Только богатым дают в долг. И прежде мне приписывали все отвратительные стихотворения, которые ходят по рукам. Все экспромты, сочиненные мною *in vino veritas*<sup>\*</sup>, записывались, переписывались и разносились. Сколько врагов создали мне мои друзья и почитатели. Сохрани меня, Боже, от них! Они даже подставили имена, о которых я и не думал; мне приписывали глупые и неприличные эпиграммы, которых я никогда в жизни не сочинял. Поблагодарите Ее В. за меня. Она такая добрая, вы знаете все, что я о ней и о нем думаю.

Мы беседовали вчера о вопросах религиозных и философских. Александр Тургенев вернулся из Парижа и говорил нам о Ламенэ... Совершенно неожиданно он объявил нам: «Я искал Бога везде! Искал Его в пустынях, в горах, на краю пропасти...» Пушкин от души расхохотался и сказал мне: «Не верьте ему: ничего он не искал и ничего не нашел на краю пропасти...»

Насмешливый тон Пушкина был так добродушен, что не было возможности рассердиться на него, и Тургенев, который любил его больше, чем кого бы то ни было, рассмеялся вместе с другими, говоря: «Если б я и хотел рассердиться и посориться с тобою — это невозможно. У тебя нет желчи даже тогда, когда ты жалишь своих друзей. А скажи-ка ты, где ты Его искал и где Его нашел?..» «В моей совести, — отвечал Пушкин, — хотя я и приобрел репутацию неисправимого скептика и маловера за то, что написал скверную эротическую поэму, навеянную чтением Грессе,

\* Дословно: истина в вине (*лат.*).

Пирона и Парни, которых сводил с ума до меня и дядю моего Василя, и Дмитриева, друга Вяземского, даже Батюшкова, что совершенно непонятно, потому что, если можно находить удовольствие в чтении древних писателей, наименее стыдливых, как Лукиан, Проперций, Петроний, Катулл, Тибулл, Овидий, Аристофан и т.п., это объясняется по крайней мере получаемым от них эстетическим наслаждением, которого не дают представители легкой музыки во Франции. Они не более поэты, чем ты, Тургенев. Впрочем, Батюшков гораздо больше читал древних; это был поэт по существу, он и кончил жизнь как поэт. Есть что-то трагическое в его конце, который глубоко трогает меня. Торквато Тассо — его лебединая песня, и сам он кончает жизнь, как его герой. После Жуковского, кормильца моей юной Музы, я больше всех обязан Батюшкову. Греческая антология Батюшкова научила меня очень многому — и на скамьях лица, и позже. Ты хочешь знать, где я искал Бога? Кроме моей совести и природы, которая говорила мне о Нем, я искал Его в книге, в которой нашел Пророка, во имя которого, кажется, можно бы и отпустить мне мои грехи. Но мои добрые друзья и мои знаменитые критики, забывая о том, что я сделал хорошего, помнят только о глупостях рифмоплетствующего мальчишки...»

### *О дневнике одного простолюдина — ровесника Поэта*

В 1997 году в Пскове по инициативе видного деятеля областной администрации С.А.Биговчего был издан «Дневник Ивана Игнатьевича Лапина». Это замечательный во многих отношениях документ — документ, как говорится, человеческий и вместе с тем исторический.

Автор дневника — житель городка Опочка, расположенного в полусотне верст от пушкинского Михайловского. Иван Лапин владел небольшой, но торговавшей самыми различными товарами лавкой, в которой он был и хозяином и работником. Он даже не принадлежал к купеческому сословию, для причисления к коему требовалась и более значительная собственность, и непростой официальный акт; он — *мещанин*, то есть представитель низшего сословия городского населения, к тому же живший в сугубо провинциальном уездном городишке.

Иван Лапин родился 30 марта (10 апреля) 1799 года, то есть всего за восемь недель до рождения Пушкина. Дневник он начал вести в день своего восемнадцатилетия — 30 марта 1817 года, а 29 мая 1825 года сделал в нем запись о том, как «на ярмонке в Святых Горах ... имел счастье видеть» самого Пушкина...

Впрочем, к этому мы еще вернемся. Дневник Ивана Лапина в целом — повторю еще раз — поистине замечательный документ. В нем предстает сознание и поведение самого автора и многих его молодых друзей и знакомых — простых юношей и девушек уездного городка.

Безусловно, господствует мнение, что в 1810—1820-х годах в России имелся только весьма или даже крайне узкий круг людей, причастных культуре, к которому и принадлежал Поэт, а страна в целом пребывала-де в полнейшем невежестве, сугубо прозаических житейских интересах и примитивных развлечениях.

Однако, вчитываясь в дневник рядового провинциального торговца, мы узнаем, что он переписывает для себя и друзей не столь давно изданную «российскую балладу» Жуковского «Громобой»\*, составляющую около тысячи (!) стихотворных строк (запись 24 февраля 1818 года), и собственноручно переплетает полюбившийся ему номер одного из лучших в то время журналов «Вестник Европы», основанного самим Карамзиным (запись 3 августа 1822 года).

Он «превесело» отдается русской пляске, поет исконные народные песни «Лен» и «Кострома» (16 августа 1817 года) и наслаждается песней «Взвейся выше, понесися...» на стихи незаурядного поэта (чья песня «Среди долины ровные» и поныне любима), одного из учителей Тютчева — Алексея Мерзлякова (21 ноября 1818 года).

Более того, Иван Лапин сам сочиняет стихотворное послание своему ближайшему другу Александру Погонялову, пусть и не являющееся образцом поэзии, но удовлетворяющее тогдашним «правилам» стихосложения (26 января 1823 года), а друг присылает из армии, где он служил в чине унтер-офицера, свое изощренное сочинение в стихах — *акrostих* (8 июня 1817 года). Души автора дневника и окружающих его людей открыты не только литературе и музыке, но и величию Природы. Лапин и семь его друзей ждали на городском валу самого раннего рассвета после дня Ивана Купалы и «смотрели солнце, как играет» (23 июня 1817 года); Иван и Александр «рассуждали о небе и земле», о том, что «каждая звездочка более земли» (19 августа 1817 года); с тем же Александром Лапин оказался ночью на кладбище «в ужасных разговорах о смерти» (12 августа 1817 года) и т. п.

Не будем забывать, что перед нами простые провинциальные горожане начала XIX века! И не проглядим, что в городке Опочке можно было, оказывается, побывать на театральных спектаклях (30 августа 1822 года), слушать мелодии, исполняемые друзьями и на древних гусях, и на скрипке, и на гитаре, и на флейте, которой владеет и сам Лапин (15 августа 1817 года); к тому же в конце каждого дня городская музыкантская команда играет для опочан «вечернюю молитву» (2 мая 1820 года).

Вместе с тем Иван Лапин и окружающие его люди вовсе не являют собой чинных граждан, предающихся благопристойным развлечениям по заведенному кем-то порядку; для них характерны и раскованные нравы, и удалой разгул. Так, в дневнике описана «вечеринка» (5 ноября 1818 года), с которой «разошлись в 4

---

\* Книги в то время были весьма дороги.



часа, и уже во многих домах были вставши, а мы восклицали громогласные песни... Весело было!».

Или другое «гулянье» до утра (16 июня 1818 года), в заключение коего, как остроумно написал Иван Лапин, поспешили домой, «чтобы пастух, которому уже было время выгонять стадо, не выгнал бы и нас вон из города».

Отражена в лапинском дневнике и «социальная» удаля горюжан Опочки. Так, торговцы не пожелали подчиниться несправедливым, как им представлялось, требованиям властей, и, когда усмирять их явился сам городничий, опочанин «Гаврила Барышников... кричал: «Поди... до смерти убью!», держа болт в руке» (28 мая 1819 года); заодно с ним был и Иван Кудрявцев, именно на дочери которого Афимье Ивановне Кудрявцевой женился впоследствии Иван Лапин (см. 4 ноября 1828 года). И только «пять вооруженных солдат с сотским» смогли в конце концов смирить бунтовщиков...

Литературный кругозор Лапина и его друзей весьма широк. Так, он «с наивеличайшим удовольствием» (10 июня 1818 года) читает сочинения французской писательницы Мадлен де Жанлис (1746—1830), которую много переводил Карамзин (она была популярна в России так же, как в наше время Франсуаза Саган или Айрис Мердок). В связи с этим стоит рассказать о замечательной в своем роде истории. В толстовской «Войне и мире» Кутузов в разгар битвы с французской армией читает роман Жанлис, что даже несколько озадачило Андрея Болконского. По всей вероятности, кто-то сообщил Толстому о таком кутузовском пристрастии. Однако ветеран 1812 года Авраам Норов (1795—1869), потерявший ногу при Бородино, в своем отклике на «Войну и мир» возмущенно опровергал Толстого, утверждая, что Кутузов не мог увлекаться «вражеской» писательницей. Но на деле его подвела память (ведь прошло более полстолетия!); ставший впоследствии известным юношеский дневник Норова свидетельствует, что он, находясь в госпитале, где из-за нанесенного французами тяжелого ранения ему ампутировали ногу, читал ту же Жанлис!

Читает Иван Лапин и роман немецкого писателя, профессора эстетики Августа Мейснера (1753—1807) «Бьянка Капелло» — романтическое повествование об эпохе Ренессанса, и философский роман французского писателя и богослова Франсуа Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака», из которого притом делает «выписку» (21 марта 1818 года).

Наконец, даже о своей любви он говорит подчас по-немецки (9 сентября 1817 года) и по-латыни (1 июня 1818 года), что придает признаниям оттенок таинственности. Постоянно возникают в его речи персонажи античной мифологии, что свойственно той эпохе вообще, включая, конечно, и самого Пушкина.

Иван Лапин, как видно из дневника, лично знал ряд людей, хорошо известных Пушкину: псковского губернатора Б.А.Адеркаса, архиепископа Псковского Евгения (Евфимия Алексеевича

Болховитинова), игумена Святогорского монастыря Иону (у Лапина даже разворачивается роман с его дочерью Анной, и он переписывает стихотворение, сочиненное игуменом в юности), а лучший друг Лапина Александр Погонялов служит писарем у генерал-майора А.А.Дельвига — отца лучшего пушкинского друга... 21 ноября 1818 года Иван Лапин в Троицкой церкви Опочки «стоял на один шаг» от посетившего город еще одного знакомого Пушкину человека — императора Александра I...

И в самом деле, Пушкин как бы должен был в конце концов явиться в лапинском дневнике...

Как уже сказано, 29 мая 1825 года Иван Лапин записал, что «имел счастье видеть» Поэта. Это произошло на ярмарке у Святых Гор, куда Пушкин пришел из своего Михайловского, а Лапин приехал из более отдаленной Опочки. Кто-либо может подумать, что Иван Игнатьевич знал Пушкина не как Поэта, а как важного соседа. Но есть сведения, что пушкинская слава уже облетела тогда всю Россию. Так, в 1823 или 1824 году Поэт прогуливался верхом в окрестностях Одессы, и, когда он проезжал мимо береговой артиллерийской батареи, девятнадцатилетний подпоручик Петр Григоров, узнав о том, кто проезжает рядом, самовольно приказал произвести в честь Поэта орудийный салют, в результате чего был посажен под арест (что в принципе было правильно).

В распоряжении Ивана Лапина пушек не было, и он только внимательнейшим образом вглядывался в облик посетившего ярмарку Поэта и внес в свой дневник подробный «словесный портрет», который позднее не раз цитировали пушкиноведы: «... у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубую ленточкою, с железно в руке тростию, с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду; также с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю — около 1/2 дюжины...»

В стремлении запечатлеть все увиденные детали облика выразилось, несомненно, благоговение перед Поэтом...

\* \* \*

Я привел только часть фактов, раскрывающих достаточно богатое содержание жизни молодого опочецкого мещанина, ровесника Пушкина. Позволю себе сообщить, что мне лично особенно дорого воссоздание давней жизни этой частицы России, поскольку мой прадед Яков Анисимович, скончавшийся в 1872 году, и прапрадед Анисим Фирсович Кожиновы — псковские крестьяне. Правда, Яков Анисимович жил в другом, Порховском, уезде, но до меня дошло известие, что сама их фамилия происходит от названия деревни *Кожино*, расположенной на берегу реки Великой не

столь далеко от Опочки. И во мне как-то живет ощущение причастности этим местам...

В заключение важно привлечь внимание к запечатлевшейся в лапинском дневнике *цельности* и своеобразной *гармонии* жизни — качествам, которым нам, людям конца XX века, уместно *позавидовать*. Да, так называемый прогресс внес в нашу жизнь множество неведомого далеким предкам, и в тех или иных отношениях можно говорить о нашем «превосходстве» над ними. Но вместе с тем многое утрачено — и в высшей степени ценное.

Иван Лапин — что запечатлено на многих страницах дневника — вроде бы всем существом предается развлечениям и веселью, но в то же время в нем не гаснет осознание суетности всего этого перед высшим значением человеческого бытия. Притом, что важнее всего, дело идет вовсе не о каком-то «насильственном» и тяготящем осознании. Сама смерть осознается как величественное завершение жизни, как приобщение Вечности. «Погребали Якова Тимофеевича Михалева... — записывает Иван Лапин, — и какая необыкновенная была картина! Везли через реку его тело на плоту, а прочие и певчие в лодках пели «Святой Боже»...»

2 февраля 1819 года еще не достигший двадцатилетия Лапин совершил некий неблагоприятный поступок, «от чего совесть по минутно угрызала». И уже «нельзя воротить, как выговоренного слова». И он велит себе, что «сей-то день должен я еще чаще вспоминать...». Но это «должен» явно не подразумевает *насилия* над собой; речь идет о свободном, вольном покаянии, которое не в тягость, а, если угодно, в радость...

Достаточно «разгульно» живет подруга Лапина Анна, и настает момент, когда она говорит: «Прости, поеду в Печеры Богу молиться». И это хождение за двести верст в прославленную Псково-Печерскую обитель опять-таки воспринимается в воссоздаваемой в дневнике атмосфере жизни не как некое подавление себя, а как возникшая в глубине души воля...

Словом, есть в дневнике Ивана Игнатьевича Лапина немало такого, что уместно воспринять как ценный — или даже бесценный — завет предков, который способен помочь нам сегодня и в особенности в туманном завтра.

Поэт, разумеется, не имел представления о живущем недалеко от Михайловского преклоняющемся перед ним ровеснике, Иване Игнатьевиче Лапине. Но он имел представление о том, что в России немало подобных людей. Многозначительны его дошедшие до нас слова, сказанные незадолго до гибели: «Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего сословия, которое в настоящее время является единственным истинно русским...»

## ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ИСТОКИ ПУШКИНСКОГО СЛОВА

---

### «Сладость книжная»

Наиболее ранние произведения, изучаемые сегодня историками русской литературы, относятся к XI веку. Это прежде всего «Слово о Законе и Благодати» киевского Митрополита Илариона (1038 г.), жития преподобного Феодосия и святых мучеников Бориса и Глеба, принадлежащие перу преподобного Нестора, первоначальная летопись и др.

Но едва ли можно оспорить тот факт, что эти творения представляют собой образцы достаточно *зрелого*, подчас даже *изощренного* искусства слова, которые едва ли могли возникнуть на пустом месте. Причем речь идет в данном случае не только об их творцах, но и в равной мере о людях, воспринимающих плоды словесного творчества. Второе, в сущности, даже более важно, ибо имеются в виду не отдельные личности, каковые могли, допустим, обрести культуру словесного творчества от иноплеменных корифеев имевшей к тому времени уже почти двухвековую историю церковнославянской (общеславянской) литературы, но более или менее многочисленная общность людей, способных понять и оценить словесное искусство.

Митрополит Иларион недвусмысленно свидетельствует о наличии круга таких людей на Руси первой половины XI века: «Ни къ неведущимъ бо пишем, нъ преизлиха насыттьшемся сладости книжныя» («Ведь не к несведущим пишем, но к преизобильно насытившимся сладостью книжной»; перевод В.Я.Дерягина). Едва ли есть какие-либо основания полагать, что книжные — письменные — образцы искусства слова стали предметом эстетического наслаждения для значительной части русских людей *ранее* эпохи Ярослава Мудрого. В «Повести временных лет», которую начали создавать, по убеждению большинства исследователей, младшие современники Ярослава Мудрого (прежде всего преподобный Никон Великий) через два-три десятилетия после его кончины, говорится о заслуге Ярослава: «Отець бо сего Володимерь землю взора и умягчи, рекше Крещеньемъ просвьтивъ. Съ же насея книжными словесы сердца вьрныхъ людий...» («Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть Крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей»; перевод Д.С.Лихачева). Таким образом, круг людей,

которые были уже даже *преизлиха* насыщены «сладостью книжной», сложился не более чем за три десятилетия, прошедших от начала правления Ярослава (1019 г.) до сотворения Иларионом его «Слова» (1038 г.).

Столь быстрое приобщение людей к «сладости книжной», к письменному искусству слова (и тем более их «преизобильное насыщение») едва ли было бы возможно, если бы на Руси не существовала достаточно давняя и прочная традиция *устного* словесного творчества. И новейшие исследования генезиса русского героического эпоса всецело подтверждают это предположение. В трактате Р.С.Липец «Эпос и Древняя Русь» (М., 1969) вполне обоснованно говорится о том, что «к концу X в. уже существовала богатая эпическая традиция ... еще при Игоре и Олеге, а возможно, и в IX в. эпические сказания и песни уже заняли свое место в культурной жизни Руси. В том же виде как былины дошли до нас, они выкристаллизовались в эпоху Владимира».

К сожалению, до сих пор весьма широко распространены представления, согласно которым русский героический (богатырский) эпос сложился позднее или даже гораздо позднее (разброс датировки велик — от XI до XVII века). И, даже признавая восхождение формирования эпоса к дописьменным временам, многие авторы склонны считать, что, скажем, записанные в XIX—XX веках былины имеют будто бы весьма мало общего с древними, созданными до XI века эпическими произведениями.

Правда, наиболее серьезные ученые не разделяют этого скепсиса. Так, Б.Н.Путилов (важно отметить, что он отнюдь не принадлежит к последователям «исторической школы», стремящимся любыми — иногда заведомо произвольными — способами укоренить известные нам былины в древних временах) доказывает в своей работе «Севернорусская былина в ее отношении к древнерусскому эпосу»: «Давно установлено, что северные сказители не внесли ничего нового в состав русского эпоса... Под давлением фактов начинает разрушаться стена между древнерусской («первоначальной») и севернорусской былиной ... И по своему содержанию, и по жанровой структуре, и по характеру историзма ... древнерусская былина в своем возникновении и развитии оставалась былиной».

Одно из совершенно несомненных, категорических подтверждений этого тезиса — сохранение былинной традиции в знаменитой прионежской династии сказителей Рябининых-Андреевых. Известно, что в течение почти *двух столетий* — с 1770 до 1950-х годов — тексты былин передавались из одного рябининского поколения в другое без существенных переработок.

Необходимо отметить, что речь идет о временах очень резких и бурных перемен и сдвигов; ясно, что в предшествующие столетия для сохранности древних текстов имелись более благоприятные условия.

А как доказано в трудах С.И.Дмитриевой и Т.А.Бернштам, образцы героического эпоса были принесены на Север, в Поморье, переселенцами из Южной (собственно Киевской) Руси *не позднее* XI века. Здесь, в землях, не без основания названных впоследствии «Исландией русского эпоса» (ибо в Исландии наиболее полно сохранились многие образцы скандинавских и даже немецких эпосов), осуществилась своего рода консервация былин, почти исчезнувших на остальной территории Руси. И это севернорусское наследие дает нам широкие возможности для изучения и осмысления того богатейшего искусства слова, которое родилось и развивалось на Руси до XI века, то есть до *возникновения письменного искусства слова*.

Нельзя, разумеется, не оговорить, что многовековое сохранение былинных текстов не в письменной, а в устной традиции — то есть в конечном счете в человеческой памяти — не могло не привести к многообразным утратам и искажениям, внедрению множества самых различных содержательных и формальных новшеств и т.п. Но, как справедливо и неоспоримо писал один из виднейших наших «былиноведов» — Ю.М.Соколов, все такие изменения в условиях устной передачи текстов «принципиального отличия от письменной литературы (древнерусской.— В.К.) все же ... не создают. Переписка книг от руки влекла за собой невольные, механические изменения, искажения, которые, накапливаясь, постепенно делали текст иным. Еще большую роль играли сознательные переработки произведения то количественного характера (сокращения, расширения), то идеологического... Стоит только припомнить, например, сложную историю русских летописей, представляющих собой чрезвычайно переплетенную сеть бесчисленных переработок и редакций».

Тем не менее при недостаточно вдумчивом взгляде на устную историю былинного наследия может показаться, что история эта слишком, чрезмерно длительна и потому, мол, былинны тексты не могли не претерпеть коренных изменений. Ну, в самом деле: от кончины Владимира Святославича (1015 г.), образ которого стал своего рода центром русского героического эпоса, до наиболее ранних известных нам полноценных письменных фиксаций ряда былин в «Сборнике Кирши Данилова» (1750-е годы) прошло более семи столетий, то есть сменилось двадцать с лишним человеческих поколений! И значит, каждый текст прошел через память по меньшей мере двадцати сказителей, любой из которых неизбежно что-то утрачивал и что-то привносил.

Но, как провозглашала знаменитая сказительница былин (старин) А.М.Крюкова, «проклят будет тот, кто позволит себе убавить или прибавить что-нибудь в содержании старин». И этот «императив», вне сомнения, действовал издавна; так, пять известных нам поколений сказителей Рябининых бережно хранили былинное наследство.

Не менее важно осознать, что в смене человеческих поколений особенную роль играет тройственное единство — дед, отец, внук; передача памяти от деда к внуку обычно совершается прямо и непосредственно, и, кроме того, дед имеет возможность корректировать сказителя-внука. Таким образом, мы вправе утверждать, что от начала XI до середины XVIII века переход былинных текстов в уже иной, оторванный от прежнего, слой человеческой памяти совершился не двадцать с лишним, а всего только *семь* раз.

Наконец, к настоящему времени собраны многочисленные — подчас несколько десятков — записи текстов тех или иных отдельных былин, и мы можем выявить в разных вариантах каждой былины наиболее достоверные древнейшие пласты.

Итак, в наших руках образцы искусства слова, созданные до — или даже задолго до — появления (в середине XI века) тех произведений, в которых ныне усматривается начало отечественной литературы. И тем не менее в последние полвека этот древнейший этап истории русского искусства слова как бы отсекается: он не входит ни в новейшие историко-литературные курсы, ни в обобщающие размышления о пути русской литературы.

\* \* \*

Не сомневаюсь, что многие специалисты — притом как литературоведы, так и исследователи народного творчества — сразу же и самым решительным образом возражат мне, что, мол, русский эпос — это специфическое явление, всецело принадлежащее фольклору, а не литературе, и историки последней не должны и не могут включать его даже и в свои наиболее полные курсы и обзоры.

Но вот странный парадокс: историю большинства иноязычных — прежде всего западноевропейских — литератур даже наши, отечественные специалисты начинают, как правило, с раздела об эпосе (за исключением тех, где эпос по каким-либо причинам не сохранился). Мне, конечно же, напомнят, что многие и многие эпосы обрели так или иначе письменное воплощение не в XVIII—XIX веках (как было в России), а в очень давние времена, в XII—XIV веках или даже еще ранее, и тем самым стали законно принадлежать литературе.

Это вроде бы звучит убедительно, но только на первый взгляд. Дело в том, что письменные воплощения эпоса были осуществлены в той же самой Западной Европе *позднее* или даже значительно позднее возникновения иных литературных явлений (в особенности явлений, неразрывно связанных с Церковью). А между тем исторические курсы немецкой, французской, английской и т.д. литератур начинаются все-таки именно с раздела об *эпосе* (в том числе и курсы, созданные у нас). Тем самым как бы признается, утверждается, что дело идет все же не о письменном тексте, относящемся к сравнительно позднему времени, а о воплотившемся в нем явлении устного словесного творчества. И глав-

ное внимание приковано к *изначальной* основе эпоса, а не к его «обработке» для письменности.

Кстати сказать, западноевропейские эпосы получали письменное воплощение чаще всего через несколько *столетий* после своего возникновения. Вот несколько примеров с указанием вероятного времени рождения эпоса и времени его письменного воплощения: английский «Беовульф» — VI и X века; германская «Песнь о Нибелунгах» — V—VI и XIII века; французская «Песнь о Роланде» — VIII век и конец XII века. Таким образом, разрыв во времени между возникновением эпоса и его письменной фиксацией составляет от четырех до восьми веков; последний срок превышает время, прошедшее от создания русских былин до их письменного воплощения в «Сборнике Кирши Данилова».

Былины, представленные в этом сборнике, ничем принципиально не отличаются от письменных воплощений западноевропейских эпосов; отличие действительно имеют более поздние записи былин, осуществленные в следующем, XIX веке, ибо эти записи производились главным образом учеными-филологами и фольклористами. Но полулегендарный Кирша Данилов вполне сопоставим с теми людьми, которые в XII—XIV веках создавали письменные воплощения английского, германского и других западных эпосов.

Естественно возникает вопрос: почему в России эпические творения обрели письменную жизнь с таким запозданием в сравнении с Западом? Во-первых, нельзя быть уверенным, что не было более ранних записей, которые просто не сохранились. Но существеннее другое. Запад, получивший высокоразвитую письменность непосредственно от античной цивилизации, с самого начала имел в этом отношении громадное преимущество перед Русью. И приходится скорее удивляться тому, что уже от XVII века до нас дошли некоторые записи (или, вернее, письменные пересказы) былин, чем тому, что более ранние записи отсутствуют... Письменность на Руси не имела такого всестороннего распространения, какое характерно для непосредственно опиравшегося на античную традицию Запада уже в раннесредневековую эпоху. Притом необходимо учитывать, что былины, которые во времена их рождения являли собой, без сомнения, высший и центральный вид искусства слова, сошли позднее (как доказывают современные исследователи, уже в XII веке) на своего рода обочину, на «окраину», где в течение долгого времени некому было дать им письменную жизнь.

Здесь нельзя не указать на один бесспорный факт, который почему-то не привлекает внимания исследователей. Русский эпос был как бы оттеснен на «окраины» и там сохранился. А эпосы западноевропейских стран, строго говоря, вообще перестали существовать, ибо в этих странах не имелось «окраин», где могли сохраняться в живой памяти людей такие древнейшие творения. Да, мало кто задумывается над тем, что письменные воплоще-



ния западноевропейских эпосов, осуществленные в IX—XIV веках, были начисто забыты и стали извлекаться из архивов и публиковаться лишь в XVIII—XIX веках... То есть их судьбы были, по сути дела, аналогичны судьбе русского эпоса, о котором вспомнили в те же самые времена.

Первые известные нам опыты осмысления русского эпоса относятся еще к 1770—1780-м годам. Поэт и директор Московского университета М.М.Херасков писал в своем «Рассуждении о российском стихотворстве» (1772 г.): «В происхождении своем стихотворство российское имеет начала, *всем народам* общие ... предки наши, проваждавшие жизнь свою в предприятиях воинских, покорявшие врагов своих, имея мужей отважных предводителями и соратниками, *всего पहले* прославляли подвиги их в песнях, кои от поколения к поколению предавали памятные приключения победоносных рыцарей наших. Доселе сохранились остатки сих творений пиитических, кои повествуют нам о событиях древности. Таковы суть песни об Илье Муромце, о пирах Владимировых и им подобные». Позднее, справедливо утверждал Херасков, «предки наши были просвещены верою христианскою. Тогда песнопения священные повсюду раздаваться стали; книги, святым стихотворством наполненные, были прелагаемы на язык российский; и во время, когда Европы большая часть славословила Бога и обеты Ему на языке чужестранном (латинском.— *В.К.*) возносила, россияне уже пели песнопения церковные на своем языке и услаждали сердца свои и дух свой чтением книг священных».

Через восемь лет после этих суждений Хераскова, в 1780 году, В.А.Левшин впервые опубликовал пересказы (хотя, впрочем, очень далекие от оригиналов) былин и говорил в предисловии к своему изданию: «Помещенные в Парижской Всеобщей Вивлиофике романов повести о рыцарях — не что иное, как наши сказки Богатырские ... каковые у нас рассказываются в простом народе. С 1778 года в Берлине также издается Вивлиофика романов, содержащая, между прочим, два отделения: романов древних немецких рыцарей и романов народных. Россия имеет также свои, но оные хранятся только в памяти; я заключил подражать издателям, прежде меня начавшим подобные предания, и издаю сии сказки Русские, с намерением сохранить сего рода наши древности ...»

Мы опоздали выучиться грамоте и через то лишились сведения о славнейших наших русских героях в древности, которых довольноному числу надлежит быть в народе, прославившемся в свете своею храбростью...» И далее — о Владимире Святославиче: «...сражались и служили у него славнейшие богатыри: Добрыня Никитич, Алеша Попович, Чурило Пленкович, Илья Муромец и дворянин Заалешанин. С их-то помощью побеждал он греков, поляков, ятвягов, кософов, радимичей, болгаров и херсонян».

Позднее, в 1806 году, анонимный историк литературы писал на страницах московского журнала «Аврора»: «Что Карл для Западной Европы, то был Великий Владимир для России. Подобно

первому, прославил сей Великий Князь имя свое войнами, победами, расширением своего государства, распространением христианской религии ... Сии-то причины, без сомнения, заставили русских романистов избрать двор Владимиров местом чудных богатырских подвигов. Как при дворах Карловом и Артуровом Роланды, Оливьеры, Ринальды, Амадисы и другие отличались невероятными деланиями, удивительною силою и мужеством, так при дворе Владимировом Добрыня Никитич, Илья Муромец, Чурило Пленкович и проч. блистают между могучими богатырями того времени...»

В этих рассуждениях может смутить термин «роман». Но при внимательном изучении истории данного термина становится ясно, что его временное перенесение на эпос по-своему закономерно.

Отвлекаясь от чересполосицы терминов, следует видеть, что в представлениях давних русских литераторов отечественный богатырский эпос является, во-первых, *древнейшей* стадией искусства слова (сочинения, связанные с Церковью, создаются значительно позже) и, во-вторых, типологически совпадает с *западноевропейскими* героическими эпосами (к которым, правда, неосновательно присоединяют подчас и более поздние чисто «рыцарские» повествования, распространенные уже с XVI века и на Руси, подобно знаменитым «Бове-королевичу» и «Еруслану Лазаревичу»).

Вполне вероятно возражение, что я, мол, цитирую высказывания той поры, когда русская литературная мысль еще находилась в младенческом состоянии. Но не стоит все же забывать афоризм, согласно которому устами младенцев глаголет истина. Такое толкование небезосновательно потому, что первые, изначальные опыты понимания какого-либо явления не отягощены умозрительными схемами и тенденциозными построениями и способны непредвзято осознать реальное положение вещей.

Но, конечно, гораздо более важен тот факт — почему-то незамечаемый, как бы начисто забытый, — что в *начальных* частях почти всех изданных до 1917 года общих курсов истории русской литературы речь неизменно шла о русском эпосе (от первого из таких курсов, изданного в четырех томах С.П.Шевыревым в 1846—1860 годах, и до «Истории русской словесности» В.В.Сиповского, опубликованной в 1906—1912 годах; позднее, в 1916 году, вышел еще включающий характеристику эпоса первый том четырехтомной «Истории русской литературы» под редакцией А.Е.Грузинского, Д.Н.Овсяннико-Куликовского и П.Н.Сакулина, но издание на этом прервалось).

Здесь невозможно доказывать, что такое построение истории русской литературы вполне соответствовало взглядам корифеев отечественной филологии — Ф.И.Буслаева, В.Ф.Миллера, А.Н.Веселовского. Но, во всяком случае, оно, это построение, вплоть до *середины* 1930-х годов было своего рода аксиоматическим, ни-

кем, в сущности, не оспариваемым. Между тем ныне многие авторы — как литературоведы, так и фольклористы — убеждены, что не следует начинать курсы истории русской литературы с эпоса, поскольку при этом объединяются, совмещаются принципиально разные феномены — фольклор и литература. Последний по времени курс, в котором изложение начиналось с эпоса, — это десяти томная академическая «История русской литературы».

Почему же так изменился подход к делу по сравнению с дореволюционной историко-литературной наукой? Есть предельно простой и ясный ответ на этот вопрос: осуществилась, мол, вполне закономерная *дифференциация* знания, которая дает возможность изучать и эпос, и литературу в их подлинной специфике, и с этой точки зрения русские былины, как феномен народного творчества, являются неотъемлемым предметом фольклористики, а не литературоведения.

В таком ответе на вопрос вроде бы есть определенная доля истины; необходимо только со всей определенностью уточнить, что любое *расчленение* знания представляет собой плодотворный акт лишь при условии последующего сочленения, связывания, синтеза. Но нельзя не сказать и о другом аспекте проблемы.

Итак, отказ от общепринятого ранее понимания былинного эпоса как первой стадии истории русского искусства слова осмысливается как шаг вперед по пути «спецификации» знания. Однако в действительности начавшаяся в 1930-х годах своего рода изоляция, выведение эпоса из истории литературы, объясняется прежде всего широкомасштабной и жесткой *идеологической кампанией*, направленной против основных предшествующих работ о русских былинах, кампанией, предпринятой в конце 1936 года. Речь идет прежде всего о сокрушительной борьбе с так называемой «теорией аристократического происхождения былин».

Казалось бы, не может быть никакого сомнения в том, что русский эпос (как и вообще любой эпос) складывался в IX—X веках в *верхнем* слое населения тогдашней Руси (в частности, совершенно ясна его неразрывная связь с княжеской дружиной). Тем не менее крупнейшие авторитеты в сфере изучения русского эпоса, работавшие в 1930-х годах, — Ю.М.Соколов, А.М.Астахова и другие — вынуждены были каяться в своих грубейших «ошибках». И эпос был объявлен, так сказать, чисто народным — то есть простонародным — творением и именно поэтому выведен за пределы литературы, которую, мол, создавали представители «господствующих классов» (прежде всего духовенство). Именно отсюда пошло настоятельное и последовательное замыкание эпоса в рамки народного творчества, как такового, в границы фольклора в собственном смысле слова.

Идеологические удары, нанесенные исследователям эпоса в 1930-х годах, были столь сильны, что даже еще в 1966 году, через тридцать лет, А.М.Астахова продолжала заниматься разоблаче-

нием (по ее определению) «порочной концепции ненародных основ русского эпоса» и удовлетворенно напоминать о своем личном «самокритическом» отречении от этой концепции в 1938 году, а также о «покаянии» Ю.М.Соколова.

\* \* \*

Впрочем, об этой реальной причине выведения русского эпоса за пределы истории литературы ныне, в 1990-х годах, мало кто помнит. Отказавшись от представления об эпосе как о первой — и исключительно существенной — стадии в развитии отечественного искусства слова, мы нанесли тяжелейший ущерб и нашей истории литературы, и целостному пониманию пути русской культуры. Это мое утверждение будет оспариваться, без сомнения, по совсем иной линии. Мне возразят, что-де с истинно научной точки зрения недопустимо ставить в один ряд явления фольклора и литературы.

Между тем подобное возражение не опирается на действительно основательное и глубокое научное *понятие о фольклоре*. Так, эта точка зрения решительно противоречит концепции, выработанной крупнейшим отечественным — и не только отечественным — авторитетом в данной сфере знания А.Н.Веселовским, который доказывал, что фольклор, *народное творчество* в собственном смысле слова, — это принципиально *синкретическое* явление, в котором слиты воедино и роды поэзии, и даже различные виды искусства, а также еще и обряд (а в какой-то мере и стихия самого быта).

«Народная поэзия в широком смысле слова,— утверждал А.Н.Веселовский,— представляет собой синкретизм поэтических родов, т.е. такое состояние, в котором роды, впоследствии обособившиеся, еще находятся в смешении (и значит, *обособившийся* эпос уже не может рассматриваться как явление собственно народного творчества, фольклора.— В.К.); но синкретизм идет еще и дальше ... музыка и пляска еще не отделены от песни. Главным материалом, где этот синкретизм явится перед нами воочию, должна быть поэзия обряда».

Это значит, что эпос, выделившийся из обряда, из единства видов искусства и, более того, обособившийся от синкретического состояния поэтических родов (то есть синкретизма лирики, драмы, эпоса) уже не есть, как доказывает А.Н.Веселовский, явление *фольклора*. И в трудах великого ученого русские былины последовательно изучаются как явления, *тождественные* дошедшим до нас в письменной форме западноевропейским эпосам.

Мне, конечно же, напомнят, что русские былины еще не обособлены, не освобождены от мелодики, от напева. Но, во-первых, мелодика былин, по утверждению авторитетнейшей исследовательницы и собирательницы А.М.Астаховой, не делала их *песней*; исполнение былин являло собой форму декламации (еще точнее — мелодекламации), а не пение; и очень важно, что былинный напев, как отмечает Астахова, с «текстом, в противопо-

ложность песни, органически не был связан и в сознании исполнителя жил и живет самостоятельной жизнью. Этим и объясняется, что многие сказители, певшие былины, могли сказать текст «пословесно», не разрушая его ритмической структуры... В области же песни мы очень часто сталкиваемся даже у мастера, хорошо знающего песню, с затруднением абстрагировать текст от мелодии».

Правда, А.М.Астахова тут же добавляет, что «напев всегда является средством *сохранения* былинной традиции и что его утрата легко могла привести — и во многих случаях приводила — к разложению былины». Но это соображение недвусмысленно говорит о том, что напев имел в былинах, в сущности, *мнемоническое* назначение, являлся условием прочного сохранения их в памяти, условием их консервации — в определенном смысле подобным письменности.

Итак, былина, собственно говоря, лишена неотъемлемого качества фольклора — синкретизма и являет собой уже выделившийся, обособившийся род поэзии, не отграниченный принципиально, коренным образом от литературы как таковой. Это, в сущности, вид *сказа* — то есть собственно словесного искусства.

\* \* \*

Поэтому историю русской литературы, подобно историям основных западноевропейских стран, необходимо начинать с эпоса (кстати сказать, после эпоса как на Руси, так и на Западе появляются совсем иные жанры искусства слова, связанные прежде всего с христианской Церковью). Не изучая эпос как начало, как первую стадию отечественной литературы, мы слишком многое теряем в понимании и ее происхождения, и ее целостной природы, и смысла.

Приходится не без горького сожаления признать, что зарубежные исследователи подчас яснее и глубже осмыслиют общелитературное значение русского эпоса, нежели отечественные. Так, например, виднейший германский русист Рейнгольд Траутманн (1883—1951) превосходно размышлял еще семьдесят лет назад в своей работе «Русский героический эпос»: «Тот, кто попробует в качестве ли исследователя или любителя литературы проникнуть в духовную жизнь русского народа, будет ослеплен исключительным явлением русской литературы XIX века. В необычайном блеске лежит это море русской литературы перед нашими глазами». Но, продолжает Р.Траутманн, «остаются сейчас в темноте причины и сама возможность такого замечательного проявления русского духа... Явление, которое вводит нас в глубь самой сущности русской народности и русского искусства,— это русская, великорусская героическая поэзия, цвет русского народного творчества...». Именно это наследие, заключает Р.Траутманн, «пройдя через богатую культурную насыщенность ... дало свой последний цвет в жизненном подвиге Гоголя, Достоевского и Толстого».

Особенно большое значение, полагал Р.Траутманн, имел эпос для искусства Толстого. Германскому исследователю, кстати сказать, не были известны (сообщение об этом появилось в печати позднее) слова Толстого в ответ на вопрос литературоведа В.Ф.Лазурского: как он «провел бы курс литературы»? Лев Николаевич ответил, что «начал бы он с былин ... на которых надолго бы остановился».

Из этого отнюдь не следует, что позднейшие (после эпоса) стадии русского искусства слова не играли существенной роли в подготовке великой русской литературы XIX века. Так, например, давно осознано, что в *Несторовом житии* святомучеников Бориса и Глеба как бы уже заложено сердцевинное содержание именно этой важнейшей эпохи отечественного искусства слова.

Но так или иначе, ясно одно: не вбирая былинный эпос в каждый курс истории отечественной литературы и в любое размышление о ней как о целостности, мы лишаемся возможности действительно понять и оценить и путь, и смысл этого нашего — едва ли не высшего — национального достояния.

### *«Книга бытия небеси и земли»*

Пушкин, имея достаточно основательные представления об отечественной *истории*, вместе с тем был, в сущности, мало знаком с произведениями русской литературы, или, лучше сказать, *словесности*, созданными до XVIII века, кроме ряда летописей, то есть исторических хроник, и «Слова о полку Игореве». Только в самом конце жизни он обратился к созданным на Руси многочисленным *житиям святых*.

Это, разумеется, имеет свое основательное объяснение. Начиная со времени Петра Великого во всем бытии страны совершается кардинальный перелом и, по сути дела, надолго уходит с авансцены предшествующая *культура*; правда, со второй трети XIX века она постепенно воскрешается, но это происходит в основном уже после гибели Пушкина.

Решительное «отрицание» прошлого в эпоху Петра понимается и оценивается различно: «прогрессисты» приветствуют мощный рывок вперед, не щадящий «старье», а «консерваторы», или, вернее, «реакционеры», выражают крайнее негодование. Но оба этих полярных подхода к делу затемняют истину, что с особенной ясностью видно именно на примере Пушкина. Нет сомнения, что его творчество не могло родиться без того перелома, каким была Петровская эпоха. Но встает нелегкий вопрос: мог ли Поэт обойтись без предшествующей многовековой русской культуры? А ведь тот факт, что он в сущности мало знал ее, подтверждается его собственным суждением.

В 1830 году Пушкин писал: «Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники... Нам при-

ятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа... Но к сожалению — старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — на ней возвышается единственный памятник: *Песнь о Полку Игореве*... Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии...»

Конечно, нелегко произнести подобный «приговор» Поэту, но все же он был в данном случае заведомо не прав... Многие люди знакомы с изданным не так давно, в 1970—1980 годах, в двенадцати объемистых томах собранием «Памятники литературы Древней Руси», где представлены замечательные произведенья словесности XI—XVII веков; к тому же это только небольшая доля дошедших до нас страниц словесности допетровских времен. В частности, в указанное собрание не вошли наиболее *крупные* по своему объему творения тех времен — «Палея Толковая», датируемая XI — началом XIII столетия, так называемый «Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого (конец XV — начало XVI века), «Степенная книга», составленная Митрополитом Афанасием (вторая половина XVI века) и целый ряд других, не говоря уже о множестве оставшихся за пределами этого двенадцатитомника более или менее кратких произведений.

Но ко времени вхождения Пушкина в литературу допетровская словесность стала малодоступной уже хотя бы в силу, так сказать, «технических» причин: ее произведения существовали в *рукописных* копиях (нередко, правда, достаточно многочисленных), а в начале XIX века *литература* представляла собой уже принципиально *печатное* явление. И цитированное суждение Пушкина: «Словесность наша явилась вдруг в 18-м столетии» — будет справедливым, если термин «словесность» заменить термином «литература», который, по сути дела, имеет в виду *печатные* произведения; в допетровскую эпоху «литература» в современном значении этого слова действительно не существовала.

Одно из первых явившихся в печати древних творений (если не считать ряда изданных еще в XVIII веке летописей) — «Слово о полку Игореве» (издано в 1800 г.), и оно было в центре внимания Пушкина. Но широкая публикация произведений допетровской словесности началась уже *после* его кончины: гениальное «Слово о законе и Благодати» Митрополита Илариона (XI в.) было издано в 1844 году, «Предание» преподобного Нила Сорского (конец XV в.) — в 1849-м, «Житие преподобного Сергия Радонежского» Епифания Премудрого (начало XV в.) — в 1853-м, «Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого (начало XVI в.) — в 1857-м, «Житие» протопопа Аввакума — в 1862-м.

Поэт же, как мы видели, полагал, что «...за нами темная степь — на ней возвышается единственный памятник: *Песнь о Полку Игореве*...». Нелишним будем заметить, что в «темной степи» возможны неожиданные находки, и последующие поиски целой плеяды исследователей это доказали...

Но все-таки как отнестись к тому факту, что Пушкин знал из допетровской русской словесности немного? Существенный ли это недостаток? Были бы достижения Поэта еще значительнее, если бы его знание русской словесности XI—XVII веков было намного более широким?

Строго говоря, такого рода вопросы не вполне правомерны, ибо они склоняются к популярному, но едва ли глубокому «альтернативному» мышлению об истории (в том числе об истории творчества), которое, говоря попросту, ставит вопрос так: «Что было бы, если бы дело шло иначе, чем оно шло?» Между тем история содержит в себе свой внутренний объективный *смысл*, который сложнее и основательнее любых наших субъективных мыслей о ней (истории).

И все же стоит кратко сказать о поставленных только что вопросах. Главное, пожалуй, свершение Пушкина — *создание* русского *классического* стиля (о чем мы уже говорили), благодаря чему и смогла плодотворно развиваться наша великая литература XIX—XX веков, для которой Пушкин — при всех возможных оговорках — всегда был *мерой*, высшим образцом искусства слова.

И есть основания полагать, что мощное воздействие словесности предшествующих веков могло *помешать* этому пушкинскому свершению, условием которого была творческая *свобода*, независимость от давних канонов и норм.

Но это отнюдь не означает, что, творя русский классический стиль, Поэт вообще не опирался на многовековую историю русского слова. При его высшей духовной проникновенности достаточно было и тех знаний, которыми он обладал: ведь он знал (и тщательно изучал) и «Слово о полку Игореве», и ряд летописей, житий святых. Ему была всецело внятна сама тысячелетняя *стихия* русского Слова. В момент обретения творческой зрелости, в 1825 году, Пушкин написал:

«Как материал словесности, язык славяно-русский\* имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими\*\*\*... В XI веке древний греческий язык\*\*\*\* вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии... Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного\*\*\*\*; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (выделено самим Пушкиным).

Из этих высказываний ясно, что Поэт опирался именно на весь многовековой путь отечественной словесности, хотя и не знал множества ее творений... А ныне, взглядываясь в те или иные

---

\* То есть основной язык *допетровской* словесности.

\*\* Поэт имел в виду, надо думать, «относительное», касающееся определенной стороны дела, а не абсолютное превосходство.

\*\*\* Речь идет о теснейшей связи Руси с Византией.

\*\*\*\* То есть славяно-русского.



из этих творений XI—XVII веков, мы можем увидеть, что они, так сказать, подготавливали творчество Поэта... И я счел уместным дополнить рассказ о Пушкине в этой книге главами, посвященными двум явлениям допетровской эпохи — «Палее Толковой», или, иначе, «Книге бытия небеси и земли» (созданной, по мнению М.Н.Тихомирова, в конце XI века, то есть за 700 лет до рождения Пушкина), и преподобному Иосифу Волоцкому.

«Книга бытия небеси и земли» — это как бы видение целостности мира, и к ней можно бы взять эпиграфом пушкинские строки:

И внял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье...

\* \* \*

Более семидесяти лет назад, в 1927 году, выдающийся ученый и мыслитель Владимир Иванович Вернадский обратил внимание на своего рода уникальную особенность отечественного бытия: «...история нашего народа представляет удивительные черты, как будто в такой степени небывалые (то есть нигде, кроме России, не имевшие места. — В.К.). Совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видимые и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно для самого народа, они открываются ходом позднего исторического изучения...»

Вернадский подтвердил свое умозаключение целым рядом фактов, напомнив, в частности, что древнерусская иконопись ждала высшего признания несколько столетий. Речь шла, конечно, не о том, что ценнейшие иконы и фрески вообще не существовали для «долгих поколений», но о том, что они не осознавались как воплощение великого духовного творчества, сопоставимого с вершинами мировой культуры в целом.

Нечто подобное уместно, пожалуй, сказать о *Палее Толковой*, ибо перед нами одно из самых фундаментальных и обширных и в то же время одно из самых ранних из дошедших до нас творений отечественной словесности.

Вот краткие характеристики этого творения, предлагаемые специалистами в последнее время. *Палея Толковая* предстает перед нами «своеобразной энциклопедией как богословских знаний, так и средневековых представлений об устройстве мироздания». *Палея* выявляет «тайный эзотерический символизм Ветхого Завета по отношению к Новому, разрешая его в богословскую аллегорию Нового»<sup>\*</sup>.

<sup>\*</sup> Творогов О.В. Палея Толковая. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.). С.286.

<sup>\*\*</sup> Шеглов А.П. Религиозно-философское значение Толковой Палеи. Журнал Историко-богословского общества. М., 1991. № 2. С.7.

Казалось бы, такое творение должно было обрести высшее и более или менее широкое признание. Правда, *Палею* не так легко воспринять в отрыве от ее духовного, исторического и языкового контекста. Но делу могло бы помочь снабженное переводом на современный русский язык и тщательно прокомментированное издание. Однако ничего подобного у нас нет. Единственное издание *Палеи Толковой*, вышедшее столетие с лишним назад в двух выпусках (1892 г.; 1896 г.), доступно современному восприятию не более чем сами древние рукописи\*.

Одна из основных причин недостаточного внимания к *Палее* заключалась в том, что в течение долгого времени имело место представление о ней как о *переводном* (с греческого или болгарского языка) памятнике, хотя никаких следов «оригинала» не обнаруживалось. Многие филологи и историки XIX века попросту не могли поверить, что такое монументальное творение было создано много веков назад на Руси, поскольку господствовало весьма критическое отношение к допетровской русской культуре. Но к концу XIX столетия начинает складываться убеждение, согласно которому *Палея*, хотя она, конечно же, опиралась на различные иноязычные источники (в том числе на византийскую *Палею Хронографическую*), тем не менее является в своей цельности созданием русской мысли и слова. Это убедительно доказывали с конца XIX века такие виднейшие специалисты, как И.Н. Жданов (1846—1901), А.В. Михайлов (1859—1928), В.М. Истрин (1865—1937), В.П. Адрианова-Перетц (1888—1972). Между прочим, последние по времени исследования *Палеи* были опубликованы в академических изданиях уже после революции — в 1920-х годах\*\*, но затем ее изучение прекратилось, поскольку дело шло о непосредственно *богословском* сочинении.

Как уже сказано, *Палея* — одно из наиболее ранних творений отечественной словесности. Выдающийся историк М.Н. Тихомиров (1893—1965), отнюдь не склонный к необоснованным и тенденциозным выводам, писал в своем (к сожалению, незавершенном) труде «Философия в Древней Руси», что *Палея* создана не позднее XII века — то есть, возможно, еще в XI столетии, из которого до нас дошло немного.

Правда, «старшие» из сохранившихся рукописей *Палеи Толковой* относятся к более позднему времени — к XIV веку; однако ведь и другие великие творения русской словесности, созданные, вне всякого сомнения, в XI — начале XII века, — «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона, «Повесть времен-

---

\* Оно представляет собой литографическое воспроизведение переписанных несколькими студентами—учениками Н.С. Тихонравова частей «Палеи» (разумеется, разными почерками), изданное мизерным тиражом.

\*\* Истрин В.М. Толковая Палея и Хроника Георгия Амартола. Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1923. Т.29. С.369—379; Михайлов А.В. К вопросу о происхождении и литературных источниках Толковой Палеи. Известия АН СССР по русскому языку и словесности. 1928. Т.1. Кн.1. С.XV—XXIII.

ных лет», «Поучение» Владимира Мономаха — сохранились только в списках, сделанных не ранее того же XIV века (не считая небольшого фрагмента из «Слова» Илариона в рукописном сборнике XIII века).

Нельзя не отметить еще, что *Палея Толковая* имела на Руси немалое распространение, о чем свидетельствуют более полутора десятка дошедших до нас ее списков; как заключила крупнейшая исследовательница письменности Л.П.Жуковская, сохранилась в среднем только *одна сотая* часть «тиража» древнерусских книг. Следовательно, *Палея Толковая* была переписана примерно полторы тысячи раз (по тем временам «тираж» весьма значительный).

\* \* \*

*Палея* проникнута полемикой с иудаизмом; подчас ее даже озаглавливали так: «Палея Толковая на иудея». И это имеет свое существеннейшее основание. Почти все важнейшие сочинения, созданные в собственно *Киевской* Руси (то есть в XI — первой половине XII века — от Илариона Киевского до Кирилла Туровского и Климента Смолятича), содержат полемику с иудаизмом; не менее характерно, что позднее подобной полемики почти *нет* в литературе вплоть до конца XV века, когда рвалась к власти так называемая ересь (на самом деле это было полное *отступничество* от Христианства) жидовствующих, к которым принадлежали главный «чиновник» того времени Федор Курицын и мать первоначального наследника престола Елена Волошанка, а сам великий князь Иван III и митрополит Зосима явно сочувствовали отступникам.

Георгий Федотов писал в 1946 году о создателях русских сочинений XI — середины XII века: «... поражает то, что мы находим их поглощенными проблемой иудаизма. Они живут в противопоставлении Ветхого и Нового заветов... Это единственный предмет богословия, который подробно разбирается с никогда не ослабевающим вниманием... Подчеркивание этого приводит нас в замешательство...»

Но «пораженность» и «замешательство» Федотова обусловлены прежде всего тем, что к 1946 году не была еще по-настоящему изучена и осмыслена история борьбы Руси с иудаистским Хазарским каганатом, начавшейся при Рюрике и не окончившейся даже после победных походов Святослава и Владимира; в 1036 и 1068 годах Руси приходилось вступать в противоборство с остатками каганата в Тмутаракани (будущая Тамань) и в Крыму.

Через полтора десятилетия после появления цитированных суждений Федотова, в 1962 году, вышел в свет трактат М.И. Артамонова «История хазар», где в той или иной мере была воссоздана борьба Руси с каганатом, и в 1963 году М.Н. Тихомиров, говоря о том, что в Киевской Руси создаются «противоиудейские сочинения, вылившиеся в особые философско-религиозные трак-

таты», осмыслил полемику с иудаизмом как «противопоставление Хазарского царства Киевской Руси. Иссохшее озеро (образ из «Слова» Илариона. — В.К) — это Хазарское царство, где господствовала иудейская религия, наводнившийся источник — Русская земля»\*.

И о «Палее Толковой на иудея» можно с полным правом сказать, что она продолжила и завершила в сфере духа ту борьбу, которую ранее Русь вела против иудаистского Хазарского каганата мечом и «калеными стрелами», — борьбу, запечатленную в основном фонде русских *былин*.

Вместе с тем было бы, конечно, совершенно неверным сводить содержание *Палеи* к данной теме (хотя тема эта в высшей степени значительна и имеет не только собственно исторический, но и историософский смысл). В *Палее* перед нами действительно своего рода энциклопедия, созданная около девяти столетий назад.

И ныне настало время, когда это творение может и должно стать достоянием каждого мыслящего человека — независимо от того, переживает ли нынешняя Россия один из немногих своих тяжелых кризисов или же близится к концу своей истории...

Далее публикуются начальные страницы «Палеи»\*\* в превосходном, как представляется, переводе на современный язык, выполненном Романом Багдасаровым (это вообще *первый* публикуемый перевод Палеи Толковой). Конечно, и в переводе столь древнее творение воспринять не так уж легко, но те, кто не пожалел времени и душевных сил, будут щедро вознаграждены: перед ними явятся и

... неба содроганье,  
И горний ангелов полет...

### *Из Толковой Палеи* *Дочеловеческий цикл Творения\*\*\**

Бог прежде всех веков ни начала не имеет, ни конца. Так Бог силен. Сперва сотворил Он ангелов Своих — духов и слуг Своих — огонь палящий, как блаженный Давид написал в 103-м псалме. Десять чинов сотворил Бог: первый чин — ангелы, второй чин — архангелы, третий чин — начала, четвертый — власти, пятый — силы, шестой — престолы, седьмой — господства, восьмой — херувимы многоокие, девятый чин — серафимы шестикрылые, десятый же чин в демонов превратились. Над всеми чинами поставил Господь Бог старейшин, воевод и начальников, чтоб ан-

\* Тихомиров М.Н. Русская культура XI—XVIII вв. М., 1968. С.141.

\*\* В целом ее объем близок к объему данной моей книги.

\*\*\* Подзаголовок дан при публикации. Перевод сделан по изданию: Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. (Труд учеников Н.С.Тихонравова. М., 1892—1896. Пропуски и сокращения оговариваются в тексте).

гелам, по природе их, разуместь силу Слова и без высказанных слов передавать все друг другу через мышление.

Также преблагой милостивый Бог помыслил сотворить иной мир, земной. Об этом говорит великий Моисей: «Вначале сотворил Бог небо и землю...» Вопрошаю же я тебя, о иудей: почему Моисей начал не с ангелов, а, охватив одним словом множество вышних сил, с неба и земли начинает? Подобаает нам знать следующее: когда Иаков обитал в земле Египетской, там расплодись сыны Израилевы и многобожие египетское восприняли. Иные из них небу и земле поклонялись, иные ветрам, иные облакам, другие же Солнцу и Луне воздавали честь; одни день, а другие ночь чтили, иные мрак и мглу, другие же прах; иные источники и реки благословляли, другие же пред огнем, как пред Богом, трепетали — все это безумием и пустомыслием обожествляли, от истинного Бога уклоняясь, лести предавались. Для того божественный Моисей, минуя всех вышних, сразу переходит к писанию о небе и земле, чтоб оставили сыны Израилевы безбожие египетское, ибо уши их были полны прелестей. Для того и был послан к ним Моисей.

В Писании сказано: «От Авраама до исхода Моисеева 430 лет, от исхода же до Давида 640 лет». Давид, движимый Святым Духом, говорит в 32-м псалме: «Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст Его вся сила их». Видишь, иудей, как тебе указывают уста Божьи и Давид: Слово Божье есть Сын, а ипостась Его — Дух. Мы яснее вас проповедуем, что Он в трех ипостасях, но един Божеством. Еще Давид указывает нам на Сына Божьего в 109-м псалме: «Из чрева прежде денницы рождение Твое». Смотри же, что в четвертый день повелел Господь светилам быть на небесах — Солнцу, и Луне, и звездам. Вот Давид и говорит нам ясно: «Из чрева прежде звезды утренней рождение Твое». Видишь, что Христос стал Сыном Божьим единым с Отцом прежде всякого творения. Иное еще прибавил Давид в 101-м псалме: «Вначале Ты, Господи, землю основал и дело рук Твоих — небеса; они погибнут, Ты же пребудешь; и все они, как ризы, обветшают, и, как одежду, сменишь их, и изменятся. Но Ты — тот же, и лета Твои не оскудеют». И Соломон тебе написал: «Прежде сотворения бездны стояла Я пред Ним» (речь идет о Премудрости Божией. — *Пер.*). Слышишь ли ты, иудей, еще и Адама не было, откуда же было взятые Соломону? Но речь здесь идет о Христе Иисусе. Превыше всех, страшно и грозно сказал Иоанн Богослов, сын громов: «Сначала было Слово, и Слово было от Бога, и Богом было Слово. И было Оно сначала к Богу. И все Им было, и без Него не было ничего». Видишь, иудей, эту страшную тайну? Еще превеликие наши святые отцы сказали: «Один прежде всех веков свет, от света Бог истинный, от Бога Отца — истина». Движимые Духом Святым, говорили, что Он давал им сказать: «...даст Ему Святого Духа премудростью». Все проповедовали Сына в Отце со Святым Духом. Ибо Отец безвременно рождает Сына едино-

душного и сопрестольного, а Дух Святой прославляется в Отце с Сыном единой силой и единым божеством в Троице. Так херувимов воинство славословит: «Свят, Свят, Свят!» И далее, нераздельно соединяя Троицу, говорит Господь Саваоф: «Исполнены небо и земля славы Его». Ибо так превеликие отцы наши сказали, движимые Духом Святым: «Святой Боже, Который все создал через Сына Своего, с помощью Святого Духа. Святой Крепкий, в котором мы увидели Отца и Духа Святого, пришедшего в мир. Святой Бессмертный и Утешительный Дух, который от Отца исходит и на Сыне почивает». Эту Святую Троицу в разумении великих патриархов, пророков и по писаниям святителей тебе указываем.

Моисей просветил наш ум, говоря: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Для того сказал это Моисей, чтобы не думали люди, что без начала есть небо и земля, или что разное начало имеют, и бытию указывает он срок. Небо же нами невидимо, но светится более Солнца.

Сотворил Бог сначала в первый день все то, чего не было, как написано: небо, и землю, и вещественность созданий. Ибо сотворил Бог в тот день (первым) небо превысшее, второй — землю, третьими — бездны, четвертым — ветер, пятым — воздух, шестыми — воды, откуда снег, лед, роса, град, зима, мгла, тьма, глубина, и все стихии, что есть на Земле.

И далее Моисей говорит о Земле, что она «была безвидна и не украшена». А Иов о Земле пишет так: «Поведай, кто основал Землю ни на чем?» Учит же он нас ничего не предполагать под нею внизу: ни стихий, ни планет, ничего иного. Все ведь повинуется законному повелению Божьему. Подобно тому и Давид-певец сказал в 103-м псалме об «Основавшем Землю на тверди ее». Видишь, как все свидетельствуют, что основание было и правилось Божьим повелением? И тьма стала наверху бездны, а Дух Божий носился над водами, оживляя водную стихию. И сказал Бог: «Да будет свет». И стало так.

Об ангелах же написано, что и они в первый день вместе с небом и землею появились. Мы ведем речь о *силах* Творца Бога. Как написано, сказал Бог: «Да будет свет!» — и появились *светы*. Ангелы стали служить Ему, различные чины и архангелы. Свет-силы, свет-начала, свет-господства, свет-престолы, свет-власти, свет-херувимы, свет-серафимы и все чинопочаля служили страшной славе лица Господня, потому что они духи служебные, на службу посылаемые. Ангелов облаков, ангелов мрака и света, ангелов молний, ангелов града, ангелов льдов, ангелов туманов, ангелов снегов, ангелов инея, ангелов мороза, ангелов рос, ангелов эха, ангелов грома, ангелов зноя, зимы и лета, весны и осени, всех созданий Его, всех творений несказанных, немислимых и непознаваемых владыка Господь Бог в Первый день Своей мудростью сотворил.

Так же создание человека описал великий Моисей — не сказал, как сотворил (Бог) его члены и телесные чувства (по от-

дельности), но, одним словом покрывая все его составляющее, сказал: «Создал Бог человека плотью от земли». Так и все остальное произошло: вначале, сказано, небо и земля, а потом Он свет назвал. И увидел Бог свет, что он хорош. Так говорит великий Моисей. Пусть возразят богохульные уста и вразумятся, что это не само собой родилось, но созданием Владыки является. И разделил Бог свет и тьму, и назвал Бог свет «днем», а тьму назвал «ночью». День для дел и трудов выделил Бог человеку, тьму же — для упокоения. Стал же тот день первым и называется «неделей» (т.е. воскресением на совр. русском языке. — *Пер.*).

И потом сказал Бог: «Да будет твердь», в день второй. Сразу сгустился ледяной состав, как хрусталь, поэтому *твердью* стал он называться. От нее исходят жидкие и инертные воды, возносятся в высоту, превращаясь в густые облака, так же как поднимается дым от древа и огня, прозрачно и легко. Таково водное естество — жидкое и текучее. Часть его Бог вознес, сделал твердью и поставил сверху, в лед превратив. Разделяя воды, Владыка половину их возводит на эту твердь, а половину оставляет под твердью, потому что хотел Владыка светила создать и поместить их под твердью — Солнце, и Луну, и бесчисленное множество звезд, все — теплой и огненной природы, чтобы посылать воды на хребты небесные, чтоб остужать и окроплять бесчисленные небесные вершины. Те воды наполняют влагой небесный объем, но поскольку они не могут выдерживать тепла, исходящего от множества светил, то избыток влаги орошает и землю. Имея это в виду, патриарх Исаак, благословил Иакова словами: «Даст тебе Господь от росы небесной и от влаги земной». Стоит небо, а под ним твердь, на ней же — те водные бездны разлиты, ни на чем Божьей силой держатся, Божьим словом утверждены. О том говорит блаженный Давид в 148-м псалме: «Как сказал Он, так и стало, повелел Он, и создалось».

И опять Давид, разрешая наши недоумения, говорит словами Господними: «Небеса утвердились посреди вод, дабы разделять воды, и стало так». И вознес Бог половину воды на твердь, а половину поместил под твердь. Мудро разделяет Господь воды, чтобы светила, испускающие тепло, не вредили горней тверди. Для того устроил Он безмерную бездну и разделил ее пополам, чтобы (воды) прохладжали и остужали твердь, которую нагревает сияние светил. И настал вечер, приносящий тьму и лишение света. Ибо выход воздуха не имеет в существе своем света, но — лишение воздуха.

Свет и тьму назвал Бог. Не назвал прежде ночь, но день: да осветит божественные Его деяния; потом же названа ночь, дабы следовала за днем. Не иначе мудрость ту боголепно содеял и сочетал, разделяя ночь и день: дня первого и ночь первая, дня второго и ночь вторая, дня третьего и ночь третья. В эти три дня лишь по Божьему повелению наступали день и ночь и свет распространялся независимо от восхода (и заката). В четвертый день сотворил Бог светила великие, и день стал ярко освещенным, а ночь

приняла непроглядную тьму. Здесь Творец оставил некую тайну, укрывая от нас Свой промысл. В будущем явит Он мудрость трехдневного положения во гробе. Тогда, на середине пятницы (распятия Христова), Он день обратит в ночь, страсти ради Владычней. Скорбным стало тогда сотворенное — тусклым и мгlistым, пока не воссияло на него Солнце. Так же и во время Страсти Владычней творение будет скорбным: земля поколеблется и горы расколются, падет завеса, и задрожит вся тварь. Но воссияло нам солнце праведное — Спас из гроба. И стал для нас пресветлым тот день, просвещая народы верой боголепной. А Израиль тогда, словно ночь, принял непроглядную тьму.

И стала заутра, в день второй, твердь, которая нам кажется льдом. Подобно перегородке, что бывает возведена посреди палаты, так между небом и землей сотворил Он эту твердь. О том говорит божественный Давид в 113-м псалме: «Небо небес — Господу, землю же дал Он сынам человеческим». Иудеи воображают, что небес много, но пророки-песнопевцы, говоря «небеса», (на самом деле) исповедуют славу Божию, о чем и говорит в псалмах пророк Давид. Если это по-еврейски или по-гречески говорится, то для (указания) единого требуется не единственное или двойственное число, а множественное. Возьмем, к примеру, название «Афины». Ведь не говорят «Афина» про этот город, но — «Афины». Спаситель наш открывает несведущим истину Своей благодатью, сказав в Евангелии: «*Небо* и земля минуют, а слова Мои не минуют»; и далее говорит: «кто взойдет на *небо*», но при этом: «сошел с *небес*».

В третий день сотворил Бог море и реки, источники и семена. Для того поставил Он острова и горы, чтобы мы уразумели, что вначале земля была везде одинаковой, но по Божьему повелению ее равнина треснула, и всюду ринулась вода, и проступила суша. Так повелел ей Творец, чтобы собралась вода, которая под небесами, и под ней не было видно земли, но вдруг появилась суша.

В начале Бытия Моисей упоминает землю, а здесь — сушу, потому что она бывает иссушаема солнцем. Но пусть не называют Солнце Богом, которое сушит землю, ибо еще прежде Солнца земля была названа «сушей», т.к. ее высушило Божие Слово. Посмотри же, как вопреки природе скоро высохла земля. Ведь природа земного лика высыхает от солнечных лучей, а тогда еще не было сотворено ни Солнце, ни согревающее тепло, но только воды, спадающие в великие пропасти и глубины земные. И еще мокрую поверхность суши ополаскивала влага, смешанная с грязью. Только одно Слово Господне высушило вдруг лицо земли, и назвал Бог «сушею» землю, а собрание вод назвал «морем».

Разве не видишь преблагого Господа, искусника и всей твари создателя? Как же иначе вдруг проросла бы земля, бесчисленным множеством растений покрыла лицо свое, как волосами, разными цветами благоуханными, багряными и синими, и всякими пальмами украсилась? Созрела трава сенная, сеющая семе-



на по своему роду и подобию. Она производит такое бесчисленное количество семян, что хоть и не вспахана земля, а семена прорастают. Слушая все это, вспомни, как Дева родила, подобно Земле, не стерпевшей Божьего повеления и выносившей плоды, прежде в семенах не бывшие, и неведомые плоды родившей. Кто сможет описать красоту земли, когда Господь ее из небытия в бытие претворил и словно от тяжких уз избавил, открыв ей, через совлечение множества вод, закрытое (дотоле) лицо? Тогда Господь повелел земле прорасти семена плодовые, и на поверхность вышла виноградная лоза. На ту же высоту поднялся ствол за светлыми побегами своими, словно чад своих равно одеяя имением и одинаково равно заботясь о потомстве, наделяя их своими свойствами и подавая им лозу, чтобы они, словно за руки держась, в высоту тянулись. А чтобы ветер не относил их от своей матицы, побеги крепко связаны узами, дабы смогли они выдержать и тяжесть гроздьев. Имеет же (виноград) и частую листву, укрываясь ею от сильных дождей и охраняя свое потомство. Листья же извилины имеют, подобно отворенным дверцам. Ими они получают от солнечных лучей достаточное, но не слишком сильное тепло, которое могло бы навредить гроздьям.

Кто может описать все растения Вселенной? Ведь надмирный Владыка иное семя посеял в горах, иное в пропастях, иное на холмах, иные на равнинах, иные по берегу моря, иные по рекам, а также повелел сотворить Вселенной все семена разными по величине, дабы осуществилось все несуществовавшее. Горе твоему неверию, иудей, горе самовольному желанию твоему, окаянный. Так внимай же умом, как Слово Божие проросло обильную траву и древо плодovитое. Земля же, впервые услышав глас Господень и, как закон, приняв по Божьему повелению естественный порядок, начала приносить плоды впрок. Ты же, окаянный, стал душой, будто бессмысленная и бездушная земля. Закон от Господа приняв на Синае, променял Его славу на образ тельца. Пророчества вы слышали и пророков избили, чудеса видя, Сына Божьего отвергли, в Воскресшего не уверовали. Не горше ли ты, окаянный, бездушной земли? Выслушай также, что не только взошедшая вверх вода на землю стекла и толщина земли изменилась, но вместе с водой пришли и повеления Господни. Итак, вскоре в дело перешел глас (божественной) речи. Смотри же, как вслед за землей родила Дева не по естеству, а по велению Владыки. Внимай же, как по Его велению высохла земля, когда не было еще сотворено Солнце. И родила земля траву луговую и древо плодovитое, хотя не согревалась еще Солнцем, а той студенной водой была объята — и вдруг проросла по Божьему повелению!

Как сказал блаженный Давид в 89-м псалме: «Прежде, когда еще гор не было, и не созданы были Земля и Вселенная, от века и до века Ты есть». Или как Соломон пишет: «Прежде всех холмов рожден Я». То же разъясняет Иоанн Богослов, говоря: «Сначала

было Слово, и Слово было от Бога, и Бог был Словом». А Василий Великий сказал: «Оставим иудеев — пусть идут за светом огня своего и пламенем, который сами разожгли». Мы же скажем вот о чем: вся земля пустоты имеет, и невидимыми путями от начала морей ходит под землю вода, растекаясь и проникая в узкие места, где оставляет свою горечь и соленость. Всасываясь почвой, вода выходит на поверхность тщательно очищенной и пригодной. Земля пронизана подземными источниками, как жилами. Будто в природном котле, здесь густо замешано сало с водой, но, когда выльют его на платок для процеживания, водная жидкость стекает, а застывшее сало оставляют. Так и горечь в земле остается, как то Владычней премудрости подвластно.

Прекрасно море, из глубин которого вытекает влага, оно принимает все реки, но само пребывает, не оскудевая и не выходя из пределов своих.

Начало воздушных вод — источник, согреваемый солнечными лучами. Он собирает водяные капли воспарившего тумана. Туман же возносится ввысь и, остывнув в облачной тени, превращается в дождь и сходит вниз на землю. Точно так же, если кто, наполнив сосуд водой, разожжет под ним огонь и будет долго кипятить, то вода эта станет стекать паром (внутри сосуда). Так и солнечное тепло воды источников, рек или невидимо кипящих вод поднимает на воздух в виде пара. А затем, сделавшись сладкой от воздуха, вода эта, падающая на землю, плоды обильно поливает, где ей повелит Господь. Это явно для мореплавателей, когда они видят воочию море воспарившим и раскрытыми губами ловят и пьют капли тумана, находя их сладкими от воскурения на воздух. Земной ум не может постичь (природу) этой воды. Чья мысль может вместить в себя эту мудрость? Нет ничего самого по себе, но все — (Его) повелением. Как можно разделять сокровенные дела? Ведь корни вбирают одну и ту же воду, но она по-иному питает корни, по-иному — кору стеблей, по-иному — (крону) дерева и по-иному ствол питает. Так же и сходящая на землю влага: укрепляет ростки, подавая сок листве, расходясь по ветвям, дает расти овощу, и с живицей смешивается, и в многочисленные цветы входит. Одна и та же выпавшая вода производит много видов украшения: одному цветку придает белизну, другому синеву, третий делает подобным пламени, а четвертый багряным и желтым. Так одна воздушная вода претворяется во все виды. Чья мысль может постичь ее, которую Господь сотворил единым словом?

Ты же, иудей, почему не веруешь, что Дух Святой делает сопричастным творению сотворенное, с Отцом и Сыном действуя нераздельно единой силой? Ведь великий Павел, обращаясь к евреям, пишет: «Братия, одному кому-то дается явление Духа на пользу, другому дается явление Духа словом премудрости, иному же словом радости; иному дается вера тем же Духом, сотворение чудес тем же Духом; одному — дар исцеления, другому — проро-

чества, иному — различие духов, иному же — разные языки, другому — истолкование языков. Все сие создает единый Дух». Он ведь, какое захотел, такое и воде придал устройство: по слову Творца претворяться в многообразные виды. Так Святой Дух верующих умудряет и просвещает, неверных же мучит и посямляет. Взгляни на чудеса Господни: как по одному Его слову поросли деревьями вершины гор — одни приготовлены людям для трапезы, другие — на исцеление, одни предназначаются скоту, другие — птицам. Поскольку животных виды различны, то и пищи множество сотворено. И о бессловесных Бог промыслил, ибо оттого растения различны видом, что разные животные ими питаются. Но как говорит Писание: «Был вечер и было утро: день третий. И в четвертый день сказал Господь: «Да будет свет на тверди небесной, освещающий землю. И будут знамения для лет. Да будет просвещение небесной тверди светить на землю».

Внимай же, иудей, Божьей премудрости. «И сотворил, — сказано, — Бог оба великих светила: Солнце для освещения дня, а Луне повелел сиять в ночи. И звезды поместил Бог, чтобы светили на Землю». Обрати внимание на ночь, ибо не была вечной тьма, не была она прежде сотворена, когда Владыка повелел явиться свет. Тьмы не было, но существовал лишь свет, не переставая, не мерцая и не заходя. Когда же Владыка повелел быть тверди и распростертому небесному объему, — от тени той тверди наступила тьма, а когда воссияло Солнце, то (прогнало) ночную тень. Если Солнце светит на деревья или дома, то они отбрасывают тень и тени эти быстро вращаются в согласии с движением светила. Когда же оно заходит, по всей Земле настает тьма, которая называется «ночью». Это ясно видно, когда облако затмевает солнце, и от его тени в очах наших темнеет. Об этом Соломон сказал в Екклесиасте: «Взошло солнце, и шествует к югу, и поворачивает к северу, и снова к северу идет, творя ночь». У края земли, в северной стороне, бывает сильная мгла и поднятие пара. Той мглой помрачаются солнечные лучи, светящие к востоку, а когда мгла окружает северную часть, делается ночь. Рядом же с полуночными странами во дни летнего круга бывают не особенно темные ночи, и любым делом можно заниматься тогда без свечи и огня, и даже охотиться ночью. Когда же солнце приходит в ту страну, то, взойдя с южной стороны, производит день и освещает Вселенную, правит днем и ночью, служа знамением для лет, эпох и времен года. Чем были те знамения, скажи нам, кому они предназначались, когда не существовало еще на Земле человека? Так было и в последние дни: пророки проповедовали, один за тысячу лет, другой за четыре тысячи, что Девице надлежит родить Сына Божьего, а вы, не поверив тому, погибли.

Перейдем к знамениям. Мы наблюдаем столько светил, как они совершают движение в свои сроки, знаменуя день и ночь, и, придя (со стороны) своего восхода, опять идут к закату. Как сказал великий Давид в 103-м псалме: «Сотворил Ты Луну во време-

на свои, и солнце узнало запад свой». (...) \* Далее через знамения видно, что за год проходит четыре сезона. Имею в виду весну, напоминающую рождение и младенчество человеческого существа, ибо солнце, восходя высоко, тогда более всего продлевает день и способствует созреванию всей зелени. Когда же зелень и овощи питаются вешним соком и разбухнут от солнечного тепла, то время называют границей летнего круга. Так же ведь говорят и о человеке: пока дитя растёт, бывает слабо костью; суставы и кости его еще мягкие и само оно еще слабо, но приближается к зрелости и возмужанию — грядущей осени. Исступленное солнце (осени) иссушает все злаки и делает их зрелыми. Так и у возмужавшего человека, все кости становятся жесткими, хрящи укрепляются, костная кровь превращается в мозг, а мозг наполняет его голову. Зиму же уподобим старости, когда от прихода солнца и от южного ветра замерзшее тает. Так и к старости болезни и частые недуги, привязавшись, лишают сил. Оба времени — осеннее и весеннее — пребывают в равенстве, такова же продолжительность лета и зимы.

### *Знамения месяцев*

Как прибавляются дни в феврале, так прибавляются ночи в июле; как прибавляется тепло в марте, так прибавляется холод в декабре. Знамением является ущерб Луны: она то наполняется, то утрачивает весь свой свет, то, снова вырастая, принимает прежний облик от Бога, творящего великое. Дабы являлось это провозвестием и указанием о грядущих бедствиях. Так и душа, когда свет изошел из нее, является как бы мертвой, но вновь оживает, приняв свет, который, нарождаясь в душе, делает ее опять живой. Это служит знамением для человеческого естества: когда рождается Луна и серп бывает молодым и острым, все земляне определяют по нему срок и время исполнения; так и человек, когда родится в мир, отец его, мать, братья, друзья и соседи радуются ему, хотя им известно, что пройдет не так уж много лет и он умрет. Как Месяц растёт и с каждым днем светит все больше, так и дитя человеческого растёт до времени и сила его прибывает. Как Луна наполняется, так и человек приходит в возраст и сила его достигает совершенства. А потом свет Луны тускнеет, и человек горбится от свершений, и слабеют силы его день ото дня до самого смертного часа. Но как Луна рождается снова, так и люди во Христе воскреснут. Как говорят блаженный Иоанн и великий Павел: «Сеется смертное, восстает бессмертное; сеется в немощи, восстает в силе; сеется в нечестии, восстает в славе». Ибо все известное творение произведено Божьей благодатью ради человека.

Сказал Бог: «Да будут светила эти, Солнце и Луна, знамением времени на тверди небесной». И когда убывает Луна, приходит от

\* Опущен отрывок, касающийся вычисления солнечного и лунного кругов.

них знамение. Не сама она по природе убывает, но лишь прячет блеск своего света, и мы наблюдаем ее потемневшую часть, обложенную словно гривной или обручем. Это знамение повелел ей творить Господь. Когда Луна приближается к Солнцу, тогда скрывает блеск своего света. Так какой-нибудь слуга, став пред лицом цесаря, не может сравняться с ним, но подходит к нему со страхом, так и Луна, когда приближается к Солнцу, прячет свет свой, а когда удаляется от Солнца, свет ее возрастает и все более распространяется по Вселенной. Так и некоторые управители перед лицом своих господ кажутся ничемными, а отойдя от них, превращаются в страшных и сиятельных. Так и Луна, удаляясь от Солнца, царицей, изукрашенной светом, являясь, приблизившись же к Солнцу, разоблаченной пред ним предстает.

Видишь, как Господь не губит своего светила, но лишь свет свой прячет оно, приближаясь к Солнцу. Солнце является знаменем одинаково для дня и для ночи, но владеет только днем, ночью же Луна властвует. Так распределено между ними всемогущим Божиим велением. Некие баснословцы молвят, что Солнце и Луна с прочими звездами проходят под землей. Будто бы те, кто в древности создали (вавилонский) столп и поднялись на его высоту, соблазнившись в суетности ума своего, наблюдали Светильник и звезды уходящими и возвращающимися и возомнили небо вращающимся по кругу. Но Писание учит нас, что ни само небо движется от востока к западу, ни твердь вращается по кругу. На это указывает божественный Давид, говоря: «Благословите Господа, все ангелы Его — сильные крепостью, творящие слово Его, как только услышите глас слов Его. Благословите Господа все силы Его — слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все сотворенное Им...». И великий Павел учил, что ангелы являются духами служебными, посылаемыми на службу, ибо определено в Писании звездам и светилам совершать свой бег по воздуху при помощи словесных (т.е. ангельских. — *Пер.*) сил. Показывая, что тварь движется невидимыми силами, Павел говорит, что она «не по своей воле суете повинуется, но по воле Покорившего ее, в надежде, что освободится Им в свободу славы чад Божьих». О конце века сказано: «...освободится тварь от рабства тлению в свободу славы чад Божьих», т.е. в конце века ангелы освободятся от обязанностей той службы, которую они производят для людей. Ведь Сам Бог в Евангелии говорит о конце века: «Тогда сдвинутся силы небесные и звезды, как листья спадут с неба на Землю». Ибо «силами небесными» Он называет ангелов, а (когда говорит), что они «сдвинутся», то (подразумевает), что после того, как движущие звезды ангелы будут освобождены от службы, звезды падут на Землю. И к коринфянам пишет Павел: «Хвалить меня не следует, но приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет (во плоти ли — не знаю, вне плоти ли — Бог весть) восхищен был до третьего неба и слышал он несказанные слова, кото-

рые нельзя говорить человеку, и был перенесен в рай». Взгляни же на сего, бывшего восхищенным на высоту, которая пролегает от земли до тверди, так что от всей высоты небесной третья часть осталась. Причину же восхищения Писание объясняет так: Павел был избран сосудом Бога и, поучая его дерзать, трудиться и проповедовать, этим восхищением Он показывает Апостолу, как небесные силы непрестанно и бесценно день и ночь движут звездами, служа людям по Божьему велению. Для того и восхитил Господь Павла, чтоб утешить его и укрепить на страдание за имя Божие, дабы Апостол преданно служил, и, видя беспрестанно служащих ангелов, тем укрепился, и поведал о многих своих бедах, которые понес за имя Христово и за Церковь. О перенесении же в рай дерзновенно сказать в том Писании Павла умудрили души праведных, прежде в райской благодати пребывающие, соблюдаемые невидимыми силами с пением и со всяким благочестием. Но пребывающий в том блаженстве ожидает большего — чтобы жить с Богом, где неизреченная тайна и где несказанные слова Павел слышал. Дерзну сказать: кто завершит жизненный бег и соблюдет веру, тому уготован от Бога венец праведный. Мы же переходим к следующему.

### *О звездах и планетах*

Все звезды пребывают под твердью, на два уровня ниже высоты неба, двигаемы и вращаемы чином невидимых сил. Над ними расположены семь планет, которые Моисей изобразил, сделал семь светильников на свечнице (в скинии Завета), и которыми (в виде алтарного семисвечника) наши правоверные соборяне легко просвещают (темноту) неверных. После ухода этого великого Светильника (его перемещений на востоке и захода на западе) на небосклон вступает вселунный союз и порожденное им шествие: перемены в нем, явление равномерных и широких движений от северного края до южного и прочее. И те, кто хотят указывать на появления, исчезновения и знаки перемен в тех светилах, считают себя мудролюбцами и предрекают их исчезновения по числам учения. Ведь убывание Солнца случается нечасто, после 12-го Мехира; лунные же убывания случаются часто, Месори в 24-й день. К этому мы еще вернемся\*, а пока следуем далее.

### *О сотворении Солнца*

Господь сотворил Солнце вечно светящимся, Луну же — иногда облаченной в свет, а иногда совлекающей с себя его красоту. Как ранее описано, в первый день творения Бог все сотворил из небытия, а в последующие дни все разделил. Солнце всемогущий Создатель сотворил из света, бывшего уже в первый день. Все

\* Несколько ниже приводится таблица вычисления лунного круга, которая опущена в настоящей публикации. (Пер.)

разделил Господь Бог: как если бы кто вылил тело золотое, а потом раздробил бы его на золотые монеты. Так всемогущий Создатель разделил единый дивный свет первого дня, раздробив и распределив его по частям Солнцу, Луне и звездам. В них священный свет первого дня не прекращается, не заходя и не мерцая. Тот Светильник и остальные звезды Господь сотворил вне небес, а потом приложил их к горней тверди. Как если кто-то из земных мастеров сотворит какой-либо образ, а потом пригвоздит его к стене, так и Господь Бог сотворил светила вне неба, дабы Солнце освещало Землю днем, а Луна ночью.

### *О звездах*

Множеству звезд и мерцающему Месяцу повелел Он сиять в ночи. Как сказал Василий Великий: «Когда приходит ночь, взгляни на небо и увидишь изрядную красоту звезд, как украсил его всемогущий наш мудрый Создатель». Будто разнообразными цветами, испестрил Он звездами небо. Но не без пользы ведь все те звезды: одни (предназначены) для ориентира плавающим по морю, другие — для отдыха зверям; третьи служат проводниками птицам, чтобы без дорог перелетать им в отдаленные места; четвертые — на охранение рыбам; пятые — гадам. Иные же в знамение людям назначены, как рекли пророк Аггей с Захарией в 146-м псалме, сочиняя свою песнь: «Исчислил Он множество звезд и всем им назвал имена». Это напоминает то, когда была прежде бездна и Он единую воду на многие воды разделил: поднял на твердь, повелел пребывать ей во множестве различных морей и на реки разделил ее, на множество источников, на озера и болота. Как сказал великий Павел: «Что на небе и что на земле, все через Него стало». Ибо переменами светил Господь указал год и различия между днями.

### *О Солнце и о Луне*

Сотворил же Бог Луну в том виде, какой она принимает на 15-й день лунного месяца, в полнолуние. Заутра восходит Солнце, а Луна перемещается и является на западе, когда же Солнце оканчивает свое движение на западе, вскоре восходит Луна, чтобы исполнилось сказанное Им: «Да владеют (два великих светила) днем и ночью» (...)\*

Письмена говорят: насколько солнечный круг больше земного, настолько земной круг — лунного. (...) Как возвестил нам Иоанн Дамаскин, существуют семь планет или воздушных поясов. На первом поясе звезда Арес (Марс), на втором поясе звезда Гермес (Меркурий), на третьем поясе звезда Зевс (Юпитер), на 4-м поясе Солнце, на 5-м поясе звезда Афродита (Венера),

\* Далее (стб. 44—63) опущено обоснование причины, по которой Луна сотворена полной, и таблица вычисления лунного круга. (*Пер.*)

она же Денница, которая иногда днем восходит, а ночью заходит, на 6-м поясе звезда Крон (Сатурн), на 7-м поясе Луна. Эллины называют Луну Гекатой и представляют ее ездящей на колеснице, запряженной львами и мечущей в них змей. Божественное Писание учит не так, как говорят эллины, не сами планеты затемняют ясность нашего зрения, а ограничено наше зрение, устремленное ввысь. Можешь испытать слова вероучителей: взойди на высокую гору и взгляни на ровное поле. Какими покажутся оттуда пасущиеся внизу стада? Не станут ли они напоминать муравьев или мышей? Или взойди на вершину высоких холмов и погляди с нее на море — какими тебе покажутся корабли? Не меньше ли любого голубя представятся они твоему взору? В море находится множество объектов значительного размера, вроде больших островов, на которых стоят бесчисленные города и села. Не представляешь ли ты их себе как нечто черное и плавающее? И еще: там, где высокие горы пересечены глубокими ущельями, они будут видаться нам гладкими и круглыми. Как мы уже сказали, зрение воздушного пространства ограничено, поэтому при его безмерной высоте как сможем увидеть истинную величину светила? Господь сказал: «Да будут (светила) знамениями для дней, годов и эпох», и потому бывают знамения через те светила. Случается затишье бурям, южные дожди, северные метели или мощные натиски бурь, когда по обе стороны Солнца блещут знамения. Если Солнце бывает и на востоке и на западе, значит, прольется большой дождь и задует сильный ветер. Когда только с одной северной стороны явится знамение, оно предвещает северный ветер, когда только с южной стороны — южный ветер. Извещая об этом, Господь сказал: «Тогда наступит скорбь, когда возгорится небо, предвещая мрак». Ибо когда от поднятия тумана, который испаряется от земли, чернотой омрачатся солнечные лучи, а Солнце будет видаться людям кровавым, тогда явится то знамение в местах, где существует избыток влаги, в виде поднявшегося тумана, развеваемого ветром. А когда, как волосы, простираются солнечные лучи и облака как бы горят, тогда делается ветрено и студено. Если же Солнце явится, пригибая к себе лучи свои или охваченное почерневшими облаками, во время восхода или заката, тоже будет черно и мутно. Если же на закате будет чисто или зарево, то это предвещает затишье и ясную погоду.

Луна также являет много различных знамений. Тонкая и ясная трехдневная Луна предвещает длительное затишье. Если она будет тонкой, но не ясной, а как бы огненной, то знаменует сильные ветры. Если оба рога у Месяца равны между собою, но северный рог будет чище, то это предвещает переменные западные ветры. А когда почернеет Луна во время полнолуния, бывает дождливо. Когда облака плывут с двух сторон Луны, бывает легкий ветер, когда же они кружатся от Луны венцами, то предвещают мрак. Если Луна сделается черной, то мрак продлится и сделается тяжелым.



Такие вот знамения преблагой и всемогущий Господь повелел творить Солнцу и Луне, чтобы смотрели на них переплывающие великие морские пучины, чтобы пахари, труженики и гребцы прочно утвердились в том, что эти знамения — милость и великая помощь Творца Бога, дабы благодаря тем знамениям не был нанесен внезапный ущерб.

Мы слышали, как некие пустословы говорили, что из-за того, что люди рождаются при определенном расположении звезд, одни бывают русыми, другие белыми, третьи рыжими, четвертые черными. Это заблуждение пришло от неверных эллинов. Еще существует ложное убеждение, что о росте тела, болезнях и смертях человеческих, о мужских качествах, о богатстве и убожестве можно узнать по движению звезд. И о правителях распространяют свою ложь, совращая неверных подданных. Нам же подобает их ложь обличить. Ибо на четвертый день сотворил Бог те светила, когда Адама еще не было. Чье же рождение такое множество звезд ознаменовало?!

Обличим (этих пустословов) и далее, подобно блаженному Аврааму, который, когда к нему привели осужденного халдея, возомнившего себя звездочетом, обличил его о рождении и о смерти. Обличим же их о русых и белых людях: неужели все эфиопы под одной звездой рождаются, ведь они все черны, как демоны? И о богатстве и о власти цесарей, князей и королей: ведь сын каждого из них наследует отцовскую власть, так что — и они все под одной звездой родились?.. Ведь известно, что те, кто закона истинного не соблюдают, Богу и православной вере не следуют, те уподобляются нетопырям, пустотой и ложью исполненным. Ночь они представляют себе светом, а когда воссияет солнце, их очи омрачаются. Нам же сияет праведное солнце: (предстает оно) сияющее тремя светами—тремя божественными ипостасями едиными по своей природе. Хвалим и поклоняемся Ему, разумею Отца и Сына и Святого Духа в едином Божестве. Но посмотри — никак не можем наглядеться мы на этот Месяц сияющий и на красоту звездную, хотя и видим ее каждый день. А для слепых и несведущих это бесполезно: красоту, созданную Богом, не видят те, чьи очи помрачены слепотой. Так и ты, иудей, коли не обратишься к боговдохновенным книгам евангельским и апостольским, то, словно слепой, не можешь знать веры, переданной нам Богом. Но вспомни, окаянный, еще кое-что и не воображай себя лучше падшего Адама.

Ведь пал Адам, и все мы впали в соблазн, но Сын Божий, воплотившийся от Девы, воздвиг (от греха) Еву. Распятый на древе, древо освятил, и мы ныне взираем ввысь и на град отечества нашего, из которого увел нас человеконенавистник своей лостью. Когда узнаем, кто мы есть, то и Бога познаем и Творцу поклонимся, Владыке поработаем, возлюбим Кормильца, устыдимся Благодетеля. Если в видимом столько добра по отношению к нам, то каково же невидимое: т.е. жить с Богом, о чем сказал великий Павел: «Того око не видит и ухо не слышит, ни сердцем

человек не чувствует, что уготовил Бог любящим Его». Смотри же, иудей, какова слава Творца, о которой божественный Павел говорит, что ее разумение выше любого ума человеческого! Отчего же ты по собственной воле ее лишаешься? Так отвори свое сердце от злого учения и обрати его к славе, к которой и ангелы желают приинкнуть, а ты лишаешься ее по своей воле из-за неверия. Послушай, что говорит великий Давид: «Словом Господним небеса утвердились». Взгляни же на громадные облака, которые плывут, будто горы, по воле прелюбого Создателя Бога: одни туда, другие обратно, куда повелит Господь носить их ветру. Как же эти облака, напитавшись от воздуха влагой и отяжелев, не падают на Землю, но плывут по воздуху, носимые ветром? Почему облака эти не поднимутся вверх и не закроют небесную красоту? Так знай: повелел всемогущий Творец светить наверху всей огненной природе и для того учинил твердь, подобную смерзшемуся льду. А чтобы сохранить твердь эту, возвел туда половину вод, дабы не растеклась она от тепла Светильника и множества звезд. Но когда восходит Светильник, под его действием тает лед и сходит теплом на землю.

Мы часто видим звезды, падающие с небес, чтобы понять отсюда следующее. Когда прозрачное облако поднимается кверху и опалается звездным теплом, то, опаленное, быстро переносится ветром и погибает. Сравни это с тем, когда подносишь к свече пучок пакли. Если даже приложишь его не к самому пламени, то он все равно загорится от жара. Так и тонкое облачко бывает высушено одной звездой и опалено другой. Если ты спросишь, почему великий Светильник не опалит облака, а от звезд они загораются, то посмотри на загоревшийся дом или на сложенные костром деревья — ты не сможешь бросить перо, лист или пучок пакли на вершину того пламени. Поскольку это пламя сильно бушует, то от него исходит столь плотный жар, что его дыхание, не опалая, поднимает их на высоту, и до тех пор они не могут упасть на землю, пока не перестанет огненный жар или они не отклонятся куда-нибудь — направо или налево, и тогда тихо приземлятся. Так и воздушное облако не может подняться к Светильнику из-за его жара, но его горячим дыханием пригибается ниже. Если же эти облака опалются днем, то при солнечном блеске и при дневном свете мы этого видеть не можем. Так если где-то далеко от сильного пожара горят травы или тростник, это невозможно видеть ясным днем. Когда же приходит ночь, пред нашими очами появляется зарево.

### *Отпадение X чина ангелов \**

В тот день (Творения) один из ангелов, называемый Сатанайлом, который был старейшиной в десятом чине, увидев, как украсил Бог твердь (о которой мы говорили) и Землю, возгордился

\* Название главы дано при публикации.

и сказал в помысле своем: «Сколь прекрасна она, но не вижу живущих на ней. Вот сойду на Землю, и приму (власть), и буду обладать ею, и буду как Бог. И поставлю престол свой на облаках». И сверг его сразу с небес Господь за гордость его помысла, а за ним пали те, кто был под ним из десятого чина, просыпавшись с небес, как песок.

И пролетели одни в преисподнюю, другие на землю пали, третьи же повисли в воздухе. Архангельский глашатай, архистратиг Михаил, был начальником и воеводой силы Господней, являясь старейшиной иного чина. Увидев отступника, низвергнутого со своим чином, он звучным гласом, крепким и страшным, воскликнул: «Внемлем!» И все восхвалили Бога гласом силы. Воскликнул Михаил: «Внемлем! Мы созданы Богом на службу и предстоим пред Тем, которым возвышены и сотворены». Воскликнул Михаил: «Внемлем, кто мы есть, служба Богу с трепетом!» Воскликнул: «Внемлем, ибо свет пребывал с нами, и ныне через свет открылось, что есть тьма. Ибо возгордившиеся отпали и погибли, мы же станем внимать, ибо являемся Божьими служителями страшной силы Его, ибо с нами свет». Услышав глас архангела Михаила, демоны, висящие в воздухе, пали первыми, а демоны, провалившиеся в преисподнюю, сделались как бы глухими и перестали различать что-либо в мире; те, которые пали на землю, ходят по ней, причиняя своими соблазнами зло; последние же из них, разбросанные гласом архангела по воздуху, повисли там и пакостят как умеют.

Сатана, бывший старейшиной над своим чином, стал главным в земном чине и принял власть над Землей. Будучи изначально создан Богом не лукавым, а благим, он не смог вынести той чести, которую оказал ему Творец, но самовластной волей совратился со своей природы, вознеся помыслом на Сотворившего и замыслил сопротивляться Богу.

Так погиб первый отступник, отвратившись от добродетели и пребывая во злобе, стал по своему желанию князем тьмы. И пали многие, что были под ним из упомянутого ангельского чина, и нет уже власти и силы у тех, кто отпал от своего сана. Как написано в книге Иова: «...попущением Божьим они коснулись его ранами» или как написано в Евангелии: «...даже над свиньями они не властны, если не по промыслу творят, что Богом попущено; лишь по попущению Божию творить они могут». И (демоны) перевоплощаются, превращаются в призраки, производя мятеж.

А чему должно быть, то ни ангелы не ведают, ни демоны, спадшие с небес. Являют же порой это ангелы от Бога, который велит возвестить им это Своим угодникам. И то, о чем говорят ангелы, действительно сбывается. То же, о чем прорицают бесы через волшебников, чародеев или колдунов, не все сбывается напрямую, ибо иногда то, что не скоро случится, они знают, но говорят об этом совсем по-другому, по своему усмотрению. Иногда же неверные прельстители околдовывают на погибель, влекут

лестью и кознями мятущийся ум и смущают его ложью. Если же когда и говорят истину, окончание своей речи направляют во зло и, веля что-либо делать, лгут. Потому подобает не верить им, а видеть в них падших ангелов, которым нет покаяния, как и человеку после смерти. Падший Сатана согрешил своим помыслом и называется «сопротивником Божиим». На его место поставил Господь старейшиной Михаила, а падший чин назвался демонами. Господь Бог отнял у них славу, честь и светлость, бывшие у них прежде, и превратил их в духов тьмы. И велел им летать по воздуху.

*Перевод Романа Багдасарова*

### ***Величие преподобного Иосифа Волоцкого***

Общеизвестно сочетание слов, несущее в себе проникновенный смысл (пусть не сразу всецело ясный) и покоряющую красоту, — СВЯТАЯ РУСЬ...

Это словосочетание, разумеется, вовсе не имеет в виду, что в жизни нашей страны господствуют или хотя бы преобладают духовная высота и праведность; оно обозначает глубокую — редко представляющую с очевидностью — основу многовекового исторического бытия, основу, которая в конечном счете спасала Россию в години тяжелейших бед и роковых испытаний. Согласно народному изречению, даже и *село не стоит без праведника*. И уж, несомненно, не устояла бы без своей — чаще всего *невидимой* — святости огромная страна с труднейшей исторической судьбой.

Надеюсь, не будет неуместным краткое обращение к новейшей истории Отечества. 27 апреля 1970 года, в канун 25-летия Победы в Великой Отечественной войне, главнейший герой этой войны маршал Г.К.Жуков отвечал на вопрос журналиста: «Какие из человеческих чувств, по-вашему, сильнее всего пробудила в людях война?»:

— Особо я сказал бы об очень обострившемся во время войны чувстве любви к Отечеству. Это чувство, естественное для каждого человека, глубокими корнями уходит в историю... И вполне понятно, в суровый час мы вспомнили все, чем Родина наша законно может гордиться.

Георгий Константинович, родившийся в 1896 году, вырос в истинно православной семье; по воспоминаниям его родственников, известно, что в юные годы он постоянно посещал московский Успенский собор, о котором преподобный Иосиф Волоцкий писал в свое время как о «велицей церкви, сияющей посреди всея Руския земля». После 1917 года будущий маршал вместе со всей страной пережил трагическую *богоборческую* эпоху, но роковая война 1941—1945 годов, согласно его приведенному признанию, побудила вспомнить все, что глубокими корнями уходит в историю. В той же беседе он сказал: «Для нашей Родины всегда будет святым день 9 мая».

То есть понятие о *святом* жило в его сознании, и, рассказывая в другой раз о Параде Победы, маршал Жуков не смог не упомянуть следующее: «Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься!» Глинки — мелодии, конечно же, воистину православной... И вполне естественно, что любимая дочь маршала, Мария Георгиевна, стала и верной дочерью православной Церкви, не мыслящей себя вне Святой Руси...

Об этом следовало сказать, дабы было ясно: несмотря на все «богоборческие» призывы и интенсивнейшую антирелигиозную пропаганду после 1917 года, Святая Русь — пусть и подспудно, невидимо — существовала всегда. А теперь обратимся к далеким временам.

\* \* \*

Давно осознано, что периодом полного и особенно широкого проявления русской святости была эпоха середины XIV — середины XVI века; кстати сказать, само словосочетание «Святая Русь» иногда употребляют именно по отношению к бытию страны в эту двухсотлетнюю эпоху, в течение которой Русь превратилась из составной части Монгольской империи, одного из улусов Золотой Орды, в великую державу, имевшую основания называться высоким именем *Третий Рим*...

Внимательно вглядываясь в ход отечественной истории с середины XIV до середины XVI века, мы всецело убеждаемся, что свершившееся тогда поистине поражающее превращение было бы абсолютно невозможным, немислимым без подвижнической деятельности целого сонма обладавших высшей духовной энергией людей во главе с величайшим из них — преподобным Сергием Радонежским, который именно в середине XIV века стал игуменом основанного им Троицкого монастыря — признанного «главы» русских монастырей. В продолжение этой эпохи на всем тогдашнем пространстве Руси — вплоть до расположенных почти у Северного полярного круга Соловецких островов — было создано более 200 новых монастырей, излучавших и сеявших окрест себя духовность, праведность, культуру (воплощавшуюся в самом их зодческом облике и в иконописи, в церковном песнопении и словесности).

Многие и многие основатели и подвижники этих монастырей — среди них очень весомое место занимали непосредственные соратники, ученики и далее ученики учеников преподобного Сергия — причислены к лику святых, причем в этом выразались нередко не только воля Церкви, но и сложившееся в самой жизни *народное* мнение.

Одним из таких людей и был преподобный Иосиф Волоцкий. И, не умаляя достоинств многих других праведников и подвижников той эпохи, все же вполне уместно сразу вслед за именем

преподобного Сергия Радонежского поставить имя преподобного Иосифа Волоцкого, которому посвящена эта глава.

Преподобный Иосиф родился почти через полвека после кончины преподобного Сергия, но как бы обрел живую связь с ним, избрав своим наставником преподобного Пафнутия Боровского, который воспринял духовное наследие Сергия от его непосредственного ученика по имени Никита, ставшего старцем Высоцкого монастыря в городе Боровске. В трех верстах от этого города, в селе Кудиново, родился в 1394 году (то есть через два года после Сергиевой кончины) Парфений, в монашестве принявший имя Пафнутий (между прочим, это загадочное старинное русское имя, происхождение которого не выяснено...) и основавший впоследствии около Боровска новый монастырь.

Этот наставник преподобного Иосифа Волоцкого сам являл собой одного из достойнейших подвижников той эпохи, хранившего в своей духовной памяти Сергиевы заветы, которые в полной мере воспринял от него молодой Иосиф.

Вот выразительный ряд фактов. Преподобный Сергий вырос, как известно, в селении Радонеж, всего в трех верстах от которого находился Хотьковский Покровский монастырь. В этом монастыре были погребены родители Сергия, а его старший брат Стефан стал его иноком. Казалось бы, Сергий — тогда еще юноша, носивший мирское имя Варфоломей, — решив уйти в монастырь, должен был оказаться именно в Покровском, куда и звал его настойчиво старший брат. Но преподобный уговорил Стефана основать новый монастырь, для чего братья, как сказано в Сергиевом житии, «обходиста по лесом многа места и последи (наконец) приидоша на едино место пустыни, в чащах леса...» Тем самым преподобный возжег в лесной *пустыни* новый светильник на Руси, который дал позднее великий свет Троице-Сергиевой лавры.

Путь преподобного Иосифа *поначалу* был иным: он пробыл немало лет в созданном преподобным Пафнутием монастыре, а после кончины преподобного сам стал игуменом. Однако в 1479 году он, как сообщается в «Волоколамском патерике», «отъиде в лес града Волока Ламска и вселися в пустыню...» Этот неожиданный поступок (оставить уже высоко прославленный монастырь, где Иосиф к тому же был игуменом, и как бы начать все сначала!) объясняют различными обстоятельствами, но есть достаточные основания полагать, что *главной* причиной было все же стремление следовать по пути преподобного Сергия и создать именно в лесной пустыни новый монастырь, который уже при жизни Иосифа стал исключительно ценным на Руси источником духовного света.

Стоит также отметить, что преподобный Сергий, хотя и создал свой монастырь в лесной пустыни, но все же, в отличие от многих других основателей монастырей, недалеко (в 15 верстах) от Радонежа, где прошли его отрочество и ранняя юность. После-

довал Сергию и Иосиф, когда решил создать новый монастырь: избранная им лесная пустынь находилась поблизости (в 12 верстах) от его родного селения Язвище.

Многочислительно и другое совпадение в судьбах преподобных Сергия и Иосифа. Упомянутый родной брат первого из них, Стефан, не выдержал тягот жизни в создаваемом в лесной пустыни Троицком монастыре и вскоре ушел в Москву, где сумел достичь очень высокого положения — стал духовником самого великого князя Семена Гордого. Между тем преподобный Сергей позднее отказался принять даже настоятельно предлагавшийся ему высший сан Митрополита Всея Руси и до конца жизни пребывал в своей Троице.

То же мы видим в судьбе преподобного Иосифа: его брат Василий еще при его жизни стал архиепископом Ростовским (третий по значению сан в тогдашней церковной иерархии), между тем нет ровно никаких сведений о намерениях волоцкого игумена ради высоких церковных кафедр оставить свой монастырь, в котором он пребывал в течении тридцати пяти лет, вплоть до самой своей кончины. И конечно же, служение преподобных Сергия и Иосифа в их *лесных обителях* имело неопределимое, ни с чем не сравнимое значение и для духовного, и для целостного исторического бытия страны; именно в таких обителях творилась *Святая Русь* во всем ее существе. Вполне закономерно, например, что именно преподобный Сергей был наставником величайшего, чтимого во всем мире иконописца Андрея Рублева; в свою очередь, с преподобным Иосифом нераздельно связан второй гениальный русский иконописец — Дионисий.

Наконец, и Сергий, и Иосиф сыграли исключительно важную роль в преодолении тяжелейших испытаний, выпавших на долю Руси в их времена: первый — в победе над полчищами Мамая (притом это было не только воинским, но и *духовным* сражением, о чем подробно говорится в моем сочинении «Истинный смысл и значение Куликовской битвы»)\*, а второй — в борьбе и победе над тем, по его слову, «отступничеством» от Христа, которое вошло в историю под названием «ересь жидовствующих»\*\* (то, что Иосифово противостояние этой «ереси» было именно тяжелейшим сражением и подвигом, будет показано в дальнейшем).

Эти «соответствия» судеб и деяний Сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого в высшей степени многочисленны; трудно указать других последователей создателя Троицкого монастыря, чьи жития столь же подобны его житию. Сообщить об этом было

---

\* Опубликовано в журнале «Наш современник» (1997. №3, 4), а также вошло в мои изданные в том же, 1997 году книги «История Руси и русского Слова. Современный взгляд» и «Судьба России: вчера, сегодня, завтра».

\*\* Стоит сообщить, что слово «жид» (и образования от него) приобрело бранный характер только во второй половине XIX века; ранее оно было обычным обозначением этноса и религиозной принадлежности. Правда, слово «жидовствующие» имело негативный смысл, поскольку речь шла о ренегатах, изменивших своей вере.

далеко не лишним и потому, что многие авторы *новейшего* времени пытались как раз резко противопоставлять преподобных Сергия и Иосифа, который якобы «разрушал традиции преподобного Сергия». Насколько это не соответствует действительности, свидетельствует тщательно изученный в наше время состав библиотеки, собранной в Иосифовом монастыре в XV—XVI веках: более чем в четверти ее книг прославляется преподобный Сергей Радонежский!

Кстати сказать, еще более резко противопоставляли Иосифа Волоцкого его высоко чтимому современнику — преподобному Нилу Сорскому. Но об этом речь далее. Обратимся к самой личности преподобного Иосифа.

\* \* \*

Он родился 12 ноября 1439 года в селе Язвище вблизи города Волоколамск. До принятия монашеского имени Иосиф его звали Иван Иванович Санин. Но, несмотря на русские имена и отца и сына, род Саниных имел литовское происхождение. Прадед преподобного Александр (Саня) пришел из Литвы на службу князю Московскому; судя по времени, в продолжение которого совершается смена трех поколений (прадед—дед—отец), это произошло при Дмитрии Донском.

Литовские корни одного из величайших русских святых могут показаться людям, не изучавшим подробно отечественную историю, чем-то по меньшей мере странным. Но языческая Литва, являвшая собой своего рода пограничную зону между католической Польшей и православной Русью, в течение долгого периода как бы *избирала* один из двух путей, что особенно ярко проявилось во время Куликовской битвы. Как явствует из всех сказаний о ней, множество литовцев сражалось под православными хоругвями с полчищами Мамаю; среди них и один из главнейших героев этой битвы князь Дмитрий Боброк, командовавший засадным полком, решившим исход сражения. Он был внуком великого князя Литовского Гедимина.

А между тем другой внук Гедимина, Ягайло, избравший для себя не Православие, а Католицизм, был, напротив, союзником Мамаю и двигался со своим войском, в которое помимо литовцев входили католики\* — поляки и немцы, к Куликову полю, но не дошел до него к моменту битвы; есть основательная версия, согласно которой Ягайло не решился вступить в такой бой, где его литовским воинам пришлось бы сражаться с многочисленными литовцами, входившими в войско Дмитрия Донского...

Вскоре после Куликовской битвы Литва под руководством Ягайло приняла католичество и позднее волилась в состав Польши. Но определенная часть *православных* литовцев — в том числе уча-

---

\* О теснейшей взаимосвязи *мусульманина* Мамаю с *католической* экспансией на Русь см. в моей книге «Судьба России: вчера, сегодня, завтра».



стников Куликовской битвы — переселилась на Русь. Среди них был и прадед преподобного Иосифа, получивший от великого князя вотчину (имение) под Волоколамском. Не исключено, что и он принимал участие в Куликовской битве, благословляемой Сергием Радонежским.

Обо всем этом важно знать, помимо прочего, и для уяснения великой духовной силы Православия, которому всем существом приобщались люди самого разного этнического происхождения. Достаточно напомнить, что монгольский «царевич», племянник самого хана Батыея, еще в XIII веке принял Православие, ревностно служил ему и был впоследствии причислен к лику святых под именем «преподобный Петр, царевич Ордынский!» И между прочим, наставник Иосифа, преподобный Пафнутий Боровский, был внуком принявшего Православие монгола...

Подчас такие факты смущают современных читателей, хотя именно они особенно убедительно свидетельствуют о мощи русского Православия. И люди различных национальностей, приобщавшиеся умом и сердцем православному бытию, духовности, культуре, могли стать и становились истинными сынами Святой Руси. Так было и с правнуком литовца Иваном Саниным.

В семилетнем возрасте Иван был отдан в учение старцу Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению Леженке и, проявив редкостные способности, быстро и в совершенстве овладел чтением, письмом, риторикой (то есть умением строить свою речь по законам логики и красоты), а затем и началами богословия. К восемнадцати годам он решает всецело посвятить себя служению Православию и отправляется в Саввин Тверской монастырь к именитому старцу Варсонофию Неумою.

Однако общий строй жизни в этом монастыре не пришелся по душе Ивану Санину, и вскоре он по совету Варсонофия ушел отсюда на двести верст к югу, в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, бывшего, как уже сказано, учеником непосредственного ученика Сергия Радонежского — старца Никиты. Здесь Иван Санин 13 февраля 1460 года принял монашеский сан под именем Иосифа.

В монастыре Иосиф помимо истового богослужения предавался тяжелому физическому труду и, кстаи сказать, продолжал это, будучи игуменом Боровского и позднее Волоколамского монастырей. Благодаря высоким достоинствам и выдающейся просвещенности Иосиф стал ближайшим доверенным лицом игумена Пафнутия, а после его кончины (1 мая 1477 года) по праву занял его пост. Но в 1479 году Иосиф покидает Боровский монастырь. В целом ряде сочинений этот поступок Иосифа объясняют исключительно его конфликтом (далеко не последним) с великим князем Иваном III, который ущемлял интересы монастыря, о чем с горечью писал и сам Иосиф. И уход его под Волоколамск стремятся целиком объяснить тем, что Иосиф оказался там как бы в ином государственном образовании — Волоцком княжестве,

где правил брат Ивана III Борис Васильевич, отстаивавший свою «суверенность» — независимость от Москвы.

Нельзя отрицать, что это было одной из причин поступка Иосифа, но все же *главной* целью было, очевидно, создание *нового* монастыря. Это явствует из того факта, что, прежде чем уйти из Боровска под Волоколамск, Иосиф в течение долгого времени посещал различные монастыри, дабы познакомиться с их устройством. Он странствовал с близким ему старцем Боровского монастыря Герасимом, выдавая себя за его ученика и выполняя в посещаемых им монастырях «черные работы». Дело в том, что, если бы Иосиф являлся в другие монастыри как игумен одной из известнейших обителей, его принимали бы в них «официально» и он не смог бы познать их бытие во всех его — в том числе и не лучших... — проявлениях. Наиболее благоприятное (или даже единственно благоприятное) впечатление произвел на Иосифа Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году близким сподвижником Сергия Радонежского преподобным Кириллом.

Эти странствия преподобного Иосифа были бы непонятны, если бы смысл его ухода из Боровского монастыря целиком заключался в том, чтобы оказаться во владениях волоцкого князя, а не Ивана III, который к тому же вовсе не желал отстранения Иосифа от игуменства в Боровском монастыре и после его исчезновения объявил боровским монахам: «Нет вам игумена, опричь Иосифа» и распорядился о розыске беглеца. Иосифовы странствия явно свидетельствуют, как представляется, что главная и истинная его цель заключалась именно в создании нового — и, разумеется, совершенного — монастыря, а выбор «пустыни» недалеко от Волоколамска, не принадлежавшего тогда к Великому княжеству Московскому, был обусловлен, надо думать, не столько желанием уйти из-под власти Ивана III, сколько стремлением вернуться в свой родной край. В житии преподобного Иосифа говорится, что он избрал место для нового монастыря, «зная пустыню лесну зело, сушу близ достоания отец его».

1 июня 1479 года Иосиф прибыл в Волоколамскую землю, 6 июня началось строительство первой монастырской церкви — пока деревянной — Успенья Богоматери, и уже 15 августа она была освящена. Позднее, в июне 1484 года, начала воздвигаться каменная церковь (освящена в декабре 1485-го), и ее фрески и иконы создал великий Дионисий, с которым Иосиф тесно сблизился еще в Боровском монастыре.

В Иосифовом монастыре воцарился строгий, даже суровый устав. Монахи не могли иметь никакой личной собственности и помимо длительных богослужений были обязаны заниматься разнообразным физическим трудом, от чего не уклонялся и сам игумен. «На трапезе... ястие же и питие всем равно, яково пред игуменом, тако и пред всеми братьями», — сообщает «Волоколамский патерик». Было обязательно и самое простое, единое для всех одеяние. Никто не мог без разрешения отлучаться из монастыря. И в

этом заключалась глубокая истина: люди, всецело посвятившие свою жизнь служению Богу, должны отречься от всех *земных* желаний и интересов. Монастырь был подлинной Христовой общиной, действительным *братством* во Христе, воплощением реального устремления к святости. И ощущаемая людьми близость монастыря к Богу приводила к тому, что, несмотря на всю суровость устава, в Иосифову обитель нередко переходили монахи из имевших менее строгие порядки обителей, вызывая даже ревнивое недовольство иных церковных деятелей...

Правда, в уставе Иосифова монастыря предусматривались для *богатых* людей, принимавших по тем или иным причинам постриг в монастыре и вносивших в его казну особо крупные вклады, «смягчения», дабы не отпугивать их слишком стеснительными правилами. Но это были вполне оправданные «смягчения», ибо благодаря наличию больших денежных и иных средств Иосифов монастырь мог заниматься самой широкой благотворительностью, подкрепляя свое духовное воздействие на окрестное население «практической» заботой о нем, прежде всего о нищих, немощных, пострадавших от неурожая.

Стремившийся к объективности историк А.А.Зимин, тщательно изучив эту, как сказали бы теперь, «социальную» роль Иосифова монастыря, писал: «С самого начала своего пребывания в Волоцком княжестве он (Иосиф. — В.К.) организует кредит обнищавшим крестьянам. Значительные средства монастыря тратились на прокормление нищих... на трапезе собиралось до 600—700 человек, а в праздники было и того больше. Незадолго перед смертью Иосифа... был сильный голод... В монастырь стекалось ежедневно по 400—500 человек голодающих. По приказу Иосифа были розданы все монастырские хлебные запасы, а деньги истрачены на покупку зерна — монастырь даже вынужден был занимать деньги у соседей...»

Помимо того, преподобный Иосиф с успехом воздействовал на тех, кто обладал богатством и властью: «Когда до Иосифа, — писал А.А.Зимин, — дошли слухи о тяжелом положении холопов и крестьян у одного вельможи, то он ему отправил послание, в котором проводилась мысль о «миловании» рабов. Эта же мысль развивалась и в ряде других посланий. Обосновывал он ее ссылками на Священное писание: «понеже вси есмь создани рукою Божию, и вси плоть едина... и вси в руце Господни: его же хочет обнищивает и его же хочет обогатит». И «на Страшном Судищи Христове несть раб ни же свободна, но каждо по своим делом примет...» Когда в 1512 году в Дмитрове был голод, Иосиф обратился к князю Юрию Ивановичу (сыну Ивана III. — В.К.) с посланием, в котором просил... установить твердую цену на хлеб... Такого характера деятельность волоцкого игумена, конечно, оказывала влияние на положение крестьянства у соседей и вотчинников. Последние вынуждены были улучшать условия их жизни, ибо в противном случае у крестьян оставалась всегда возможность бежать под защиту монастыря».

Я сознательно привел суждения из изданного в Москве в 1977 году исследования А.А.Зими́на — историка не только «светского», но и *советского*, который ни в коей мере не имел задачи идеализировать деятельность преподобного Иосифа, а только тщательно изучал достоверные исторические факты.

Но истинное существо дела заключалось, конечно, не просто в том, что Иосиф Волоцкий заботился о «материальном положении» крестьян и холопов; эта забота была только одним из естественных проявлений целостной деятельности его монастыря, воплощавшего в себе дух Православия, являвшего собой как бы предметный *образ Царства Божия* на грешной земле, что вполне наглядно предстало в имевшихся в монастыре творениях великого иконописца Дионисия (их там было в начале XVI века около девяноста...)

И, настаивая на улучшении положения крестьян и холопов, преподобный Иосиф, как мы видели, исходил из того, что все люди — Божьи создания, и для последнего Суда нет ни рабов, ни их «свободных» господ. То есть его, как выразились бы теперь, «социальная программа» являлась одной из неотъемлемых составных частей монастырского служения.

Сравнительно быстро Иосифов монастырь обрел на Руси самую широкую известность и признание как одно из наиболее достойных и в то же время наиболее полнокровных воплощений православного бытия, сознания, творчества.

Помимо всего прочего, преподобный Иосиф стал виднейшим православным *мыслителем* и *писателем*; закономерно, что в его дошедших до нас изображениях он предстает *пишущим*. Наиболее раннее из известных нам сочинений преподобного Иосифа он написал еще тогда, когда был иноком Пафнутьева Боровского монастыря. Это «Послание о Троице» архимандриту (так тогда звался наиболее чтимый из игуменов монастырей какой-либо епархии) Тверского Отроча монастыря Вассиану, который с 1477 года стал епископом Тверским. То есть «Послание» написано не позднее 1477 года и по прямой просьбе архимандрита (оно начинается словами: «Что, господине, меня... пытаешь о таинстве Святыя Троицы...»)

Обращение архимандрита (к тому же вскоре ставшего епископом) к иноку Боровского монастыря Иосифу с просьбой объяснить глубочайший смысл одной из основ христианского богословия свидетельствует, что, еще будучи иноком, преподобный обладал высоким богословским авторитетом.

Стоит напомнить также, что монастырь во имя *Троицы* создал преподобный Сергей, и, значит, это раннее сочинение преподобного Иосифа об Ее «таинстве» опять-таки связывает его с величайшим русским святым. Некоторые современные авторы пытаются доказать, что якобы уже в этом послании Иосиф начинает борьбу с «ересью жидовствующих», поскольку в одной (только в одной) его фразе упомянуты еретики, которые «не хотяща бо

видеть, ни слышати Отца и Духа Святаго, равна Отцу и Сыну». Однако различного рода еретики отрицали таинство Троицы с древнейших времен, и нет никаких оснований считать данное Иосифово послание связанным именно с «ересью жидовствующих» (хотя эта ересь, конечно, так же отрицала Святую Троицу). Против этой конкретной «ереси» преподобный Иосиф начал борьбу позднее, в конце 1480-х годов, когда она стала играть очень значительную роль в высших сферах и государственной, и церковной власти Руси. К этому мы теперь и обратимся.

\* \* \*

Как уже сказано, с середины XIV до середины XVI века Русь переживала эпоху невиданного роста и многообразного расцвета. В частности, в 1480 году она окончательно освобождается от зависимости от Орды, но следует знать, что, благодаря резкому ослаблению последней, зависимость от нее имела уже скорее формальный, чем фактический характер с самого начала великого княжения Ивана III (1462 год). Одним из очень существенных последствий обретения Русью «суверенности» явилось ее широкое общение с окружающим миром — и с Западом, и с Востоком; ранее «внешняя политика» во многом была, так сказать, прерогативой правителей Золотой Орды, которым подчинялись русские князья. Но по мере ослабления ордынской власти — еще до 1480 года — складываются, например, тесные взаимоотношения Руси с самой «высокоразвитой» тогда страной — Италией, и в Москву в 1475 году приглашается выдающийся итальянский инженер Аристотель Фьораванти, под руководством которого в Кремле строится новое здание Успенского собора, существующее и поныне.

Между прочим, некоторых людей как бы задевает тот факт, что великолепное творение московского зодчества строил иностранец... Но, во-первых, Италия в то время вырвалась далеко вперед в сфере науки и техники, и итальянских мастеров приглашали для работ вовсе не только на Русь, но и в основные страны Западной Европы, а во-вторых, для усвоения характера собственно русского зодчества Фьораванти для начала был отправлен во Владимир, где изучал архитектурное своеобразие тамошнего Успенского собора, чудесного храма Покрова на Нерли, и построенный им в Москве Успенский собор был выдержан в основных канонах русского зодчества. Между прочим, преподобный Иосиф Волоцкий писал об этом соборе, что его «достоит нарещи земное небо, сияющу яко великое солнце посреде Руския земля».

Словом, установившиеся во второй половине XV века деятельные и многообразные взаимосвязи Руси с внешним миром были в тех или иных отношениях и естественны, и плодотворны. Но, как говорится, все имеет свою оборотную сторону, что в особенности уместно сказать о русских людях, в высшей степени склонных ко всякого рода крайностям. Вообще-то это качество

может дать и «отрицательные» и «положительные» последствия, и русский «экстремизм» (если воспользоваться современным термином) являет собой национальное *своеобразие*, а не заведомо отрицательную черту.

Но одно из проявлений этого «экстремизма», которое не раз имело место в нашей истории, всегда наносило тяжкий ущерб стране. Речь идет о таких периодах истории Руси-России, когда ради пришедших *извне* «новаций» предпринимался «экстремистский» отказ от веками складывавшихся *устоев* бытия и сознания, — отказ, который не мог привести ни к чему, кроме разрушений, и только последующий нелегкий, подчас мучительный *возврат* на собственный путь спасал страну...

Незадолго до того как в Москву прибыл упомянутый итальянец Фьораванти, в 1470 году, в Новгород явился другой человек, который также имел в конечном счете *итальянское* происхождение: его дед Симоне де Гизольфи был знатным и богатым генуэзцем, занимавшимся крупной, как сказали бы теперь, «коммерческой деятельностью» на Таманском полуострове между Черным и Азовским морями. Здесь тогда существовало княжество, основным населением которого были черкесы (или, иначе, *зихи*), и Гизольфи устроил брак своего сына Винченцо с черкесской княжной. И сын последнего, Заккария, полуитальянец-получеркес, стал *князем Таманским*. Это был, как ясно из фактов, человек огромной энергии и обширнейших познаний, имевший самые широкие международные связи и в Европе, и в Азии. Особое значение имела его связь с существовавшей с давних времен в таманском городе Матреге\*, являвшемся столицей его княжества, крупной иудейской общиной.

Прибыв в 1470 году в Новгород вместе с тогдашним князем Киевским Михаилом Олельковичем (литовцем), он сумел оказать громадное воздействие на общавшихся с ним людей, среди которых были и православные священники Алексей и Денис. Посеянная Заккарией, которого на Руси звали «Скарья» и «Схария», ересь дала, увы, весьма и весьма обильные «плоды». В 1478 году великий князь Иван III беседовал в Новгороде с «еретическими» священниками Алексеем и Денисом, произведшими на него столь сильное впечатление, что он пригласил их в Москву, где они были поставлены в 1480 году во главе важнейших соборов — Успенского и Архангельского...

Впрочем, об этом речь пойдет. Здесь же необходимо сказать о наиболее существенном. Иван III, при котором Русь широко вышла на мировую арену, явно склонялся к столь характерному для нас, русских, «экстремизму». Поскольку Русь тогда стремилась вобрать в себя те или иные практические и теоретические достижения Запада и Востока (отмечу, что Заккария Гизольфи был как бы

---

\* Его название не раз изменялось: Таматарха — Самкерц — Тматорокань — Матрега (Матрика); ныне — Тамань.

представителем и Европы, и Азии), великому князю казалось, что даже само определявшее путь Руси уже пять столетий Православие нуждается в «обновлении» — в соответствии с идущими извне «советами».

Целесообразно сказать здесь о том, что во многих сочинениях «ересь жидовствующих» совершенно безосновательно сопоставляют с *Реформацией*, то есть с происходившим с начала XVI века в ряде стран Западной Европы переходом от Католицизма к различным формам *Протестанства*. Делается это с целью представить Русь сугубо «консервативной», «реакционной», «мракобесной» страной: вот, мол, «прогрессивный» Запад осуществил естественно назревавшую Реформацию, а Русь ее подавила и тем самым безнадежно «отстала» от Запада...

Но сия «концепция» несостоятельна уже хотя бы потому, что Реформация осуществилась лишь в северной и отчасти центральной Европе; Испания, Франция, Италия и т.д. вовсе не отказались от Католицизма и беспощадно подавляли «реформаторов». Далее, Реформация началась в Европе в конце 1510—1520-х годах, то есть на полвека позднее (!) возникновения «ереси жидовствующих» на Руси, и уже из этого ясно, что дело идет о совершенно различных явлениях (иначе придется признать странное, неправдоподобное русское первенство по отношению к западной Реформации). Наконец, — и это наиболее важно — Реформация все же отнюдь не отрицала основ Христианства, а «ересь жидовствующих», как убедительно показано в ряде исследований, была направлена именно против главных христианских устоев.

И после того как «ересь» проникла в верхние слои русского общества, преподобный Иосиф Волоцкий возглавил борьбу с этой опаснейшей угрозой самому бытию Руси — в глубокой своей сущности *Святой Руси*. О конкретной истории этой борьбы речь впереди. Здесь же целесообразно сказать о беседе преподобного Иосифа с Иваном III, состоявшейся в 1503 году, то есть через 25 лет (!) после увлечения великого князя речами «еретических» новгородских священников. К 1503 году Иван III осознал всю дикость и опасность своего — пусть даже и относительного — одобрения «ереси» и признался — и покался — перед преподобным Иосифом: «...яз, деи (де), ведал еретиков, и ты мя прости в том...» — «Государь! Мне тебя как прашати?» — «Пожалуй, прости мя!»... Да и сказал ми, которую дрѣжал Алексей протопоп ересь и которую ересь дрѣжал Феодор Курицин».

Этот рассказ о раскаянии Ивана III и покаянии его — властителя Руси! — перед игуменом одного из русских монастырей может удивить и даже показаться недостоверным. Однако рассказ этот содержится в написанном преподобным Иосифом еще при жизни Ивана III послании к *духовнику* (то есть ближайшему собеседнику) великого князя — архимандриту Андрониковскому Митрофану и в силу этого никак не мог исказить факты.

А в покаянных словах и самом тоне Ивана III выразилось — что очевидно — пришедшее наконец к нему прозрение — ясное осознание всей опасности заразившего самые верхи светской и даже церковной власти лжеучения, которое подрывало истинную основу многовекового бытия Руси. И нет сомнения, что главную роль в этом сыграла многосторонняя самоотверженная деятельность преподобного Иосифа Волоцкого, разумеется, совместно с другими православными подвижниками того времени, среди которых следует назвать прежде всего преподобного Нила Сорского.

Правда, первым выступил — в 1487 году — против «ереси» архиепископ Новгородский (в 1484—1504 годах) святитель Геннадий, ибо именно в Новгороде «ересь» и зародилась. И позднее преподобный Иосиф в своем «Сказании о новоявленной ереси» («Просветителе») высоко оценил инициативу святителя Геннадия. Но вполне закономерно, что Геннадий сразу же обратился за помощью в борьбе с «ересью» не только к близким ему церковным иерархам — епископу Сарскому Прохору, епископу Суздальскому Нифонту и архиепископу Ростовскому Иоасафу (правда, только что утратившему свой пост), но и к не имевшим сколько-нибудь существенной власти в Церкви преподобным Нилу Сорскому и Иосифу Волоцкому. Ясно, что он видел в них воплощение того высшего духовного света, который имел *главное значение* в борьбе с «ересью».

Важно подчеркнуть, что церковная *власть* и *не могла* бы тогда справиться с «ересью», ибо «еретиков» поддерживал сам Иван III. Так, согласно свидетельству преподобного Иосифа (в его «Сказании о новоявленной ереси»), Митрополит (в 1473—1489 годах) Геронтий сам был верен Православию, но не боролся с «ересью» и прежде всего потому, что «бояшесь дръжавного», то есть Ивана III, долго сочувствовавшего «еретикам»...

Словом, спасти Православие могла только собственно *духовная* борьба, в которой решающую роль сыграли преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, чьи имена нераздельно связаны в истории русской Церкви и Руси вообще.

Правда, утверждая это, я, несомненно, встречу с возражениями или хотя бы недоумением, ибо во множестве сочинений, так или иначе касающихся судьбы и деяний этих русских святых, они преподнесены в качестве по меньшей мере очень далеких друг от друга людей или даже прямых врагов! И это совершенно бесосновательное представление распространено чрезвычайно широко.

Проблема достаточно существенна, ибо дело идет не только о понимании взаимоотношений двух православных деятелей и мыслителей, но о понимании их эпохи *в целом*.

Мы не всегда отдаем себе ясный отчет в том, что разразившаяся в России в начале XX века грандиозная Революция самым активным образом готовилась задолго до ее непосредственного начала. Революционные или по крайней мере сугубо «либераль-



ные» идеологи в течение XIX века стремились всячески *дискредитировать* государственный, социальный и церковный строй России, притом не только современный им строй, но и его предшествующие исторические стадии — вплоть до Древней Руси. При этом, в частности, преследовалась цель найти в прошлом — в том числе в далеком прошлом — «либеральных» предшественников, противостоявших государственной и церковной властям, и, с другой стороны, «консервативных» защитников этих властей; первых, естественно, превозносили, а вторых обличали и проклинали. Именно такая «операция» была проделана в целом ряде тогдашних сочинений, касавшихся преподобных Иосифа и Нила.

Помимо прочего, преподобного Иосифа истолковывали в качестве своего рода вдохновителя будущего жестокого царя Ивана IV Грозного, а преподобного Нила — как вдохновителя его противников. Это являло собой чистейшую фальсификацию, что явствует хотя бы из следующих двух фактов. Во-первых, Иван IV, о чем имеются совершенно достоверные сведения, в равной мере преклонялся перед памятью преподобных Иосифа и Нила (то есть этот царь, правивший через три-четыре десятилетия после кончины преподобных, вовсе не усматривал в них противостоявших друг другу деятелей), а во-вторых, *главный* обличитель жестокостей Ивана IV, Митрополит Всея Руси святитель Филипп, был верным последователем преподобного Иосифа!

Уже из этого можно понять, до какой степени искажена историческая реальность «либеральными» идеологами. Стоит сослаться на капитальный труд А.В.Карташева «Очерки по истории Русской Церкви», изданный в 1959 году в Париже и в 1991-м в Москве (кстати, Антон Владимирович начинал свой путь как заведомый «либерал» и, по всей вероятности, разделял ходячие ложные мнения о преподобных Иосифе и Ниле, но Революция и долгие годы эмиграции вразумили его): «... с половины XIX века... началась ярко выраженная переоценка исторических фигур преподобных Иосифа и Нила. И она стала до навязчивости как бы обязательной для всякого «просвещенного» читателя. Объективный историзм устранен. Внушается якобы самоочевидная порочность точек зрения пр. Иосифа на все церковно-государственные взаимоотношения и, наоборот, канонизируется и выдается за единственно будто бы для христианства нормативную мироотрешенная, внегосударственная пустынноческая позиция пр. Нила. В этом одностороннем выборе между двумя богословскими устроениями, на самом деле *одинаково оправданными и освященными* церковным преданием и античной, и византийской, и всей древнерусской Церкви, и состоит то *искажение*, та богословская кривизна, которую сознательно и умышленно приняла светская, университетская и популярная, история русской литературы с эпохи Белинского. Особенно заразительно талантливо выразил эту оценку в своем увлекательном курсе истории русской литературы академик А.Н.Пыпин (между прочим, двоюродный брат и во

многом единомышленник революционного лидера Н.Г.Чернышевского. — В.К.). С той поры, 70-х годов XIX в., эта «пыпинская» оценка стала заразительно всеобщей, повлияла на суждения и некоторых духовно-академических (то есть окончивших Духовные академии! — В.К.) публицистов».

Итак, люди, которые и сегодня склонны противопоставлять преподобных Иосифа и Нила, должны, по крайней мере, задуматься о том, из каких источников выплеснулось сие противопоставление...

\* \* \*

На состоявшейся в 1987 году Международной церковной научной конференции «Богословие и духовность» митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим совершенно справедливо сказал: «С середины прошлого века и до наших дней преподобным Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому посвящено очень много работ. К сожалению, в большинстве из них... доминирует тенденциозная традиция либеральной историографии прошлого века, приверженцы которой настойчиво пытались представить преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского вождями двух противоборствующих направлений... Наступила пора демифологизировать схему либеральной историографии, почти заслонившую от нас живые лики святых».

Это, повторяю, совершенно справедливое суждение, и стоит только оговорить, что в ряде новейших трудов наших историков, созданных в 1950—1980-х годах, все же проступают (хотя такое утверждение может показаться неоправданным и противоречит общепринятому мнению) «живые лики святых», и проступают они даже не потому, что работы историков, о которых идет речь, лишены тенденциозности (это не так!), но потому, что в них в той или иной мере выразилось стремление досконально изучить *реальные* события и взаимоотношения далеких времен.

Это относится и к работам уже упомянутого А.А.Зимины, и — правда, в различной степени — к книгам и статьям таких исследователей, как Ю.В.Анхимюк, Ю.К.Бегунов, Н.К.Голейзовский, Р.П.Дмитриева, Н.А.Казаква, В.М.Кириллин, Я.С.Лурье, А.И.Плигузов, Г.В.Попов, Г.М.Прохоров, Н.В.Синицына, Р.Г.Скрынников.

Даже в тех случаях, когда тенденциозность вполне очевидна, объективно воссозданные *исторические факты* в сущности опровергают ее, делают ее бессильной. И как ни странно такое суждение на первый взгляд, иные сочинения *эмигрантских* авторов, писавших о русской Церкви, с этой точки зрения уступают работам, изданным в СССР. Например, в 1949 году в Париже — а в 1993-м в Москве — появилась книга эмигранта Петра Иванова (1876—1956) с многозначительным заглавием «Тайна святых. Введение в Апокалипсис», где речь шла и о преподобных Иосифе и Ниле. Анонимное предисловие к ее московскому изданию начи-

нается такой фразой: «Перед нами удивительная, уникальная книга». И книга в самом деле удивительна и уникальна с той точки зрения, что в ней донельзя искажены многие исторические факты, и в результате преподобный Иосиф Волоцкий объявлен ни много ни мало «лжесвятым», который-де сумел «провести свои антихристовы идеи внутрь церкви Христовой».

Кстати сказать, автор предисловия, по-видимому, понимал, что не так уж все ладно в представляемой им книге, и счел необходимым отметить: «Это не значит, что нужно соглашаться со всем, что в ней (книге. — В.К.) написано. Мы встречаем утверждения, по меньшей мере сомнительные». Но дело здесь даже не в «утверждениях», а в незнании или же извращении исторической реальности. И нельзя не видеть, что ряд работ, изданных в СССР, отличается в лучшую сторону от подобных принадлежащих, увы, вроде бы правоверно христианским авторам.

Характерно, что в своем труде «Очерки по истории русской Церкви» существенно отличавшийся от многих своих собратьев эмигрант А.В.Карташев с сочувствием ссылался на ряд работ, созданных, по его выражению, «в подсоветской науке, чуждой старым предубеждениям» и основывающейся на «документальности». В частности, имелись в виду работы о преподобном Иосифе Волоцком. Правда, правильнее было бы сказать не столько о «чуждости» этой самой «подсоветской науки» прежним «предубеждениям», сколько о настойчивом стремлении новейших историков России иметь дело с достоверными *документами*, а не с разного рода субъективными домыслами.

Но обратимся непосредственно к историческим фактам, относящимся к личностям и деяниям преподобных Иосифа и Нила. Начать уместно с того, что в новейших работах неоспоримо установлено: *никаких* хоть сколько-нибудь *достоверных* сведений о «противоборстве» Иосифа Волоцкого и Нила Сорского не существует, их попросту *нет*. Верно, что пути святых были различны; однако самостоятельность пути отнюдь не обязательно подразумевает борьбу, враждебность или хотя бы отчужденность. Между тем широко известный эмигрант (в молодости бывший активным членом РСДРП) Георгий Федотов безоговорочно утверждал в своей популярной ныне книге «Святые Древней Руси»: «Суровый к еретикам, Иосиф проявлял суровость и к другим своим врагам. В их числе... преподобный Нил Сорский... В борьбе с Нилом Сорским... Иосиф разрушал традиции преподобного Сергия».

Вообще, как ни удивительно, были и есть авторы, которые с прямо-таки патологической жадностью стремятся истолковать самобытность как своего рода обязательный повод для противостояния. Так, например, несмотря на то что именно Пушкин впервые с невиданной щедростью опубликовал в своем журнале «Современник» два с половиной десятка стихотворений очень мало кому известного тогда Тютчева, а тот воспел Пушкина как «первую любовь» России, с давних пор и до сего дня пропагандируется не

имеющая никаких фактических оснований версия, согласно которой эти великие поэты были чуть ли не врагами...

Мы располагаем известием о всего лишь *одном* случае спора между преподобными Иосифом и Нилом — об их противоречивших друг другу выступлениях на церковном Соборе 1503 года. Но даже и эти сведения не могут быть признаны достоверными. Они содержатся в *позднейших*, отделенных от времени Собора несколькими десятилетиями источниках. Так, в известном «Письме о нелюбках», относящемся к 1530-м или даже 1540 годам, сообщалось, что Нил Сорский, прибывший на Собор 1503 года вместе со своим учителем Паисием Ярославовым, выступил с решительным протестом против монастырских сел, а затем его резко оспорил в своем выступлении Иосиф Волоцкий.

Недостоверность этого сообщения выявляется уже в том, что Паисий, как точно установлено, скончался *до* Собора. Далее, согласно более раннему и потому более достоверному источнику, «Слову иному», преподобный Нил не держал речь на соборе (такая речь, кстати сказать, явно не соответствовала самому стилю его поведения), а только высказал свое мнение в *беседе* с Иваном III: «Приходит же к великому князю и Нил, чернец з Белоозера, высокий житием словый сый, и Денис, чернец Каменский, и глаголют великому князю: «Не достоин чернцем сел имети».

Открывший и опубликовавший «Слово иное» Ю.К.Бегунов писал, что в этом раннем, близком к самому событию источнике «ничего не говорится ни о полемике между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким, ни о выступлении последнего». Согласно «Слову иному», основные споры на соборных заседаниях разворачиваются *не между нестяжателями и иосифлянами*, а между великим князем Иваном III и соборным большинством во главе с митрополитом Симоном... Против предложения о секуляризации\* решительно выступило большинство присутствовавшего на Соборе духовенства. Автор «Слова иного» на первом месте называет Серапиона, игумена Троице-Сергиева монастыря (в будущем оказавшегося в распре с преподобным Иосифом. — *В.К.*). ...Особенно подчеркивает значительную роль игумена Серапиона в деле сплочения соборного большинства против секуляризаторских намерений великого князя... Вскоре и архиепископ Новгородский Геннадий (второе после митрополита лицо в церковной иерархии. — *В.К.*) начал говорить «противу великого князя» о церковных землях по наущению митрополита Симона. Речь Геннадия была решительно остановлена Иваном III — то есть особенно ему досадила, и не прошло и года, как святитель Геннадий был отстранен, и, по убеждению А.А.Зимины, известное «обвинение Геннадия в «мздоимании» лишь предлог, чтобы с ним расправиться». В упомянутом выше позднейшем «Письме о нелюбках» дана совершенно неправдоподобная картина Собора 1503 года

---

\* То есть превращения церковной собственности в светскую.

(хотя целый ряд авторов использует ее и поныне как достоверную). Согласно «Письму», не Иван III, а Нил Сорский требует отъятия монастырских сел, и с другой стороны, возражает на это не сомн иерархов во главе с Митрополитом, а один только волоколамский игумен.

Но преподобный Нил Сорский никак не мог предлагать программу *отъятия* монастырских сел. Р.Г.Скрынников недавно с полным основанием писал (допуская, правда, что Нил Сорский вместе с Дионисием Каменским действительно держали речь на Соборе, хотя и это маловероятно): «Нил и Дионисий отнюдь не предлагали насильственно изымать вотчины у монастырей. Они ставили вопрос в моральной плоскости: достойно или недостойно для иноков владеть вотчинами?..» и «никогда не выступали в пользу секуляризации — насильственного вторжения государства в сферу имущественных прав Церкви. Речь Нила клонилась к тому, чтобы убедить монахов добровольно отказаться от «сел»... Только на этом пути христианского самоотречения иноки и могли спасти себя»\*.

Последняя формулировка, впрочем, едва ли точна. В глазах преподобного Нила полное нестяжательство иноков (то есть отказ не только от *личной* собственности — что было обязательным и с точки зрения преподобного Иосифа, — но и от *коллективной* собственности монастыря в целом) являло, так сказать, *наилучшее* (по убеждению Нила Сорского) условие истинного пути. Но в то же время преподобный Нил не считал, что нельзя «спастись» в стенах таких богатых монастырей, как Троице-Сергиев, Соловецкий и, конечно, Иосифов Волоколамский. Мнение, согласно которому преподобный Нил вообще противостоял монастырям, нелепо уже хотя бы потому, что, как пишет наиболее основательный исследователь его пути Г.М.Прохоров, Нил Сорский «ограничил прием в скит требованием, чтобы человек предварительно прошел выучку в общежительном монастыре (в ските никого не постригали)». Сам этот порядок неоспоримо свидетельствует, что преподобный Нил отнюдь не «отрицал» иной путь; он полагал только, что избранный им путь — наиболее плодотворный (а такое убеждение естественно для любого самобытного деятеля). И «вообще, — заключает Г.М.Прохоров, — путь борьбы за исправление пороков окружающего его общества, даже общества монашеского, был чужд Нилу Сорскому», — хотя, конечно, он придерживался мнения, что в условиях монастыря, ведущего большое хозяйство (как те же Троице-Сергиев, Иосифов Волоколамский, Соловецкий), жизнь оказывается «рассеивающей внимание и рождающей страсти».

Но отсюда не возникал и не мог возникнуть тот острый конфликт, который пытались и пытаются выискать во взаимоотношениях Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Поэтому крайне со-

---

\* Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси. XIV—XVI вв. Новосибирск, 1991. С.171, 172.

мнительна версия о резком столкновении преподобных на Соборе 1503 года.

Что же касается характерного для позднейших источников превращения всего этого Собора в спор между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким, оно, без сомнения, объясняется совершившимся к тому времени наивысшим признанием преподобных («такие светила», — сказано о них в том самом «Письме о нелюбках»), личности которых как бы затмевали все остальное.

Не исключено, что преподобные присутствовали на Соборе и, может быть, сказали свое слово (правда, часть историков, как и А.А.Зимин, сильно сомневаются даже в том, что Иосиф Волоцкий держал речь, а «Слово иное» сообщает только о беседе Нила Сорского с Иваном III, причем последний, возможно, использовал затем высказывания преподобного о нежелательности монастырских сел в своих — чуждых преподобному — секуляризаторских интересах). Однако при всех возможных оговорках нет никаких оснований говорить о «борьбе» Иосифа Волоцкого с Нилом Сорским. Как явствует из многочисленных фактов, лживая версия об этой «борьбе» была выдвинута уже после кончины преподобного Нила его мнимым последователем влиятельнейшим князем Василием Патрикеевым (в монашестве — Вассианом), который в 1499 году за своекорыстные козни был заключен в монастырь Иваном III, но к 1510 году сумел вновь занять высокое положение при его сыне, Василии III, и выступил как злейший враг преподобного Иосифа. Читатели, которых заинтересует эта сторона дела, найдут ее подробнейшее исследование в ряде моих публикаций\*.

\* \* \*

Обратимся теперь к наиболее «острой» стороне вопроса о преподобных Иосифе и Ниле — их отношении к «ереси жидовствующих». «Ересь», как известно, была обнаружена в 1487 году архиепископом Новгородским святителем Геннадием. После достаточно длительного изучения ереси, в конце 1488 или в начале 1489 года, он отправляет послание своему единомышленнику, жившему вблизи Нилова скита, в Ферапонтовом монастыре, Иоасафу (до 1488 года архиепископу Ростовскому и Ярославскому) с просьбой привлечь к расследованию «ереси» Паисия Ярославова и Нила Сорского. Либеральные публицисты XIX века, воспользовавшись скудостью сведений о преподобном Ниле (в частности, отсутствием известий о прямом его отклике на послание святителя Геннадия), утверждали, что он-де отказался от какого-либо участия в борьбе с ересью. Эта выдуманная версия постоянно повторяется до сих пор.

\* См.: «Журнал Московской Патриархии», 1994, № 6; журн. «Русская литература», 1995, № 1 и мою книгу «История Руси и русского Слова. Современный взгляд». М., 1997.

Между тем еще в 1950-х годах Я.С.Лурье, который не склонен идеализировать (с либеральной точки зрения) не только преподобного Иосифа, но и любых правоверных деятелей Церкви, показал, что имеющиеся в распоряжении историков достоверные сведения об *участии* преподобного Нила в борьбе с «ересью» весьма и весьма значительны: 1. Святитель Геннадий предлагал в своем послании снабдить Нила Сорского потребными для его задачи книгами, и книги вскоре начали отправляться из Новгорода; 2. В своем «Предании», составленном, по всей вероятности, в то же время, преподобный Нил недвусмысленно написал: «... еретическая учения и предания вся проклиная яз и суиции со мною»; 3. В 1490 году преподобный Нил вместе с Паисием Ярославовым участвует в противоеретическом Соборе в Москве, и нет ровно никаких оснований полагать, что он оспаривал решения Собора; 4. Преподобный Нил сам написал определенную часть «Просветителя» (то есть «Сказания о новоявившейся ереси»), основным автором которого был преподобный Иосиф Волоцкий. К этому надо добавить, что, как установлено позднее Г.М.Прохоровым, преподобный Нил *собственноручно переписал* около половины глав («слов») «Сказания о новоявившейся ереси». Кстати сказать, Я.С.Лурье комментировал — и вполне обоснованно — открытие Г.М.Прохорова так: «... Нил Сорский в начале XVI века никак писцом не был. Готовность Нила взяться за перо, чтобы изготовить парадный список «Просветителя», свидетельствует о том, что книга эта была ему *близка и дорога*\*».

Итак, едва ли возможно отрицать прямое участие преподобного Нила в борьбе с «ересью», хотя, конечно, его роль была менее значительной, чем святителя Геннадия и преподобного Иосифа, которого, как и Нила Сорского, призвал к этой борьбе архиепископ Новгородский (в «Житии Иосифа Волоцкого», написанном Саввой Черным, сообщено: «И возвестиша архиепископ сие зло игумену Иосифу и просит помощи...»).

Правда, даже и признавая сам факт участия преподобного Нила в борьбе с «ересью», нередко при этом категорически утверждают, что-де Нил Сорский был принципиальным противником *казни* еретиков. Между тем преподобный, как уже сказано, переписывал Иосифов «Просветитель», где достаточно ясно выражена мысль об уместности или даже необходимости казни еретиков, и к тому же начал это переписывание вероятней всего уже после казней (ибо текст, который Нил Сорский переписывал, был готов в целом лишь незадолго до осудившего нескольких еретиков на казнь Собора 1504 года).

Поэтому те современные авторы, которые отрицательно — или даже крайне отрицательно — относятся к преподобному Иосифу прежде всего (а подчас и только) потому, что он был сторонни-

---

\* Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Курицын. Л., 1988. С.118.

ком казни еретиков, должны, будучи последовательными, относиться так же и к преподобному Нилу...

Для того чтобы прийти к истинному пониманию сути дела, необходимо четко уяснить себе само явление *казни* еретиков — то есть предания смерти людей, которые не совершили *преступлений* в точном, собственном смысле этого слова и были лишены жизни за выражаемые ими враждебные духовным устоям существующего общества идеи и за неприемлемое для этих устоев поведение (что было присуще и еретикам на Руси конца XV века, кощунственно искажавшим церковные обряды).

Ясно, что в *современном* мире казнь еретиков (как и вообще любых инакомыслящих) воспринимается в качестве заведомо недопустимого и дикого, всецело бесчеловечного акта, который сам предстает теперь как тяжкое *преступление*. Но нельзя не учитывать, что в свое время еретики были в глазах борющихся с ними людей прямыми, реальными воплощениями *сатанинского* начала, откровенными врагами самого Бога (именно в силу представления об их одержимости дьяволом еретиков считали нужным *сжигать* на кострах, ибо иные способы убийства как бы не могли уничтожить поселившийся в еретиках сатанинский дух).

Тем не менее очень многие люди никак не склонны с этим считаться и не могут хоть в какой-то мере оправдать те столь далекие от нашего времени казни, хоть в каком-либо смысле примириться с ними. Более того, с этими казнями не могло примириться и множество вполне правоверных *современников* — русских людей начала XVI века! Преподобный Иосиф Волоцкий свидетельствовал об отношении к еретикам после их осуждения (он называет здесь еретиков *отступниками* — то есть отступившими от Христа): «... ныне, егда осудиша их на смерть, то христиане православнии скорбят и тужат, и помощи руку подавают, и глаголют, яко подобает сих сподобити милости».

Именно в отказе от *милости* обвиняют сегодня, как и полтысячелетия назад, преподобного Иосифа Волоцкого. Но совершенно необходимо *осознать* (хотя такое осознание очень редко имеет место), что в этом обвинении отражаются особенные, специфически *русские* чувство и воля (или, пользуясь модным словечком, менталитет), почти не присущие, например, людям Западной Европы.

Обратимся хотя бы к фигуре одного из величайших «учителей» (это его высокий титул) католической Церкви — Фомы Аквинского (1225—1274). Он начал свою деятельность вскоре после возникновения в 1235 году инквизиции («Святой инквизиции»), стал высшим авторитетом монашеского ордена доминиканцев, взявшего инквизиционное дело в свои руки, и в главном своем сочинении «Сумма теологии» дал хитроумное и весьма «убеждающее» обоснование абсолютной *необходимости* казней еретиков: «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету, которая слу-



жит для удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, еще справедливее казнить еретиков... Ибо, как говорит св. Иероним, гниющие члены должны быть отсечены, а паршивая овца удалена из стада, чтобы весь дом, все тело и все стадо не подвергались заразе, порче, загниванию и гибели. Арий был в Александрии лишь искрой. Однако, не потушенная сразу, эта искра подошла к концу»<sup>\*</sup>.

Фома Аквинский имел в виду, что один из известнейших в истории Церкви еретиков, Арий, был на Первом Вселенском соборе 325 года осужден не на казнь, а на изгнание и впоследствии сумел привлечь к себе множество сторонников, в результате чего арианская ересь (кстати сказать, в ряде моментов близкая той ереси, с которой боролся преподобный Иосиф Волоцкий, о чем мы еще будем говорить) широко распространилась и просуществовала более трех столетий.

Руководствуясь «концепцией» Фомы Аквинского, «Святая инквизиция» с XIII по XIX век отправила на костер десятки тысяч еретиков (последние инквизиторские казни состоялись в 1826 (!) году, но, конечно, подавляющее большинство еретиков было казнено в более ранние времена); одна только испанская инквизиция сожгла, согласно наиболее достоверным подсчетам, 28 540 еретиков ... И тем не менее святой Фома Аквинский всегда был и остается объектом всеобщего и безусловного поклонения; ему вообще не предъявляются обвинения, подобные тем, которые и в прошлом, и теперь обращают (нередко с крайней резкостью) к имени преподобного Иосифа Волоцкого, который — как и Фома Аквинский — дал обоснование казни еретиков.

Впрочем, Иосиф Волоцкий явно не был основоположником в этом прискорбном деле. Первым поставил вопрос о казнях еретиков — еще в 1490 году — архиепископ Новгородский Геннадий. Но и он не являлся первопроходцем. В этом самом году архиепископ имел беседу с германским послом на Руси Георгом фон Турном, который рассказал о чрезвычайно интенсивной «работе» испанской инквизиции за предшествующее десятилетие. Испанский король, поведал посол, «очистил свою землю от ересей жидовских». Речь шла о начавшемся с 1480 года по повелению знаменитого Фердинанда Католика сожжении еретиков.

В октябре 1490 года Геннадий писал митрополиту Московскому Зосиме: «Сказывал ми посол цесарев про ишпанского короля, как он свою очистил землю!.. И ты бы, господине, великому князю (то есть Ивану III. — В.К.) о том пристойно говорил...»

Но эта апелляция к «достижениям» Запада долго оставалась тщетной; только через почти полтора десятилетия, в 1504 году, девять еретиков были подвергнуты сожжению. К этому моменту в Испании было сожжено уже более десяти тысяч еретиков.

<sup>\*</sup> Цит. по: Богош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. С.45, 46.

Известный историк «ереси жидовствующих» Я.С.Лурье, подводя итоги, написал: «Русская земля была очищена вполне по-«испански» (см.: Казакова Н.А. и Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. XIV — начало XVI века. М.; Л., 1955. С.217). Подражание Западу в этом деле совершенно очевидно, но употребленное Я.С.Лурье слово «вполне» никак не уместно, ибо испанцы действовали в *тысячу раз* более интенсивно, и тут уж, как говорится, количество переходит в качество...

Сообщая об этом, я ни в коей мере не преследую цель хоть как-либо оправдывать то, что произошло на Руси почти пятьсот лет назад. Речь идет отнюдь не о предложении отказаться от непререкаемого *русского* неприятия казни еретиков вообще; это и невозможно, и совершенно нежелательно, ибо перед нами посвоему истинно прекрасное национальное качество. Речь совсем о другом — об *объективном осознании* самого этого качества, осознании, которое даст возможность понять, что казни еретиков — это одно из проявлений трагического *несовершенства мира в его целом* (к тому же выразившееся на Руси XVI века в несопоставимо меньших масштабах, чем в тогдашней Западной Европе!), а не порождение «злой» воли русской Церкви или отдельных ее деятелей.

Нельзя не учитывать, в частности, что в своем решении призвать к казни еретиков святитель Геннадий, первым начавший борьбу с ересью, опирался на известия о деятельности испанской инквизиции и, возможно, без такой опоры казни еретиков на Руси вообще не состоялись бы...

Для того чтобы полнее уяснить сам феномен *русского* сознания, о котором идет речь, целесообразно напомнить о том, как это сознание превратило Ивана IV Грозного в будто бы совершенно уникального, не имеющего себе равных в мире тирана и палача (притом превратило в глазах не только России, но и Запада!); между тем английские, испанские и французские короли того же XVI века отправили на казнь в *сто раз* (!) больше людей, чем наш грозный царь.

Теперь необходимо хотя бы кратко сказать о самой «ереси», с которой боролись преподобные Иосиф и Нил. Это достаточно сложное явление, и характеризовать его здесь во всех его аспектах невозможно. К тому же существует ряд работ, в которых более или менее верно и полно охарактеризована эта ересь. Здесь следует назвать содержательный раздел «Ересь жидовствующих» в трактате А.В.Карташева и замечательное — пусть и в некоторых моментах спорное — исследование Г.М.Прохорова; в последние годы появилось несколько уточняющих те или иные стороны проблемы работ.

Но о самом основоположнике «ереси», не раз упомянутом в сочинениях преподобного Иосифа «Схарии», рассказать целесообразно, ибо очень часто сведения о нем, излагаемые в популярной литературе, неверны или смутны. А между тем его воздей-

стве на новгородских священников и, возможно, на таких людей, как посольский дьяк Федор Курицын, невестка (жена сына) Ивана III Елена, и на самого великого князя, с которым «ересиарх» в течение многих лет вел *переписку*, было весьма и весьма значительным. Все говорит о том, что это был по-своему выдающийся человек.

Как уже сообщалось, «ересиарх» был сыном знатного и богатого итальянца — генуэзца Винченцо де Гизольфи. Семья Гизольфи, занимавшаяся крупной торговлей и в то же время привычная к владению оружием, еще с XIII века самым энергичным образом действовала на побережье Черного моря — в так называемых «генуэзских колониях». В моем уже упоминавшемся сочинении о Куликовской битве показано, что обосновавшиеся с XIII века в Крыму генуэзцы сыграли если не решающую, то уж, без сомнения, громадную роль в организации нашествия Мамая на Русь (на Куликово поле, как известно, явилась и собственно генуэзская пехота). И можно видеть своего рода историческую эстафету в том, что спустя ровно девяносто лет после 1380 года выходец из влиятельной генуэзской семьи Заккария-Схария осуществил «идеологическую диверсию» на Руси. Правда, он был уже, так сказать, не только генуэзец. В письмах («грамматах») Ивана III он именуется и «фрязином» (то есть по-древнерусски — итальянцем), и «черкасином», и «евреянином», и «жидовином», и еще «таманским князем». И все эти — столь разные — наименования были небезосновательны.

Отец Заккарии, Винченцо, вел свои дела, по-видимому, главным образом торговые, в генуэзской колонии на Таманском полуострове. И в 1419 году, как уже сказано, вступил в брак с черкесской (черкесы населяли тогда Таманский полуостров) княжной Бике-ханум, и в результате его сын Заккария обрел титул и положение «князя Таманского».

Далее, необходимо учитывать, что в свое время, в IX—X веках, Матрега, именовавшаяся тогда Самкерц, была одним из важнейших городов иудейского Хазарского каганата, и к тому же князь Святослав, разгромивший другие центры враждебного Руси каганата, по каким-то причинам не захватил Самкерц\*, и его иудейское население уцелело; в исторических источниках есть сведения об его весьма существенной роли на Таманском полуострове вплоть до времени Заккария Гизольфи. При нем здесь побывал итальянский путешественник Джордже Интериано, который, говоря о черкесах-зихах как о христианском народе (они были окрещены еще в VIII веке византийской Церковью), вместе с тем отметил, что зихи, когда «случается необходимость написать к кому-нибудь», подчас «поручают это дело евреям», вы-

\* В некоторых сочинениях безосновательно утверждается обратное, однако современник события арабский географ Ибн Хаукаль в своих подробных рассказах не упоминает о разгроме Самкерца (см.: Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы. М., 1990. С.221—222).

ступавшим, следовательно, как наиболее «культурная» часть таманского населения.

Среди таманских евреев имелись, надо думать, потомки правителей иудейской империи — Хазарского каганата, — люди многознающие, сохранившие национально-религиозную память. По всей вероятности, «князь Таманский» Заккария был тесно связан с этими людьми своего княжества и так или иначе воспринял их знания и верования; в противном случае было бы непонятно, почему Иван III в своих грамотах именовал этого полуитальянца-получеркеса (зиха) «евреянином» и «жидовином».

Кстати сказать, в 1488 году некий инок Савва в послании близко знакомому ему тогдашнему «дипломату» Дмитрию Шеину, встречавшемуся в Крыму с Заккарией Гизольфи, призывал не доверять никаким словам последнего: «...аше (если) человек будет добр и украшен всеми добродетelmi и примесит к ним мало нечто жидовского... то все его житье непотребно пред Богом и человеки, и Бог не стерпит ему и обличит его, яко же и новгородцких попов, учение жидовское приимшим. ...И я, господине Дмитрей, молюся тебе: что еси от него (Заккарии. — В.К.) слышил словеса добры или худы, то, пожалуй, господине, отложи их от сердца своего и от уст твоих, яко же некоторое скаредие (скверну); несть с ними Бога...»\*

Как уже сказано, о «ереси жидовствующих» впервые (насколько нам известно) сказал в одном из своих посланий архиепископ Новгородский святитель Геннадий. Но вот уже в следующем, 1488-м, инок Савва (о котором мы ничего не знаем, кроме сохранившегося текста его послания Д.В.Шеину) осознает опасность Заккарии и подпавших под его влияние «новгородцких попов» для Православия.

Важно отметить, что Савва, по-видимому, не считал Заккарию носителем иудейской религии как таковой: тот, по его словам, только «примесил... мало нечто жидовского». И хотя, по сведениям преподобного Иосифа, к проповеди Заккария-Схария в Новгороде присоединились «ортодоксальные» иудеи (как говорится в Иосифовом «Сказании о новоявившейся ереси», в Новгород «потом же приидоша из Литвы инии жидове, им же имена Иосиф Шмойло-Скаравей, Мосей Хануш»), «ересь» все же не являлась иудейством в прямом смысле этого слова.

Имеющаяся в различных источниках информация дает основания для вывода, что князь Таманский Заккария, этот полуитальянец-получеркес, был человеком, обладавшим самой «современной» и многообразной тогдашней образованностью, почерпнутой и с Запада, и с Востока. Как полагает Г.М.Прохоров, Заккария «знал итальянский, черкесский, русский, латинский (на

\* Послание икона Саввы на жидов и на еретики. М., 1900. С.1.

латыни написана его сохранившаяся грамота Ивану III), татарский, еврейский (богослужебный) языки. Он появился в Новгороде (в 1470 году. — В.К.) молодым\*, образованным и богатым аристократом с большими международными связями». Следует добавить: не только аристократом, но и *главой государства* — пусть малого, но имевшего немалое геополитическое значение, поскольку Таманский полуостров был узловым пунктом на одном из важных путей из Европы в Азию; правда, в 1482 году полуостров захватили турки, и Заккария был лишен власти, но он все же как бы сохранял ранг главы государства.

Г.М.Прохоров говорит далее: «Та готовность принять Захарию на службу и настойчивость, с какой великий князь Иван III в период покровительства жидовствующим его приглашал (начиная с 1483 по 1500 год), показывает, что князь достаточно слышал об этом человеке. Захария просил Ивана III позволить ему переселиться в Москву после подчинения турками Тамани (1482 год), но в конце концов осел в Крыму при дворе Менгли-Гирея» (хана Крымского).

Не исключено, что Заккария, несмотря на лестные предложения Ивана III, не решился прибыть в Москву, ибо до него дошли известия о борьбе против «ереси», которую он пропагандировал в 1470—1471 годах в Новгороде...

Следует напомнить, что князь Таманский в свое время был тесно связан с главой другого причерноморского государства, Великого княжества Молдавского, — господарем (в 1457—1504 годах) Штефаном Великим (правда, позднее они оказались во враждебных отношениях), посещал Молдавию\*\* и, вполне возможно, оказал воздействие на дочь Штефана, Елену Волошанку, которая в начале 1483 года стала супругой сына Ивана III, наследника русского престола Ивана Молодого, и была одной из главных фигур «ереси». С другой стороны, ближайший сподвижник Ивана III, посольский дьяк Федор Курицын, который явился едва ли не основным лидером «ереси», находился (о чем уже сказано) в 1482—1486 годах в Причерноморье и вполне мог познакомиться с князем Таманским.

Если это действительно так, становятся всецело понятными тот длительный живейший интерес к Заккарии и то настоятельное стремление привлечь его в Москву, которые проявил Иван III; все объясняется воздействием названных двух ближайших к великому князю лиц, ставших «последователями» Заккарии.

---

\* Это ошибка. Г.М.Прохоров исходил из устаревших сведений, согласно которым брак отца Заккарии с черкесской княжной состоялся в 1448 году; как позднее было установлено, это произошло почти на тридцать лет раньше, в 1419-м.

\*\* Кстати сказать, Заккария в 1470 году прибыл в Новгород со своей «еретической миссией» вместе с литовским князем Михаилом Оленьковичем, который был *родным братом* супруги Штефана Великого, Евдокии Оленьковны. Едва ли это можно считать случайностью; по-видимому, Штефан «рекомендовал» Заккарию своему шурина.

Как уже говорилось, Захария проповедовал не «ортодоксальный» иудаизм (хотя соответствующая «закваска» имела место). Да и едва ли иудаизм как таковой мог увлечь целый ряд русских людей, начиная с самого великого князя. В частности, преподобный Иосиф писал в своем «Сказании...», что Схария «изучен всякому злодейству изобретению, чародейству и чернокнижию, звездозаконию же и астрологы». Речь идет, очевидно, не об иудаизме в собственном смысле слова, а о так называемых оккультных и эзотерических «учениях», особенно активно развивавшихся с XIV века и причудливо сочетавших в себе мистику и рационализм, элементы язычества и жетолкований Христианства, отголоски религий античной Европы и Древнего Востока и т.п.\*

И на Руси, не знакомой еще с такого рода веяниями, рассуждения Захарии-Схарии могли, увы, восприниматься как «новое» понимание мира и человека, «превосходящее» по своим возможностям родное Православие... К прискорбию, это своего рода затмение испытали тогда умы и души людей, принадлежавших к самому верхнему слою государственной и церковной власти...

Нельзя не отметить, что еще совсем недавно любые авторы «либерального» умонастроения, как правило, стремились оправдать еретиков. Но сегодня положение явно изменилось. Так, «либеральный» публицист Андрей Зубов говорит на страницах московского (также «либерального») «Континента», что «ересь жидовствующих» даже «затруднительно» называть «ересью».

«Здесь не столько инакомыслие в сфере христианской веры, сколько полное ее отвержение, неприятие Нового Завета, непризнание Иисуса Мессией, убеждение, что единственно авторитетен Ветхий Завет. Иудаизм, смешанный с астрологией и обрывками проникших из ренессансных обществ Запада натурфилософских учений...» и т.п. И далее А.Зубов сообщает, что ересь «поразила... высшее белое духовенство крупнейших городов Русского царства, монашество, светскую интеллигенцию и придворные сферы, вплоть до самого великого князя и его ближайших сродников».

Но, констатируя это, А.Зубов, как, впрочем, и большинство других авторов, явно не отдает себе полного отчета в том, *о чем* он, собственно, сообщает. Ведь, как уже было показано выше, дело с очевидностью шло к тому, что само Христианство, 500 лет определявшее судьбу Руси\*\*, должно было превратиться по сути дела в *ересь* (!), от которой отказались и великий князь со своим ближайшим окружением, и влиятельнейшие церковные иерархи...

---

\* Хорошо известно, что нечто подобное достаточно широко распространяется в России и сегодня.

\*\* Преподобный Иосиф писал в своем послании Василию II: «Руская великая земля, иже пятьсот лет пребысть в православной вере христианстей...» (Послания Иосифа Волоцкого... С.231).

Недостаточно обращается внимание на тот факт, что заведомой еретичкой или, вернее, *отступницей* от Православия была Елена Волошанка — жена (с начала 1483 года) старшего сына великого князя, наследника престола Ивана Молодого, и мать родившегося в конце 1483 года Дмитрия, который после смерти (в 1490 году) отца был провозглашен наследником престола. Если бы Иван III не переменял своего решения, после его смерти (в 1505 году) на русский престол взошел бы воспитанный отступницей Еленой Дмитрий...

Но вернемся к самому феномену ереси. А.Зубов полагает, что ее и нельзя назвать ересью, ибо она означала полное отступление от Христианства. Не будем забывать, что преподобный Иосиф в своих сочинениях говорит не столько об «еретиках», сколько именно об «отступниках». Но слово «ересь» в своем прямом значении дезориентирует и в другом чрезвычайно существенном отношении. Ведь те ереси, с которыми боролась инквизиция в Западной Европе, захватывали обычно отдельные слои населения, а на Руси рубежа XV—XVI веков дело шло о еретическом захвате высшей государственной власти и верхов Церкви... Еретиков как таковых было, очевидно, не столь уж много, но они находились на самых вершинах государственной и даже церковной иерархии, и их воздействие проявлялось в тогдашней русской жизни в целом, о чем свидетельствовал преподобный Иосиф: «...ныне же и в домех, и на путех, и на тръжищих иноци и мирьстии и вси сомнятся, вси о вере пытаются... Поистине, приде отступление» — отступление от Христа...

Между тем большинство популярных сочинений, в которых так или иначе характеризуется эта «ересь», внушает абсолютно ложное представление о некоем «кружке» вольнодумцев, погруженных в свои «прогрессивные» искания, — кружке, который, мол, так неоправданно беспощадно обвиняли «злые» архиепископ Геннадий и игумен Иосиф... Речь же шла о том, чтобы удержать Русь от полного слома ее полутысячелетнего бытия, слома, который, без сомнения, привел бы к катастрофическим последствиям.

Я.С.Лурье в своем новейшем сочинении о «ереси» достаточно объективно характеризует ситуацию 1490-х годов: «Геннадий (Новгородский. — В.К.) писал митрополиту и Собору епископов, что еретическая «беда» началась с приезда Курицына «из Угорские земли» (по дороге в Москву он, возможно, встретился со Схарией. — В.К.), что еретики собираются у Курицына, что «он-то у них печальник (покровитель)» и «начальник», «а о государственной чести попечения не имеет». Никакого влияния эти заявления не имели, никаких доносов на своего дьяка великий князь не принимал. Мало того: спустя некоторое время обличители ереси смогли убедиться, что поставленный в 1490 году на митрополию... Зосима им вовсе не союзник. Напротив, вслед за великокняжеским дьяком и митрополит стал покровительствовать... вольнодумцам...

В послании суздальскому епископу Нифонту, иерарху, на которого он еще считал возможным надеяться... Иосиф Волоцкий писал, что еретики «не выходят и спят» у митрополита... Но жалобы на митрополита мало помогали... «начальник» еретиков оставался неуязвимым. «Того бо державный во всем послушаше» (ибо его князь во всем слушался), — написал о Федоре Курицыне... Иосиф Волоцкий пятнадцать лет спустя... А в 90-х годах бороться с Курицыным было обличителям и совсем не по силам... Звезда Федора Васильевича и вправду была в зените. Все сношения с иностранными государствами происходили при его участии... В милость попал и брат Федора — Иван-Волк, перенявший у старшего брата его склонность к религиозному свободомыслию и дипломатические таланты».

И уже открыто ставился вопрос: «Не следует ли русскому государю вовсе уничтожить монастыри?.. Расстановка сил на великокняжеском дворе также не сулила, — продолжает Я.С.Лурье, — ничего доброго Иосифу Волоцкому и его сторонникам... Дмитрий, сын еретички Елены Стефановны, был объявлен великим князем... В 1494 году противникам митрополита-вольнодумца Зосимы удалось добиться его отставки (она произошла как раз в то время, когда Курицын находился за рубежом). Но поставленный на место Зосимы новый митрополит Симон не оправдал надежд врагов ереси. В 1498 году он благословил венчание Дмитрия шапкой Мономаха, а в следующем году... был нанесен удар самому... Геннадие Новгородскому; великий князь забрал у него монастырские и церковные земли. Курицын мог надеяться: еще немного, и великий князь осуществит церковные (вернее, антицерковные! — В.К.) реформы»\*.

Все это ясно показывает, что длившаяся более полутора десятилетий борьба святителя Геннадия и преподобного Иосифа была поистине *героической* и вместе с тем подлинно *трагической*, ибо приходилось в сущности бороться со своей собственной государственной властью и собственной церковной иерархией!

Говоря об этом противостоянии государству и, конечно, его главе — великому князю, нельзя обойти еще одно «обвинение», которое постоянно предъявляют преподобному Иосифу, что он-де стремился подчинить Церковь государству и даже, мол, добился этого. Как без всяких доказательств заявлял Георгий Федотов, «осифляне... работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его попечение... всю Русскую Церковь».

Что касается самого преподобного Иосифа, то по меньшей мере странно видеть в нем ревностного слугу «самодержавия», ибо, будучи в продолжение почти 36 лет (с 1479 по 1515 год) игуменом монастыря, 29 из них он находился в достаточно существенном и очевидном конфликте с «самодержцами» и только семь лет — с 1502 по 1509 год — в союзе с ними. Он исповедовал

\* Лурье Я.С. Русские современники Возрождения... С.122—128.



убеждение, что *священство* выше *царства*, и применяемое к нему с 1930-х годов вульгаризаторское обозначение «воинствующий церковник» все же более соответствует истине, нежели причисление его к апологетам «самодержавия». Здесь уместно еще раз сослаться на работу Я.С.Лурье, который доказывает, что действительными сторонниками неограниченной власти самодержца были как раз главные *враги* преподобного Иосифа — Федор Курицын и Вассиан Патрикеев, которых, по словам Я.С.Лурье, «сближало... стремление провести задуманные преобразования сверху, путем чудодейственного подчинения государственной власти своим планам». Добиться всемерного «укрепления самодержавия» — именно такова была цель «Курицына, Вассиана и других *близких к власти* лиц». Этим они, в частности, и «покоряли» Ивана III, а затем его сына.

Между тем преподобный Иосиф никогда не пытался добиться реальной близости к власти (в отличие от курицыных и патрикеевых) или хотя бы занять высокое положение в Церкви. Он все силы отдавал созиданию своего монастыря — как одного из воплощений священства на земле. Его младший брат Вассиан, как уже сказано, еще при его жизни стал архиепископом Ростовским, а два племянника — епископами, но нельзя даже представить себе стремление преподобного Иосифа подняться по ступеням церковной иерархии; в этом отношении он, несомненно, следовал завету преподобного Сергия, никогда не имевшего намерений оставить свою обитель.

Мне могут, впрочем, возразить, что Георгий Федотов обвинил в «капитуляции» перед государством и самодержцами не самого преподобного, а *иосифлян*. Однако к *верным* последователям преподобного Иосифа это также неприменимо. Недоброжелатели иосифлян (в том числе и Георгий Федотов) высоко превозносят тех деятелей Церкви, которые самоотверженно воспротивились введению опричнины Иваном Грозным, но при этом, как ни нелепо, «не замечают», кто же именно выступал тогда против царя!

В 1542—1563 годах митрополитом был самый доподлинный *иосифлянин* Макарий и, как показывает в новейшей работе Р.Г.Скрынников, он многократно добивался, чтобы власть Ивана Грозного «не приводила к кровавым эксцессам». Сменивший Макария на посту митрополита ближайший его ученик Афанасий пытался продолжать сопротивление, но он не имел авторитета своего предшественника, и через год царь учредил опричнину. Тогда Афанасий молча сложил с себя сан митрополита и удалился в монастырь.

Следующий митрополит, святитель Герман Полев, принадлежал к знаменитой «иосифлянской» семье. И всего через два дня после своего переезда на митрополичий двор он предложил царю уничтожить опричнину и при этом «грозил Страшным Судом». Царь отставил непримиримого иосифлянина, и 25 июля 1566 года митрополитом стал игумен Соловецкого монастыря святитель Филипп.

Георгий Федотов, написавший о нем восторженную книгу, попросту *умалчивает* о том, что святитель Филипп был, вне всякого сомнения, верным иосифлянином; он пишет только, что Филипп «не был нестяжателем». И дело здесь не только в том, что Соловецкий монастырь являл собой одну из богатейших обителей, славившуюся своей громадной *хозяйственной* деятельностью. С конца XV века самым авторитетным лицом в монастыре был игумен, а затем «лучший старец» Досифей, избравший своим наставником святителя Геннадия Новгородского; в 1538 году, еще при жизни или вскоре после кончины Досифея, в Соловецком монастыре постригся будущий святитель Филипп.

Вполне закономерно, что «в Соловецкой библиотеке было пять списков произведений Иосифа Волоцкого», и в том числе «единственный известный в настоящее время составленный при жизни Иосифа Волоцкого список «Просветителя» и «Устава», имеющий вкладную дату — 1514 год и принадлежавший известному писцу Нилу Полеву». И, конечно же, строй и дух монастыря, в котором Филипп стал иноком, а позднее игуменом, были всецело иосифлянскими.

Святитель Филипп, став митрополитом, повел самоотверженную борьбу против злодеяний и бесчинств опричнины и самого царя. И в ноябре 1568 года он был низложен, отправлен в заточение и в следующем году убит. В защиту святителя решился выступить только его предшественник иосифлянин Герман Полев, и через два дня после этого Герман Полев был найден мертвым у себя на московском подворье.

Все это ясно свидетельствует о заведомой, но все же очень широко распространенной лжи об иосифлянах, которые изображаются в качестве чуть ли не вдохновителей опричнины (ложь эта восходит еще к князю Курбскому!). Конечно, и среди иосифлян не все были достойны своего учителя. Но верные его ученики и последователи руководствовались его заветом: «Аще ли же есть царь, над человеки царствуя, над собою же имат царствующа страсти и грехи... таковой царь не Божий слуга, но диаволь». И тут же преподобный Иосиф завещает своим последователям: «И ты убо таковаго царя или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучит, аще смертью претить!» (угрожает). Святитель Филипп — в чем трудно усомниться — прочитал эти слова в рукописи «Просветителя», хранившейся в Соловецкой библиотеке.

\* \* \*

Наконец, нельзя не затронуть проблему *ценности сочинений* преподобного Иосифа Волоцкого. Давно уже признана — пусть даже и не всеми — безусловная ценность сочинений преподобного Нила Сорского, о котором не так уж редко говорят как о великом и даже гениальном богослове, мыслителе, писателе. Но откровенно тенденциозное отношение к преподобному Иосифу

диктуют резко «критические» оценки и его воплощенного в слове наследия.

Так, в предисловиях к «Посланиям Иосифа Волоцкого», изданных в 1959 году, категорически заявлено, что «к числу выдающихся писателей своего времени (даже! — *В.К.*) Иосиф Волоцкий не принадлежит». Здесь же собраны высказывания различных авторов о том, что-де сочинения преподобного насквозь «компилятивны», состоят из святоотеческих «цитат» и не могут считаться плодом *самостоятельного* творчества.

При этом как-то ухитряются не замечать, что сочинения преподобного Нила Сорского, которые обычно оценивают достаточно высоко, насыщены «цитатами» в значительно большей мере, чем Иосифовы! А суть дела в том, что такого рода «критики» сочинений преподобного не обладают действительным знанием и тем более пониманием самой природы средневекового искусства слова, коренным образом отличающегося от новейшей литературы. Исчерпывающе знающий предмет и наиболее глубокий исследователь культуры средневековья М.М.Бахтин писал: «Роль чужого слова, *цитаты*, явной и благоговейно подчеркнутой, полускрытой, скрытой, полусознательной, бессознательной, правильной, намеренно искаженной, ненамеренно искаженной, нарочито переосмысленной и т. д., в средневековой литературе была грандиозной. Границы между чужой и своей речью были *зыбки*, двусмысленны, часто намеренно извилисты и запутанны. Некоторые виды произведений строились, как *мозаики*, из чужих текстов».

Но эта «мозаика» вовсе не означала отсутствие или хотя бы ослабленность своего, самобытного смысла. И попытки как-то принизить за излишнюю «цитатность» сочинения преподобного Иосифа (а иногда и преподобного Нила) свидетельствуют, таким образом, только о недостатке подлинной культуры у «критиков».

\* \* \*

В заключение целесообразно сказать об одном из последствий духовной победы над «ересью» и торжества Православия на Руси — провозглашении Москвы *Третьим Римом*. Спустя недолгое время после кончины преподобного Иосифа Волоцкого идея Третьего Рима была выражена в сочинениях старца Псковского Елизарьева монастыря Филофея, — в частности, в написанном им послании великому князю Василию III.

Как ныне считается, старец Филофей родился около 1465 года и скончался в 1542 году; сочинения его создавались, по-видимому, главным образом в 1520-х годах. Как псковитянин, он, надо думать, испытал духовное воздействие близкого к преподобному Иосифу Волоцкому святителя Геннадия, который в 1484—1504 годах был архиепископом Новгородским и Псковским. Нельзя недооценивать и тот факт, что сочинения Филофея переписывались в Иосифовом Волоколамском монастыре (хотя уже после кончины преподобного). Это вполне понятно, ибо идея «Москва —

Третий Рим» была созвучна духовному наследию преподобного Иосифа и к тому же для ее рождения необходимой предпосылкой являлась победа над «ересью» (Филофей упоминает о ней), которая позволяла считать московское Православие истинным, отвергнувшим заблуждения.

Говоря об идее Третьего Рима, приходится признать, что в дальнейшем ее смысл всячески искажали, — в частности, пытаясь приписать ей «агрессивный» и «экспансионистский» характер («Третий Рим» намерен-де захватить весь остальной мир!), хотя в действительности она имела, если уж на то пошло, *изоляционистскую* направленность, в ней ясно выразилось стремление «оградить» Русь, в которой живо Православие, от проникновения извне «ересей» и лжеучений.

К сожалению, искажающие толкования идеи Третьего Рима оказывали подчас влияние на православных людей. Так, замечательный, недавно, увы, безвременно скончавшийся писатель Петр Паламарчук (1955—1998) в своем сочинении «Москва, Мосохи и Третий Рим. Из истории политических учений русского средневековья» (1986) резко критически высказался об этой идее, вопрошая, в частности: «...главное и краеугольное недоумение: почему все-таки образцом избран был Рим? Языческий Рим...» В свое время я стремился переубедить Петра Георгиевича, но тщетно...

А ведь в сочинениях старца Филофея, во-первых, с полной ясностью утверждается, что речь идет именно и только о *христианском* Риме — о Риме апостола Петра, а не Юлия Цезаря или Августа Октавиана. Это неоспоримо явствует уже из датировки *начала* того Первого Рима, о котором говорит Филофей. Одно из его посланий было написано в 1527 году, и в нем утверждалось, что Первый Рим начал свою историю 1505 лет назад, то есть тогда, когда, по мысли Филофея, была создана христианская Церковь, а ведь возникновение «языческого Рима» произошло почти на 800 лет ранее!

Во-вторых, речь идет у Филофея не о *государственном* значении Первого, Второго и Третьего Рима, а о совершающемся в рамках этих государств *духовном бытии*. Он писал о Первом Риме: «Аще убо великого Рима стены и столпове и трекровные полаты не пленены, но *душа* их от диавола пленена». А конец Второго Рима — Византии — старец Филофей видел не в захвате его в 1453 году турками, но в состоявшемся в 1438—1439 годах Флорентийском соборе, на котором византийцы выступили как «еретицы, своею волею отпадшие от православныя веры христианския». Только на Руси, убежден Филофей, осталось истинное Христианство, и в послании к великому князю Василию III он призывает: «Подобает тебе, царю, сие *дръжжати* со страхом Божиим»; то есть высшая задача государства — «удержать» в целостности православную — Святую — Русь... А размышления Филофея о «падении» Первого и Второго Рима призваны были показать ту роковую опасность, которая грозит русскому Православию.

Ранее старца Филофея преподобный Иосиф Волоцкий в своем послании призывал вступившего на престол Василия III: «Бога ради, государь, и Пречистыя Богородицы, пожалуй, и попецйся, и промысли о божественных церквах и о православной вере хрестыянстей... ино, государь, погибнути всему православному Христианству от еретических учений, яко ж и прежа... царства погибоша сим образом... Римское, иже много лета пребыша в православной вере хрестыянстей, тако погибоша».

Из этого ясно, что сама идея «Третьего Рима» восходит к преподобному Иосифу Волоцкому...

*Пушкин, древнерусское творчество  
и Великая Отечественная война  
(рассуждение об исторической преемственности)*

Выше были так или иначе охарактеризованы существеннейшие вехи тысячелетней истории русского творчества — былинный эпос (созданный в своей основе еще в IX—X веках), почти забытая к нашему времени, но, как я убежден, долженствующая быть воскрешенной «Книга бытия небеси и земли» (написана в конце XI или самое позднее в начале XIII века) и творчество наиболее выдающегося деятеля русской духовной культуры на рубеже XV—XVI веков преподобного Иосифа Волоцкого.

Естественно встает вопрос о связи этих явлений с пушкинским творчеством. Что касается былинного эпоса, здесь все ясно, ибо до нас, к счастью, дошло очень многозначительное свидетельство П.П.Вяземского — сына видного поэта и друга Пушкина. В зрелые годы Александр Сергеевич постоянно жил в Петербурге, но с 5 декабря 1830 по 15 мая 1831 года он находился в Москве, где состоялась его свадьба с Натальей Николаевной. И, как рассказал П.П.Вяземский, во *временной* московской квартире поэта среди немногих книг имелся изданный в 1818 году *Сборник Кириши Данилова*, в котором содержались сделанные еще в середине XVIII века превосходные записи древних былин об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и других богатырях. По-видимому, Поэт не пожелал расстаться с этой книгой, уезжая всего на несколько месяцев в Москву...

Вообще-то есть все основания полагать, что Пушкин многократно перечитывал эту книгу, ибо он цитировал строки из нее в своих статьях. Но свидетельство П.П.Вяземского особенно важно. Будучи в пушкинской квартире, писал он, «я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана\*, никогда мною не виданное и не слыханное собрание стихотворений Кириши Данилова. Былины эти... переданные на дивном языке, приковали мое внимание. С жадностью слушал я высказываемое Пушкиным мнение о прелести и значении богатырских сказок (это слово имело

\* Из этого ясно, что книг в квартире было весьма немного.

тогда более широкий смысл, чем ныне. — В.К.) и звучности народного русского стиха. Тут же я услышал, что Пушкин обратил свое внимание на народное сокровище, коего только часть сохранилась в сборнике Кирши Данилова, что имеется много чудных поэтических песен, доселе не изданных...».

Если бы до нас не дошел этот рассказ Вяземского, можно было бы только догадываться о том, что Поэт предельно высоко ценил древнейший былинный эпос и изучал его даже и по еще не изданным записям. И поэтому нельзя исключить, что Пушкин был знаком и с «Книгой бытия небеси и земли», и с творчеством Иосифа Волоцкого, хотя прямыми свидетельствами об этом мы не располагаем.

Вообще-то нет никакого сомнения, что он имел ясное представление о преподобном Иосифе, ибо о нем достаточно подробно говорилось в «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, которую Пушкин не раз перечитывал; кроме того, главное творение преподобного — «Просветитель» — было частично опубликовано в 1790 году в издававшейся знаменитым Н.И.Новиковым многотомной «Древней Российской Вивлиофике», с которой Пушкин был хорошо знаком и в конце жизни даже намеревался написать о ней статью.

Однако дело не только в этом. Как мы видели, Поэт чрезвычайно высоко ценил древнейшие памятники *устного* словесного творчества. Но столь же дороги были ему памятники письменного, «книжного» слова Древней Руси. По его определению, они являли собой «сокровищницу гармонии ... прекрасные обороты, величественное течение речи», и хотя язык литературы, конечно, «оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но он не должен отрекаться *от приобретенного им в течение веков*».

А «Книга бытия небеси и земли» и тем более творения преподобного Иосифа Волоцкого имели громадное значение для *развития* древнерусского слова; это были именно ценнейшие «приобретения» уже далеких «веков», «приобретения», без которых не родилось бы и *пушкинское* слово, — независимо от того, знал или не знал Поэт эти творения прямо и непосредственно. Они оказали свое необходимое воздействие на становление того древнерусского Слова (и, разумеется, воплощенного в слове русского самосознания), вне которого Пушкин не мыслил своего собственного творчества.

В последнее время были, наконец, изданы в переводе на современный язык «Просветитель» (М., 1993) и «Послание иконописцу» (М., 1994) преподобного Иосифа Волоцкого, дающие возможность нынешним читателям почувствовать силу и содержательность его слова.

Помимо всего прочего есть основания полагать, что творческую роль Иосифа Волоцкого *в его время* уместно в ряде отношений сопоставить с позднейшей ролью Пушкина. Вполне возмож-

но, что такое сопоставление покажется натяжкой: деятель Церкви, богослов, борец с «ересью» или, точнее, отступничеством от Православия, — и Поэт, глава *светской* культуры, который в юности был даже склонен к религиозному «вольнодумству», поборник государственного и народного патриотизма...

Но за протекшие со времени кончины преподобного Иосифа и до начала деятельности Пушкина три столетия (1515—1814) основы бытия России — как и мира в целом — кардинально изменились, и духовным вождем страны в новую эпоху ее истории должен был стать не корифей монашества, а корифей поэзии...

Необходимо, правда, сказать о том, что Пушкин исключительно высоко ценил роль Церкви в предшествующей истории России. Даже в молодости, в 1822 году, когда, как уже сказано, он был настроен «вольнодумно», Поэт тем не менее написал: «В России влияние духовенства... было благотворным... огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением». А незадолго до гибели Пушкин опубликовал свой высокопозитивный отзыв о только что изданном «Словаре о святых, прославленных в Российской Церкви» (1836), одна из самых подробных статей в котором была посвящена преподобному Иосифу Волоцкому.

Глубокий смысл имеет пушкинское определение духовенства как «посредника» между народом и властью — как и между человеком и Богом. Преподобный Иосиф — что было показано выше — шел своим путем, основанным на его понимании истинных отношений народа и власти (в том числе церковной власти), и поэтому нередко *противостоял* наличному государству и церковным иерархам. Точно так же Пушкин оказывался в определенном конфликте и с властью, и в особенности с влиятельными политико-идеологическими силами.

И есть основания утверждать, что эти столь различные деятели столь далеких друг от друга эпох играли — каждый, разумеется, по-своему — *стержневую* роль в духовном бытии Руси-России. Хотя преподобный Иосиф «формально» был игуменом одного из сотен тогдашних монастырей, он объединял и возглавлял всю духовную жизнь страны в конце XV — начале XVI веков, что наглядно выражалось в его взаимоотношениях с самыми различными деятелями его времени — и с «безмолствовавшим» в своем скиту преподобным Нилом Сорским, и с «державным» Иваном III, и с гениальным иконописцем Дионисием, и с архиепископом Новгородским святителем Геннадием.

О подобной же стержневой роли Пушкина выразительно свидетельствуют его письма и стихотворения, обращенные не только почти ко всем видным деятелям литературы его времени, но и к живописцам Брюллову и Григорию Чернецову, композиторам Верстовскому и Глинке, мыслителям Чаадаеву и Ивану Киреев-

кому, историкам Бантыш-Каменскому и Погодину, наконец, к митрополиту Московскому Филарету и императору Николаю I...

В последние годы жизни Иосиф Волоцкий в результате происков его врагов был подвергнут Василием III жестокой опале (ему, в частности, было запрещено оспаривать письменно и даже устно нападки его противников, и он не смог перед кончиной передать свой монастырь достойному преемнику). А гибель Пушкина явилась следствием — пусть и не прямым — начатой против него мощной политико-идеологической силой зловещей интриги...

Но свершенное и тем и другим в духовном развитии страны уже невозможно было перечеркнуть или хотя бы замалчивать.

В высшей степени показательно, что широкое и пристальное внимание к наследию и преподобного Иосифа, и Пушкина, а также острая борьба вокруг их наследия начались в 1860-х годах, которые явились прямым предвестником революций 1905 и 1917 годов. А после 1917 года в течение долгого периода и преподобный Иосиф, и Пушкин подвергаются разного рода «обличениям». О первом нечего и говорить, ибо тогда «разоблачалась» русская Церковь в целом; правда, преподобного Иосифа причислили к наиболее проклинаемым *воинствующим церковникам*. Но резкие нападки обрушивались тогда и на Поэта — как «певца» или даже «лакея» самодержавия, предавшего-де свои юношеские декабристские устремления. Так, князь Д.П.Святополк-Мирский, ставший фанатичным коммунистом, писал в 1934 году, что Поэт-де «лакействовал» перед царем и вельможами, усматривая в этом даже своего рода закон, ибо, по его словам, «для буржуазного идеолога и поэта (в том числе и Пушкина. — В.К.) известная подлость, известное лакейство перед существующими господами было явлением нередким», и только гибель Пушкина отчасти «смысла позор его измен», — измен народу и декабристам...

Подобного рода обличения Поэта постоянно публиковались в 1920-х — первой половине 1930-х годов и прекратились лишь накануне 100-летней годовщины его гибели. Закономерно, что именно тогда, в 1937 году, выдающийся историк М.Н.Тихомиров написал первое после долгого перерыва более или менее объективное исследование о преподобном Иосифе Волоцком и его монастыре, опубликованное в 1938 году в «Исторических записках».

В преддверии великой войны изменяется отношение к историческому прошлому страны, но особо существенное значение имела с этой точки зрения сама Великая Отечественная война.

\* \* \*

Уже говорилось, что во время войны совершается как бы окончательное утверждение величия Поэта. Вместе с тем — и это, конечно, весьма выразительный факт — сразу же после Победы, в 1946 году, выходит в свет обращенная к широкому читателю книга С.Торопова и К.Щепетева «Иосифо-Волоколамский монастырь», в которой высоко оценивается роль преподобного Иоси-



фа и основанной им обители в созидании великой России, победившей в 1945 году смертельного врага; в этой книге сказано, в частности, что «взорванная немцами (в 1941 году. — В.К.) прекрасная колокольня... должна быть восстановлена как своеобразный мемориальный столп — памятник прошлого, памятник осады Москвы и героизма волоколамских сражений».

Это связывание исторической роли Иосифова монастыря с героизмом 1941 года имеет глубокий смысл. Напомню, что недалеко от монастыря, у разъезда Дубосеково, 16 ноября 1941 года совершили свой беспримерный подвиг воины-панфиловцы. 18 ноября Михаил Пришвин записал в своем дневнике, что идет «настоящая тотальная война, в которой встанут на борьбу священную действительно *все*, как живые, так и мертвые». И 19 ноября: «Теперь даже один наступающий день нужно считать как *всё* время... эти дни Суда всего нашего народа, всей нашей культуры...»

Я стремился показать, что, размышляя о Пушкине, вполне естественно вспомнить и о русском былинном эпосе, и о творчестве преподобного Иосифа Волоцкого. Но столь же естественно связать этот тысячелетний путь отечественной культуры с великой войной 1941—1945 годов. Александр Твардовский опубликовал 5 декабря 1941 года во фронтовой газете стихотворение, в котором утверждал, что нынешний солдат

Похож на русского солдата  
Всех войн великих и времен...

Об этом и пойдет речь на последующих страницах моей книги.

# ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Европа! Старое окно  
Отворено на запад.  
Я пил, как Петр, твое вино —  
Почти античный запах.  
Твое парение и вес,  
Порывы и притворства,  
Английский счет, французский блеск,  
Немецкое упорство.  
И что же век тебе принес?  
Безумие и опыт.  
Быть иль не быть — таков вопрос,  
Он твой всегда, Европа.  
Я слышу шум твоих шагов.  
Вдали, вдали, вдали  
Мерцают язычки штыков.  
В пыли, в пыли, в пыли  
Ряды шагающих солдат,  
Шагающих в упор,  
Которым не прийти назад,  
И кончен разговор...

*Юрий Кузнецов. 1973*



Вперед на Запад! Фото 1944 г.

## Война и геополитика \*

Не умаляя достоинств многих книг и статей о Великой Отечественной войне, приходится все же сказать, что господствующие представления о ней страдают поверхностностью, то есть в конечном счете не являются истинными. Делу мешает в особенности *идеологизированность* сочинений о великой войне, притом даже не столь уж важно, какая именно идеология перед нами — коммунистическая или, напротив, антикоммунистическая, широко внедрившаяся в сочинения о войне, публикуемые в последние годы. Толкование столь грандиозного события в свете какой-либо идеологической тенденции заведомо не дает возможности понять ее действительный смысл во всей его полноте и глубине.

Надеюсь, не вызовет спора утверждение, что эта война — одно из наиболее значительных событий Истории во всей ее целостности, кардинально изменившее само состояние мира. Так, например, едва ли можно усомниться, что последствием этой войны явилось потрясение и затем быстрое отмирание существовавшей уже более *четырех столетий колониальной системы*, во многом определявшей бытие Азии, Африки и Латинской Америки.

И есть все основания утверждать, что в этой войне решались именно судьбы *континентов*, а не только отдельных государств и народов, притом судьбы в многовековом, даже тысячелетнем плане, а не в рамках отдельного исторического периода; уместно определить эту войну как событие самого глубокого и масштабного *геополитического значения*.

Понятие о геополитике получило у нас права гражданства совсем недавно. В последнем издании «Большой Советской Энциклопедии» было безоговорочно объявлено: «Геополитика — буржуазная реакционная концепция»... и т.д. (т.6, с.316). Сам термин «геополитика», соединяющий древнегреческие слова «земля» и «управление государством», толкуют весьма различно. Я считаю возможным употреблять его в достаточно простом и ясном значении: речь идет о единстве определенного земного *пространства*, определенной территории и сложившегося на ней (существовавшего извечно) *государства* либо взаимосвязанной совокупности

\* Этот и дальнейшие разделы являются фрагментами моей готовящейся к изданию книги «Россия. Век XX-й. 1939—1964. Опыт беспристрастного исследования» (издательства «Алгоритм» и «Крымский мост»).

государств. Предмет геополитического мышления — обладающие более или менее органичным единством «земли-государства», закономерно стремящиеся, в частности, к сохранению своих границ.

Наиболее крупный геополитический феномен — континент-государство или, вернее, континент-империя. С внешней точки зрения Европа, например, представляется суммой отдельных земель-государств, однако в тысячелетней европейской истории не единожды создавалась так или иначе, в той или иной мере объединявшая континент *империя*, которая как бы существует *подспудно* и тогда, когда ее нет налицо. Об этом проникновенно писал еще полтора века назад великий поэт и мыслитель Федор Тютчев.

Геополитическое мышление обычно считают чисто «западным» изобретением. Сам термин «геополитика» действительно предложил в 1916 году шведский социолог Рудольф Челлен (1864—1922), но образцы подлинно геополитического мышления содержатся в сочинениях и Тютчева, и других крупнейших русских мыслителей прошлого столетия — Петра Чаадаева (1794—1856), Николая Данилевского (1822—1885), Константина Леонтьева (1831—1891). Однако, как ни прискорбно, русская мысль в ее самых глубоких и масштабных воплощениях была фактически «отвергнута» господствующими идеологами еще задолго до Революции и тем более после нее. А между тем понимание соотношения Европы и России, выразившееся в сочинениях только что названных русских мыслителей, способно дать для постижения истинной сущности Второй мировой войны много больше, чем теоретические рассуждения о ней ее современников...

Не исключено такое опасение: стремясь к геополитическому мышлению о войне, не колеблю я тем самым столь дорогое миллионам русских людей понятие «Великая Отечественная война»? Не растворится ли в «глобальных» перспективах смысл самоотверженной защиты Отечества? Но на эти вероятные вопросы отвечает все мое сочинение в целом.

Поскольку война была грандиозным мировым событием, а СССР-Россия играла в этой войне существеннейшую и во многом просто главнейшую роль (превосходя в этом отношении даже свою роль в войне 1812—1814 годов), необходимо рассматривать отечественную историю данного периода в самом широком — всемирном — контексте, ибо без этого и невозможно понять ее истинный смысл. И, значит, не следует видеть нечто излишнее в характеристиках тогдашнего положения в целом ряде стран мира; в данном случае это не уход от собственно отечественной истории, а стремление осмыслить ее во всей полноте и глубине.

К тому же ход войны непосредственно в отечественных пределах, начиная с 22 июня 1941 года, достаточно хорошо известен многим людям, но гораздо менее ясен тот ее всемирный контекст, о котором прежде всего пойдет речь.

Наконец, положение той или иной страны — в данном случае России — в мире, ее взаимоотношения с миром наиболее глубоко и остро выявляются, обнаруживаются именно в ситуации грандиозной войны, и, осмысливая тему «Россия и мир во время Второй мировой войны», можно полнее и истиннее понять это положение и эти взаимоотношения вообще, то есть в прошлом, настоящем и будущем. Наше, нынешнее время — это уже значительно отдаленное от войны будущее; но, как представляется, верное понимание того, что имело место более полвека назад, дает возможность вернее понять многие *сегодняшние* явления и события.

Господствующее понимание периода 1941—1945 годов как противоборства СССР и Германии и тем более как схватки большевизма с нацизмом — по сути своей узко и поверхностно. Несостоятельность последнего толкования убедительно показана, например, в недавнем исследовании О.Ю.Пленкова «Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм» (СПб., 1997). При всех своих «особенностях» нацистская Германия прямо и непосредственно продолжала то мощное устремление к *первенству* в Европе и, в известной степени, в мире вообще, которое в продолжение веков определяло путь германской нации. Основная тема книги О.Ю.Пленкова — теория и практика Германии в период с 1871 года, когда заново свершилось *объединение* этой страны, которая в течение долгого времени являла собой конгломерат разнородных государственных образований (и, следовательно, 1941 год реально готовился семь десятилетий). Даже сугубо либеральный германский социолог Макс Вебер писал во время Первой мировой войны: «...мы, 70 млн. немцев... обязаны быть империей. Мы должны это делать, даже если боимся потерпеть поражение».

Корни этого германского устремления к имперскому «первенству» уходят очень далеко в глубь истории. Апелляцию нацистов к средневековой Германии чаще всего истолковывают как чисто идеологическое предприятие, как конструирование мобилизующего нацию *мифа*. Но с точки зрения геополитики проблема гораздо более существенна, чем может показаться. Ведь именно *германские* племена создали объединившую основное пространство Европы империю Карла Великого (800—814 гг.), на фундаменте которой позже, в X—XI веках, сложилась «Священная Римская империя германской нации» (правда, последние два слова были добавлены в это название еще позже, в XV столетии). И именно «империя германской нации» в прямом смысле слова *создала* тысячелетие назад то, что называется *Европой*, *Западом*, и начала «Drang nach Osten» — геополитический «Натиск на Восток». Поэтому присвоение 21 июля 1940 года плану войны против СССР-России названия «План Барбаросса» — по прозвищу императора в 1155—1190 годах Фридриха I («краснобордовый») — не являлось чисто риторической акцией.

Главное здесь в том, что «империя германской нации» объединила Европу в определенную целостность и так или иначе правила ею в течение нескольких столетий. Могут возразить, что дело идет о слишком давнем времени, с которым Германию XX века можно связывать только теоретически. Ведь к концу средневековья «Священная Римская империя» утратила свое верховное значение, и Европа предстала как совокупность отдельных более или менее замкнутых в себе земель-государств.

Однако, как уже сказано, историческое бытие Европы время от времени порождало *новую* империю, которая так или иначе объединяла континент. После потери «германской нацией» ее верховной имперской роли (позволительно высказать мнение, что это объяснялось перенапряжением национальных сил) первенство постепенно перешло к Испании, и в 1519 году ее король Карл I становится императором «Священной Римской империи» Карлом V и в той или иной мере заново объединяет Европу — уже не как представитель «германской нации» (хотя он и принадлежал к имевшей германское происхождение династии Габсбургов). В «испанский» период европейская империя осуществляет мощную колониальную экспансию на другие континенты, а с конца XVI века первенство в «колонизации» мира переходит к Великобритании (она сохраняла эту свою роль до XX века, что во многом определило расстановку сил во Второй мировой войне).

Далее, на рубеже XVIII—XIX веков, Европа (кроме опять-таки Великобритании) превращается в Наполеоновскую империю, также устремленную и на другие континенты. Но затем начинается упорное соперничество Франции и заново объединявшейся Германии, завершившееся сокрушительной победой последней в 1871 году; кстати сказать, для создания империй вообще типично мощное применение военной силы.

К концу XIX века внимательным наблюдателям стало ясно, что Германия неотвратимо стремится (и имеет серьезные основания стремиться) к первенству в Европе. Это явилось исходной причиной и Первой, и Второй мировых войн, притом уже в самом начале второй Германия смогла действительно — и почти невероятно быстро — осуществить (пусть и не надолго) свое устремление. Начав боевые действия в сентябре 1939 года, к июлю 1940-го она фактически «объединила» под своей эгидой всю континентальную Европу, хотя ее «окраинные» юго-восточные страны — Греция и Югославия — были присоединены несколько позже, к июню 1941 года.

Притом, вторгаясь в пределы той или иной европейской страны, германские войска встречали тогда способное изумить своей нерешительностью и слабостью сопротивление. Так, германское вторжение в Польшу началось 1 сентября 1939 года, а уже 17 сентября польское правительство покинуло страну. С Францией дело обстояло еще удивительнее: германские войска фактически начали захват страны 5 июня 1940 года, а 14 июня они уже овла-

дели Парижем, между тем как в Первую мировую войну Германия целых *четыре года* тщетно пыталась сделать это...

Начало германского овладения Европой получило во Франции название «странная война» (*drôte de guerre*), в Германии — «сидячая война» (*Sitzkrieg*), в США — «мнимая» или «призрачная» (*phoney war*). И, строго говоря, *реальная* война — о чем еще будет речь — началась лишь 22 июня 1941 года... Кратковременные схватки вооруженных сил той или иной европейской страны с перешедшими ее границу германскими войсками являли собой скорее формальное соблюдение извечного обычая (нельзя же, мол, попросту впустить в свою страну чужую военную силу!), нежели действительную войну с врагом.

Очень много написано о последующем европейском «движении Сопротивления», наносившем будто бы громадный ущерб Германии, а кроме того (и это, пожалуй, главное), свидетельствующем, что Европа-де наотрез отвергала свое объединение под германским главенством.

Но масштабы Сопротивления — исключая разве только тогдашние события в Югославии, Албании и Греции — весьма сильно преувеличены в идеологических целях. Нет сомнения, что режим, устанавливаемый Германией, вызывал решительный протест тех или иных общественных сил в европейских странах. Однако сопротивление режиму имело место ведь и *внутри* Германии, в самых различных слоях ее населения — от потомков германской аристократии до рабочих-коммунистов, но оно, вполне понятно, ни в коей мере не являло собой сопротивление *страны* и *нации* в целом. И, при всех возможных оговорках, то же самое уместно сказать о Сопротивлении во Франции. Вот выразительное сопоставление: согласно известному скрупулезному исследованию Б.Ц.Урланиса о людских потерях в войнах, в движении Сопротивления за пять лет погибли 20 тысяч (из 40 миллионов) французов, однако за то же время погибли от 40 до 50 тысяч (то есть в 2—2,5 раза больше) французов, воевавших на стороне Германии!

И.Эренбург в очень популярном в свое время романе «Буря» (1947), удостоенном Сталинской премии 1-й степени, преподнес французский «Резистанс», выразившийся в не очень значительных диверсиях и убийствах отдельных германских военнослужащих, как нечто чуть ли не сопоставимое со Сталинградской и Курской битвами... И подобная — в сущности, смехотворная — гиперболизация была внедрена в умы как полезный идеологический миф: нашу смертельную борьбу с Германией поддерживала, мол, вся Европа.

В действительности, как уже сказано, весомое сопротивление германской власти имело место только в Югославии, Албании и Греции, что объясняется, надо думать, сохранившейся к тому времени глубокой патриархальностью этих окраинных европейских стран; им были чужды порядки, устанавливаемые в них Гер-



манией, и чужды, пожалуй, не столько как собственно германские, сколько как общеевропейские, ибо эти страны по своему образу жизни и сознания во многом не принадлежали к европейской цивилизации середины XX века.

К странам с мощным Сопротивлением причисляют еще и Польшу, но при ближайшем рассмотрении приходится признать, что и здесь (как и в отношении Франции) есть очень значительное преувеличение (подкрепленное, между прочим, целым рядом ставших широко известными блестящих польских кинофильмов о том времени). Так, по сведениям, собранным тем же Б.Ц.Урланисом, в ходе югославского Сопротивления погибли около 300 тысяч человек (из примерно 16 миллионов населения страны), албанского — почти 29 тысяч (из всего лишь 1 миллиона населения), а польского — 33 тысячи (из 35 миллионов). Таким образом, *доля* населения, погибшего в реальной *борьбе\** с германской властью в Польше, в 20 раз меньше, чем в Югославии, и почти в 30 раз меньше, чем в Албании!..

\* \* \*

Гиперболизация европейского Сопротивления, повторю, имела существенное идеологическое назначение (Европа — не с Германией, но с нами!). А в последние годы, когда всяческое очернение СССР-России стало у нас выгодной профессией и дело дошло до того, что даже Германию нередко представляют как более «добропорядочную» страну, чем СССР-Россия, заслуги европейского Сопротивления подчас еще значительнее преувеличиваются (в частности, дабы умалить роль СССР-России в великой войне).

В действительности же почти вся континентальная Европа к 1941 году так или иначе, но без особых потрясений вошла в новую империю, возглавляемую Германией. Напомню еще раз, что и в самой Германии имелось Сопротивление, но это ни в коей мере не влияло на геополитическую направленность страны. Более того, немалая часть людей, принадлежавших к германскому Сопротивлению, отнюдь не возражала против нападения на СССР-Россию. Тенденциозное толкование известного заговора против Гитлера, закончившегося неудачным покушением на него 20 июля 1944 года, внедрило в умы совершенно превратные представления об основных участниках этого заговора как о чуть ли не друзьях России! Между тем среди них был, например, заместитель командующего группой армий «Центр», наступавшей в 1941-м на Москву, генерал-майор фон Тресков, покончивший самоубийством 21 июля 1944 года. Его возмутила вовсе не война против СССР-России, а как раз напротив — провал этой войны! Между тем в статье об этом генерале, вошедшей в изданную в Москве в 1996 году «Энциклопедию Третьего рейха», он преподнесен как

---

\* Речь идет именно о борьбе; другое дело — уничтожение поляков нацистами как «расово неполноценных».

персона, коей мы должны всей душой сочувствовать... В действительности этот, по-видимому, в самом деле способный выходец из «старинной прусской семьи» был более опасным для нас противником, нежели какой-нибудь ни в чем не сомневавшийся туповатый гитлеровец.

Но обратимся к положению в Европе в целом. Из существовавших к июню 1941 года двух десятков (если не считать «карликовых») европейских стран почти половина, девять стран, — Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия (отделившаяся и в то время от Чехии), Финляндия, Хорватия (выделенная и тогда из Югославии) — совместно с Германией вступили в войну с СССР-Россией, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы (правда, Дания и Испания, в отличие от других перечисленных стран, сделали это без официального объявления войны).

Остальные страны континентальной Европы не принимали прямого, открытого участия в войне с СССР-Россией, но так или иначе работали на Германию, или, вернее, новую европейскую империю. Виднейший английский историк Алан Тейлор совершенно справедливо писал в своем изданном в 1975 году труде «Вторая мировая война» о ситуации во Франции после заключения ею перемирия с Германией 22 июня 1940 года: «Для подавляющего большинства французского народа война закончилась... правительство Петена (маршал Франции с 1918 года, военный министр в 1934 году, с 16 июня 1940-го — премьер-министр. — В.К.) осуществляло политику лояльного сотрудничества с немцами, позволяя себе лишь слабые, бесплодные протесты по поводу чрезмерных налогов... Единственное омрачало согласие: Шарль де Голль бежал в последний момент из Бордо в Лондон... Он обратился к французскому народу с призывом продолжать борьбу... Лишь *несколько сот* (выделено мною. — В.К.) французов откликнулись на его призыв».

Тейлор переходит далее к объективной характеристике положения в Европе в целом: «Устанавливалось германское господство с помощью разнообразных средств — от аннексии и прямого правления до формально равного партнерства... Швеция и Швейцария сохраняли свою демократическую систему... фактически они... поскольку англичане их не бомбили, могли приносить Германии больше пользы, чем если бы оказались в положении побежденных. Германия получала железную руду из Швеции, точные приборы из Швейцарии (это две наименее зависимые тогда от Германии европейские страны. — В.К.). Без этого она не смогла бы продолжать войну... Европа стала экономическим целым» (С.421, 422—423).

И еще о Франции: «Немцы обнаружили в хранилищах достаточные запасы нефти... для первой крупной кампании в России. А взимание с Франции оккупационных расходов обеспечило содержание армии численностью 18 млн. человек» (С.421); в резуль-

тате в Германии «уровень жизни фактически вырос во второй половине 1940 г. ... Не было необходимости в экономической мобилизации, в управлении трудовыми ресурсами... Продолжалось строительство автомобильных дорог. Начали осуществляться грандиозные планы Гитлера по созданию нового Берлина» (то есть помпезной столицы объединенной Европы).

Неверное представление о ситуации в Европе во время Второй мировой войны заставило многих людей как бы начисто забыть целый ряд реальных событий того времени. Так, например, сегодня способно вызвать настоящее изумление напоминание о том, что знаменитый военачальник (а позднее президент) США Дуайт Эйзенхауэр, вступив в войну во главе американско-английских войск в Северной Африке в ноябре 1942 года (именно тогда, в конце 1942-го, войска США вообще *впервые* начали участвовать в боевых действиях!), должен был для начала сражаться не с германской, а с двухсоттысячной *французской (!) армией* под командованием министра обороны Франции Жана Дарлана, который, правда, ввиду явного превосходства сил Эйзенхауэра, вскоре приказал своим войскам прекратить борьбу. Однако в начавшихся боевых действиях успели все же погибнуть 584 американца, 597 англичан и свыше 1600 сражавшихся с ними французов. Это, конечно, крайне незначительные потери в масштабах той великой войны, но они ясно говорят о более сложной, чем обычно думают, тогдашней ситуации в Европе.

А теперь другие — намного более впечатляющие — сведения, относящиеся уже к противостоянию возглавленной Германией континентальной Европы и СССР-России. Национальную принадлежность всех тех, кто погибали в сражениях на русском фронте, установить трудно или даже невозможно. Но вот состав военнослужащих, взятых в плен нашей армией в ходе войны: из общего количества 3 770 290 военнопленных основную массу составляли, конечно, германцы (немцы и австрийцы) — 2 546 242 человека; 766 901 человек принадлежали к другим объявившим нам войну нациям (венгры, румыны, итальянцы, финны и т.д.), но еще 464 147 военнопленных — то есть почти полмиллиона! — это *французы, бельгийцы, чехи* и представители других вроде бы не воевавших с нами европейских наций!\*

Кто-нибудь возразит, что следует говорить в данном случае о жертвах германского насилия, загнавшего этих людей на военную службу совершенно вопреки их воле. Однако едва ли соответствующие германские инстанции шли бы на столь очевидный риск, внедряя в войска огромное количество (полмиллиона — это ведь только попавшие в плен!) заведомо враждебно настроенных военнослужащих. И пока эта многонациональная армия одерживала победы на русском фронте, Европа была, в общем и целом, на ее стороне...

---

\* См.: Гриф секретности снят. М., 1993. С.391.

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер записал сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, констатирующие положение вещей: «*Европейское единство* в результате совместной войны против России» (выделено мною. — В.К.). И это была вполне верная оценка положения. Геополитические цели войны 1941—1945 годов фактически осуществляли не 70 млн. немцев, а более 300 млн. европейцев, объединенных на различных основаниях — от вынужденного подчинения до желанного содружества, — но так или иначе действовавших в одном направлении.

Разумеется, основу армии, вторгшейся 22 июня 1941 года в СССР-Россию, составляли германские солдаты, которые с собственно профессиональной точки зрения являлись лучшими в мире. Но никак нельзя не учитывать, что только благодаря опоре на всю континентальную Европу стала возможной мобилизация почти *четверти* всех немцев. У нас было призвано за время войны 17 процентов населения (к тому же далеко не все из них побывали на фронте) — то есть *один из шести* человек, ибо иначе в тылу не осталось бы необходимых для работы военной промышленности квалифицированных мужчин (мужчины в возрасте от 18 до 50 лет — это примерно четверть всего населения\*).

Словом, *силу* — и с количественной, и с качественной точек зрения — армии, вторгшейся в 1941-м в СССР-Россию, обеспечивали десятки миллионов высококвалифицированных работников всей Европы. В частности, на территории самой Германии потрудились в общей сложности более 10 миллионов (!) квалифицированных рабочих из различных европейских стран. Не учитывая и не осмысляя эту сторону дела, нельзя понять истинную суть войны 1941—1945 годов. И без этого нельзя понять ни мощь германского нападения, ни глубокий *объективно-исторический* смысл этого нападения (пусть большинство людей находившейся под главенством Германии Европы о нем и не задумывалось).

После журнальной публикации первоначального варианта этой части моей книги я получил весьма интересное письмо от проживающего ныне в городке Аксай Ростовской области Бориса Михайловича Лукашева, который так объяснил неизбежность первоначальных поражений наших войск:

«Немецкий солдат — это в основном промышленный рабочий одной из самых образованных наций мира. *Технарь*. Наш красноармеец — колхозник, хорошо владеющий косой, вилами и т.д. Война же была «войной моторов»... Я не видел ни одного подразделения у немцев (они заняли деревню, где я жил, 13 октября 1941 года), идущего пешком: мотоциклы, грузовики, гусеничные вездеходы ... Катили они на грузовиках всей Европы — французских, чешских и т.д. То есть армия немцев была более маневрен-

\* Так, в СССР в 1941 году имелось 49 млн. мужчин 1890—1926 годов рождения (из 196,7 млн. населения в целом).

ной, а это давало огромные преимущества: можно выбирать *место* и *время* очередного удара без риска, что противник — то есть мы — успеет все сделать для отражения удара. В ходе войны эти преимущества начали постепенно сходить на нет. Но при любом «раскладе» мы были обречены на первоначальные неудачи: против всей Европы трудно устоять ...»

Б.М.Лукашев в своем письме не раз скромно говорит о себе как о «простом человеке», но, право же, его понимание существа дела посрамляет тех многочисленных публицистов и даже вроде бы профессиональных историков, которые сводят причины наших тяжелых поражений в 1941—1942 годах к так называемым субъективным факторам — ложной общей и военной политике, всякого рода извращениям, ошибкам и просчетам.

Стоило бы авторам этих сочинений внимательно прочитать написанные 160 лет назад, в 1839 году, стихи героя 1812 года (когда на Россию также обрушилась мощь всей Европы) Федора Глинки о Смоленской битве 4—6 августа:

... Достоин  
Похвал и песен этот бой:  
Мы заслоняли тут собой  
Порог Москвы — в Россию двери:  
Тут русские дрались как звери,  
Как ангелы!..

Внимая звону  
Душе родных колоколов,  
В пожаре тающих, мы прямо  
В огонь метались и упрямо  
Стояли под дождем гранат...  
Дома и храмы догорали,  
Калились камни... И трещали  
Порою волосы у нас  
От зноя!.. Но сломил он нас:  
Он был *сильней!*\* Смоленск курился,  
Мы дали тыл. Ток слез из глаз  
На пепел родины скатился...

Далее — о Бородино:

Кто вам опишет эту сечу,  
Тот гром орудий, стон долин?  
Со *всей Европой* эту встречу  
Мог русский выдержать один!  
И он не отстоял отчизны,  
Но поле битвы отстоял,  
И, весь в крови, — без укоризны —  
К Москве священной отступал!..

---

\* Курсив здесь и далее самого Ф.Н.Глинки.

И, наконец:

О, как душа заговорила!  
Народность наша поднялась:  
И страшная России сила  
Проснулась, взвихрилась, взвилась...  
И вновь раздвинулась Россия!  
Пред ней неслись разгром и плен  
И Дона полчища лихие...  
И галл\* и *двадцать* племен,  
От взорванных кремлевских стен  
Отхлынув бурною рекою,  
Помчались по своим следам!..  
Клевал им очи русский вран  
На берегах Москвы и Нары;  
И русский волк и русский пес  
Остатки плоти их разнес...

В стихах поэта воплотилось более верное понимание существа дела, нежели у многих нынешних историков... Ведь и в 1941-м, как и в 1812-м, война шла с «двадцатью племенами», со «всей Европой», и враг был заведомо *сильней*, его первоначальные победы было невозможно предотвратить — до тех пор, пока «страшная России сила» не «взвилась», пока Россия не «раздвинулась» во всю свою широту и глубину.

Словом, тем, кто берется писать о русской истории, стоит знать проникновенную русскую поэзию...

\* \* \*

Нацистские идеологи, которые отнюдь не были недоумками, каковыми их нередко изображают, вполне адекватно определяли геополитическую\*\* суть войны против СССР-России, правда, чаще всего не для всеобщего сведения, поскольку истинные цели войны и, с другой стороны, задачи дипломатии и пропаганды — не одно и то же. Рейхслейтер Альфред Розенберг, с 1933 года возглавлявший внешнеполитический отдел нацистской партии, а в 1941-м ставший министром «по делам восточных территорий», за день до начала войны (20 июня) произнес директивную речь перед доверенными лицами, в которой не без издевки сказал о наивных людях, полагающих, что война-де имеет цель «освободить «бедных русских» на все времена от большевизма»; нет, заявил Розенберг, война предназначена «для того, чтобы проводить германскую мировую политику (то есть геополитику. — В.К.)... Мы хотим решить не только *временную* большевистскую проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного явления как *первоначальная сущность европейских исторических сил*» (выделено мною. — В.К.). Война имеет цель «огрადить и одновре-

\* То есть француз.

\*\* Один из их главных идеологических наставников был крупнейший представитель геополитической теории в Германии Карл Хаусхофер (1869—1946).

менно продвинуть далеко на восток сущность Европы...». То есть дело шло именно о континентальной войне.

Позднее, в сентябре 1941 года, когда фронт был уже на подступах к Ленинграду, Гитлер недвусмысленно заявил (хотя и не для печати): «Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются поселения настоящих германцев... Наша задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на восток, если нужно — за Урал... Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли... Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен... Восток (то есть земли, которые «оставят» русским. — В.К.) будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья».

Итак, по убеждению фюрера, закончилась принципиально и открыто *евразийская* эпоха истории России, начавшаяся со времен Петра Великого... Германия собрала в единый кулак Европу, чтобы навсегда избавить ее от восточного геополитического соперника, который трактуется как чисто «азиатский», но, мол, без всяких оснований претендовавший и на «европейскую» роль...

Восприятие войны против СССР-России как именно геополитической войны было присуще вовсе не только фюрерам. Современный германский историк Р.Рюруп, приводя цитату из составленного в мае 1941 года «секретного документа», в котором уже совсем близкое нападение определено как «старая борьба германцев... защита европейской культуры от московито-азиатского потока», пишет, что в этом документе запечатлелись «образы врага, глубоко укоренившиеся в германских истории и обществе. Такие взгляды были свойственны даже тем офицерам и солдатам, которые не являлись убежденными или восторженными нацистами. Они также разделяли представления о «вечной борьбе» германцев... о защите европейской культуры от «азиатских орд», о культурном призвании и праве господства немцев на Востоке. Образы врага подобного типа были широко распространены в Германии, они принадлежали к числу «духовных ценностей»...».

И это геополитическое сознание было свойственно не только немцам; после 22 июня 1941 года появляются добровольческие легионы под названиями «Фландрия», «Нидерланды», «Валлония», «Дания» и т.д., которые позже превратились в добровольческие дивизии СС «Нордланд» (скандинавская), «Лангемарк» (бельгийско-фламандская), «Шарлемань» (последнее название особенно выразительно, ибо Шарлемань — это по-французски Карл Великий, объединивший Европу). Немецкий автор, проф. К.Пфедфер, писал в 1953 году: «Большинство добровольцев из стран Западной Европы шло на Восточный фронт только потому, что усматривало в этом общую задачу для всего Запада... Доб-

---

\* Цит. по: Другая война. 1939—1945. М., 1996. С.363.

ровольцы из Западной Европы, как правило, придавались соединениям и частям СС...»\*

В высшей степени наглядно предстает геополитическая сущность войны в составленных накануне нее, 23 мая 1941 года, «Общих указаниях группе сельского хозяйства экономической организации «Ост» (то есть Восток). Одно из главных «общих правил» сформулировано так:

«Производство продовольствия в России на длительное время включить в европейскую систему», ибо «Западная и Северная Европа голодает... Германия и Англия (да, и Англия! — В.К.) ...нуждаются в ввозе продуктов питания», а между тем «Россия поставляет только зерно, не более 2 млн. тонн в год... (наш урожай 1940 года — 95,6 млн. тонн. — В.К.). Таким образом, определяются основные направления решения проблемы высвобождения избытков продуктов русского сельского хозяйства для Европы (заметьте: Европы в целом! — В.К.)... Внутреннее потребление России... должно быть снижено настолько, чтобы образовались необходимые излишки для вывоза».

Далее констатируется, что СССР-Россия в сельскохозяйственном отношении состоит из двух различных «зон»: «Районы с избыточным производством расположены в черноземной области (то есть на юге и юго-востоке)... районы, требующие поставок, находятся в основном в северной лесной зоне (подзолистые почвы). Из этого следует, что *отделение* черноземных областей от лесной зоны при любых обстоятельствах высвободит для нас излишки производства продуктов. Это отделение будет иметь своим следствием прекращение обеспечения продуктами всей лесной зоны, включая важнейшие промышленные центры — Москву и Петербург. Промышленностью в районах, требующих поставок, включая промышленность Урала, следует пренебречь... Должна быть сохранена лишь та промышленность, которая находится в областях с избыточным производством продуктов, т.е. в основном тяжелая промышленность Донецкого бассейна... Кроме того, нефтеносные районы Закавказья (хотя они и находятся в зоне, требующей дополнительных поставок) следует снабжать продовольствием, поскольку... они должны быть сохранены как главные поставщики нефти...

Вследствие прекращения подвоза продуктов из южных районов, сельскохозяйственное производство в лесной зоне примет характер натурального хозяйства... Население лесной зоны, особенно население городов (включая Москву. — В.К.), вынуждено будет страдать от голода, даже в случае интенсивного ведения хозяйства путем расширения площадей под картофель в этих областях и увеличения его урожая. Этими мерами голод не ликвидировать. Попытка спасти население от голодной смерти путем привоза из черноземной зоны имеющихся там излишков продуктов

\* Цит. по: Итоги Второй мировой войны. М., 1957. С.511.



нанесла бы ущерб снабжению Европы». А «наша задача состоит в том, чтобы включить Россию в европейское разделение труда и осуществить принудительное нарушение существующего экономического равновесия внутри СССР»<sup>\*</sup>.

Ясно, что это «разделение труда» между Европой и представляющей собой (и в глазах создателей сего проекта, и реально) *иной континент* Россией означало превращение последней в рабский придаток Европы. В этой «сельскохозяйственной» программе со всей очевидностью выразился *геополитический* смысл войны...

\* \* \*

Вместе с тем есть все основания утверждать, что в СССР-России к 1941 году не было ясного осознания геополитического смысла войны. Теперь не так легко себе это представить, но в начале войны весьма широко было распространено мнение, что пролетариат европейских стран и даже самой Германии вот-вот поднимется на революцию, дабы спасти СССР от нацистского воинства...

Несмотря на начавшееся в СССР в середине 1930-х годов восстановление в гражданских правах *патриотизма*, над умами еще тяготела поверхностная классово-политическая (а не геополитическая) идеология, что сыграло прискорбную роль.

Не столь давно были опубликованы суждения Сталина по поводу состоявшегося 3 сентября 1939 года объявления войны Германии со стороны Франции и Великобритании. «Мы непрочь, — сказал генсек в самом тесном кругу (Ворошилов, Молотов, генсек Исполкома Коминтерна Георгий Димитров), — чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если бы руками Германии было бы расшатано положение богатейших капиталистических стран...» Ныне доктор исторических наук М.М.Наринский, цитируя эти суждения, комментирует: «Говоря о политике Советского Союза, Сталин *цинично* (выделено мною. — В.К.) заметил: «Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались»<sup>\*\*</sup>.

Прежде всего следует внимательно вдуматься в эпитет «цинично», ибо по одной этой детали можно ясно понять существо нынешней «либеральной» историографии войны. В словах Сталина выражено типичнейшее и даже элементарнейшее отношение государственного деятеля какой-либо страны к войне, разразившейся между *соперниками* этой страны. Так, 23 июня 1941 года сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн заявил не в узком кругу (как Сталин), а корреспонденту популярнейшей «Нью-Йорк Таймс»: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывает будет Россия,

---

\* Цит. по кн.: Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы, материалы. М., 1987. С.251—254.

\*\* Цит. по: Другая война. 1939—1945. С.44.

то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше!»

Это, повторяю, обычная, заурядная в устах государственного деятеля постановка вопроса, и Сталина можно упрекнуть лишь в том, что он едва ли бы стал повторять свои процитированные высказывания *публично*. И в высшей степени показательна реакция Наринского, подобную которой можно найти в сочинениях множества нынешних «либеральных» историков. Обвиняя Сталина в «цинизме», Наринский — конечно, бессознательно — обнаруживает тем самым, что в свое время он привык ставить Сталина в моральном отношении *гораздо выше* политических деятелей Запада, погрязших во всяческих темных интригах.

При этом Наринский, надо думать, понимает, что поведение во внешнеполитических делах в ситуации войны не может — за редчайшими исключениями — соблюдать нравственные принципы, но от Сталина, которого Наринский (как, конечно, и множество его коллег) ранее ставил высоко, он этого требует! И подобная тенденция, по сути дела, господствует в нынешних сочинениях о Второй мировой войне.

Сколько проклятий обрушено в последнее время на Сталина за заключение 23 августа 1939 года пакта о ненападении с Гитлером, пакта, который дал последнему возможность «спокойно» двигаться в 1940 году на запад. Но эти проклятия из уст историков, которые еще недавно были исправными членами КПСС, обусловлены в конечном счете их прежним пиететом перед Сталиным, ибо ведь они, без сомнения, знают, что ранее, в 1938 году, премьер-министры Франции и Великобритании — Даладье и Чемберлен — в ходе по-своему трогательных визитов (которых Сталин не предпринимал) к Гитлеру вступили с ним в совершенно аналогичные договоренности, позволявшие ему «спокойно» двигаться на восток.

Между прочим, небезызвестный Д.А.Волкогонов в 1991 году назвал пакт с Германией «отступлением от ленинских норм внешней политики... Советская страна *опустилась* (выделено мною. — В.К.) до уровня... империалистических держав», то есть, иначе говоря, Сталин, увы, повел себя так же «недостойно», как Чемберлен и Даладье...

Если перелистать сочинения конца 1980 — начала 1990-х годов, затрагивавшие вопрос о пакте Сталина—Гитлера, ясно обнаружится *именно такая* мотивировка проклятий в адрес этого пакта (генсек-де отступил от «ленинских норм»); однако позднее о сей мотивировке как бы полностью забыли, и Сталина начали преподносить в качестве воплощения уникального, беспрецедентного цинизма и низости: ведь он вступил в сговор с самим Гитлером! Ныне постоянно тиражируется фотография, на которой Сталин 23 (точнее — уже ранним утром 24-го) августа 1939 года обменивается рукопожатием с посланцем Гитлера Риббентропом, что должно восприниматься с крайним негодованием и даже презрением к генсеку.

Конечно, пресловутый пакт по ряду различных причин не может вызвать каких-либо положительных эмоций у объективно оценивающего его человека. Однако нынешние потоки брани представляют собой не что иное, как именно *культ Сталина* — хоть и «наизнанку»: великий вождь не имел, мол, права совершить столь позорную акцию, которая уместна лишь для «обычных» правителей государств. Если честно вдуматься, дело как раз в этом, и давно пора бы нашим историкам освободиться от менталитета, порожденного временем сталинского культа, и позволить Иосифу Виссарионовичу вести себя подобно другим правителям той эпохи...

Ведь почти годом раньше, 29 сентября 1938 года (кстати, не взирая на то, что 12 марта Германия присоединила к себе Австрию), вполне аналогичный пакт с Гитлером заключил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. «Мы, Фюрер и Канцлер Германии и Премьер-Министр Великобритании... — объявлялось в официальном документе, составленном 30 сентября, — рассматриваем подписанное вчера соглашение как символизирующее волю обоих народов никогда больше не вступать в войну друг против друга».

«Символизирующим соглашением», о коем упомянуто, являлось признание права Гитлера на отторжение Судетской области у Чехословакии, за которым менее чем через шесть месяцев, 15 марта 1939 года, последовал захват Чехии в целом и так далее; пакт Гитлера—Чемберлена фактически являлся *разделом Европы*, согласно которому Германия получала полное право распоряжаться в Восточной Европе.

При действительно объективном подходе к проблеме никак нельзя отрицать, что Сталин в августе 1939 года поступил *точно так же*, как Чемберлен в сентябре 1938-го. А если заняться оценками *поведения* двух правителей, придется — исходя из фактов — признать, что поведение Чемберлена было и циничнее и уж, безусловно, позорнее. Сталин *повторил* содеянное за год до того Чемберленом, и, следовательно, его цинизм был порожден чемберленовским цинизмом. А всматриваясь в давно воссозданную мемуаристами и историками конкретную картину поведения Чемберлена в сентябре 1938 года, невозможно не признать, что оно было крайне и даже, пожалуй, уникально позорным.

Чемберлен в начале сентября решил осуществить проект, о котором сообщил лишь немногим доверенным лицам и для секретности называл его «планом Зет». В соответствии с этим «планом» он 12 сентября 1938 года неожиданно обратился к Гитлеру с просьбой о личной встрече. В тот же день он так изложил свой «план» в письме к ближайшему сподвижнику, Ренсимену: «... я сумею убедить его (Гитлера. — *В.К.*), что у него имеется неповторимая возможность достичь англо-немецкого понимания путем мирного решения чехословацкого вопроса. ... Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира ... и поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние трудности...

Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России. Это и есть план Зет».

Едва ли можно оспорить, что сей «план» ничуть не менее циничен, чем сталинский пакт, который к тому же являлся *последствием* осуществления «плана Зет». Что же касается самого общения Чемберлена с Гитлером, подробно описанного свидетелями, оно было чем-то в самом деле беспрецедентно позорным. Почти семидесятилетний (через два года он скончался) премьер-министр великой Британской империи, население которой составляло четверть (!) тогдашнего населения Земли, вынужден был ранним утром 15 сентября 1938 года впервые в жизни войти в самолет, лететь несколько часов (при тогдашних скоростях авиации) до Мюнхена, а оттуда еще несколько часов добираться до Бергхофа — поместья, расположенного высоко в горах юго-восточной Баварии, где ради дополнительного унижения соизволил принять его Гитлер.

И, публикуя фотографию, на которой Сталин пожимает руку Риббентропу, следовало бы уж опубликовать рядом и другую, — к сожалению, менее известную, — на которой Гитлер, стоя на лестнице своего высокогорного дворца двумя ступеньками выше Чемберлена, взирает сверху вниз на бывшего двадцатью годами старше его, еле держащегося на ногах после утомительного путешествия правителя Британской империи, который к тому же затем являлся на поклон к Гитлеру еще и в Бад-Годесберг около Бонна 22 сентября и, наконец, в третий раз, в Мюнхен 29 сентября, стремясь осуществить свой «план Зет», который, по его словам, представлял собой «решение, приемлемое для всех, *кроме России*».

Но Гитлер — и он со своей точки зрения был совершенно прав — через год неожиданно заключил «пакт» с СССР-Россией и в 1940-м двинулся все же на запад, чтобы, вобрав мощь Европы, уже затем двинуться на Москву.

\* \* \*

Вернемся теперь к «циничному», вызывающему шумное негодование нынешних либеральных (вообще-то в большинстве своем псевдолиберальных, ибо они стали либеральными в сущности только потому, что это вдруг оказалось выгодным) историков удовлетворению Сталина тем фактом, что Великобритания и Франция 3 сентября 1939 года объявили войну Германии.

Испытывая это удовлетворение или даже чувство радости от того, что соперники СССР-России на мировой арене наконец-то «подрались», и выражая намерение так или иначе «подталкивать» их, Сталин поступил именно так, как и *любой* правитель *любой* страны в аналогичных обстоятельствах, чему есть бесчисленные примеры. Прискорбно было совсем другое: руководствуясь не проникающей в глубины исторического бытия концепцией «внутренних противоречий капитализма», Сталин полагал, что «меж-

доусобная» борьба в Европе будет столь же долгой и жестокой, какой она была в 1914—1918 годах, и поэтому его страна на более или менее длительный период может особенно не беспокоиться за свою судьбу.

Однако уходящие своими корнями в глубь веков претензии Германии на объединение Европы под своим главенством стали к 1939 году вполне *реальными*, и вместо настоящей войны в Европе получилась на этот раз мнимая война, которая нисколько не помешала за кратчайшие сроки осуществить германские планы.

Прежде чем идти дальше, целесообразно сделать небольшое отступление. Нетрудно предвидеть, что вышеизложенное вызовет вполне готовое возражение: поскольку одна из европейских стран, Великобритания, не была поглощена новой «империей германской нации» и, объявив 3 сентября 1939 года войну Германии, вроде бы так или иначе вела ее вплоть до мая 1945 года, нельзя считать войну против СССР-России делом *Европы*: война шла, скажут мне, и внутри самой Европы.

Однако «островная» Великобритания, которая к тому же четыре с лишним столетия назад стала крупнейшей колониальной империей мира, не в первый раз «отделялась» в своей геополитике от остальной — континентальной — Европы: так было и на рубеже XVI—XVII веков (борьба Великобритании с «общеевропейской» империей Филиппа II), и на рубеже XVIII—XIX веков (борьба с империей Наполеона). Но главное даже не в этом.

Как уже говорилось, война заслуженно получила определение «странная», «сидячая», «призрачная», — и это всецело относится к «военным действиям» Великобритании в 1939—1940 годах, а в значительной степени (как еще будет показано) и позднее — по меньшей мере до июня 1944 года...

Кстати сказать, на всем протяжении Второй мировой войны Великобритания противостояла Германии (и возглавленной ею континентальной Европе) *гораздо слабее*, чем в Первую мировую войну. Об этом ясно говорит количество погибших британских военнослужащих: в 1914—1918 годах — 624 тысячи, а в 1939—1945-м — 264 тысячи, то есть в 2,5 раза меньше, — несмотря на гораздо более смертоносное оружие Второй мировой войны, в силу чего на ней вообще-то погибло в 2,5—3 раза больше военнослужащих, чем в 1914—1918 годах. Если учитывать эту сторону дела, боевые потери Великобритании были во Второй мировой войне примерно в *семь раз (!)* меньше, чем в Первой... И это, конечно, очень существенный показатель.

Впрочем, к подробному разговору о роли Великобритании, а также США в 1941—1945 годах мы еще обратимся. Важно сначала сказать о том, как поверхностное и просто ложное представление о сути войны воздействует на многие приобретшие сегодня широкую популярность сочинения, посвященные тем или иным ее событиям и явлениям. Это поможет яснее увидеть истинное существо войны в целом.

Обостренный интерес вызвал, например, появившийся в последние годы ряд сочинений о так называемой *Русской освободительной армии* (РОА) и ее вожаке — бывшем советском генерал-лейтенанте Власове, который, мол, вел борьбу как против большевизма, так и против нацизма, являя собой лидера «третьей силы», которую нередко оценивают ныне как единственно «позитивную», призванную спасти Россию от «двух зол» сразу. Выше цитировались иронические слова рейхслейтера Розенберга о том, что, с точки зрения наивных людей, война имеет своей целью «освободить «бедных русских» от большевизма». Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Вильгельм Кейтель 3 марта 1941 года внес в «План Барбаросса» следующие положения об устройстве завоевываемой на востоке «территории». Ее, по словам этого главного стратега, «следует разделить на несколько государств... Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто *отбросить в сторону*. Социалистические идеи в нынешней России уже *невозможно искоренить*. Эти идеи могут послужить *внутриполитической основой* при создании новых государств... Наша задача и заключается в том, чтобы... создать эти зависимые от нас *социалистические государства*» (выделено мною. — В.К.).

Власов же исходил из того, что Германия будто бы собирается спасти русский народ от социализма. В конце февраля 1943 года его привезли в Смоленск, где во время беседы с местными жителями один из них задал не ожидаемый Власовым вопрос (напомню, что Смоленск был захвачен германской армией еще в июле 1941-го, то есть двадцать месяцев назад):

«— Почему не распускают колхозы?»

— Быстро ничего не делается. Сперва надо выиграть войну, а тогда уже земля крестьянам», — ответил этот борец с большевизмом (кстати, в 1930 году вступивший в ВКП(б) — будучи зрелым тридцатилетним человеком — в разгар коллективизации).

Но вот вполне типичное распоряжение германских военных властей в оккупированной Белоруссии: «Уборку и обмолот хлебов производить существовавшим до сего времени порядком, т.е. коллективно... Руководство уборкой возлагается на председателей колхозов, указания и распоряжения которых обязательны... К уборке хлеба привлекать всех единоличников, насчитывая им трудодни».

Факты этого рода вообще-то старались замалчивать в литературе о войне, ибо они противоречили канонам, а кроме того, могли получить «вреднейшее» истолкование: колхозы — способ ограбления крестьянства, и нацисты решили пользоваться этим способом так же, как ранее большевики (которые, правда, не заставляли работать за трудодни уцелевших единоличников)...

В таком умозаключении есть определенный резон, но все-таки важнее другое: ведь, как уже сказано, германское командование собиралось сохранить на оставляемой русским территории соци-

ализм — помимо прочего и потому, что, согласно трезвому соображению Кейтеля, «уже невозможно искоренить» явления, вызванные к жизни «революцией крупного масштаба». Да и цель войны состояла не в изменении общественного строя, но в подчинении России «германской мировой политике», вернее, геополитике, с точки зрения которой социальный уклад — дело второстепенное, и, если русские живут в своем социализме, пусть себе живут так и дальше; необходимо только ликвидировать их страну как геополитический феномен.

Из этого ясно, что связанное с именем Власова «движение», которое Германия использовала в тех или иных идеологических целях (кстати, не очень уж результативно), само по себе не имело существенного значения, ибо эта пресловутая «третья сила» вообще никак не вписывалась в геополитическую коллизию, развертывавшуюся в 1941—1945 годах. И нынешние — подчас горячие — дискуссии вокруг власовцев — плод крайне поверхностного понимания реальной исторической ситуации.

Между прочим, и личность, и судьба самого Власова в конечном счете имеют мнимый, бессодержательный характер (выражая тем самым мнимость всего «движения»). Ибо едва ли можно спорить с тем, что, если бы руководимая Власовым в апреле — июне 1942 года 2-я ударная армия не потерпела бы полного поражения, он ни в коем случае не объявил бы себя врагом большевизма и продолжал бы свою успешнейшую военную карьеру. Ведь еще в конце апреля 1942 года Власов гордо рассказывал, как он «трижды встречался со Сталиным и каждый раз... уходил окрыленным». Можно допустить, что среди власовцев были люди, которые искренне надеялись и стремились «спасти» Россию и от большевизма, и от нацизма. Но их верования и усилия не могли не оказаться всецело бесплодными, ибо в их основе лежало абсолютное непонимание геополитического смысла войны.

Характерно, что в среде уже давней — двадцатилетней к тому времени — белой эмиграции (которая, понятно, отвергала большевизм совсем не так, как член ВКП(б) с 1930 года Власов, а с самого начала и безоговорочно) немало способных если не к геополитическому мышлению, то к соответствующему *чувствованию* людей сумело во время войны как-то преодолеть свою гжучую ненависть к большевизму. Ибо они так или иначе сознавали, что решается вопрос о самом *бытии* России. Не кто иной, как категорически непримиримый «антибольшевик» Иван Бунин признался в ноябре 1943 года, во время известной Тегеранской конференции (между прочим, как раз тогда Власова удостоило своим вниманием верховное лицо в германском главнокомандовании — Альфред Йодль): «Нет, вы подумайте до чего дошло, — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось...»

А ведь сравнительно не столь давно, 26 октября 1934 года, Бунин, отвечая на вопрос о причинах его «непримиримости с

большевизмом», написал: «... большевизм... чудовищно ответил сам на этот вопрос всей деятельностью... низменной, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории». Когда Бунин это писал, Власов делал блестящую большевистскую карьеру. Но к тому времени, когда Власов объявил себя борцом против большевизма, Иван Алексеевич осознал истинную суть войны.

«Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже *столетия вперед* (выделено мною. — В.К.), и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе по-прежнему оставалось для него неприемлемо».

Повторю еще раз: я ставлю вопрос о Власове и его «движении» не в *моральной* плоскости (как чаще всего делают); речь идет о полном непонимании сущности войны, которое в конечном счете обрекало сие «движение» на бессмысленность.

Как уже было упомянуто, Власов в ноябре 1943 года был удостоен внимания генерал-полковника Йодля. Но ведь именно этот самый Йодль составил «совершенно секретную» «*Директиву по вопросам пропаганды*», содержащую «основные указания» о том, как надо обрабатывать наших «военнослужащих и население... а) противником Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно еврейско-большевистское советское правительство...» б) ...необходимо подчеркивать, что германские вооруженные силы пришли в страну не как враг, что они, напротив, стремятся избавить людей от советской тирании... г) ...пропагандистские материалы не должны преждевременно привести население к мысли о нашем намерении расчленить Советский Союз...» и т.д.

Роль власовцев сводилась в основном к участию в сей чисто пропагандистской кампании, к тому же едва ли есть основания считать, что эта их роль была очень уж весомой.

Переходя к нашему времени, приходится сделать вывод, что нынешнее обилие сочинений о «власовском движении» опять-таки объясняется непониманием истинной сути войны. Власовцам придают существенное значение (пусть даже чисто негативное), которого они не имели, ибо дело шло тогда в конечном счете вовсе не о борьбе нацизма и большевизма (Бунин, как мы видели, это глубоко чувствовал!), а ведь именно борьбу и с тем, и с другим ставят в заслугу власовцам их апологеты. Другие же авторы, которые, напротив, гневно обличают власовцев как подручных нацизма, опять-таки чрезмерно преувеличивают их роль.

---

\* Бунин И. Великий дурман. М., 1997. С.168.

\*\* В «предложениях» генерального плана «ОСТ» от 27 апреля 1942 года четко сказано: «Речь идет не только о разгроме государства... Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы... Дело заключается... в том, чтобы разгромить русских как народ...» («Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. М., 1967. С. 117.)



Словом, сам по себе тот факт, что вопрос о Власове занимает немалое место в сегодняшней историографии войны 1941—1945 годов, говорит об ее поверхностном характере.

Другое очевидное проявление этой поверхностности — весьма широкие и подчас прямо-таки страстные нынешние споры вокруг книжек советского разведчика-перебежчика Резуна, личное ничтожество которого ясно выразилось уже в выбранном им псевдониме «Суворов». Речь идет не о том, что вообще не следовало обращать внимание на опубликованные большими тиражами резунские опусы, но о том, что при верном представлении о мировой ситуации в 1941 году они просто не дают оснований для сколько-нибудь серьезных споров, которые тем не менее ведутся уже несколько лет. Единственный, пожалуй, адекватный отклик на эти книжки — чисто ироническая по своему тону статья Анатолия Ланшикова под названием «Ледокол» идет на таран»\*. В статье со всей убедительностью показано, что перебежчик, пытаясь опровергнуть «агитпроповскую» версию войны, всецело находится на уровне этой примитивной версии, хотя и вывертывает ее наизнанку (отчего она отнюдь не становится менее примитивной).

Отсылая читателей к статье Анатолия Ланшикова, обращаюсь к основному содержанию множества других откликов, авторы коих либо так или иначе присоединялись к «доводам» Резуна, либо «на полном серьезе» их оспаривали. К сожалению, как то, так и другое свидетельствует о неблагоприятном осмыслении великой войны.

Объявляя, что именно СССР готовился в 1941 году внезапно напасть на Германию («установлена» даже точная дата: 6 июля), которая, узнав о грозящей опасности, «предупредила» это нападение, Резун ссылается на множество «фактов», долженствующих доказать, что в СССР шла подготовка к мощному наступлению на запад. Вообще-то из всех приводимых «фактов» войны не получается: как из самого большого количества кошек не сделаешь тигра. Но существо дела даже не в этом. В сознание военнослужащих в 1930-х годах внедрялась принципиально *наступательная* тактика, причем делалось это не только в собственно военно-профессиональных, но и в идеологических целях, так сказать, для «поднятия духа». Однако разработка наступательных операций, воспитание соответствующего духа и т.д. и действительное принятие *решения* о превентивной войне — это, конечно же, совершенно разные вещи, отличающиеся друг от друга столь же кардинально, как военная игра и реальная война.

Так, например, в США, начиная с 1950-х годов, как это уже давно и точно известно, самым тщательным образом разрабатывалась тактика превентивной ядерной войны против СССР, но *решение* о такой войне не было принято даже тогда, когда (в 1962 году) по «волюнтаристскому» хрущевскому приказу ядерное оружие СССР было доставлено в «подбрюшье» США, на Кубу!

---

\* Наш современник. 1994. № 5. С.174—188.

К сожалению, после издания резунских книжек появилось немало сочинений, авторы коих тшчатся доказать, что в 1941 году в СССР якобы было действительно принято решение о превентивной войне против Германии и только, мол, упреждающее нападение последней помешало осуществлению сего решения. Этим-де и обусловлены тяжелейшие поражения начального периода войны, ибо изготовившиеся для *наступления* войска СССР не имели возможности создать надежную *оборону* от упредившего их германского нападения.

В эту «концепцию» вложен и иной, гораздо более ядовитый смысл: СССР-Россия предстает, согласно ей, как истинный «виновник» войны и главный «агрессор», вознамерившийся завоевать Германию (которая, значит, была вынуждена спасти себя превентивным нападением) и далее Европу в целом...

Поэтому следует хотя бы кратко остановиться на вопросе о превентивной войне. Некоторые историки (хочется, правда, в данном случае заключить это слово в кавычки), «вдохновенные» резунским опусом, изданным в 1992 году, обратили сугубое внимание на речь Сталина, произнесенную 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий и высшим командным составом армии. Вождь заявил тогда: «Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильные, — теперь надо переходить от обороны к наступлению».

Через десять дней после этой речи, 15 мая 1941 года, заместитель начальника Оперативного управления Генштаба (тогда еще полковник) А.М.Василевский при участии начальника этого управления генерал-майора Н.Ф.Ватутина написал «Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками»<sup>\*</sup>, в которых констатировалось, что «Германия в настоящее время держит свою армию отобилизованной, с развернутыми тылами» и, следовательно, «имеет возможность **предупредить** нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым... **упредить** противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск». Далее намечались конкретные наступательные операции наших войск.

Подпевалы Резуна радостно ухватились за этот текст, даже не заметив (или не желая заметить), что речь в нем идет — это очевидно — вовсе не о *превентивной войне* как таковой, но о наступательной стратегии, которую следует применить только *в том случае*, если *нападение* противника станет несомненным *фактом*. И, между прочим, цитируемый документ отнюдь не предполагал, что это нападение — дело ближайшего времени; так, в нем

\* Впервые эти «Соображения...» были опубликованы в 1993 году в ФРГ.

сказано, в частности: «...необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение укрепленных районов... и предусмотреть строительство новых укрепрайонов в 1942 г. ...»

Словом, нет никаких оснований считать сей документ свидетельством о якобы существовавшем плане превентивной войны. Однако и это еще не все. Цитируемый текст тогдашним наркомом обороны С.К.Тимошенко и начальником Генштаба (с 14 января 1941-го) Г.К.Жуковым был преподнесен Сталину, и, как рассказал еще в 1965 году Жуков, тот «прямо-таки закипел, услышав о предупредительном ударе по немецким войскам: «Вы что, с ума сошли, немцев хотите спровоцировать?»... Мы сослались... на идеи, содержащиеся в его выступлении 5 мая. «Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира», — прорычал Сталин». Этот рассказ Георгия Константиновича (из которого, в частности, ясно принципиальное различие между идеологическим «воспитанием» армии и реальной военной практикой) был опубликован в 1995 году (Военно-исторический журнал. № 3. С. 41). Однако и после его появления некоторые горе-историки продолжают пытаться доказывать, что в 1941 году под руководством Сталина шла-де подготовка к захвату Германии, вернее, *Европы*, преобладающее большинство стран которой так или иначе вошло к тому времени в новую империю — Третий рейх...

Чтобы показать полнейшую несостоятельность самой этой постановки вопроса, следует углубиться в историю. Экскурс в дальние времена может кому-либо показаться излишним или даже пытающимся подменить осмысление событий середины XX века толкованием совсем иных исторических ситуаций. Но если исходить из того, что война, о которой идет речь, была одним из крупнейших событий мировой истории, явлением первостепенного геополитического значения (а это вряд ли можно оспорить), нельзя при познании ее сущности не учитывать многовековые взаимоотношения России и Европы; иначе наши представления об этой войне неизбежно окажутся поверхностными, то есть в конечном счете ложными.

\* \* \*

Россия — как, впрочем, и любая держава мира — на протяжении своей истории не раз предпринимала завоевательные акции, хотя гораздо чаще, напротив, отражала нападения различных завоевателей с востока и запада. Но можно с полным основанием утверждать, что Россия не предпринимала и даже не планировала завоевательных акций в отношении стран *Запада*, стран Европы в собственном смысле слова. В тех или иных обстоятельствах русские войска вторгались в Европу, но не для завоевания; так, в 1760 и 1813 годах они брали Берлин, а в 1814-м даже далекий Париж, однако по своей воле вскоре же уходили оттуда.

Внимательно изучая проблему, можно убедиться, что отказ от присоединения к территории России стран Запада — это своего рода *геополитический закон*, действовавший в продолжение столетий. И многократно и громогласно возвещавшееся в Европе предупреждение, что-де Россия собирается ее завоевать, — не более чем пропагандируемый в тех или иных целях идеологический *миф*, или, вернее будет сказать, блеф, который, в частности, призван был оправдывать походы с запада на Россию в Смутное время, при Петре I, в 1812-м, 1854-м и т.д.

Найдутся, конечно же, оппоненты, которые, быть может, даже не без гнева заявят, что Россия в тот или иной период захватывала расположенные к западу от нее Польшу, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию и Бессарабию. Однако при объективном и конкретном осмыслении этих «захватов» (каждый из которых имел существенное своеобразие) картина получается совсем иная, чем обычно рисуют. Помимо прочего, обращение к этой проблеме важно и потому, что дело идет о западной *геополитической границе* России.

Начнем с «польского вопроса». С XI по XVII столетие Польша многократно вторгалась в пределы Руси, захватывала громадные ее территории и веками владела ими, между тем как русские войска за все это время *ни разу* не вступали на собственную территорию Польши. Но это, скажут мне, дела давно минувших дней. А в бесчисленных сочинениях утверждается, что-де в конце XVIII века Россия совместно с Австрией и Пруссией совершила «разделы Польши» (их было три)...

Как мощна все же русофобская пропаганда! Любой «либерал» преподносит как аксиому обвинение России в «разделах Польши». Между тем в результате этих «разделов» Россия не получила ни одного клочка собственно польских земель, а только возвратила себе отторгнутые ранее Польшей земли, принадлежавшие Руси со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого! Земли, которые отошли в конце XVIII столетия к России, и сегодня, *сейчас* входят в состав Украины и Белоруссии, и те, кто возмущаются этими самыми «разделами», должны уж тогда требовать «возврата» Польше около *трети* нынешней украинской и белорусской территории! Короче говоря, участие России в «разделах Польши» конца XVIII века — либеральный миф.

Позднее, в 1815 году, часть Польши действительно вошла в состав Российской империи, но это было не завоевание, а результат дипломатического передела Европы по решениям *обще-европейского* Венского конгресса, который подводил итоги наполеоновских войн. Поскольку польские войска приняли чрезвычайно активное участие в походе Наполеона в Россию, последней в порядке «компенсации» (а также в качестве наказания поляков) была передана восточная часть «герцогства Варшавского», созданного в 1807 году по воле Наполеона в качестве компонента его империи. Это был *единственный* в истории факт присо-

единения к России земель западного *государства* (осуществленный, как сказано, не по собственной воле России, а по решению общеевропейского конгресса). В конечном счете именно поэтому Александр I сразу же одарил поляков *конституцией* (каковой в самой России не было) и возвел присоединенную территорию в ранг автономного «Царства (или, иначе, Королевства) Польского», которое считалось государственным образованием, связанным с Российской империей особой *унией*, а не просто одной из многих частей страны.

Тем не менее, как говорится, ничего хорошего из этого не получилось. В 1830 и 1863 годах в Царстве Польском разражались мощные восстания, притом повстанцы требовали вернуть Польше украинские (включая Киев!) и белорусские земли, которыми она ранее владела, — автономность «Царства» пришлось не раз «урезывать» и т.д.

И, надо думать, дело было в *геополитической* «несовместимости», ибо Польша — это все же страна Запада, страна Европы, пусть и «окраинная», и ей, говоря попросту, не место в составе России. Но, повторю еще раз, Россия, строго говоря, и не имела настоящей цели поглотить Польшу, что ясно выразилось в предоставлении отданным России Венским конгрессом польским землям статуса особого «Царства».

Перейдем к Финляндии, которая — в отличие от Польши — до присоединения ее к России в 1809 году никогда не являлась самостоятельным *государством*, а представляла собой завоеванную в давние времена часть Швеции. В результате русско-шведской войны 1808—1809 годов территория будущего финского государства отошла к России. Аналогично истории с «Царством Польским» это было не проявлением одной только российской воли, а следствием предшествовавшего войне 1812 года краткого «зигзага» общеевропейской геополитики.

Великая война 1812—1815 годов как бы заслонила от нас события 1807 года, когда Россия приняла участие в установлении общеевропейского «порядка» Наполеоном (подчинившим себе к тому времени почти всю континентальную Европу), заключив с ним в июне—июле этого года Тильзитский мир (по решению которого, в частности, и было создано Варшавское герцогство, ставшее затем одним из важных участников похода Наполеона на Москву). Тильзитский мир — явление, во многом аналогичное советско-германскому пакту 1939 года, и сопоставление этих двух отделенных ста тридцатью годами акций способно многое прояснить.

Согласно договоренностям с Наполеоном, Россия обязывалась так или иначе противостоять не подчинившейся ему Великобритании и тесно связанной с ней Швеции, в которую входила территория Финляндии. И присоединение в 1809 году к России Финляндии было, в сущности, следствием *Тильзитского мира*, а не выражением собственной геополитической воли России.

Нельзя недооценивать и тот факт, что Финляндии (как и Польше) был сразу же предоставлен особый статус «Великого княжества Финляндского», получившего экономическую (своя таможня и своя валюта) и политическую (своя полиция и суд) — кроме сферы *внешней* политики — самостоятельность. Хотя это противоречит общепринятому мнению, именно в составе Российской империи сформировалась собственная финская *государственность*, в результате чего после распада Российской империи в 1917 году Финляндия как бы совершенно естественно стала суверенной европейской (конкретно — скандинавской) страной. И столетнее пребывание в составе России было для самой Финляндии, по-видимому, более удачной судьбой, чем если бы она продолжала оставаться частью Швеции (так, «выход» Финляндии из состава Швеции означал бы потерю последней около *половины* ее территории, что, наверное, вызвало бы решительное сопротивление). Характерно, что 23 ноября 1939 года, то есть за неделю до начала советско-финской войны, премьер-министр Финляндии А.Кааяндер выступил с заявлением о «сочувственной Финляндии политике, которая проводилась Александром I и Александром II и встречала одобрение всего населения Финляндии»; кстати, памятники этим российским императорам и сегодня красуются на финской земле.

По-иному обстоит дело с территорией Латвии и Эстонии. Уже тысячелетие назад эта территория представляла собой своего рода *пограничную зону* между Европой и Россией. Так, еще в 1030 году Ярослав Мудрый построил здесь крепость, названную в честь его небесного покровителя Юрьевом (ныне — Тарту), но и тогда, и позднее на эти прибалтийские земли претендовали и в течение того или иного периода владели ими Польша, Германия, Дания, Швеция и, с другой стороны, Россия. До 1917 года латышский и эстонский народы не имели никаких элементов собственной государственности.

Двумя столетиями ранее, в 1721 году, Петр I по условиям Ништадтского мирного договора *купил* эти территории у владевшей ими тогда Швеции за громадную по тем временам сумму — 2 миллиона талеров (по-русски — «ефимков»), притом купил их вместе с так называемым Карельским перешейком между Финским заливом и Ладожским озером. Если посмотреть на карту, станет ясно, что тем самым обрело границы геополитическое пространство к северу и западу от новой столицы России — Петербурга (но необходимо напомнить, что еще в IX веке недалеко от будущего Петербурга находился древнейший город Руси — Ладога, который имел тогда не меньшее значение, чем Киев).

Латвия и Эстония и после 1721 года в известной мере сохраняли характер *пограничной зоны* между Европой и Россией, что выразилось, в частности, в составе населения городов этих территорий: в Риге и Ревеле (Таллине) жили кроме латышей и эстонцев и немцы, и шведы, и русские. На рубеже XIX—XX веков в

Риге, например, издавались 18 газет на немецком языке, 8 — на русском, 5 — на латышском и, что особенно выразительно, выходили, помимо того, двуязычная русско-немецкая и трехязычная русско-латышско-немецкая газеты!

Сложнее была ситуация в третьей прибалтийской территории — Литве, так как она, в отличие от Латвии и Эстонии, в свое время имела собственную государственность, но позднее была целиком поглощена Польшей. В конце XVIII века при «разделах Польши» литовские земли вошли в состав России вместе с украинскими и белорусскими, и это произошло в сущности как бы по «техническим причинам», для уяснения которых следует опять-таки посмотреть на карту. Собственно польские земли, находящиеся *западнее* украинских и белорусских, забрала себе тогда Пруссия, и если бы литовские земли также отошли к ней, то образовался бы почти трехсоткилометровый германский «клин», врезающийся в глубь России. Кстати, небольшой «клин» с портом Клайпеда-Мемель Пруссия все же оставила тогда за собой, и он был возвращен Литве только в 1923 году, а в марте 1939 года вновь захвачен Германией и освобожден 28 января 1945 года, когда в Клайпеду вошли войска СССР-России.

\* \* \*

Но обратимся к 1939 году. Сегодня явно господствует представление, что в сентябре этого года СССР совершил совместно с Германией еще один — четвертый, или, вернее, пятый — «раздел Польши», и массы людей бездумно воспринимают эту «концепцию». Между тем и в данном случае СССР-России были возвращены исконные украинские и белорусские земли, отторгнутые Польшей в 1920—1921 годах. То, что произошло в 1939 году, было в своем историческом смысле не агрессией СССР против Польши, но ликвидацией последствий *польской* агрессии! Английский историк Алан Тейлор напомнил в своем исследовании «Вторая мировая война» (1975), что тогда, в 1939-м, «министерство иностранных дел (Великобритании. — В.К.) указывало, что британское правительство, намечая в 1920 г. линию Керзона<sup>\*</sup>, считало *по праву принадлежащей русским* ту территорию, которую теперь (то есть в 1939-м. — В.К.) заняли советские войска... В дальнейшем не было удобного случая признать *законность* наступления, предпринятого Советской Россией (в 1939-м. — В.К.), и ... вопрос этот постоянно осложнял отношения между Советской Россией и западными державами» (С.402).

Положение, надо сказать, прямо-таки замечательное: восстановление в 1939 году Украины и Белоруссии с британской точки

---

\* Министр иностранных дел Великобритании в 1919—1924 годах Джордж Керзон предложил в 1919 году установить примерно ту восточную польскую границу, которая существует и сегодня. Но Польша в результате войны 1920 года отодвинула границу далеко на восток.

зрения вполне *законно*, но не находится «удобного случая» признать это, и лихие сочинители продолжают вопить об агрессивном «разделе» Польши в 1939 году между СССР-Россией и Германией!

Словом, та геополитическая граница Польши — и *Европы в целом* — с Россией, которая сложилась еще в X(!) веке, а позднее неоднократно нарушалась, была в очередной раз *восстановлена* в 1939 году. В высшей степени показательно, что поначалу намечалась иная, проходившая намного западнее граница — по рекам Сан и Висла, — но по воле СССР этого не произошло. Известный американский историк войны Уильям Ширер писал в 1959 году о решении Сталина отказаться от собственно *польских* территорий: «Хорошо усвоив урок многовековой истории России, он понимал, что польский народ никогда не примирится с потерей своей независимости»\*.

Другое дело — отторгнутые в очередной раз в 1920—1921 годах Польшей украинские и белорусские земли. Сейчас имеется немало всяких перевертышей, кричащих, что воссоединение этих земель с остальными землями Украины и Белоруссии являлось-де «оккупацией» и «захватом». Поэтому отрадно читать работу *молодого* историка А.Д.Маркова «Военно-политические аспекты присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии», опубликованную в изданном в 1997 году в Москве сборнике «Великая Отечественная война в оценке молодых» (сборник этот небезынтересен в целом).

Марков вовсе не лакирует историческую ситуацию; он пишет, например, что СССР «до 22 июня 1941 г. фактически являлся гитлеровским союзником». Правда, слово «союзник» неточно; вернее было бы сказать, что СССР был «пособником», ибо в самом деле так или иначе способствовал германскому овладению Западной Европой, вполне подобно тому, как годом ранее Великобритания и Франция являлись пособницами в овладении Германией Восточной Европой.

Вместе с тем молодой историк, никак не причастный к тенденциозности «доперестроечных» времен, не имеет потребности «отмываться» от своих прежних сочинений и, основываясь на реальных фактах, показывает, что основное население западных земель Украины и Белоруссии ни в коей мере не воспринимало введение войск СССР в 1939 году как «агрессию», «захват», «оккупацию» и т.п. Напротив, пишет А.Д.Марков, «в восточнопольских землях украинцы, белорусы и евреи нередко организовывали повстанческие отряды... нападая на отступавшие от немцев польские части... Непольское население превращало польские знамена, отрывая от них белые полосы, в красные, засыпало цветами колонны Красной Армии... указывало места, где поляки прятали оружие, участвовало в обезвреживании небольших

\* Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. М., 1992. Т.2. С.8.



польских частей» и т.п. А это «непольское» население составляло, «по разным источникам», от 67 до 90 процентов!

Особенно следует отметить, что Марков в своей лаконичной работе все же нашел место для многовековой перспективы: «Западноукраинские и западнобелорусские земли... в X—XI вв. входили в состав Киевской Руси. Причем уже в 981 г. князю Владимиру I пришлось вести борьбу с поляками за города Перемышль, Червень и др.». События 1939 года свидетельствуют, заключает А.Д.Марков, что «политика интернационализма с ленинским пренебрежением к вопросу о границах стала изменяться в сторону возвращения территорий, которыми когда-либо владели не только Российская империя, но и Киевская Русь». Отрадно, повторю еще раз, что молодой историк не поддается давлению — весьма мощному! — нынешних «либеральных» очернителей истории своей страны.

Впрочем, необходимо одно существенное уточнение. Суть дела состояла не просто в том, чтобы вернуть прежние «владения». Становление границы Руси и Запада в древнейшую эпоху происходило не столько в процессе «дипломатических переговоров», сколько как бы естественно, стихийно, само собой. Складывался не политико-дипломатический, а *геополитический рубеж* между Русью и Европой. И именно он лежал в *подоснове* решения о границе в 1939 году. И когда германские войска на рассвете 22 июня 1941 года переправлялись через Западный Буг, они рушили границу, прочно установленную великим князем Владимиром Святославичем в 981 году, то есть 960 лет тому назад...

При восстановлении этого рубежа в 1939 году закономерно встал вопрос (как и в конце XVIII века) о том литовском «клине», о коем уже шла речь выше, ибо в 1920 году Польша не только отторгла западные украинские и белорусские земли, но и отняла у Литвы Вильно-Вильнюс с прилегающей к нему территорией. И 10 октября 1939 года СССР передал эту территорию Литве. То есть вновь — спустя полтора столетия — была воспроизведена та же самая «геополитическая модель», что говорит об ее существенности. В нынешней Литве подчас звучат голоса, проклинающие СССР за «позорный раздел Польши» в 1939 году, однако, если толковать это событие в таком духе, литовцам следует отдать Польшу Вильнюс...

Мне, разумеется, напоминают, что в 1940 году СССР присоединил к себе эту самую воссоединенную им самим Литву. Но прежде чем говорить об этом, отмечу, что Литва — вполне аналогично Латвии и Эстонии — являет собой «пограничную зону» между Европой и Россией. Показателен с этой точки зрения состав населения Вильно-Вильнюса (в котором долго господствовали поляки) по переписи 1897 года: поляки — 30,1%, русские — 25,5%, литовцы — всего лишь 2,1%(!). И спустя почти сто лет, в 1989 году: поляки — 18,7%, русские — 20,2%, а литовцы теперь — 50,2%(!).

Кто-либо может подумать, что я уделяю прибалтийской теме в этом размышлении о великой войне неоправданно много места. Однако речь ведь идет именно о *геополитическом пограничье*, и без понимания его характера невозможно понять проблему в целом.

После начавшегося вскоре после Февральской революции, летом 1917 года, распада Российской империи (отделение Украины, Грузии, Армении и др. вплоть до губерний) обособились также Латвия, Литва и Эстония и, в отличие от других частей страны (к 1922 году «возвратившихся» в ее состав), были до 1940-го самостоятельными государствами. Но многозначительно, что на мировом дипломатическом языке они назывались в то время государствами-«лимитрофами», то есть «пограничными».

И накануне великой войны эти страны неотвратимо должны были занять либо Германия, которая уже 22 марта 1939 года (то есть за полгода до очередного «раздела» Польши) захватила район Клайпеды-Мемеля, либо СССР-Россия.

Я отнюдь не намерен закрывать глаза на тот факт, что, поскольку в предшествующие два десятилетия три прибалтийские страны были самостоятельными государствами, их присоединение к СССР в 1940 году заслуживает осуждения. Руководствуясь своими геополитическими интересами, СССР пренебрег национально-государственными интересами прибалтийских народов (между прочим, Петр I этого не делал, так как он **купил** латышские и эстонские земли у другого их «владельца»).

Но вместе с тем нельзя согласиться со многими нынешними сочинителями, преподносящими события 1940 года в качестве некой уникально позорной, прямо-таки чудовищной акции, на которую способен был именно и только большевистский или — как нередко объявляют — русский империализм.

Достаточно вспомнить, как «присоединяли» вроде бы добропорядочные европейские страны свои бесчисленные колонии, дабы убедиться, что русское и даже большевистское зло не представляет собой чего-либо из ряда вон выходящего. И дело, конечно, не только в колониях в точном смысле слова. В прошлом веке США, например, отхватили у Мексики большую и наиболее ценную часть ее территории (нынешние штаты Калифорния, Техас, Нью-Мексико и др.), и тем не менее американские идеологи нисколько не стесняются обрушивать проклятия в адрес российского «империализма»!

Уже упомянутый английский историк Алан Тейлор писал в 1975 году, что «права России на Балтийские государства и восточную часть Польши (украинско-белорусскую. — *В.К.*) были *гораздо более обоснованными* по сравнению с правом Соединенных Штатов на Нью-Мексико (одна из захваченных у Мексики территорий. — *В.К.*). Фактически англичане и американцы применяли к русским нормы, которых они не применяли к себе» (выделено мною. — *В.К.*).

Особенно дики современные попытки некоторых прибалтийских идеологов представить пребывание их стран в составе СССР как гораздо большее зло, чем оккупацию этих стран Германией, хотя давно опубликованы секретные германские директивы, предписывавшие осуществление полной «аннигиляции» самих прибалтийских *народов* (а не только их государственной независимости). Так, в меморандуме Розенберга от 2 апреля 1941 года предписывалось превращение Эстонии, Латвии и Литвы в «территорию немецкого расселения, призванную ассимилировать наиболее подходящие в расовом отношении местные элементы... Необходимо будет обеспечить отток значительных слоев интеллигенции (то есть выразителей национального самосознания. — *В.К.*), особенно латышской (как наиболее многочисленной в сравнении с литовской и эстонской. — *В.К.*), в центральные русские области, затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян... не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного окончания войны, и англичан (очень существенный момент, к которому мы еще вернемся! — *В.К.*), чтобы через одно или два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям Германии».

Гиммлер, несколько расходясь с Розенбергом, планировал не столько заселение Прибалтики германцами, сколько самую интенсивную политику в отношении ее собственного населения. «Двадцатилетний план, — писал он 12 июня 1942 года, — должен включать полное онемечивание Эстонии и Латвии... Мы должны это осуществить по возможности в течение 20 лет. Я лично убежден, что это можно сделать...»

Впрочем, по своей сути оба «плана» едины: и в том, и в другом прибалтийские народы как таковые, в их наличном национальном бытии и сознании, не причисляются к *европейским* народам, и их следует или в значительной мере заменить переселенцами из Европы, или полностью онемечить, — лишь тогда Прибалтика станет частью Европы, действительно войдет в ее геополитические границы. Между тем ни в России, ни тем более в СССР с его политикой «интернационализма» не проводилась какая-либо целенаправленная «русификация» прибалтийских народов.

Разумеется, изложенная программа ликвидации прибалтийских народов — крайнее выражение того, что называется «геноцидом», и она вообще не может подлежать какому-либо «обсуждению». Но поставим вопрос в совсем иной плоскости: нацисты были с определенной точки зрения *правы*, не считая прибалтийцев собственно европейцами; перед нами, как уже говорилось, «пограничье» Европы и Евразии-России, и нацистская программа именно это выявляла...

Для полноты картины следует сказать и об еще одной «спорной» пограничной территории — части нынешней Молдавии,

называвшейся ранее Бессарабией. Поскольку в древнейшие времена здесь обитали восточнославянские племена уличей и тиверцев, западная граница Руси так или иначе устанавливалась в этой южной ее части не позднее X века; в частности, князь Святослав Игоревич даже в известном смысле перенес столицу Руси из Киева в находившийся в дельте Дуная Переяславец. Впоследствии на бессарабских землях существовало в течение некоторого времени православное Великое княжество Молдавское, но им завладела мощнейшая в те времена Турецкая империя, а позднее, после целого ряда войн, Бессарабия к 1812 году вновь стала частью России, что окончательно закрепилось после победы над Наполеоном.

Словом, переход Бессарабии в результате распада России в 1917 году в состав Румынии был, по меньшей мере, не бесспорным актом, и возврат в 1940 году к восходящей к глубокой древности границе опять-таки нельзя воспринимать в качестве захвата собственно *европейской* территории.

И, следовательно, определившуюся к 1941 году западную границу СССР-России от Ледовитого океана до Черного моря есть все основания считать геополитической, соответствующей многовековому делению на два субконтинента — собственно Европу и то, что давно уже определяют термином *Евразия* (это в сущности геополитическое обозначение России, являющей собой своеобразный *субконтинент*).

Поэтому постоянно повторяемые утверждения, что-де СССР-Россия в 1939—1940 годах совершила агрессивные захваты и осуществила «раздел» *Европы* (Восточной) с Германией и т.п., едва ли имеют объективное значение; это только тенденциозная идеологическая «оценка». Другое дело — положение, создавшееся после Победы 1945 года, когда определенный рубеж СССР-России и Запада прошел по восточной границе ФРГ, Австрии и Италии. Этот рубеж не имел *геополитического* обоснования, а поэтому и перспективного будущего. Но об этом речь пойдет в своем месте — в главе о послевоенном периоде.

\* \* \*

Итак, в 1939—1940 годах была восстановлена та геополитическая граница между Европой и Россией, которая существовала уже тысячелетие назад, в очередной раз утвердилась на два века при Петре Великом и была порушена в результате катаклизма Революции. Россия никогда не имела цели присоединить к себе какие-либо территории *западнее* этой *границы*; столетнее пребывание в ее составе части Польши (1815—1917) и другой *будущей* (именно так!) европейской страны, Финляндии (1809—1917), — это те исключения, которые, как говорится, подтверждают правило; в высшей степени показательно, что обе территории с самого начала их вхождения в Российскую империю получили особые статусы.

Естественно, нельзя обойти здесь вопрос о крайне прискорбной войне с Финляндией, длившейся с 30 ноября 1939 до 13 марта 1940 года. 14 октября 1939 года СССР предложил Финляндии совершить «территориальный обмен», главным элементом которого являлась передача — в сущности, возврат — в состав СССР-России *Карельского перешейка* (между Финским заливом и Ладожским озером) в обмен на превышающую этот перешеек в два раза территорию, расположенную севернее. На этом стоит остановиться подробнее, ибо в судьбе, казалось бы, совершенно незначительного клочка земли (1/15 000 от территории СССР и 1/260 от территории Финляндии) воплощалась основополагающая геополитическая проблема.

Дело в том, что Карельский перешеек вошел в состав Русского государства в момент его рождения. Государство это с самого начала представляло как многонациональное или, вернее, многоплеменное, и, согласно «Повести временных лет», северное ядро Руси с центром в ее древнейшем городе Ладога создали *совместно* восточнославянские и финские — *чудь* и *весь* — племена, притом как раз *весь* населяла Карельский перешеек (ее потомки, называющиеся *вепсами*, существуют и сегодня, — в частности, в Ленинградской области; в 1989 году их было 13 тысяч человек).

Позднее Карельский перешеек не раз пыталась отнять у Руси-России владевшая Финляндией Швеция, и в 1617 году ей удалось отторгнуть его у ослабевшей за годы Смутного времени России. Но в 1721-м, как уже говорилось, Петр Великий возвратил Карельский перешеек, создавая пограничье вокруг новой столицы России, восстановив тем самым первоначальную границу Русского государства.

Однако девяносто лет спустя, в 1811 году, через два года после создания Великого княжества Финляндского, эта территория была (надо прямо сказать, совершенно опрометчиво) присоединена к нему в качестве своего рода щедрого дара Александра I. И после превращения в 1917 году Финляндии в суверенную страну получилось так, что граница с ней прошла не в полутораста километрах от Петербурга (как было при Петре), а почти по его предместьям... В принципе это было как бы геополитическим дефектом, очень остро воспринимавшимся в ситуации 1939 года. И СССР предложил вышеупомянутый «обмен», а на категорический отказ Финляндии ответил войной.

Сейчас СССР за эту войну клеймят последними словами, между тем видный английский историк Лиддел Гарт (отнюдь не «просоветски» настроенный) в 1970-м писал о «требованиях» СССР 1939 года к Финляндии: «Объективное изучение этих требований показывает, что они были составлены на рациональной основе с целью обеспечить большую безопасность русской территории, не нанося сколько-нибудь серьезного ущерба безопасности Финляндии...» И даже после трудно доставшегося в марте 1940-го поражения финских войск «новые советские требования были

исключительно умеренными. Выдвинув столь скромные требования, Сталин проявил государственную мудрость», которая, надо отметить, по сей день проявляется в отношениях России и Финляндии.

Стоит привести слова Сталина из стенограммы его переговоров 12 октября 1939 года с главой приглашенной в Москву финляндской делегации Ю.К.Паасикиви. «Мы не можем ничего поделать с географией» (выделено мною. — В.К.) так же, как и вы... — сказал тогда Сталин. — Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него границу». То есть речь шла именно о нарушенной в 1917 году геополитической границе, и в конечном счете именно поэтому объективный английский историк выразил согласие с требованиями 1939 года к Финляндии.

Однако финны с 1811 года привыкли считать Карельский перешеек неотъемлемой частью Великого княжества Финляндского, которое — что особенно важно — даже и в столетний период его существования во внешнеполитических границах Российской империи представало как скандинавская, то есть европейская, страна. И вот эта страна с населением, составлявшим всего лишь *три с половиной миллиона* человек, в течение трех с половиной месяцев отчаянно сопротивлялась войскам огромного СССР. По недавно опубликованным подсчетам, «на той войне незначительной» (по словам Твардовского) погибли 126 875(!) военнослужащих СССР...

Между тем при вторжении в сентябре 1939 года войск СССР в восточную часть Польши — то есть в Западные Украину и Белоруссию — погибли всего 1139 военнослужащих (0,9 процента от числа погибших в Финляндии).

Что же касается ввода войск СССР-России в Эстонию, Латвию и Литву в октябре 1939 года (еще до начала боевых действий в Финляндии) и официального присоединения этих трех стран к СССР в августе 1940-го, ни то, ни другое не вызвало фактически никакого сопротивления!

Резкий контраст с ситуацией в Финляндии (следует напомнить, что совокупное население трех прибалтийских стран почти в *два раза* превышало финляндское) не мог быть некоей случайностью. Конечно, те или иные слои прибалтийских народов испытывали чувство недовольства или даже негодования совершавшимся, но население в целом, надо думать, как-то созревало «пограничный» характер своих стран и мирилось с их возвратом в состав СССР-России.

Этот факт обычно толкуется в «классовом» духе: большинство населения Прибалтики, ее трудящиеся, не имели, мол, ничего против социализма, и потому никакой войной и не пахло. Но ведь и в Финляндии имелся пролетариат и даже коммунистическая партия (сразу после начала финской войны в Москве было

\* Лиддел Г. Вторая мировая война. М., 1976. С.56, 57.

создано «теневое» коммунистическое правительство Финляндии во главе с видным коминтерновцем Отто Куусиненом). Однако финский народ единодушно встал на защиту своей страны — в отличие от прибалтийских народов.

И главное, полагаю, не в каких-либо «оценках» поведения народов, но в осознании *геополитического* различия. Показательно в этом плане рассуждение Черчилля о финской войне в его сочинении «Вторая мировая война». Он говорит о западных границах СССР 1939 года, которые вызывали у правителей страны глубочайшую тревогу, — границах с прибалтийскими странами и Финляндией, усматривая в этом давнюю историческую проблему. «Даже белогвардейское правительство Колчака, — напоминал Черчилль, — уведомило мирную конференцию в Париже (речь идет о конференции 1919—1920 годов, подводившей итоги Первой мировой войны. — В.К.), что базы в прибалтийских государствах и Финляндии (имелся в виду прежде всего Карельский перешеек. — В.К.) были необходимой защитой для русской столицы (Петрограда. — В.К.). Сталин высказал ту же мысль английской и французской миссиям летом 1939 года». То есть дело шло о «естественной» геополитической границе. «Сталин, — продолжал Черчилль, — не терял времени даром...» 28 сентября 1939 года был заключен соответствующий договор с Эстонией, и «21 октября Красная армия и военно-воздушные силы уже были на месте, — заключает Черчилль, — та же процедура была одновременно проделана в Латвии. Советские гарнизоны появились также и в Литве... Оставались открытыми подступы только через Финляндию» (таким образом, Черчилль считал присоединение Карельского перешейка вполне естественным делом).

При этом — что особенно впечатляюще — речь шла отнюдь не о введении войск СССР на территорию Финляндии в целом, а только о возврате «подаренного» Великому княжеству Финляндскому в 1811 году Карельского перешейка, который еще в IX веке принадлежал Руси. Тем не менее началась долгая и тяжкая война.

Нельзя не сказать, что сам факт очень дорого обошедшейся победы над крохотной Финляндией делает абсолютно неправдоподобной, даже нелепой нынешнюю «гипотезу», согласно которой в СССР всего через несколько месяцев после этой — в сущности, Пирровой — победы было-де принято решение напасть на Германию, к тому времени уже подчинившую себе всю континентальную Европу! При всех возможных негативных оценках Сталина едва ли уместно видеть в нем полного несмышленища...

К тому же в сознании Сталина, без сомнения, сохранялась ясная память о *походе на Европу* в 1920 году, походе, в котором он принимал прямое участие. Хотя дело началось тогда с агрессивного нападения Польши, которая стремилась вернуть себе всю Правобережную Украину и большую часть Белоруссии, после поражения и отступления польских войск возникла идея захвата

Варшавы (где, как предполагали, тут же начнется социалистическая революция) и дальнейшего движения на Берлин и Запад в целом. Командующий главным — Западным — фронтом М.Н.Тухачевский без обиняков взывал в июле 1920 года в своем приказе о наступлении: «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад!»

Но начавшийся в июле поход на Европу потерпел сокрушительное поражение уже в августе. И позднее, в марте 1921 года, Ленин открыто признал этот поход «ошибкой», многозначительно добавив: «Я сейчас не буду разбирать, была ли эта ошибка стратегическая или политическая... это должно составлять дело будущих историков».

Из вышеизложенного следует, что это была *геополитическая* «ошибка»: Россия (пусть даже в обличье РСФСР и далее СССР) не может и не должна завоевывать Европу; она может и должна сохранять свое собственное геополитическое пространство, хотя не исключены споры о *границах* этого пространства, в частности, о принадлежности к нему Прибалтики.

С 1991 года уже семь лет три прибалтийские страны всячески стремились доказать свою принадлежность к Европе, однако достаточно было российским властям в 1998 году выразить недовольство притеснениями так называемых «русскоязычных» в Латвии и несколько ограничить взаимоотношения с ней — и в этой вроде бы независимой от России стране разразился весьма острый кризис (хотя никакой действительной угрозы со стороны России, разумеется, не было). Из этого ясно, что Латвия — по крайней мере в настоящее время — *не вышла* из геополитического пространства России...

Но вернемся еще раз к походу на Варшаву в 1920 году. Строго говоря, это была *единственная* попытка завоевания европейской страны за всю историю России, хотя, если верить западным русофобствующим идеологам, подобные попытки будто бы имели место многократно (реального подтверждения этих домыслов не существует). Притом поход 1920 года был продиктован, конечно же, не геополитической волей России, а большевистско-коминтерновским экстремизмом, который сразу же потерпел крах.

К 1939 году сей экстремизм ушел в прошлое, и, кстати сказать, именно в этом году начался фактический демонтаж Коминтерна, завершившийся его официальной ликвидацией в мае 1943 года.

Подводя итог, целесообразно процитировать размышления одного из крупнейших представителей западной историософии — Арнольда Тойнби, проявлявшего волю к истинной объективности взгляда. В 1947 году он писал: «На Западе бытует понятие, что Россия — агрессор... в XVIII веке при разделе Польши Россия поглотила львиную долю территории; в XIX веке она угнетатель Польши и Финляндии... *Сторонний* (выделено мною. —



*В.К.*) наблюдатель, если бы таковой существовал, сказал бы, что победы русских над шведами и поляками в XVIII веке — это лишь *контрнаступление*... в XIV веке лучшая часть исконной российской территории — почти вся Белоруссия и Украина — была оторвана от русского православного христианства и присоединена к западному христианству... Польские завоевания исконной русской территории... были возвращены России лишь в последней фазе мировой войны 1939—1945 годов».

«В XVII веке польские захватчики проникли в самое сердце России, вплоть до самой Москвы, — продолжал Тойнби, — и были отброшены лишь ценой колоссальных усилий со стороны русских, а шведы отрезали Россию от Балтики, аннексировав все восточное побережье до северных пределов польских владений. В 1812 году Наполеон повторил польский успех XVII века; а на рубеже XIX и XX веков удары с Запада градом посыпались на Россию, один за другим. Германцы, вторгшиеся в ее пределы в 1915—1918 годах, захватили Украину и достигли Кавказа. После краха немцев наступила очередь британцев, французов, американцев и японцев, которые в 1918 году вторгались в Россию с четырех сторон. И наконец, в 1941 году немцы вновь начали наступление, более грозное и жестокое, чем когда-либо.

Верно, что и русские армии воевали на западных землях, — заключил британец, — однако они всегда приходили как *союзники одной из западных стран* в их бесконечных семейных ссорах. Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства, пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди Запада — агрессорами... Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилизации»\*.

Возражения против множества нынешних сочинений, в которых Россия (в том числе и в облике СССР) предстает как агрессор в отношении стран Запада, пытаются обычно дискредитировать, объявляя такие возражения тенденциозными выдумками русских «национал-патриотов», пытающихся идеализировать свое Отечество. Но Арнольд Тойнби явно не принадлежал к русским патриотам...

И, если договаривать все до конца, очевидное нежелание России переступить геополитическую границу с Западом (чрезвычайно характерно, например, что даже при включении в состав империи Финляндии была установлена определенная граница с ней), обусловлено не особенным ее «миролюбием», но, помимо прочего, давно сложившимся *пиететом* перед европейской цивилизацией, пиететом, столь ясно воплотившемся в мощном российском *западничестве*. Притом западничество — это только крайнее проявление всеобщей настроенности. Так, отнюдь не принадлежавший к западникам Достоевский все же посеял мысль о том,

\* Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории. М., 1996. С.106—107.

что «старые камни» Европы едва ли *не дороже* русским, чем самим европейцам (напомню, что 19 января 1945 года русские войска, например, спасли «старые камни» Кракова, рискуя при этом сильно увеличить свои потери).

Итак, Россия, а затем СССР не предпринимали и даже не планировали (планы разжигания «мировой революции» — это иная проблема) завоевания стран Европы. Поход на Варшаву 1920 года — своего рода исключительный случай, признанный вскоре же «ошибкой». Поэтому споры, возбужденные пресловутой резунской версией, — всего лишь недоразумение, говорящее о серьезном неблагодарности в стане нынешних историков. Нелепость этой версии обнаруживается уже абсолютно бесспорно в ее, так сказать, втором аспекте, согласно которому Гитлер-де решил начать войну против нас потому, что ему стало известно о готовом вот-вот обрушиться на Германию задуманном Сталиным нападении. Между тем «План Барбаросса» был окончательно утвержден 18 декабря 1940 года, но даже три недели спустя, 9 января 1941 года, Гитлер заявил, что «Сталин, властитель России — умная голова, он не станет открыто выступать против Германии», а 20 января «развил» тему: «... пока жив Сталин, *никакой опасности нет*: он достаточно умен и осторожен. Но когда его не станет, евреи, которые сейчас обретаются во втором или третьем гарнизонах, могут продвинуться в первый...» (выделено мною. — В.К.).

Словом, все нынешние разглагольствования о том, что Германия-де напала на СССР ради предотвращения его якобы готового нападения, прямо-таки до неприличия бесосновательны. И тем не менее эта версия сейчас достаточно широко выдвигается, особенно теми авторами, которые сравнительно недавно утверждали нечто прямо противоположное. Они явно стремятся отмыться от своих прежних «заслуг».

Как уже сказано, при заключении пакта 1939 года глубоким заблуждением правительства СССР был расчет на последующую долгую и упорную войну *внутри* Европы, войну, которая, мол, изнунив враждующие лагеря, спасет СССР от мощного нападения, а в конечном счете, возможно, приведет Европу к революции, как привела к ней Россию Первая мировая война. Этого рода надежды ясно просматриваются в тогдашних рассуждениях Сталина, и именно они, очевидно, и явились главным, решающим стимулом для неожиданного для всего мира пакта с нацистской Германией, который развязывал ей руки для атаки на Запад, каковая и началась всего через семь месяцев, в апреле 1940 года...

Конечно, выразившаяся в этом пакте «линия поведения» была заведомо безнравственной, но, как уже говорилось, когда дело идет о глобальной внешней политике государств, попросту бессмысленно исходить из критериев нравственности, и поведение Великобритании и США было тогда отнюдь не менее безнравственным. К этой стороне проблемы великой войны мы и переходим.

К сожалению, до сего дня господствует ложное представление о роли Великобритании в 1939—1945 годах, что обусловлено, во-первых, тем поверхностным пониманием сущности войны в целом, о котором подробно говорилось выше, и, во-вторых, недостаточной раскрытостью некоторых «тайн» того времени, в частности, спасения, избавления британских войск в мае 1940 года под Дюнкерком и полета Рудольфа Гесса в Великобританию через год, в мае 1941-го.

Германия, как подтверждает множество разнообразных фактов, стремилась вовсе не к войне с Великобританией, а к прочному *союзу* с ней, в котором она намеревалась, конечно, играть ведущую роль. Программу войны против СССР-России и, напротив, дружественного союза с Великобританией Гитлер выдвинул еще в 1925 году в «Майн Кампф» и неоднократно горячо отстаивал ее, поскольку некоторые его соратники не верили в возможность склонить Великобританию на свою сторону.

Уже во время войны, в 1939-м и позднее, Гитлер не раз утверждал, что *победа* над Великобританией — отнюдь не в интересах Германии. Так, 13 июля 1940 года он заявил на секретном совещании, что, «если Англия будет разбита... Британская империя распадется. Пользы от этого Германии — никакой. Пролить немецкую кровь, мы добьемся чего-то такого, что пойдет на пользу лишь Японии, Америке и другим». Примерно тогда же он утверждал (опять-таки не на публике), что «все, чего он хочет от Англии, — это признания германских позиций на континенте... целью является заключить с Англией мир на основе переговоров». И очень существенное в устах Гитлера утверждение: «Наши народы по расе и традициям едины» (напомню, что согласно проекту Розенберга Прибалтику следовало заселить, в частности, «расово полноценными» *англичанами*).

Военная документация Германии стала после ее поражения доступной для историков, и уже упомянутый Лиддел Гарт не без глубокого удивления констатировал: «как это ни странно, но ни Гитлер, ни немецкое верховное командование не разработало планов борьбы против Англии... Таким образом, очевидно, что Гитлер рассчитывал добиться согласия английского правительства на компромиссный мир на благоприятных для Англии условиях... немецкая армия совершенно не была готова к вторжению в Англию. В штабе сухопутных войск не только не планировали эту операцию, но даже не рассматривали подобную возможность»(!)\*.

Правда, в июле 1940 года был намечен план вторжения в Англию — «Морской лев», но многие историки убедительно доказывают, что он представлял собой фальшивку (план, кстати, ни в коей мере не реализовывался), преследовавшую цель дезин-

\* Лиддел Г. Вторая мировая война. С.94, 95.

формировать и Великобританию (ради запугивания, чтобы склонить к мирным переговорам), и, главное, СССР (дабы обеспечить неожиданность нападения на него). В высшей степени показательно, что именно в том самом июле 1940 года составлялся *реальный* план — «План Барбаросса»!

Многозначительны два уже упомянутых «таинственных» события. Первое — поистине чудесное (его и называют обычно «чудом») избавление от разгрома 300-тысячных английских войск в мае — начале июня 1940 года, когда германская армия стремительно окружала их около французского порта Дюнкерк, и было ясно, что они не смогут перебраться через пролив Ла-Манш на родину. Однако Гитлер неожиданно приказал приостановить наступление своих войск, и благодаря этому три сотни тысяч британских военнослужащих спаслись, оставив, правда, немцам свое вооружение.

Пытались доказывать, что Гитлер и его военачальники допустили грубейшую ошибку. Между тем уже хотя бы один давно известный факт, что столь существенный приказ о приостановке наступления был передан немцами по радио в *незашифрованном* виде (и стал, естественно, известен англичанам), ясно говорит: это не ошибка, а намеренная акция. Германский генерал-фельдмаршал Рундштедт, выполнявший приказ о приостановке наступления, впоследствии заявил, что после дюнкеркского «чуда» Гитлер «надеялся заключить с Англией мир».

Об истинной сути дюнкеркского «чуда» основательно написал в 1956 году французский историк А.Гутар: «Гитлер был убежден, что Англия... будет вынуждена заключить мир. Он имел твердое намерение облегчить англичанам это дело и предложить им чрезвычайно великодушные условия. Было ли удобно при этих условиях начать с того, чтобы захватить у них их единственную армию?<...> ...лучше ... позволить их войскам совершить посадку на суда, что не представляло никакой опасности, так как они не могли взять с собой оружие, и война уже на исходе». Случай вообще-то исключительно редкий в истории войн, и он может быть понят только как акция в пользу союза с Англией, а вовсе не борьбы с ней.

И вторая «тайна». Спустя год после дюнкеркского «чуда» (в течение этого года имели место только не столь уж значительные бои между итало-германскими и британскими войсками в Северной Африке), 10 мая 1941 года — то есть за шесть недель до вторжения Германии в СССР — в Великобританию прилетел Рудольф Гесс — третье (после Гитлера и Геринга) лицо в нацистской иерархии.

Утверждают, что это произошло по сугубо личной инициативе Гесса или даже что он был в то время в состоянии некоего умственного помрачения; именно такое толкование акции Гесса было дано спустя пять дней после его полета в официальной прессе Германии.

Однако в новейших исследованиях убедительно показана несостоятельность этой версии; Гесс, очевидно, был уполномочен на переговоры самим Гитлером. Автор одного из этих исследований Г.Л.Розанов основательно объяснил причину *неудачи* «миссии» Гесса: «Руководители английской политики к моменту прилета Гесса, то есть к маю 1941 г., не только обладали обширной информацией о готовившемся нападении фашистской Германии на СССР, но им была известна и дата нападения». Поэтому они не опасались атаки Германии. Тем не менее Г.Л.Розанов делает существенное добавление к сказанному: «Видимо, в ходе переговоров с Гессом английская сторона серьезно скомпрометировала себя. Не этим ли объясняется тот факт, что английские дипломатические документы, относящиеся к «миссии Гесса», скрыты за семью печатями? Их публикация в нарушение существующей в Англии практики будет осуществлена не ранее 2017 г.»\*.

Речь идет, скорее всего, не о документах, в которых отражены переговоры с уже прилетевшим Гессом, ибо к моменту его прилета в Великобританию, как сказано, точно знали, что война перемещается в СССР-Россию, и потому едва ли германские предложения о союзе могли быть в этот момент приняты. Но вместе с тем крайне сомнительно, чтобы столь высокопоставленный парламентарий заявился бы в Великобританию без всяких предварительных, разумеется, сугубо тайных договоренностей, которые, надо думать, и отражены в документах, чья публикация отложена на столь долгий срок (даже сегодня ждать этой публикации осталось почти двадцать лет!).

Укажу на еще один факт, который подтверждает, что полет Гесса 10 мая 1941 года был согласован с Гитлером (пусть последний это категорически отрицал): именно 10 мая, после перерыва в несколько месяцев, германская бомбардировочная авиация совершила «разрушительнейший налет на Лондон» — притом это был вообще *последний* крупный налет. Вполне вероятно, что сей мощный удар призван был *подкрепить* предложения о мире и союзе прилетевшего как раз в тот самый день в Великобританию Гесса.

Но обратимся к общему положению Великобритании в первые годы войны. Нет никакого сомнения, что она не могла противостоять Германии, быстро вбиравшей в себя всю мощь континентальной Европы. Премьер-министр (с 28 мая 1937 года по 10 мая 1940-го) Чемберлен и его ближайшие сподвижники были готовы на все, лишь бы избежать реальной войны.

Вроде бы принципиально по-иному повел себя новый премьер — Черчилль. Однако вопрос о его политической линии достаточно сложен и противоречив. Ясно, что он был намного более широко мыслящим и осведомленным (сэр Уинстон умел собирать информацию) правителем, нежели Чемберлен, что нашло

---

\* Розанов Г.Л. Сталин. Гитлер. М., 1991. С.204.

выражение, в частности, в его изданном в 1948—1953 годах пространном сочинении «Вторая мировая война», которое в 1953-м было удостоено Нобелевской премии *по литературе* (хотя особыми собственно литературными достоинствами его сочинение едва ли обладает).

Конечно же, Черчилль в своем сочинении всячески выпрямил и приукрасил свою политическую линию, утверждая, например, что он-де всегда был непримиримым противником Гитлера и нацизма вообще и при любых условиях боролся бы не на жизнь, а на смерть с Германией.

Между тем в 1937 году, когда суть нацизма уже вполне выявилась, Черчилль писал: «Некоторым может не нравиться система Гитлера, но они тем не менее восхищаются его патриотическими достижениями... Если бы моя страна потерпела поражение (в Первой мировой войне. — *В.К.*), я надеюсь, что мы должны были бы найти такого же великолепного лидера, который возродил бы нашу отвагу и возвратил нам наше место среди народов».

И американский биограф Черчилля Эмрис Хьюз утверждал еще при его жизни, в 1955 году (и никаких опровержений не последовало), что тот едва ли «когда-либо серьезно беспокоился по поводу идеологических концепций Гитлера или его антидемократической политики... Если бы Гитлер ограничился только пропагандой священной войны против России, Черчилль, вполне вероятно, не поссорился бы с ним».

О том, с чем не хотел примириться Черчилль, он сказал в своей парламентской речи в октябре 1938 года: «Я нахожу невыносимым сознание, что наша страна входит в орбиту нацистской Германии, подпадает под ее власть и влияние, и что наше существование начинает зависеть от ее доброй воли или прихоти».

Весь, как говорится, ужас положения заключался в следующем. «Черчилль, — согласно совершенно справедливому суждению его советского биографа В.Г.Трухановского, — прекрасно отдавал себе отчет в том, что, оставаясь в одиночестве, Англия обречена на неминуемое и быстрое поражение»\*. Отдавала себе в этом отчет и правящая верхушка Великобритании в целом. Впервые за несколько столетий гордая империя не могла рассчитывать на победу в войне и потому была, в общем, готова согласиться на мир и союз с Германией (в чем был уверен Гитлер).

Об этом недвусмысленно сказал вскоре после своего назначения на пост премьер-министра сам Черчилль в письме к президенту США Рузвельту от 14—15 июня 1940 года: «...в борьбе может наступить такой момент... когда можно будет получить очень легкие условия для Британского острова путем превращения его в вассальное государство гитлеровской империи. Для заключения мира будет, несомненно, создано прогерманское правительство (как это и произошло во многих странах Европы. — *В.К.*), кото-

\* Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. М., 1968. С.286.

рое может предложить вниманию потрясенной и голодающей (из-за германской блокады морских путей Великобритании. — В.К.) страны доводы почти неотразимой силы в пользу полного подчинения воле нацистов».

Писал он о том же — правда, более сдержанно — Рузвельту и позднее, указывая на последствия своего возможного смещения с поста премьер-министра: «Я не могу отвечать за моих преемников, которые в условиях крайнего отчаяния и беспомощности могут оказаться вынужденными выполнить волю Германии».

Существует ложное представление, согласно которому Великобритания чуть ли не с самого начала Второй мировой войны имела мощного и верного союзника в лице США. Между тем достаточно познакомиться с неофициальной перепиской Черчилля и Рузвельта в 1939—1941 годах (значительная часть ее была опубликована в сочинении Черчилля «Вторая мировая война»), дабы убедиться, что США только предоставляли Великобритании не очень значительную материальную помощь, но категорически отклоняли любые предложения о своем реальном или даже хотя бы официально-символическом участии в войне (о причинах речь еще пойдет). Лишь после внезапного нападения Японии на крупнейшую военно-морскую базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года (то есть почти через полгода после начала войны между Германией и СССР-Россией) произошел резкий сдвиг, и 11 декабря США и Германия объявили войну друг другу; в высшей степени показательно, что на следующий же день, 12 декабря, Черчилль отплыл на линкоре «Дьюк оф Йорк» в США для переговоров с Рузвельтом. Но только почти через год, 8 ноября 1942 года, войска США высадились в Северной Африке (кстати, высадились уже после 23 октября, когда английские войска разгромили африканский корпус Роммеля), а еще восемь месяцев спустя, 10 июля 1943-го, — в Сицилии, то есть уже на территории Европы.

И едва ли есть основания сомневаться, что в 1940—1941 (до декабря) годах США ни при каких обстоятельствах не оказали бы собственно военной поддержки Великобритании. Уже не раз цитированный британский историк Лиддел Гарт, стремившийся к действительной объективности, писал в 1970 году, что только начавшееся 22 июня 1941 года нападение Германии на СССР-Россию «позволило Англии выйти из положения, которое казалось безнадежным». Всякий иной вариант развития событий, утверждал Лиддел Гарт, «должен был логически привести сначала к истощению ее (Великобритании. — В.К.) сил, а в конечном итоге к полному поражению, даже если бы Гитлер и не пытался быстро завоевать остров путем вторжения... Соединенные Штаты могли бы «подкачать воздух», чтобы дать возможность Англии «удержаться на плаву», но это только продлило бы агонию, но не позволило бы избежать печального конца...».

В своих мемуарах Черчилль как бы не смог удержаться от признаний в том, что он прямо-таки *восторженно* воспринял 22 июня 1941 года. Правда, он значительно ранее — не без проницательности — полагал, что Германия нападет не на Великобританию, а на СССР-Россию (в своем сочинении он, обращаясь к опыту истории, напоминал, что ведь и Наполеон, захватив основную территорию континентальной Европы, напал затем на Россию, а не на Великобританию), но все же, как признался сэр Уинстон, «это, казалось мне, слишком хорошо, чтобы быть истиной»(!).

Повторю в связи с этим еще раз, что нынешние туземные историки, которые вроде бы читали сочинения Черчилля и тем не менее гневно проклинаят Сталина за его «циничную» удовлетворенность началом войны между Германией и Великобританией, поступают так только в силу засевшего в их подсознании культа Сталина! Ведь Черчилль буквально и открыто ликовал в аналогичной ситуации — когда Германия обрушилась на СССР-Россию.

Нет ровно никаких оснований усомниться в том, что Великобритания не могла оказать реальное военное сопротивление Германии и, если бы не 22 июня, так или иначе вошла бы в состав новой «империи германской нации».

Меня могут упрекнуть, что, утверждая это, я присоединяюсь к недавно еще модным рассуждениям об истории «в сослагательном наклонении»; однако я вовсе не намерен конструировать какую-либо альтернативу *реальному* ходу истории. Суть дела состоит не в том, что Великобритания *не могла бы* вести войну против уже объединившей континентальную Европу Германии (достаточно упомянуть об одном, но поистине впечатляющем факте: «присоединенные» к Германии чешские заводы «Шкода» произвели между сентябрем 1938-го и сентябрем 1939 года *почти столько же* военной продукции, сколько *вся* военная промышленность Англии!). Нет, суть дела заключается в том, что Великобритания и *после* 22 июня 1941 года *не вела реальной войны* против Германии. Не столь уж значительные боевые действия ее и позднее американских войск в Северной Африке с июня 1941-го до мая 1943 года и далее высадка 10 июля 1943-го на Сицилии преследовали фактически *иную* цель, а не задачу разгрома Германии.

Разумеется, и Черчилль и другие в то время официально уверяли, что интенсивно *готовятся* воевать против Германии вместе с СССР-Россией, и эти дипломатически-пропагандистские уверения до сих пор тяготеют над умами многих историков. Между тем Черчилль еще в 1950 году рассекретил составленный им 16 декабря 1941 года по пути в Америку документ, посвященный, как это вполне ясно из него, именно *целям* действий Великобритании и США (для понимания сути дела необходимо вспомнить, что десятью днями ранее составления этого документа, в ночь на 6 декабря 1941 года, началось мощное контрнаступление наших войск под Москвой, развеявшее весьма прочно утвердившееся к тому времени представление о «непобедимости» германской армии).



«В настоящий момент фактом первостепенной важности в ходе войны являются провал планов Гитлера и его потери в России... — констатировал Черчилль. — Вместо предполагавшейся легкой и быстрой победы ему предстоит... выдерживать кровопролитные бои...» Но читаем далее: «Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать *никакого участия* (выделено мною. — В.К.) в этих событиях, за исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью (ее не было. — В.К.) обеспечить все поставки, которые мы обещали»\*.

То есть цель участия в действительной войне с Германией даже и *не ставилась!* В конце цитируемого документа вся задача боевых действий Великобритании и США в наступающем 1942 году сведена к следующему: необходимо осуществить «оккупацию Великобританией и Соединенными Штатами всех французских владений в Северной Африке (для чего, как уже говорилось, пришлось вначале поспражаться с французскими войсками. — В.К.) и установления их (Великобритании и США. — В.К.) контроля... над всем Североафриканским побережьем от Туниса до Египта, что обеспечит, если это позволит положение на море, свободный проход через Средиземное море к Ливану и Суэцкому каналу»\*\*.

Цель заключалась, таким образом, не в действительной войне против Германии, а в обеспечении прохода по Средиземному морю к громадным британским колониям в восточной части Африки и в Азии, ибо другой возможный путь — вокруг Африканского континента — был примерно на 15 тысяч км (!) протяженнее... В сочинении Черчилля многократно подтверждается, что боевые действия в Северной Африке преследовали *именно и только* эту цель.

Разумеется, движение судов через Средиземное море было жизненно важным и даже необходимым для Великобритании. Но в высшей степени показательно, что германское командование выделяло для боевых действий в Северной Африке всего не более *трех-четырёх* дивизий. Германия, говоря попросту, не опасалась Великобритании, ибо была убеждена, что после победы над СССР-Россией та волей-неволей смирится с германским господством.

Могут возразить, что за спиной Великобритании стояла мощь США. Но в Германии не считали, что США в наличной ситуации начнут полномасштабные боевые действия. Так, подводя итоги совещания в ставке Гитлера в Полтаве 3 июля 1942 года, Гальдер записал: «Вашингтон лишь утешает и заверяет. Никакого действительного второго фронта... Отвлекающий маневр на западе? Сомнительно; очевидно, никаких серьезных обещаний России не дадут. Скорее предупредят о необходимости сражаться дальше».

Правда, спустя почти два года Великобритания и США вторглись в Северную Францию, но эта акция имела совершенно особенные смысл и цель (о них еще пойдет речь). Задачи же предше-

\* Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Т.2. С.295.

\*\* Там же. С.297.

ствующих боевых действий, в сущности, полностью сводились к обеспечению выживания Великобритании. Переломным моментом в осуществлении этой задачи явилось длившееся с 23 октября до 4 ноября 1942 года сражение около египетского селения Эль-Аламейн в ста километрах западнее Александрии, в ходе которого превосходящим британским силам удалось разгромить германо-итальянский «Африканский корпус». А через две недели, 19 ноября 1942 года, начался разгром германской армии под Сталинградом, завершившийся 4 февраля.

В западной литературе, а подчас под ее влиянием в нынешней российской эти два события истолковываются чуть ли не как равноценные, хотя такая постановка вопроса попросту смехотворна. В сражении при Эль-Аламейне итало-германские войска насчитывали всего 80 тысяч человек (в большинстве — итальянцев), оборонявших фронт протяженностью 60 км, а под Сталинградом — более чем *миллионное* войско Германии и ее союзников действовало на фронте длиной около 400 км. Но наиболее показательно, что в Сталинградской битве потерпела полный разгром 1/6 часть — 16,3% — всех тогдашних вооруженных сил противника, а при Эль-Аламейне — всего лишь около 1,3% (!) этих сил. Нельзя умолчать еще и о том, что британцы имели при Эль-Аламейне почти трехкратное превосходство в людях — 230 тысяч против 80 тысяч. Многозначительно, что Гитлер, который обычно сурово наказывал своих генералов за поражения, не только не сделал этого в отношении командовавшего «Африканским корпусом» Роммеля, но, наградив его 17 марта 1943 года «бриллиантами к Рыцарскому кресту», вскоре же, — после того, как американо-английские войска 10 июля 1943 года высадились на Сицилии, — поручил ему командование группой армий в Италии.

Тем не менее западная пропаганда до сих пор пытается приравнять Сталинградскую битву и сражение у Эль-Аламейна, что, повторю, воистину смешно. Но поскольку *других* хоть сколько-нибудь заметных побед у Великобритании не имелось, без мифа об Эль-Аламейне пришлось бы признать, что она до 1944 года *не воевала вообще*... Дело обстояло именно так; английский историк войны Тейлор свидетельствовал: «В Англии до 1942 г. вероятность того, что солдат в армии получит телеграмму о гибели жены от бомбы, превышала вероятность того, что жена получит телеграмму о гибели мужа в бою», а «общее число убитых англичан во время воздушных налетов составило 60 тыс. за всю Вторую мировую войну...». То есть до Эль-Аламейна Англия действительно не воевала...

Впрочем, если освободиться от пропагандистского тумана, станет ясно, что дело обстояло гораздо хуже. Как раз во время сражения при Эль-Аламейне и остановки германского наступления под Сталинградом, в октябре 1942 года, Черчилль составил секретный меморандум.

«Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе... — писал он. — Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское

варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое... Я обращаю свои взоры к созданию объединенной Европы», — правда, объединенной под эгидой не Германии, а Великобритании и США, но направленной-то против того же самого «русского варварства».

Эта геополитическая постановка вопроса целиком и полностью соответствовала *гитлеровской*, только лидеры для противостоящей России Европы предполагались другие...

Хотя Черчилль опубликовал этот меморандум вскоре после войны, на него не было обращено должное внимание. По всей вероятности, смущала известная раздвоенность геополитической (ясно выразившейся в сем меморандуме) и более узкой, так сказать, чисто политической стратегии Черчилля: считая европейские государства и нации единой «семьей», извечно противостоящей «варварской» России, он все же не хотел признать первенство германской нации в этой самой семье. И, надо думать, главным образом потому, что предвидел вполне созревшие к тому времени устремленность и способность США верховодить в Европе и в мире вообще.

Хорошо известно, что предшественник Черчилля Чемберлен не ориентировался на США, подчас даже почти оскорбительно пренебрегая инициативами Рузвельта, — о чем поведано и во «Второй мировой войне» Черчилля, который, придя в 1940 году к власти, повел себя совсем иначе.

Исходя из опыта прошлого, Чемберлен, очевидно, был убежден, что США, сохраняя свой традиционный изоляционизм, не будут существенно участвовать в судьбе Европы, стремясь только извлекать какую-либо «прибыль». Ведь США всячески уклонялись от участия в начавшейся 1 августа 1914 года Первой мировой войне и вступили в нее лишь 6 апреля 1917 года, дабы поучаствовать в дележе «трофеев»\*. Выразительно в этом отношении и резкое различие в количествах погибших в боях военнослужащих США: в 1917—1918 годах — 37 тысяч, а в 1943—1945 — 405 тысяч, то есть почти в *одиннадцать раз* больше, несмотря даже на особенные, «американские» способы ведения войны\*\*.

Так, США сыграли главную роль в начавшемся 10 июля 1943 года вторжении американо-английских сил на Сицилию и затем в южную часть Италии. Но об этом вроде бы значительном событии говорят гораздо меньше и как-то приглушеннее, чем о сражении при Эль-Аламейне. И только немногие — уж совершенно беспардонные — фальсификаторы сопоставляют его с развернувшейся в то же самое время грандиозной Курской битвой, хотя

---

\* Показательно, что США отказались в 1919 году вступить в Лигу Наций.

\*\* Напомню, что потери Великобритании во Второй мировой войне были, напротив, гораздо меньше, нежели в Первой (264 и 624 тыс.).

события у Эль-Аламейна не стесняются постоянно сопоставлять со Сталинградской битвой.

Вторжение на Сицилию возглавлял сам Эйзенхауэр, который — что весьма существенно — считал главной целью этой операции (по его собственному определению) «очищение средиземноморского пути», а не оккупацию Италии. И в самом деле: после занятия летом—осенью 1943 года Сицилии и южной части Италии (включая Неаполь) — то есть менее трети территории страны — наступление как-то нелогично остановилось и, возобновившись лишь в июне 1944 года, — когда было предпринято и вторжение во Францию, — преследовало уже совсем иную цель.

Как сказано, об итальянской кампании 1943 года пишут обычно кратко и уклончиво. В трактате Алана Тейлора лаконично сказано: «Вторжение в Италию принесло с собой гораздо более серьезные политические проблемы, чем в Северной Африке... союзники действовали, не руководствуясь четкими политическими принципами. В Сицилии, например, американцы опять вооружили мафию, сокрушенную фашизмом, и господство ее продолжается по сей день...»

Истинную историю вторжения США совместно с Великобританией в Италию можно узнать из позднейших западных сочинений, но не из трактатов о войне, а из расследований деятельности мафии! Результаты этих европейских и американских расследований обобщены в изданной в 1996 году книге Р.Ф.Иванова, где, в частности, показано, что к подготовке вторжения в Италию были еще в 1942 году привлечены два самых влиятельных главаря американской мафии — Меир Лански и Лаки Лучано, причем последний — выходец из Сицилии — с 1939 года находился в тюрьме, осужденный за свои преступления на 50 лет, но ему за его участие в планируемой операции была обещана амнистия после войны, и правительство США сдержало свое слово. Были созданы все условия для контактов Лучано с его «людьми» в Америке и в Италии.

«Деятельность мафии по всем направлениям подготовки вторжения на Сицилию имела решающее значение», — отмечал Иванов. Были установлены «тесные связи со всемогущим главарем сицилийской мафии Калоджеро Виццини, доном Кало... Мафия расчищала путь американским войскам в Сицилии... Американские войска практически без сопротивления дошли до столицы Сицилии Палермо. Когда генерала Эйзенхауэра попросили прокомментировать этот блицкриг, он, ссылаясь на военную тайну, отделался лишь туманными намеками, будто генеральный штаб располагал важной стратегической информацией. О том, что произошло в действительности, мир узнал лишь много лет спустя. Мафия использовала все свое влияние, чтобы превратить наступление американцев в увеселительную военную прогулку. Были случаи, когда по приказу мафии капитулировали неприступные крепости... Американские власти по достоинству оценили рвение

дона Кало. Он был назначен мэром одного из городов и получил звание почетного полковника американской армии. В составе американских вооруженных сил пришли в Сицилию многие мафиози из США. Показательно, что 15% (!) личного состава американских вооруженных сил, высадившихся в Сицилии, были американцы сицилийского происхождения»\*.

Но особенно показателен тот факт, что после захвата в июле—сентябре 1943 года Сицилии и южной части Италии, включая Неаполь, наступление прервалось на целых восемь месяцев, и Рим, до которого оставалось всего сто с небольшим километров, был взят только 4 июня 1944 года. Дело в том, что вместо быстро капитулировавших под воздействием мафии итальянских войск армия США и Великобритании должна была после взятия Неаполя сражаться с пришедшими с севера *германскими* войсками, а это была уже совсем иная проблема... В реальную войну с Германией союзники вступили лишь летом 1944-го, что, как уже сказано, имело совсем другой смысл, чем обычно утверждают. И, кстати сказать, на территорию Италии севернее Флоренции англо-американские войска смогли войти только в апреле 1945 года(!), когда германская военная мощь была полностью сокрушена нашей армией...

\* \* \*

Невозможно переоценить приведенные выше секретные установки Черчилля, сформулированные в декабре 1941-го и в октябре 1942-го. В первой безоговорочно утверждалось, что Великобритания и США «не должны принимать никакого участия» в войне России и Германии, во второй — что именно Россия, а не Германия является истинным врагом Европы...

И вторжение англо-американских войск 6 июня 1944 года во Францию, а также возобновление остановленного восьмью месяцами ранее наступления в Италии (только 4 июня 1944 года был взят Рим) представляли собой в глубоком, подлинном своем значении акцию, имевшую целью не допустить, чтобы в ходе разгрома германской армии СССР-Россия заняла Европу. Дело в том, что за десять недель до начала *реального* вступления американо-английских вооруженных сил в войну, 26 марта 1944 года, наши войска вышли на южном участке фронта к государственной границе, и было всецело ясно, что они вот-вот начнут победный поход по Европе.

Высадка десанта в Северной Франции была вообще-то естественной акцией и так или иначе обсуждалась уже в течение длительного времени. Но одно дело — обсуждение, и совсем другое — практическое осуществление. Черчилль сообщает в своем сочинении: «Лишь в марте (1944 года. — В.К.) Эйзенхауэр... вынес окончательное решение», а «к апрелю наши планы стали принимать

---

\* Иванов Р.Ф. Мафия в США. М., 1996. С.101, 104, 105.

окончательную форму». В свою очередь Эйзенхауэр в опубликованных им мемуарах свидетельствовал: «7 апреля (1944 года. — В.К.) генерал Монтгомери (командовавший британской частью войск. — В.К.) ... был готов детально доложить план наступления»\*.

Представляется по меньшей мере странным, что реальный план столь значительной военной операции (к тому же *единственной* по своим масштабам в действиях США и Великобритании в 1941—1945 годах) явился на свет за столь краткий срок до ее начала (только 7 апреля Монтгомери был готов доложить о британской части плана). Напрашивается объяснение, что именно выход войск России на государственную границу заставил действительно принять решение о вторжении во Францию — и по сути дела не для разгрома Германии, но для спасения как можно большей территории Европы от России.

Стоит привести здесь очень характерные суждения Уильяма Буллита, который в 1933—1936 годах был первым послом США в СССР, а затем стал послом во Франции. В мае 1938 года, когда так или иначе выявилась вероятность войны между Германией и Италией и, с другой стороны, Великобританией и Францией, он обратился к Рузвельту с призывом примирить враждующие стороны ради спасения Европы: «Вы можете лучше, чем кто-нибудь другой, использовать тот факт, что мы являемся выходцами из всех наций Европы, а наша цивилизация — результат слияния всех цивилизаций Европы... что мы не можем спокойно наблюдать приближение конца европейской цивилизации и не предпринять последней попытки предотвратить ее уничтожение...» Ибо, заключал Буллит, «война в Европе может окончиться только установлением большевизма от одного конца континента до другого», а осуществленное Рузвельтом примирение европейских держав «оставит большевиков за болотами, которые отделяют Советский Союз от Европы. Я думаю, что даже Гитлер... примет Ваше предложение»\*\*.

Именно такое геополитическое сознание определяло и стратегию Черчилля. Начавшаяся война между Германией и СССР-Россией, как показано выше, бесконечно радовала его, поскольку рождала надежды и на ослабление соперника по первенству в Европе, и на обезвреживание главного врага — России.

Однако, когда к 1944 году стала очевидной близкая победа СССР, Черчилль выдвинул следующую программу: «Решающие практические вопросы стратегии и политики... сводились к тому, что во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой; во-вторых, надо немедленно создать *новый фронт* (выделено мною. — В.К.) против ее стремительного продвижения (в этом и заключалось истинное назначение созданного в июне 1944-го «второго фронта»! — В.К.);

\* Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. Военные мемуары. М., 1980. С.295.

\*\* Цит. по кн.: Овсяный И.Д. Тайна, в которой война рождалась. М., 1975. С.260.

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток»\* и т.д.

Как уже говорилось, до июня 1944 года Великобритания и США по сути дела *не воевали* с Германией. В частности, при любом возможном отношении к Сталину нельзя не признать справедливость его характеристики боевых действий 1943 года в Южной Италии, изложенной им 28 ноября этого года на Тегеранской конференции: «... итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море... но он не представляет какого-либо значения в смысле ... операций против Германии».

Незадолго до этого, 10 августа 1943 года, то есть уже после вторжения в Италию, военный министр США Генри Стимсон докладывал Рузвельту: «Не следует думать, что хотя бы одна из наших операций, являющихся *булавочными уколами* (выделено мною. — В.К.), может обмануть Сталина и заставить его поверить, что мы верны своим обязательствам».

Итак, только через *три года* после 22 июня Великобритания и США начали *реальную* войну, но из процитированной программы Черчилля ясно, что в истинном своем смысле это было противостояние не уже потерявшей свою боевую мощь Германии, а, как определил сам Черчилль, «стремительному продвижению» России, ставшей «смертельной угрозой» для Европы.

Разумеется, бои шли с германскими войсками, но, как недвусмысленно признал Черчилль, ради того, чтобы войска Великобритании и США продвинули свой фронт «как можно дальше на Восток».

Во многих сочинениях о войне затронута тема разногласий между Великобританией и США, в частности, в вопросе о «втором фронте». Разногласия действительно были, но они не касались *главного*. Еще 1 апреля 1942 года Рузвельт одобрил доклад начальника штаба армии США Маршалла, в котором осуществление высадки войск в Европе ставилось в зависимость от двух условий: 1. Если положение на русском фронте станет отчаянным; 2. Если положение немцев станет критическим.

Как многозначительно уже одно это различие побуждающих вступить в войну «состояний» — «отчаянное» и всего только «критическое»! К июню 1944 года положение немцев стало, очевидно, «критическим» — и именно и только потому США начали реальную войну, ничем не отличаясь в этом отношении от Великобритании.

\* \* \*

Изложенные мной представления, согласно которым *реальное* вступление США и Великобритании в войну в июне 1944 года было направлено не столько против Германии, сколько против

\* Черчилль У. Вторая мировая война. Т.3. С.574.

СССР-России, встретят, вполне вероятно, следующее возражение. Если дело обстояло таким образом, почему США и Великобритания все же воевали с германской армией вплоть до ее капитуляции, а не вступили в союз с ней против СССР-России?

Вопрос этот особенно существен потому, что — как давно и точно известно — глава стратегической разведки США в Европе Аллен Даллес (в 1953-м он стал директором ЦРУ) еще с 1943 года вел тайные переговоры с представителями спецслужб Германии, в том числе с одним из высших руководителей СС обергруппенфюрером Карлом Вольфом. Это вроде бы означает, что возможность союза с Германией имела место, но США все-таки отказались от него.

Однако этот отказ вовсе не являлся выражением «доброй воли»; в силу целого ряда причин союз с Германией был, строго говоря, невозможен. Едва ли ни главная из этих причин заключалась в том, что США и Великобритания отнюдь не были уверены в своей способности даже и *совместно* с германскими войсками победить нашу армию. Хорошо осведомленный Алан Тейлор позднее писал о выводе, который «союзники» сделали к концу войны: «...в случае вооруженного конфликта с русскими победа маловероятна, даже если использовать на своей стороне германские силы».

Далее, США были кровно заинтересованы в том, чтобы Германия потерпела полный крах и никак не могла восстановить свое первенство в Европе, ибо, отказавшись от своей традиционной изоляционистской геополитики, США сами имели теперь цель первенствовать и господствовать в Европе (да и в мире в целом) — из-за чего даже не раз возникали достаточно острые коллизии с Великобританией, полагавшей, что верховная роль в Европе после разгрома Германии достанется ей.

Нельзя не учитывать также, что к 1940-м годам приобрели очень весомую экономическую и политическую силу лидеры еврейской части (более 5 млн. человек) населения США, требовавшие полного сокрушения Германии и возмездия за ее беспрецедентные злодеяния по отношению к евреям (см. приложение «Война и евреи» в конце этой части книги). Один из ближайших и влиятельнейших сподвижников Рузвельта, министр финансов США в 1934—1945 годах Генри Моргентау\*, еще в сентябре 1944-го разработал «план аграризации Германии, имевший целью превращение ее в страну «полей и пастбищ»... «Моя программа ликвидации угрозы германской агрессии, — указывал Моргентау, — заключается в своей простейшей форме в лишении Германии всей ее тяжелой промышленности». Рузвельт и Черчилль одобрили план Моргентау. Правда, на Крымской конференции в феврале 1945 года этот план по инициативе СССР был отвергнут, но сам факт его одобрения главами США и Великобритании многозначителен.

\* В 1947 году Моргентау стал генеральным председателем организации «Объединенный еврейский призыв», а с 1951-го — председателем совета директоров «Американской корпорации по финансированию и развитию Израиля».



Можно назвать и ряд других причин невозможности союза США и Великобритании с Германией, но, надо думать, достаточно и указанных. Впрочем, несмотря на эту невозможность, экспансивный сэръ Уинстон все же готовил в конце войны своего рода «запасной вариант»: как сообщает тот же Алан Тейлор, Черчилль «приказал Монтгомери (командующий британскими войсками. — В.К.) держать в сохранности немецкое оружие на случай, если его придется применить против русских», разумеется, вернув это оружие сложившим его ранее немцам...

Но черчиллевский приказ являл собою скорее жест, чем рассчитанную на практические последствия директиву. Союзники *вынуждены* были смириться со всеми требованиями истинного победителя в великой войне уже во время февральской Крымской (Ялтинской) конференции. Впоследствии Рузвельта и Черчилля многократно и резко обвиняли в «предательстве» Запада, совершенном в Ялте. Но если их согласие с требованиями СССР-России и было «предательством», то всецело, абсолютно *вынужденным*; они тогда ничего не могли поделаться с победоносным соперником...

\* \* \*

Приведенные факты, а также цитированные суждения Черчилля и других использовались в советской историографии войны главным образом для того, чтобы обличить «коварство» и прямое «предательство» Великобритании и США по отношению к СССР. Но такой подход к делу скорее мешает, чем помогает понять ход истории.

В сознании и поведении правителей США и Великобритании воплощалась не некая «безнравственность» (или, как нередко утверждалось, «классовый эгоизм»), но *геополитическая закономерность*, действовавшая в продолжение веков.

Еще в 1938 году, в канун войны, суть дела выразил в своем цитированном выше послании Рузвельту посол США в СССР, а затем во Франции Уильям Буллит — человек, без сомнения, дальновидный. Он утверждал, что полномасштабная война *внутри* Европы, которая будет означать кардинальное взаимоослабление борющихся сторон, приведет к господству над Европой СССР-России.

То же понимание ситуации выразилось в составленном 16 декабря 1941 года Черчиллем меморандуме под истинно геополитическим названием «Атлантика», где категорически утверждалось, что «ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать никакого участия» в начавшейся 22 июня войне (участие, имевшее место с июня 1944 года, было по сути дела направлено не против Германии, а против *России*). Такую постановку вопроса следует воспринимать не как «подлость», а как геополитическую неизбежность. К сожалению, и современные, сегодняшние взаимоотношения Запада и России многие воспринимают совершенно неадекватно — с одной стороны, питая безосновательные на-

дежды на «дружбу», с другой же — проклиная неких (якобы противостоящих основным устремлениям Запада) злоумышленников, требующих, например, расширения НАТО на Восток...

Противостояние Запада (включая США) и России неустраимо. Притом, как признано в процитированном выше рассуждении Арнольда Тойнби, Запад, начиная с XIV века, выступал всегда в качестве агрессора; между тем Россия двигалась на запад, по совершенно верным определениям Тойнби, либо в порядке «контрнаступления», либо в качестве «союзника одной из западных стран».

Тойнби датировал начало западного наступления на Россию серединой XIV века, но в действительности оно началось тремя с половиной столетиями ранее: в 1018 году польский князь (с 1025-го — король) Болеслав Великий, вобрав в свое войско германцев-саксонцев и венгров, а также вступив в союз с печенегами, вторгся в пределы Руси и захватил Киев, правда ненадолго, а в 1031 году Ярослав Мудрый восстановил границу с Польшей по Западному Бугу.

Из этого отнюдь не вытекает, что Запад являл собой хищного волка, а Русь-Россия — добрую овечку. С первых веков своей истории Русь двигалась *к востоку* и, дойдя в XVII веке до Тихого океана, как бы приняла в свои руки наследство Монгольской империи в целом. Согласно разработкам ряда русских идеологов, это движение Руси-России к востоку было закономерным и естественным созиданием единства субконтинента «Евразия» — созидаанием, которое далеко не всегда было связано с завоеваниями. Но, конечно, и идеализировать это движение к востоку не следует; Россия подчас поступала так же, как покорявший мир Запад.

Вместе с тем вполне очевидно, что движение России на восток не сочеталось с движением на запад (о чем уже подробно говорилось), хотя в Европе постоянно твердили о русской опасности.

Имевшие место после 1917 года планы военной поддержки европейской и, более того, мировой революции были выражением не русской, а «коминтерновской» идеи и воли. Грешивший определенным легкомыслием Бердяев, который чуть ли не отождествил идеи Третьего Рима и Третьего Интернационала, безответственно (либо в силу неосведомленности) игнорировал тот факт, что идея Третьего Рима была принципиально *изоляционистской*, а ни в коей мере не экспансионистской.

Есть все основания полагать, что западный миф о русской опасности сложился в результате целого ряда *безуспешных* походов Запада в Россию. В течение столетий страны Запада без особо напряженной борьбы покоряли Африку, Америку, Австралию и преобладающую часть Азии (южнее границ России), то есть *все* континенты. Что же касается Евразии-России, мощные походы Польши и Швеции в начале XVII, Франции в начале XIX и т.д.

терпели полный крах, хотя Запад был убежден в превосходстве своей цивилизации.

И это порождало в Европе *русофобию* — своего рода иррациональный *страх* перед таинственной страной, которая не обладает великими преимуществами западной цивилизации, но в то же время не позволяет себя подчинить. И, как ни странно, на Западе крайне мало людей, которые, подобно Арнольду Тойнби, способны «заметить», что русские войска оказывались в Европе только в двух ситуациях: либо в ответ на поход с Запада (как было и во Вторую мировую войну), либо по призыву самого Запада (например, отправление русского экспедиционного корпуса во Францию в 1916 году).

Те факты, которые приводят, когда говорят о русской «агрессии» против стран Запада, в действительности представляли собой, как мы видели, военные действия, имевшие целью восстановление исконной, тысячелетней западной границы Руси-России. Тем не менее наша страна издавна воспринимается на Западе не только как чуждый, но и как враждебный континент. И это — геополитическое — убеждение, несомненно, останется незыблемым — по крайней мере в предвидимом будущем.

### *Внезапность или неготовность?*

На предыдущих страницах Великая Отечественная война рассматривалась в наиболее широком — всемирном — контексте, но, конечно, необходим и взгляд на нее с точки зрения внутреннего положения в стране, особенно если учитывать, что во многих новейших сочинениях содержатся необоснованные толкования не только внешнеполитических, но и сугубо внутренних проблем.

Начать уместно с вопроса о *внезапности* нападения врага. По мере рассекречивания относящихся к 1940—1941 годам документов разведки СССР, в которых сообщалось о близящейся войне, вплоть до конкретных дат ее начала, многие историки и публицисты все с большим негодованием (а подчас и с недоумением) писали о том, что правительство и прежде всего Сталин в силу чуть ли не патологической тупости «не верили» этим правдивым сообщениям. Как известно, Сталин полагал, что Германия, прежде чем она нападет на СССР, должна победить находившуюся с ней в состоянии войны с 1939 года Великобританию, ибо иначе ей придется воевать на два фронта. И игнорирование иных сообщений разведки оценивается как беспрецедентный, прямо-таки абсурдный просчет Сталина и его окружения, приведший в первые месяцы войны к тяжелейшим последствиям.

Правда, рассуждая об этом, почему-то никогда не упоминают о вполне аналогичном, но еще более разительном просчете, который несколькими месяцами позже допустили президент США Рузвельт и его окружение. Американская разведка, которой еще

летом 1940 года удалось раскрыть японские шифры, неоднократно предупреждала о готовящемся нападении; тем не менее мощная атака Японии 7 декабря 1941 года на военно-морскую базу США Перл-Харбор явилась полной неожиданностью, и в результате была мгновенно уничтожена очень значительная часть американского флота и морской авиации. При этом Рузвельт был уверен, что Япония *сначала* нападет на СССР. Таким образом, имела место полная аналогия с тем, что произошло пятью с половиной месяцами ранее в СССР, но, оказывается, США не извлекли из этого никакого урока!

Просчет Рузвельта представлялся совершенно необъяснимым; некоторые историки даже пытались позднее истолковать поведение президента как тайную акцию, преследовавшую цель вовлечь США в мировую войну. Поскольку в стране господствовала доктрина изоляционизма, принципиального невмешательства в мировые дела, Рузвельт, который, напротив, стремился к глобальному влиянию в мире, будто бы сознательно ничего не сделал для подготовки отпора японской атаке, о которой ему-де было доподлинно известно, — не сделал, так как хотел потрясти американцев обилием потерь и тем самым побудить их ввязаться в мировую войну. Эта версия едва ли сколько-нибудь основательна, но само ее возникновение о многом говорит (Сталину, между прочим, подобное обвинение не предъявляли).

Но если беспристрастно вдуматься, просчеты и Сталина, и Рузвельта имеют всецело убедительное объяснение. Сообщения разведки всегда в той или иной степени противоречивы, ибо она черпает их из самых разных — нередко дезинформирующих — источников. Не так давно был издан сборник документов под названием «Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март—июнь 1941 г.» (М., 1995), из которого явствует, что в это время Сталин получал весьма различные сообщения, в том числе и дезинформирующие, согласно которым Германия (как и полагал Сталин) намерена, прежде нападения на СССР, захватить Великобританию. Один из тогдашних руководителей разведки, генерал П.А.Судоплатов, впоследствии отметил: «Особое внимание заслуживала информация трех *надежных* (выделено мною. — В.К.) источников из Германии: руководство вермахта решительно возражало против войны на два фронта»\*.

Недоверие к сообщениям разведки о германском нападении вызывала также и разногласия в содержащихся в них датировках начала войны: «...называли 14 и 15 мая, 20 и 21 мая, 15 июня и, наконец, 22 июня... Как только не подтвердились первые майские сроки вторжения, Сталин... окончательно уверовал в то, что Германия не нападет в 1941 г. на СССР...»

\* Судоплатов П. Разведка и Кремль... М., 1996. С.109.

В 1960-х годах и позже многие авторы с крайним возмущением писали, например, о том, что никто не поверил поступившему ровно за неделю до начала войны сообщению обретшего впоследствии всемирную известность разведчика Рихарда Зорге, в котором указывалась совершенно точная дата германского нападения — 22 июня. Однако этому и нельзя было поверить после ряда «несбывшихся» дат, сообщенных источниками, которые считались «надежными» (кстати, сам Зорге сначала сообщил, что нападение состоится в мае). И *теперешние* «аналитики», знающие — как и весь мир, — что война началась именно 22 июня, и потому негодующие на Сталина, пренебрегшего точной информацией Зорге, отправленной 15 июня, предстают как по меньшей мере наивные люди...

Впервые подобное обвинение в адрес Сталина было высказано в сенсационном хрущевском докладе на XX съезде КПСС — докладе, задача которого заключалась не в уяснении реального хода истории, а в развенчании превозносимого в течение долгих лет вождя. Как возмущенно говорилось в этом докладе, «предостережения Сталиным не принимались во внимание» и потому «не были приняты достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и исключить момент внезапности нападения».

В этом обвинении Сталина в конечном счете выразился — пусть и бессознательно — все тот же комплекс «культы личности»: вот, мол, гений всех времен, а не смог разобратсья в разведанных... Ведь, скажем, Рузвельт не вызывает подобного крайнего возмущения, хотя вроде бы именно из-за его «слепоты» США лишились основной части своего Тихоокеанского флота.

Помимо прочего, в хрущевском докладе утверждалось следующее: «Многочисленные факты предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну против Советского государства», то есть другие люди — в том числе, очевидно, и сам Хрущев, — в отличие от Сталина, ясно понимали ситуацию, но, не обладая, мол, сталинскими полномочиями, не могли результативно действовать в плане подготовки к нападению врага.

Как ни удивительно, всего через несколько абзацев своего доклада Никита Сергеевич поистине простодушно разоблачил самого себя, фактически признавшись, что лично он совершенно не готовился к войне, несмотря на упомянутые им «многочисленные факты», которые «красноречиво доказывали» ее неотвратимое приближение. Он поведал, как в первые дни войны он позвонил из Киева т.Маленкову и сказал ему:

— Народ пришел и требует оружие. Пришлите нам оружие.

На это Маленков ответил:

— Оружие прислать не можем... Все винтовки передаем в Ленинград, а вы вооружайтесь сами...

---

\* В стенограмме доклада здесь пометка: «Движение в зале» (понятно, возмущенное).

Стремясь в 1956 году дискредитировать своего соперника в борьбе за верховную власть, Маленкова, Хрущев невольно дискредитировал самого себя. Ведь к 22 июня он уже три с половиной года — с января 1938-го — был полновластным хозяином в Киеве и на всей Украине (кстати, граничившей с сентября 1939-го с Германией!), но, оказывается, не удосужился заготовить хотя бы винтовки!.. Так что одно из двух: либо Хрущев в действительности вовсе не внимал тем «красноречивым доказательствам», о которых упомянул в 1956 году, либо никак не реагировал на эти «доказательства» в практическом плане (ведь уж винтовки-то первый секретарь ЦК Украины и член Политбюро мог бы своевременно заготовить...).

Впрочем, как уже сказано, хрущевский доклад по сути дела и не являлся сколько-нибудь объективным освещением хода истории; цель его сводилась к развенчанию Сталина, который, в частности, не смог подготовить страну к германскому нападению.

Между тем в действительности-то подготовка к войне была весьма внушительной. Так, с 1 сентября 1939 года, когда был принят закон о всеобщей воинской повинности, и до 22 июня 1941-го численность вооруженных сил страны выросла с 1,5 млн. (как было в 1938 году) до 5,3 млн. человек, то есть в три с половиной раза, а производство вооружения увеличилось с 1938 года по июнь 1941-го в четыре раза. И что касается стрелкового оружия, — то есть главным образом столь озаботивших Хрущева винтовок, — оно накануне войны производилось в среднем за год в количестве 1 млн. 800 тыс. единиц, и если в Киеве не нашлось летом 1941 года винтовок, то уж скорее всего из-за нерасторопности самого Хрущева...

Впрочем, суть проблемы в другом. Как ни парадоксально, Хрущев, утверждая, что причина тяжелейших поражений в начале войны состояла в неожиданности, внезапности нападения врага (которое не сумел предвидеть вождь), собственно говоря, повторил главный аргумент *самого Сталина!* Ведь тот в своем известном приказе от 23 февраля 1942 года оправдывался: «В первые месяцы войны ввиду *неожиданности и внезапности* (выделено мною. — *В.К.*) немецко-фашистского нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступить». Только на рубеже 1941—1942 годов, продолжал вождь, «настало время, когда Красная Армия получила возможность перейти в наступление... Теперь (то есть в феврале 1942-го. — *В.К.*) уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности и неожиданности... израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то *неравенство* (выделено мною. — *В.К.*) в условиях войны, которое было создано внезапностью... При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой... Инициатива теперь в наших руках и потуги разбол-

танной ржавой машины Гитлера не могут сдержатъ напор Красной Армии. Недалек тот день, когда... на всей Советской земле снова будут победно реять красные знамена».

Увы, всего лишь через десять недель после появления этого сталинского приказа, 8 мая 1942 года, враг начал мощнейшее наступление, в результате которого к осени 1942 года фронт передвинулся на 600—800 км (!) к востоку и юго-востоку, достигнув нижнего течения Волги и Кавказского хребта (21 августа германский флаг был установлен на вершине Эльбруса). И 28 июля 1942 года Сталину пришлось отдать совсем иной по смыслу и тону, поистине отчаянный приказ, известный под названием «Ни шагу назад!», где говорилось уже не о «победно реющих», а о «покрытых позором» знаменах. Однако и после этого приказа отступление продолжалось...

Наши поражения, испытанные в 1942 году, не уступали поражениям 1941-го, а в определенных отношениях даже превосходили их — хотя ни о какой «внезапности» теперь уже не могла идти речь... А это означает, что причина поражений отнюдь не сводилась — вопреки утверждениям Сталина в его приказе от 23 февраля 1942-го и, позднее, Хрущева в его докладе 1956 года — к «внезапности» (хотя она, конечно, влияла на ход событий).

Суть дела заключалась в том, что враг, вбравший в себя человеческие и материальные ресурсы почти всей Европы, «был, по приведенным выше словам Федора Глинки о наполеоновской армии, *сильней...*». Остановленная и отброшенная назад в ходе самоотверженной битвы за Москву в конце 1941 — начале 1942 года германская армия, в частности, не только быстро восстановила, но и значительно увеличила свою численность и вооруженность боевой техникой: в июне 1941-го — 5,5 млн. человек, 4200 танков, 43 000 орудий; летом 1942-го — 6,2 млн. человек, свыше 5000 танков, 52 000 орудий.

Есть все основания утверждать, что ко времени появления приказа «Ни шагу назад!» страна находилась в наиболее тяжелом положении за все время войны\*. Имелась вполне реальная угроза прорыва врага за Волгу с последующей атакой *с тыла* на центральные области России, и в том числе Москву; захват врагом Северного Кавказа отрезал страну от основных источников нефти и т.п.

Из этого следует, что едва ли основательна широко распространенная и нередко крайне эмоционально преподносимая (начиная с хрущевского доклада) точка зрения, согласно которой поражения наших войск и их безудержное отступление вплоть до московских пригородов были обусловлены главным образом или даже исключительно внезапностью (объясняемой, в свою очередь, «слепотой» Сталина) нападения врага.

---

\*Едва ли случайность, например, то, что генерал Власов перешел на сторону врага не в 1941-м (когда он, кстати, побывал в окружении), а именно летом 1942 года; скорее всего, он был тогда убежден в неизбежности победы Германии.

И, как уже сказано, эту точку зрения выдвинул именно Сталин, стремясь объяснить — и оправдать — тяжелейшие поражения первых месяцев войны, но впоследствии сталинская версия была обращена против него самого как главного виновника сей «внезапности», не сумевшего вовремя предвидеть нападение врага и подготовить к нему армию.

Между тем, исходя из факта сокрушительного германского наступления летом 1942 года, позволительно высказать убеждение, что, если бы даже Сталин и другие точно знали о должествующем совершиться 22 июня 1941 года и сделали все возможное для подготовки отпора, это не могло бы принципиально изменить ход войны... Ибо враг «был сильнее!»...

\* \* \*

В высшей степени важно осознать, что сила врага определялась и той присущей ему мощной *геополитической волей*, о которой подробно говорилось ранее, — между тем как нашим войскам и стране вообще в первое время была свойственна ослабляющая их волю *раздвоенность*. Это очень существенная и очень сложная проблема, но без ее освещения нельзя обойтись.

В предшествующей части этого сочинения было подробно сказано о совершавшемся с середины 1930-х годов преодолении «революционного» отрицания многовековой истории России и повороте к патриотической идеологии. Согласно уже цитированной работе одного из наиболее основательных нынешних исследователей истории второй половины 1930-х годов, М.М.Горинова, «в этот период происходит болезненная, мучительная трансформация «старого большевизма» в нечто иное... В области национально-государственного строительства реабилитируется сама идея государственности — идеология сильного государства сменяет традиционные марксистские представления... по всем линиям происходит естественный здоровый процесс восстановления, возрождения тканей русского (российского) имперского социума» и т.д.

Этот процесс неизбежно означал определенное отеснение *партии*, которая ранее была всеопределяющим средоточием власти. Это отеснение конкретно проанализировано в недавнем исследовании О.В.Хлевнюка «Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы». В предвоенное время, подводит итог историк, нарастает «тенденция перемещения центра власти из Политбюро в Совнарком, которая была окончательно закреплена после назначения Сталина в мае 1941 г. председателем СНК... Как регулярно действующий орган политического руководства, Политбюро фактически было ликвидировано, превратившись, в лучшем случае, в совещательную инстанцию при Сталине»\*.

---

\* Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. С.266.



Разумеется, то, что совершалось на самой вершине власти, имело место и на других ее этажах. Партия — воплощение революционной власти — утрачивала свою прежнюю роль, и именно в этом, в частности, заключался подспудный смысл террора 1937—1938 годов, направленного прежде всего и главным образом против партии. Тот переход власти от партии к государству, о котором говорит О.В.Хлевнюк, может все же показаться «формальным» актом, однако в докладе Сталина, произнесенном 10 марта 1939 года, утверждалось — хотя и не без известной уклончивости, — что в стране происходит именно восстановление государства в его прежнем — *дореволюционном* — виде и смысле.

По-своему замечательно содержащееся в этом докладе рассуждение об известной книге Ленина «Государство и революция», написанной в августе—сентябре 1917 года, то есть накануне Октябрьского переворота. Поскольку высказанные в сталинском докладе представления о значении и роли государства явно имели очень мало общего с ленинскими, вождь счел необходимым заявить, что-де «Ленин собирался написать вторую часть «Государства и революции»... Не может быть сомнения, что Ленин имел в виду во второй части своей книги разработать и развить дальше теорию государства... Но смерть помешала ему (кстати сказать, до этой смерти оставалось тогда шесть с лишним лет! — *В.К.*) выполнить эту задачу. Но чего не успел сделать Ленин, должны сделать его ученики, — то есть прежде всего он, Сталин.

Ленин в предисловии к своей книге действительно упомянул о том, что не дописал ее, однако речь шла не о некоей «второй части», а только об еще одной, седьмой, главе «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». И имелся в виду, понятно, опыт именно *революций*, а не проблема государственности как таковой. И даже в самых последних своих статьях, известных под названием «Завещание», Ленин рассматривал в качестве носителей безраздельной верховной власти ЦК и ЦКК партии, которые он призывал усовершенствовать, а не собственно государственные структуры.

Поэтому ссылка Сталина на будто бы не успевшего создать «теорию государства» Ленина не имела под собой реальных оснований; она преследовала цель затушевать тот факт, что предлагался кардинальный пересмотр ленинских — и вообще предшествующих — представлений о государстве в СССР.

В сталинском докладе неоднократно заходила речь о «недооценке роли и значения механизма нашего социалистического государства», о «непозволительно-беспечном отношении к вопросам теории государства» и т.п. Признавалось, что в 1917 году «необходимо было... разбить вовсе государственную машину», однако тут же оговаривалось: «...но из этого вовсе не следует, что у нового, пролетарского государства не могут сохраниться некоторые функции старого (то есть дореволюционного! — *В.К.*) государства».

Сказано это было достаточно осторожно, ибо и государство по-прежнему называлось «пролетарским», и «сохранение старого» ограничивалось только «некоторыми» функциями. Но перед нами все же явная ревизия прежних представлений, отразившая *реальное* изменение роли государства во второй половине 1930-х годов. С этим изменением нераздельно связана «чистка» руководства на всех уровнях и во всех сферах, включая (что особенно важно для нашей темы) *армию*.

В литературе о войне безусловно господствует точка зрения, согласно которой начавшееся с 1936 года смещение (и, в соответствии с «атмосферой» времени, репрессирование) огромного количества военачальников нанесло страшный ущерб и во многом обусловило поражения 1941 года; нередко в этом усматривают вообще *главную причину* поражений.

Не приходится сомневаться в том, что сама по себе широкая замена военачальников накануне великой войны не могла не привести к тяжелым последствиям. Помимо прочего, она в значительной мере подкрепляла уверенность Гитлера в победе; накануне войны он утверждал: «Россия не обладает даже той силой, которой обладала во время первой мировой войны... Сталин уничтожил большинство русских генералов и офицеров». Есть даже сведения — хотя их и оспаривают, — что сами германские спецслужбы способствовали дискредитации маршала Тухачевского и других.

Но вместе с тем известно, что *в конце войны* Гитлер много раз повторял: «Правильно сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников». И это «прозрение» врага в высшей степени существенно, особенно если учитывать, что Гитлер отнюдь не был тем дурачком, каким его подчас рисуют.

Не исключено сомнение: уместно ли прислушиваться к мнению врага? Сошлюсь поэтому и на суждения прошедшего войну офицера, позднее ставшего известным писателем, а еще позднее ярым «антикоммунистом» — Василия Быкова. В опубликованной им в 1995 году статье, посвященной «цене» войны и крайне резко обличающей «методы» ее ведения, В.Быков вместе с тем утверждает, исходя из своего военного опыта: «Существует распространенный *миф* (выделено мною. — В.К.) о том, что неудачи первого периода войны вызваны, кроме прочего, репрессиями среди высшего комсостава Красной Армии... Но ведь репрессировали не всех... И первые же месяцы войны показали полную неспособность прежнего командования... Очень скоро на полководческие должности по праву выдвинулись другие командиры... и, как ни странно, именно на их опыте кое-чему научился и Сталин. Может быть, впервые в советской действительности идеологические установки были отодвинуты в сторону...»\*

\* Родина, 1995. № 5. С.34.

Гражданская — «классовая» — война 1918—1922 годов, в ходе которой выдвинулись почти все занимавшие высокое положение в армии до 1937—1938 годов военачальники, была совершенно иным явлением, чем война, начавшаяся 22 июня 1941 года, для победы в которой требовались люди принципиально другого склада.

Вспомним, что Тухачевский, успешно командовавший подавлением антибольшевистских мятежей в Симбирске (1918 год), Кронштадте и на Тамбовщине (1921), потерпел сокрушительное поражение в единственной выпавшей на его долю войне с *иностранной* — польской — армией летом 1920 года. И едва ли основательно предположение, что он (вместе с другими подобными ему военачальниками) мог сыграть первостепенную роль в Отечественной войне или даже вообще не допустить первоначальных побед врага! — хотя такие предположения безапелляционно высказывали многие авторы. Но это чисто декларативные утверждения, несостоятельность которых становится очевидной при обращении к реальному положению дел.

Примечательна с этой точки зрения изданная в 1988 году в Лондоне книга Виталия Рапопорта и Юрия Алексева «Измена Родине. Очерки по истории Красной Армии». В общих рассуждениях этих авторов гибель Тухачевского и других военачальников предстает как едва ли не главная причина тяжких бед 1941 года. Но, в отличие от авторов множества других сочинений, эти авторы стремились изучать реальную историю Красной Армии в 1920—1930-х годах, в частности, разработку ее стратегии и тактики. И стало непреложно ясно, что глубокое и точное предвидение характера будущей войны и основы необходимой в ней стратегии разработали вовсе не Тухачевский со товарищи, а служившие в Красной Армии выдающиеся военачальники Первой мировой войны — А.А.Свечин (до октября 1917-го генерал-майор, начальник штаба Северного фронта), А.Е.Снесарев (генерал-лейтенант, командующий корпусом), В.Н.Егорьев (генерал-майор, командующий корпусом) и другие. Тухачевский же в 1920 — начале 1930-х был их непримиримым противником, обличал их как «антисоветских» и «антиреволюционных» стратегов, и все они еще в 1930 году были арестованы. И есть основания утверждать, что именно репрессии 1930 года (а не 1937-го) нанесли наиболее тяжкий ущерб нашей армии...

Необходимо сказать еще о следующем. Господствует мнение, что в результате репрессий 1937—1938 годов место зрелых и опытных военачальников заняли молодые и неискушенные, и это привело к тяжелейшим поражениям в начале войны. В действительности же на смену погибшим пришли в основном люди *того же поколения, но другие* — и с иным *опытом*.

Так, скажем, репрессированные Я.Б.Гамарник, В.М.Примakov, М.Н.Тухачевский, И.Ф.Федько, И.Э.Якир родились в 1893—1897 годах, и в те же самые годы родились Г.К.Жуков, И.С.Конов, Р.Я.Малиновский, К.К.Рокоссовский, Ф.И.Толбухин. Но

первые, исключая одного только Тухачевского, провоевавшего несколько месяцев в качестве подпоручика\*, *не участвовали* в Первой мировой войне, а вторые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали на ней свой боевой путь простыми солдатами.

Далее, первые оказались вскоре после Революции на наиболее высоких руководящих постах (хотя им было тогда всего от 21 до 25 лет), без сомнения, по идеологическим, а не собственно военным соображениям, а вторые, медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять войсками. Дабы оценить это, вспомним, что Суворов в 18 лет начал свой воинский путь унтер-офицером (тогда — капралом), а 16-летний Кутузов — прапорщиком, и лишь к сорока годам они дослужились до генеральского звания.

О кардинальном различии двух типов советских военачальников одного поколения можно бы еще многое сказать, но, впрочем, это различие и так очевидно.

\* \* \*

Ранее приводились высказанные в 1939 году Сталиным «реви-зионистские» положения о государстве; правда, говорил он весьма осторожно и двойственно. Ибо, во-первых, не так легко было быстро изменить сознание миллионов преданных коммунистической идеологии людей, убедить их в необходимости верховной роли государства в *старом* смысле этого слова, а во-вторых, имело место сомнение в том, сможет ли восстанавливаемая «государственная» идеология (и, далее, практика) явиться *более эффективной*, чем предшествовавшая, делавшая ставку прежде всего на партию и «революционность» и легшая в основу многих, как тогда говорилось, *побед* (включая ту же коллективизацию...).

И целый ряд суждений и «указаний» Сталина в начальный период войны ясно говорит о том, что он *колебался* между собственно государственной и прежней, революционно-партийной, «линиями». Так, например, ликвидированный после столь прискорбной финской войны, в 1940 году, институт *военных комиссаров* (то есть всевластных большевистских руководителей армии) был восстановлен менее чем через месяц после начала великой войны, 16 июля 1941 года!

В 1920 году Ленин вполне справедливо заметил: «Без военкома (то есть военного комиссара. — В.К.) мы не имели бы Красной Армии». Но дело шло тогда о *классовой* войне; между тем Сталин уже в своем выступлении по радио 3 июля 1941 года дважды назвал начавшуюся войну «отечественной», хотя пока и без особого подчеркивания этого определения. Тем не менее вскоре же,

---

\*Он попал на фронт в сентябре 1914-го, а уже в феврале 1915-го оказался в плену, откуда вернулся на родину только в октябре 1917 года.

через две недели, в войска были направлены «агенты» партии, имевшие в сущности больше полномочий, чем командиры.

Однако через год с небольшим, 9 октября 1942 года, институт комиссаров был окончательно ликвидирован, и закономерно, что это свершилось незадолго до победной стадии Сталинградской битвы, начавшейся 19 ноября. А 6 января 1943-го были восстановлены *погоны*, которые еще совсем недавно воспринимались в качестве непримиримо враждебного символа («золотопогонники»).

Словом, сознание Сталина (и, конечно, множества людей того времени) в начале войны было глубоко двойственным, в нем — подчас даже причудливо — переплеталось «революционное» и «государственное». В сталинском выступлении по радио 3 июля 1941 года ныне замечают прежде всего или даже только «православно-патриотическое» обращение «Братья и сестры!» и напоминание о победах над Наполеоном и германским кайзером Вильгельмом II. Но ведь в этом же выступлении содержится и звучащая теперь попросту наивно фраза: «В этой великой войне мы будем иметь верных союзников... в том числе в лице *германского народа* (выделено мною. — В.К.), порабоженного гитлеровскими заправилами». И далее: «...германский тыл немецких войск представляет вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов». По-своему даже забавно столкновение синонимов — «*германский тыл немецких войск*»(!), которое как бы обнажает несостоятельность этого утверждения.

Но важнее другое. Даже и среди тех немцев, которые в 1944 году в самом деле пытались свергнуть Гитлера с его авантюристической, на их взгляд, стратегией, было немало «героев» войны против СССР-России, о чем уже говорилось ранее. И абсолютное большинство «германского народа» отнюдь не возражало против имевшего многовековую предысторию геополитического «натиска на Восток»... В 1971 году видный германский историк и публицист Себастиан Хаффнер справедливо характеризовал развитие самосознания своих соотечественников в 1920—1930-х годах: «Они ничего не имели против создания Великой германской империи... Однако... они не видели пути, обещающего успех в достижении этой заветной цели. Но его видел Гитлер. И когда позже этот путь, казалось, стал реальным, в Германии не было *почти никого*, кто не был бы готов идти по нему»\*.

И еще один яркий образчик раздвоенности Сталина. В его речи 7 ноября 1941 года во время парада на Красной площади прозвучало постоянно поминаемое ныне: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского...» и т.д., то есть Сталин как бы стирал границу между дореволюционной Россией и СССР. Однако в произнесенном днем раньше, 6 ноября, на станции метро «Маяковская» докладе утверждалось следующее: «По сути дела гитлеровский

\* Хаффнер С. Самоубийство Германской империи. М., 1972. С.27—28.

режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме... гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирали их царский режим...» и т.д.

Выходит, задача состояла в том, чтобы вместе с «германским народом» свергнуть установившийся в Германии режим, и свергнуть потому, что он точно такой же («копия!»), какой был до 1917 года в России. То есть народ призывался к своего рода «революции», к «классовой» войне, как бы к повторению совершенного в 1917 году...

В этой раздвоенности вождя выражалась в конечном счете глубинная, фундаментальная *неготовность* к той *геополитической* войне, которая обрушилась на СССР-Россию 22 июня. К концу войны Сталин уже совсем по-иному говорил об ее сущности и — что особенно характерно — о *причине* наших поражений в начальный ее период. Так, 6 ноября 1944 года он недвусмысленно заявил, что, «как показывает история, агрессивные нации (речь уже идет о германской нации в целом, а не о кучке «гитлеровских авантюристов». — *В.К.*), как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне... нельзя... считать случайностью такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии, Прибалтики в первый же год войны, когда Германия, как агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне... это, если хотите, историческая закономерность...». Таким образом, истинная причина поражений — не во «внезапности»...

Но главное заключалось в другом. Та раздвоенность, которая столь явно предстает в первоначальных сталинских суждениях, присутствовала — имея, правда, *противоположный* смысл — и в сознании (и, далее, поведении) тех миллионов людей, главным образом из *крестьянских* семей, которые должны были с оружием в руках противустать германской армии. За что они ведут смертный бой: за свою тысячелетнюю Россию или же за установившийся в 1917 году возглавляемый партией *строй*? Не забудем, что всего восемь лет назад завершилась коллективизация, которая нанесла тяжелейший урон многим из этих людей или хотя бы их родственникам, соседям, односельчанам...

Для осознания, притом не отвлеченного, «теоретического», а воплощающегося в целостном существе людей и непосредственно переходящего в *действие* осознания, истинного смысла войны было необходимо определенное время. Уже упомянутый германский истолкователь хода войны Хаффнер обоснованно писал: «С того момента, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: русские были сильнее... прежде всего потому, что для них решался вопрос *жизни и смерти*»<sup>\*</sup>.

\* Хаффнер С. Самоубийство Германской империи. С.59.

По мнению Хаффнера, поворотным моментом стал уже декабрь 1941 года, «когда контрнаступлением под Москвой русские доказали свою вновь обретенную волю к борьбе». Но, как мне представляется, проблема более сложна. Ведь позже, летом 1942 года, наши войска, как уже упомянуто, на Южном фронте пока- тились на восток к Волге и Кавказу в сущности так же, как ле- том—осенью 1941-го к Москве... Ничего подобного не было и, очевидно, не могло быть *после* Сталинграда. Но взгляды при- стальнее в битву под Москвой.

### *Москва — Ржев — Берлин*

Победу на московских рубежах не без оснований называют «чудом». Казалось бы, Москва была обречена, и уже готовились к взрыву крупнейшие предприятия и даже метрополитен.

Уверенность врага в быстром захвате Москвы ярко выразилась в двух фактах: прорыве колонны немецких мотоциклистов 30 ноября почти в границы Москвы, на мост через канал Москва—Волга (вблизи нынешней станции метро «Речной вокзал»), и осуществленной в ночь на 1 декабря дерзкой высадке на Воробьевых горах и в Нескучном саду — в четырех километрах от Кремля — авиадесанта, который имел задачу выкрасть Сталина.

Мне об этих фактах «по секрету», полупшепотом, рассказал еще в 1960-х годах литературовед А.С.Мяшников, который в 1941-м входил в руководящие партийные органы Москвы и потому был посвящен в кое-какие тайны. Оба вражеских десанта были немед- ля уничтожены, но их значимость нельзя недооценивать.

Впрочем, гораздо важнее тот факт, что к концу ноября сам *фронт* на северо-западном участке проходил менее чем в 20(!) км от тогдашней границы Москвы (от нынешней — всего в 10 км) и менее чем в 30 км — от стен Кремля! Речь идет прежде всего о поселке вблизи Савеловской железной дороги, недалеко от станции Лобня (26-й километр), Красная Поляна и окрестных деревнях Горки, Киово, Катюшки (ближайшей к Москве).

Известный супердиверсант штандартенфюрер СС Отто Скор- цени вспоминал в 1950 году: «Нам удалось достичь небольшой деревеньки (по всей вероятности, Катюшки. — В.К.) примерно в 15 километрах северо-западнее Москвы... В хорошую погоду с цер- ковной колокольни была видна Москва...» А «летописец» 2-й тан- ковой дивизии вермахта зафиксировал 2 декабря: «Из Красной Поляны можно в подзорную трубу наблюдать жизнь русской сто- лицы (по воздушной линии до городской черты — 16 километ- ров)». В эту дивизию уже было завезено парадное обмундирование для победного шествия по Красной площади Москвы.

И 29 ноября 1941-го Гитлер объявил, что «война в целом уже выиграна»... В этом были убеждены и многие из тех, кто находи- лись на подмосковных рубежах. Тогда же германский штабной офицер Альберт Неймген писал своему любимому родственнику:

«Дорогой дядюшка!.. Десять минут назад я вернулся из штаба нашей пехотной дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через несколько часов это наступление начнется. Я видел тяжелые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших пехотинцев, которые первыми должны пройти по Красной площади. Это конец, дядюшка, Москва наша, Россия наша... Тороплюсь. Зовет начальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы...»

Небольшой поселок (менее 6 тыс. жителей) Красная Поляна обрел тогда всемирную известность и до сего дня упоминается в большинстве отечественных и зарубежных сочинений, касающихся Московской битвы.

Особенное внимание к этой малой точке на карте войны совершенно естественно. Дело не только в том, что фронт здесь наиболее близко подошел к Москве; так, захваченная врагом деревня Черная Грязь\* на Ленинградском шоссе расположена не намного дальше от границы Москвы. Но, во-первых, враг занял Черную Грязь всего на несколько часов, между тем как бои у Красной Поляны длились около двух недель, а во-вторых, — и это главное — захват Красной Поляны, расположенной на 8 км *восточнее* Черной Грязи, был звеном генерального плана *окружения* Москвы: войска врага уже нависли здесь с севера над *центральной* частью города, являя собой зубец призванных сомкнуться к востоку от Москвы танковых клешей... Поэтому в боях у Красной Поляны есть основания видеть своего рода эпицентр Московской битвы. Как писал впоследствии один из руководителей Московской зоны обороны генерал К.Ф.Телегин, перелом в битве под Москвой начался именно с Красной Поляны — «рубежа, наиболее близкого и опасного для столицы».

В многочисленных сочинениях, где заходит речь об ожесточенных схватках у Красной Поляны, к сожалению, имеет место путаница или, по меньшей мере, неясность. Причина в том, что сначала, до 29 ноября, этот участок фронта находился в полосе боевых действий 16-й армии, которой командовал К.К.Рокоссовский, а затем — 20-й армии под командованием Власова (того самого, из-за чего возникли дополнительные сложности с изучением ситуации на данном участке фронта).

Основные сведения о *первом* периоде боев у Красной Поляны содержатся в воспоминаниях самого Рокоссовского и начальника артиллерии в его армии генерал-майора (впоследствии — маршала) В.И.Казакова, а о *втором* периоде — в воспоминаниях начальника штаба 20-й армии полковника (с 1944-го — генерал-полковника) Л.М.Сандалова. Но пишущие ныне об этих боях произвольно смешивают два различных периода, затемняя тем самым ход событий.

\* Ей посвящена последняя главка знаменитой книги Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Далее следует: «Вот уже Всесвятское... Москва! Москва!!!»



Первый раз немцы захватили Красную Поляну, по свидетельству генерала Казакова, еще 24 ноября\*. И, по его сообщению, «местные жители успели сообщить по телефону в Моссовет, что там (в Красной Поляне. — В.К.) устанавливаются дальнобойные орудия для обстрела столицы»\*\*. И в штабе Рокоссовского 25 ноября «около 3 часов ночи раздался телефонный звонок. Командарма вызвала по ВЧ Ставка Верховного главнокомандования». Сам командарм в своих воспоминаниях писал, что в этом ночном разговоре с ним «Сталин особенно подчеркнул, что из Красной Поляны фашисты могут начать обстрел столицы».

Были спешно собраны и отправлены к Красной Поляне артиллерия, в том числе реактивная, и танки. «Бой продолжался весь день, — вспоминал Казаков. — С наступлением темноты наши танки ворвались в Красную Поляну, захватили много немцев, машин и орудий». Согласно сохранившемуся в архиве тогдашнему донесению Казакова, «в Красной Поляне захвачены два 300-миллиметровых орудия, которые предназначались для обстрела города» (такие орудия действительно могли накрыть огнем Кремль).

Но, как упомянул сам Казаков, врагу «через некоторое время... удалось вновь вернуть оставленные позиции». К этому моменту Красная Поляна была уже в «ведении» не 16-й, а заново создаваемой 20-й армии, командующим которой стал будущий (с июля 1942-го) изменник Власов. Как известно, в ноябре 1941-го Сталин вызвал его в Москву из воронежского госпиталя. И, по воспоминаниям начальника штаба 20-й армии Л.М.Сандалова, приступившего к исполнению своих обязанностей 29 ноября, воспоминаниям, которым нет оснований не доверять, Власов тогда страдал (из-за контузий) тяжелым расстройством слуха и зрения и находился не на фронте, а в Москве, в гостинице Центрального дома Красной Армии под присмотром медсестры. И только 19 декабря, когда его перешедшая 5—6 декабря в наступление 20-я армия была уже на подступах к Волоколамску, Власов появился на ее командном пункте.

Власова подчас называют «спасителем Москвы», между тем, как видим, он не имел возможности осуществить сию миссию в силу серьезного недомогания. Кстати сказать, воспоминания Сандалова впервые появились в печати более тридцати лет назад, когда многие ветераны 20-й армии были еще живы, так что едва ли стоит подозревать этого генерала в искажении фактов.

Но вернемся к сути дела. Как сообщает Сандалов, утром 1 декабря немцы *вторично* захватили Красную Поляну и намеревались, закрепившись здесь, двинуться к Москве. Однако к этому

---

\* Правда, хорошо информированный редактор газеты «Красная звезда» утверждал, что это произошло позже, 26 ноября, и, возможно, был прав (см: Ортенберг Д. Июнь—декабрь сорок первого. Рассказ-хроника. М., 1984. С.275).

\*\* Есть и другая версия, согласно которой телефонная связь с Москвой была уже нарушена и сообщение доставила перебравшаяся через фронт женщина.

моменту у станции Лобня уже находились артиллерия и танки 20-й армии, которые не допустили продвижения врага к Москве и готовились к контрнаступлению. 30 ноября план этого контрнаступления, разработанный командующим Западным фронтом генералом армии Г.К.Жуковым, был утвержден Ставкой. В плане значилось: «20-я армия из района Красная Поляна — Белый Раст... наносит удар в общем направлении на Солнечногорск... и далее на Волоколамск». Армия должна была двинуться вперед «с утра 3—4 декабря».

Но в Красной Поляне закрепились танковая и пехотная дивизии врага. Как свидетельствовал Сандалов, «за восемь дней оккупации противник превратил поселок в сильный укрепленный пункт... Дом за домом, строение за строением отбивали наши войска у врага». И только 8 декабря Красная Поляна была освобождена.

Бывший начальник отдела печати германского министерства иностранных дел Пауль Шмидт после войны стал публиковать сочинения об ее истории под псевдонимом Пауль Карелл. В изданной в 1963 году книге «Предприятие Барбаросса» он писал: «В Горках, Катюшках и Красной Поляне... почти в 16 км от Москвы, вели ожесточенное сражение солдаты 2-й венской танковой дивизии... Катюшки находятся от Москвы так же близко, как Ораниенбург от Берлина (30 км к северо-западу от рейхстага. — В.К.). Через стереотрубу с крыши крестьянского дома на кладбище майор Бук мог наблюдать жизнь на улицах Москвы. В непосредственной близости лежало все. Но захватить его было невозможно...»

\* \* \*

*Невозможно* — вопреки всему предшествующему ходу войны! Ведь до захвата Красной Поляны, расположенной в 16 км от Москвы, германские войска двигались от Бреста со скоростью в среднем 16—17 км за день... Это вроде бы противоречит общему подсчету пройденных километров и дней войны: 1100 км за 155 дней (от 22 июня до 24 ноября) — получается в среднем 7 км за день. Однако, достигнув к концу июля — началу августа — то есть за 40 дней — 700-километрового (от границы СССР) рубежа западнее Смоленска, войска, двигавшиеся в направлении Москвы (до нее оставалось 400 км), сделали остановку — прежде всего ради наступления в южной части фронта, которое преследовало (и осуществило) цель захвата Украины: 20 сентября был взят Киев. Для этого, в частности, отправилась на Украину мощная танковая армия Гудериана, *возвратившаяся* затем на московское направление.

Наступление на Москву возобновилось в конце сентября — начале октября. 7 октября была захвачена Вязьма (240 км от Москвы), 14 октября — Тверь (Калинин, 170 км от Москвы), 19 октября — Можайск (110 км от Москвы). Но в это время начались затяжные дожди, и из-за возникшего бездорожья врагу пришлось замедлить наступление и дожидаться заморозков, укрепивших грунт.

Только 15 ноября германские войска вновь мощно устремились к Москве и 24-го (или 26-го) были уже в Красной Поляне; таким образом, если исключить перерыв в наступлении, германские войска в два приема (первая половина октября и время с 15 по 24 ноября) прошли 400 км — то есть скорость их продвижения была примерно та же, что и в начале войны. Тем не менее они не только не смогли пройти *последние 16 км* до Москвы (от Красной Поляны), но и покатались назад с той же скоростью, как и наступали: так, Тверь (170 км от Москвы) была освобождена через 10 дней после начала контрнаступления — 16 декабря.

Во множестве зарубежных сочинений утверждается, что германские войска и остановил, и погнал назад «генерал Зима». Разумеется, нельзя отрицать, что подмосковные морозы наносили немалый ущерб врагу, рассчитывавшему на быструю — до наступления сильных морозов — победу. Однако столь же ясно, что «генерал Зима» в то же время *подгонял* наступавшую германскую армию. Командовавший походом на Москву генерал-фельдмаршал фон Бок 12 ноября совершенно верно сформулировал проблему: «...в военном и психологическом отношениях необходимо взять Москву... хуже, если мы останемся лежать в снегу на открытой местности в 50 км от манящей цели».

И 15 ноября фон Бок объявил в приказе о заключительном наступлении на Москву: «Солдаты! Перед вами Москва! За два года все столицы континента склонились перед вами... Осталась Москва. Заставьте ее склониться... Москва — это отдых. Вперед!»

Поэтому версия, согласно которой именно «русские морозы» сломили волю германских войск, остановили их у самых ворот Москвы, а затем погнали на запад, — заведомо тенденциозная версия. Она, в частности, опровергается дальнейшим ходом событий. Ведь враг, отступивший в декабре 1941-го — начале января 1942-го от Москвы до линии, проходившей восточнее городов Ржев — Гжатск (ныне Гагарин) — Вязьма, самым прочным образом закрепился на этой линии (на отдельных участках — всего в 130 км от Москвы!), пережил там — несмотря на многократные мощные атаки наших войск — остаток зимы, а потом и следующую зиму и лишь в марте 1943 года, то есть уже после Сталинградской победы, отступил на запад. Столь долгое (14 месяцев) стойкое сопротивление врага в округе Ржева — очень существенная глава истории войны, и мы к ней еще вернемся. Сначала завершим тему «русских морозов», излюбленную немецкими и англоязычными историками.

Приписывая поражение врага этим морозам, современные авторы в сущности попросту повторяют то, что утверждалось зарубежными, а с их голоса и — как ни прискорбно — многими «туземными» историками о поражении Наполеона. Нет сомнения, что во второй половине ноября и в декабре 1812 года наполеоновская армия потерпела тяжелейший урон от сильных моро-

зов. Однако те, кто объясняют поражение завоевателя этими морозами, ухитряются начисто забыть о неоспоримом факте: армия Наполеона была полностью разгромлена еще *до начала зимы* — в битве при Малоярославце, свершившейся 24—26 (по старому стилю — 14—16) октября.

Ближайший сподвижник Наполеона генерал и военный теоретик Филипп Сегюр писал в 1824 году о поле Малоярославецкого сражения: «...это злосчастное поле битвы, на котором *остановилось* завоевание мира, где 20 лет непрерывных побед *рассыпалось в прах*... Это было 26 октября, когда началось *роковое* отступательное движение наших войск».

Так, всего лишь за четыре дня, с 26 по 30 октября, Наполеон удалился от Малоярославца к западу на 150 км, до Вязьмы, где 1 ноября (то есть через шесть дней после битвы при Малоярославце) другой из его ближайших сподвижников, генерал Арман де Коленкур, зафиксировал следующее: «Погода была хорошая. Император опять несколько раз говорил, что «осень в России такая же, как в Фонтенбло»; по сегодняшней погоде он судил о том, какую она будет через 10—15 дней, и говорил князю Невшательскому (маршалу Бертье. — В.К.), что «это такая погода, какая бывает в Фонтенбло в день св.Губерта (3 ноября), и сказками о русской зиме можно запугать только детей»...

Наполеон действительно глубоко заблуждался: дней через десять, 9—10 ноября, когда он, отступив к западу еще на 175 км, находился в Смоленске, ударили сильные морозы, губившие солдат-южан... Но дело-то ведь шло об уже потерпевшей полное военное поражение в битве 24—26 октября армии! И версия, согласно которой Наполеона победили и заставили бежать из России морозы, — это сугубо тенденциозный миф.

Впрочем, пора вернуться из 1812-го в 1941-й. Как уже сказано, германская армия, отброшенная от Москвы в декабре — начале января до линии Ржев — Гжатск — Вязьма, остановившись на ней, самым убедительным образом доказала (и в эту, и в следующую зиму) свою способность к мощному сопротивлению даже и в самые морозные месяцы: только 2 марта 1943 года она оставила Ржев.

Необходимо понять всю многозначительность того факта, что после Московской битвы, отбросившей германскую армию от столицы, фронт все же в течение четырнадцати месяцев(!) находился не далее 150 км от нее.

И еще один аспект вопроса о Московской битве. Главную причину нашей победы в ней многие историки усматривают не в морозах, а в том, что к столице были стянуты — в особенности из дальних восточных частей страны — очень крупные военные силы. Конечно же, это сыграло свою необходимую роль, но едва ли уместно придавать *количественной* стороне дела *решающее* зна-

\* Городок южнее Парижа.

чение. Ведь хорошо известно, что в начале войны наши войска в *количественном* отношении *не уступали* германским, но смогли только в очень небольшой мере задерживать продвижение врага на восток.

Нередко утверждают, что остановки германских войск, наступавших в направлении Москвы (в конце июля и во второй раз в середине октября), были обусловлены непреодолимостью сопротивления наших войск. Но это едва ли верно. В августе—сентябре враг, как уже сказано, перенес центр тяжести своих сил на Украину (в частности, туда переместились танки Гудериана), а с середины октября ему пришлось пережить распутицу.

Крайне прискорбный, но, увы, реальный показатель состояния наших войск в первые месяцы войны: количество «пропавших без вести», то есть оказавшихся в германском плену или хотя бы за линией фронта, военнoслужаших составило в 1941 году, согласно новейшим подсчетам, 2 млн. 335 тыс.; между тем погибли в этом году (включая умерших в госпиталях от ран) 556 тыс. человек, и, следовательно, соотношение погибших и попавших в плен — 1:4! Совершенно иная картина потерь в 1943 году: соотношение погибших и попавших в плен — 5:1\*. На основе этих цифр сторонний эксперт мог бы прийти к выводу, что в 1941-м — в отличие от 1943-го — имела место не столько война, сколько капитуляция наших войск...

Разумеется, и первые месяцы войны дали образцы борьбы с врагом не на жизнь, а на смерть, начиная с знаменитой обороны Брестской крепости, и все же тот факт, что в 1941-м не менее *трети* наших тогдашних вооруженных сил так или иначе «сдались», свидетельствует, увы, о мощнейшем превосходстве врага.

Широко распространено мнение, что битва под Москвой явилась кардинальным переломом в ходе войны, но, как представляется, это был все же *временный* перелом, что имеет свое существенное объяснение. Тут нельзя не вспомнить пушкинские строки, которые постоянно вспоминались в 1941-м:

Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось!

Почти через тридцать лет после битвы под Москвой генерал-полковник Л. М. Сандалов рассказал, как 2 декабря 1941 года, когда войска его 20-й армии готовились к атаке на Красную Поляну, бойцы слушали чтение передовой статьи появившегося накануне номера газеты «Красная звезда». По всей вероятности, генерал бережно хранил этот номер газеты и в своих мемуарах привел статью полностью. Вот некоторые ее фрагменты, дающие представление о целом:

\* См.: Гриф секретности снят. С.146.

«Москва! Это слово *многое говорит сердцу* (выделено мною. — В.К.)... Москва — праматерь нашего государства. Вокруг нее собиралась и строилась земля русская, вокруг нее стоял народ всякий раз, когда ему грозили иноземные пришельцы...

Древние камни Москвы овеяны славой наших предков, бесстрашно защищавших ее гордое имя. Так повелось на Руси, что самые страшные удары иностранные армии получали у стен Москвы... не раз на протяжении истории нашей страны казалось врагам, что гибнет русская земля, что не подняться ей вновь. Но вставал бессмертный народ и повергал в прах всех, кто покушался на его жизнь. Так будет и ныне».

Своего рода парадокс заключался в том, что редактором «Красной звезды», где появилась цитируемая статья, был член партии с 1922 года Д.И.Ортенберг, а читал статью бойцам военной *комиссар* 331-й стрелковой дивизии Т.И.Коровин, который, без сомнения, был воспитан в духе идеологии, не имевшей ничего общего с идеями прочтенной им статьи.

Известны слова А.И.Солженицына из «Письма вождям Советского Союза» (1973), призывающие отбросить чуждую России идеологию: «Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил ее, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь, — и мы победили! (Лишь к концу войны и после победы снова вытащили Передовое Учение из нафталина)».

Но дело обстояло сложнее. Ведь Сталин «развертывал» это «старое русское знамя» весьма осторожно, дозированно и вовсе не отказывался от «революционного» сознания; достаточно напомнить его цитированный выше доклад, произнесенный 6 ноября 1941 года, то есть совсем незадолго до Московской победы, доклад, в котором был поставлен знак равенства между старой Россией и нацистской Германией!

Но еще показательнее другое. Сам Александр Исаевич во время войны, то есть за тридцать лет до своего «Письма вождям Советского Союза», был явно и резко недоволен этим самым развертыванием «старого русского знамени». Ибо, согласно его собственным словам, «было время в моей юности... когда был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины... в таком виде я пошел на войну 41-го года».

И в высшей степени многозначительны воспоминания первой жены писателя, Н.А.Решетовской, о разговорах с ним в мае 1944 года (достоверность этих воспоминаний подтверждается и собственными суждениями А.И.Солженицына, и опубликованными ныне материалами «суда» над ним в 1945 году): «Он говорит о том, что видит смысл своей жизни в служении мировой революции. Не все ему нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распушен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии — погоны. Во всем этом он видит отход от идеалов револю-

ции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За все это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов»<sup>\*</sup>.

Впрочем, Солженицын не дождался конца войны и в проходивших тогда цензуру письмах обвинил Сталина в отступлениях от ленинизма. 9 февраля 1945 года он был арестован, и в его бумагах обнаружили портрет Троцкого, которого он считал истинным ленинцем... Впоследствии, как мы видели, писатель признал «правоту» Сталина и даже, надо сказать, сильно преувеличил его патриотизм. Так, Сталин тогда вовсе не был чужд и той идеологии, которая выразилась в письме Александра Исаевича, отправленном им с рубежей Восточной Пруссии незадолго до его ареста: «Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны отечественной и войны революционной», то есть войны, которая призвана сделать Европу (или хотя бы ее часть) коммунистической...

Но к этой — уже, в сущности, *послевоенной* — теме мы обратимся в своем месте. Здесь же нужно решить вопрос о «старом русском знамени». Спустя тридцать лет Солженицын написал, что именно оно обеспечило победу. Однако непосредственно во время войны сознание писателя (и, конечно, многих и многих людей) было противоречивым. Нельзя сказать, что он жил только «революционной» идеологией. Так, осенью 1942 года он писал: «...уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!»

В этом тексте подспудно выразилось масштабное осознание войны, ибо *русская* стойкость противопоставлена *всей Европе*, то есть другому *континенту*. И слово «русская» уместно тут не в собственном этническом смысле, а как обозначение связующего начала континента, который ныне принято называть «евразийским».

Так, одним из выдающихся героев битвы под Москвой был казах Баурджан Момыш-улы, сподвижник славнейшего генерала Ивана Васильевича Панфилова. Уже в 1943 году подвиги командира батальона Момыш-улы были воссозданы в получившей тогда широчайшую известность повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», а впоследствии сам герой написал книгу «За нами Москва. Записки офицера» (1959).

В ней рассказывается, в частности, как в 20-х числах ноября 1941 года комиссар 73-го полка 316-й стрелковой дивизии (позднее — 8-й гвардейской имени И.В.Панфилова), входившей в 16-ю армию, П.В.Логвиненко объясняет только что вышедшим из окружения бойцам батальона Момыш-улы смысл сражения за Москву: «Не скрою от вас, хлопцы: мы считали вас погибшими. Но вы, товарищи, стоите здесь здоровехоньки. Как наши деды

<sup>\*</sup> Решетовская Н. В споре со временем. М., 1975. С.40—41.

говорили, слава Богу (аплодисменты)... нам очень туго и трудно приходится... До Москвы осталось совсем и совсем недалеко. Неужели мы, товарищи, позволим, чтобы немец, как это делали французы в 1812 году, мочился у стен древнего Кремля?!»\*

К началу декабря батальон Момыш-улы уже находился, увы, совсем близко от Москвы — восточнее Крюково (38-й км Ленинградской ж.д.).

«Моим адъютантом, — рассказал впоследствии Момыш-улы, — был лейтенант Петр Сулима. Этот... юноша принадлежал к тому типу украинских красавцев, что часто встречаются на Полтавщине... Сулима принес мне новую склейку крупномасштабных топографических карт. Я развернул и увидел на юго-восточных листах карты сплошную темную массу. Мне показалось — это был неровный, но четкий оттиск старинной громадной гербовой печати...

«Москва», — прочел я слово под пятном, вздрогнул и взглянул на Сулиму. Он, бледный, упершись своими длинными сухими пальцами, молча смотрел на карту.

— Вы когда-нибудь бывали в Москве? — спросил я лейтенанта.

— Нет, не приходилось, если не считать того, что мы проезжали в эшелоне.

— Я тоже проскочил через «Москву-товарную»...

Я всмотрелся — на темном фоне бесчисленных квадратиков и крестов белой нитью проступили ломаные и кольцеобразные просветы московских улиц... В центре был обозначен Кремль.

Я взял циркуль-измеритель: расстояние от Крюкова по прямой всего лишь тридцать километров.

По привычке прежних отступательных боев я искал промежуточный рубеж от Крюкова до Москвы, где можно было бы зацепиться, и этого рубежа не нашел. Я представил врага на улицах Москвы: ...строй гитлеровцев в парадной форме во главе с очкастым сухопарым генералом в белых перчатках и с легкой усмешкой победителя.

— Что с вами, товарищ командир?..

— Дайте мне перочинный нож, — прервал я Сулиму... Я аккуратно разрезал карту и протянул половину ее Сулиме. — Нате, сожгите. Нам больше не понадобится ориентироваться и изучать местность восточнее Крюкова...»\*\*

Впечатляющий жест человека Востока! Убеждение в невозможности, немыслимости сдачи Москвы врагу определялось в данном случае не собственно «русским» сознанием: ведь перед нами — коренной казах, в детстве даже не знавший ни слова порусски и исключительно высоко ценящий свои национальные традиции. И не «коммунистическим» сознанием — это видно из ци-

---

\* Момыш-улы Баурджан. За нами Москва. Записки офицера. Алма-Ата, 1970. С.372.

\*\* Там же. С. 457—459.



тированного текста, да и, кстати, командир батальона Момыш-улы не был в то время членом партии. Но Москва, которую он никогда не видел, тем не менее была для него центром того геополитического мира, в котором он в 1910 году родился, вырос и стал (с 1936 года) профессиональным военным. То, что сказано в цитированном тексте о мочившихся в 1812 году у стен Кремля французах и о немецком генерале в белых перчатках, шагающем «с легкой усмешкой победителя» по улицам Москвы, предстает как безусловное неприятие власти иного *мира* (более точно — иного континента) над миром (континентом), в котором русские, казахи и другие народы уже много веков — по меньшей мере со времен Монгольской империи — имели общую в тех или иных отношениях судьбу. Центром этого мира давно уже стала Москва, и Баурджан Момыш-улы органически не может отдать ее во власть чуждого мира... Он не рассуждает об этом, он просто *не может*.

Притом речь идет именно о Москве — то есть о сердце того мира, в котором живет Момыш-улы. Вдумаемся в цитированные слова: «По привычке прежних *отступательных* боев я искал промежуточный рубеж от Крюкова до Москвы...» Но «не нашел» его...

Общеизвестно легендарное изречение, опубликованное впервые 22 января 1942 года в газете «Красная звезда», — с сообщением, что оно прозвучало 16 ноября 1941-го, у разъезда Дубосеково — в 118 км от Москвы по Ржевской железной дороге: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»

*Слово* всегда несет в себе больше смысла, чем в него стремились вложить, и больше, чем хотят в нем услышать. И это изречение в сущности подразумевает, что, если позади — *не* Москва, значит, *есть куда отступить*... И через несколько месяцев после Московской победы наши войска, как известно, отступили, увы, на полтыщи и более километров — но *не* под Москвой, а в южной части фронта...

С другой стороны, столь же многозначительно, что, будучи отброшена от Москвы, германская армия не сделала затем *ни единой* попытки двинуться еще раз непосредственно по направлению к ней, хотя более года находилась близко от нее.

\* \* \*

Одно из наиболее известных произведений Александра Твардовского — стихотворение, лирическая поэма «Я убит подо Ржевом». Сам поэт писал: «В основе ... память поездки подо Ржев осенью 1942 года... Впечатления этой поездки были за всю войну одними из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие...»\*

---

\* Твардовский А. Стихотворения и поэмы. М., 1986. С.865.

Имя «Ржев» связано в памяти многих людей с тяжким и скорбным чувством, но ясное представление о том, что происходило в этих местах с января 1942 до марта 1943-го, не столь уж широко распространено.

Начавшееся в первых числах декабря 1941-го германское отступление от Москвы обращалось подчас в беспорядочное бегство, которое могло стать *неостановимым* — вплоть до самого Берлина... (в свое время это произошло с армией Наполеона). И 19 декабря Гитлер объявил себя главнокомандующим сухопутными войсками, а 3 января отдал приказ, в котором требовал от своих отступающих армий: «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты... Каждый населенный пункт должен быть превращен в опорный пункт. Сдачу его не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником».

И приказ этот, хотя и не сразу, германские войска выполнили. Так, Ржев был именно «обойден» нашими войсками с севера и даже с запада, оказался почти в кольце, но тем не менее бои за него длились более года.

Как сказано в упомянутом стихотворении Твардовского:

Фронт горел, не стихая,  
Как на теле рубец.  
Я убит и не знаю,  
Наш ли Ржев наконец?..

Враг сопротивлялся под могущим показаться странным девизом: «Ржев — ворота Берлина»; ведь на деле фронт здесь проходил на отдельных участках всего в 150 км от Москвы, а от Берлина в почти 1500 км...

Поскольку наши потери подо Ржевом были громадны, ныне — в соответствии с общей тенденцией — многие авторы самым резким образом осуждают Сталина за то, что он отдавал приказы о все новых атаках на этом участке фронта, увеличивая страшные потери. Но теперь, задним числом, легко решать подобные проблемы. Представим себе хотя бы, что врагу тогда требовалось всего лишь 12—15 минут (даже при малых в сравнении с нынешним авиаскоростях), дабы долететь от Ржева до Москвы...

Ясно, что Ржев (речь идет не столько о самом городе, сколько об определенном рубеже войны) необходимо было отнять у врага. Однако в продолжение года с лишним это было непосильной задачей, атаки разбивались о прочнейшую оборону. А между тем в начале марта 1943 года враг неожиданно сам отступил на 150—200 км к западу... И об этом важно поговорить, ибо в таких поворотах хода войны проступают ее непростые, даже как бы иррациональные закономерности.

Судите сами: наши войска наносят сокрушительное поражение врагу под Москвой, а затем более чем миллионная армия в течение трех с половиной месяцев пытается освободить Ржев

(Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 8 января — 20 апреля 1942 года), но фатально не может это сделать. От самого Ржева до Москвы — 200 км, а до Берлина — 1400 км, но получается, что девиз «Ржев — ворота Берлина» обладал чрезвычайной силой...

Находившаяся с февраля 1942 до марта 1943-го на фронте подо Ржевом в качестве военного переводчика Елена Ржевская записала тогда: «В немецких частях здесь каждый солдат лично подписывает клятву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать — это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио». Здесь же другая запись, отражающая сознание жителей ржевских деревень: «...если немец там где-то и осилит, еще не вся беда. Но если... немец двинет на Москву и захватит ее — это же разом загорится и небо и земля.

Падение Москвы — это *конец света*, а не факт войны»\*.

Многие — и в том числе самые авторитетные — историки, рассуждая о победе под Москвой, стремятся объяснить ее тем, что в определенной географической точке, скажем, у не раз упомянутого поселка Красная Поляна, полностью иссякли силы германских войск. Но естественно возникает вопрос: почему они иссякли именно здесь? Почему это не произошло под Тверью, Клином, Солнечногорском, а именно там, откуда Москву можно разглядывать в бинокль, там, где уже в самом деле «отступить некуда»?

Истинный смысл, как представляется, не в том, что германские войска как раз у самой границы Москвы утратили всю свою силу, а в том, что наши войска обрели здесь *сверхсилу*. Которая, в свою очередь, уже как бы не действовала в ста с небольшим километрах от Москвы, подо Ржевом, где, напротив, вроде бы совершенно обессиленные германские войска смогли более года сдерживать нашу — поначалу более чем миллионную! — рвавшуюся на запад армию.

Чтобы убедиться в первостепенной, исключительной значимости противоборства под Ржевом, достаточно читать в один из важнейших источников по истории боевых действий в 1941—1942 годах — «Военный дневник» тогдашнего начальника генерального штаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера. Там Ржев буквально в центре внимания.

Однако в сознании большинства людей — даже тех, кто размышляет о великой войне, — «ржевская» тема занимает небольшое место. Ведь гордиться тут вроде бы нечем: войска больше года топчутся на одном месте; в последнее же время, как уже отмечено, о Ржеве вспоминают главным образом для того, чтобы осудить Сталина за громадные и вроде бы совершенно *бессмысленные* жертвы. Да, задним числом легко выносить подобные приговоры.

---

\* Ржевская Е. Ближние подступы. М., 1985. С.54.

В действительности ржевские бои представляли собой по существу *единственное* безусловно *достойное* действие наших войск почти за весь 1942 год — между победой под Москвой в самом начале этого года и победой под Сталинградом в его конце. Более того: без героического — и трагедийного — противоборства под Ржевом, вполне возможно, иначе сложилась бы и ситуация под Сталинградом.

Так, с 30 июля по 23 августа 1942 года наши войска предприняли очередное наступление под Ржевом. Им удалось продвинуться на некоторых участках всего лишь на три-четыре десятка километров, но германский генерал Курт Типпельскирх писал позднее об этом нашем наступлении: «Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на южный фронт, были задержаны...»<sup>\*</sup> Танковые дивизии врага потеряли во время тогдашних боев подо Ржевом более 80% машин и уже не годились для переброски в направлении Сталинграда и Кавказа.

Другой германский генерал, командир сражавшейся подо Ржевом 6-й пехотной дивизии Хорст Гроссман, писал в своей посвященной этому сражению книге, что очередное наступление наших войск во второй половине 1942 года подо Ржевом «должно было помочь Южному фронту (нашему. — В.К.) остановить наступление немцев на Сталинград—Кавказ, во всяком случае, уничтожить немецкие военные части, которые *могли быть перебросены на юг...*», притом, в ходе этого наступления, «возникли очень опасные моменты, которые смогли устранить только благодаря доставке (к Ржеву. — В.К.) трех танковых и еще большого числа (их было 9. — В.К.) пехотных дивизий, *предназначенных* для военных действий при группе армий «Юг»...» (выделено мною. — В.К.).

Я процитировал книгу генерала Х.Гроссмана, озаглавленную им чрезвычайно многозначительно: «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта» (Ржев, 1996. С.63 и 86). Нельзя не выразить удовлетворение тем, что в нынешних трудных условиях в Ржеве есть люди, которые добились издания этой книги. В предисловии к ней издатели — председатель клуба краеведов Ржева О.Кондратьев и председатель Ржевского книжного клуба Л.Мыльников — совершенно верно говорят, что «правда о Ржевской битве до конца не сказана... Военные историки молчат... Книга Х.Гроссмана... единственная серьезная попытка на материалах архивов и воспоминаний дать полную картину Ржевской битвы. Конечно, нужно учитывать, что книга написана немецким генералом, да еще в годы «холодной войны». При чтении ее возникает немало вопросов...» Но издатели надеются, что эта книга «подвигнет военных историков к глубокому изучению Ржевской битвы».

Сочинение генерала в самом деле достаточно тенденциозно — подчас даже комически тенденциозно; так, на первой же стра-

<sup>\*</sup> Типпельскирх К. История второй мировой войны. М., 1956. С.24.

нице заявлено, что-де необходимо глубоко уважать оборонявшихся подо Ржевом германских солдат, «которые в мужественной борьбе за свое любимое Отечество не боялись идти в бой и пожертвовать здоровьем и жизнью». По меньшей мере странно, что «борьба за любимое Отечество» ведется на чужой земле, в 800(!) км к востоку от тогдашней границы этого самого «отечества». И все же книга Х.Гроссмана в определенной мере помогает понять, что в действительности совершалось подо Ржевом в 1942 — начале 1943 года.

Выражая признательность ее издателям, я вместе с тем не могу не сказать и об определенной тенденциозности их предисловия к ней. Они в сущности осуждают командование наших вооруженных сил — прежде всего, понятно, Сталина — за то, что битва подо Ржевом вообще имела место... Ибо это была только, мол, «ржевская мясорубка»; потери, пишут они, «в трех стратегических операциях под Ржевом — 1109 149 солдат и офицеров».

Приходится сказать, что О.Кондратьев и Л.Мыльников подпали под воздействие нынешних СМИ, стремящихся всячески преувеличить количество наших погибших воинов. Цифру 1 миллион 109 тысяч 149 издатели почерпнули из уже упоминавшегося статистического исследования под названием «Гриф секретности снят». Но они — вольно или невольно — побуждают своих читателей полагать, что эта цифра имеет в виду *убитых* в упомянутых «трех стратегических операциях». Между тем, как явствует из указанного исследования, речь идет о выбывших по той или иной причине из строя воинах, в том числе раненых, заболевших, обмороженных. Что же касается «безвозвратных потерь», то есть *погибших* либо *попавших в плен* воинов, в ржевских операциях их было 362 664 человека.

Конечно, и эта цифра страшная, но уместно было бы поставить вопрос и о потерях врага. Тенденциозность книги генерала Гроссмана с особенной очевидностью выразилась и в том, что он неоднократно называет внушительные цифры потерь противника (то есть наших потерь), хотя обороняющийся (а не наступающий, захватывающий поле боя) враг не имеет возможности сколько-нибудь точно подсчитать потери своего соперника; и в то же время Гроссман *ни разу* не сообщает о количествах потерь своих войск, между тем как он, без сомнения, мог узнать о них гораздо более точно, чем о наших потерях.

Правда, в ряде случаев генерал все же говорит о гибели почти всех либо преобладающей части солдат и офицеров тех или иных *подразделений* своей армии, но именно о потерях сравнительно небольших армейских единиц, а не о потерях действовавших подо Ржевом войск в целом.

Так, например, он пишет: «31 октября (1942 года. — В.К.) 9-я армия образовала из дивизии «Великая Германия» (отборное соединение войск СС. — В.К.) боевую группу». И на один из батальонов этой группы «обрушился чудовищный непрерывный огонь

такой силы, что в течение 20 минут все было кончено...». Или такое сообщение: «До второй половины дня бой бушевал так, что от роты осталось только 22 человека» — при «норме» 120—150 человек. Или: «вследствие сильных потерь... батальон состоял только из 3 офицеров, 15 унтер-офицеров и 67 солдат»; в другом батальоне «остались только 1 офицер и 22 солдата», а еще один батальон «был почти стерт с лица земли... из него вернулись в свой полк 1 офицер и 12 солдат».

Но эти отдельные сведения призваны, так сказать, передать накал борьбы, а о количестве погибших во всей огромной армии, действовавшей подо Ржевом, генерал полностью умалчивает. Согласно его же сведениям, подо Ржевом находилась примерно шестая часть (!) всех дивизий Восточного фронта — 42 дивизии (пехотных — 31, танковых — 11), то есть сотни тысяч людей, но ни слова не сказано о том, какая *доля* участвовавших в сражениях — пусть приблизительная — осталась здесь навсегда.

Однако тот факт, что эта доля была очень и очень значительной, явствует из своего рода эмоциональной ноты, проходящей, все нарастая, через всю книгу. Гроссман пишет: «положение вследствие сильных потерь очень серьезное», «высокие потери», «тяжелейшие жертвы», «тяжелая борьба привела к большим потерям», «потери множились», «потери были высоки», «столь большие потери», «потери возрастали», «очень большие потери», «потери были очень тяжелы», «слишком велики были потери» — и так до заключительного раздела книги, озаглавленного «Отход от Ржева». В нем сообщено, что 6 февраля 1943 года «Гитлер разрешил, наконец» (мы еще вернемся к этому невольному вырвавшемуся у генерала *наконец*), оставить Ржев, который именно Гитлер 3 января 1942-го приказал оборонять «до последнего солдата». К вечеру 2 марта 1943 года враг покинул Ржев...

\* \* \*

В широко распространенном представлении, согласно которому продолжавшееся почти 14 месяцев и приведшее к громадным нашим потерям противоборство подо Ржевом было «бессмысленным», выражается в конечном счете глубокое непонимание хода великой войны. То, что происходило подо Ржевом, сопоставляют (сознательно или бессознательно) с Московской битвой, завершившейся сокрушительным поражением врага. Но, как я стремился показать выше, это стало возможным потому, что дело шло о *Москве*. На Южном фронте враг вскоре же показал, что военное превосходство пока еще на его стороне...

Г.К.Жуков в 1965 году возмущался (в беседе с упомянутой Еленой Ржевской) характерной для множества авторов сочинений о войне *недооценкой* вражеской армии: «Мы воевали против силь-

---

\* Стоит напомнить, что под Сталинградом сражалось около четверти войск Восточного фронта — то есть всего в полтора раза больше, чем у Ржева...

нейшей армии. Таких солдат и офицеров не было. И они ведь до последнего воевали...»

«Лакировочная» литература о великой войне, едва ли не господствовавшая до конца 1980-х годов (затем стала господствовать «очернительская» — ничуть не менее далекая от истины), лишила многих людей объективных представлений о 1941 году. Вот диалог военачальников, в который стоит серьезно вдуматься.

Начальник штаба 20-й армии полковник Л.М.Сандалов, который начал войну в Бресте и сыграл выдающуюся роль в Московской победе (27 декабря 1941-го он был произведен в генералы), вспоминал, как вечером 8 декабря 1941 года ему позвонил начальник Генерального штаба маршал Б.М.Шапошников:

«После моего доклада об обстановке он спросил:

— Правда, что в Красной Поляне случилось в плен сразу 11 немцев?

После моего утвердительного ответа он, как бы для себя, заметил:

— Начали сдаваться в плен группами... Раньше этого не было\*.

При этом следует знать, что ранее, в течение 1941 года, сдались в плен *сотни тысяч*(!) наших солдат... И понять, что такое была эта война, и какое превращение должно было совершиться ко времени Сталинградской победы, когда в плен сдались около 100 тысяч немцев...

И необходимой главой истории этой великой войны является противоборство подо Ржевом — противоборство, в котором как бы устанавливается определенное *равновесие* сил и затем наше *превосходство*. Но подробности, повторяю, слишком мало известны. А между тем имеются замечательные сочинения об этом противоборстве, принадлежащие Елене Ржевской.

До войны она была студенткой знаменитого ИФЛИ, добровольно вступила в армию, стала фронтовой переводчицей и с февраля 1942-го до марта 1943-го находилась подо Ржевом, подчас в самом пекле боев.

Елена Ржевская начала воинский путь в разведотделах 30-й армии\*\*, которая пришла под Ржев с последнего рубежа своего первоначального отступления от Смоленска — канала Москва—Волга в районе севернее города Дмитров. Под Ржевом эта армия играла одну из главных ролей. И непосредственно здесь, на фронте, Елена Ржевская начала делать разного рода записи, на основе которых к 1947 году сложились первые ее сочинения, появлявшиеся в печати с 1951 года. Она сумела без всяких прикрас, но и без какого-либо очернительства воссоздать то, что происходило под Ржевом, и всецело оправдала избранное ею литературное имя — Ржевская...

\* Сандалов Л.М. На Московском направлении. М., 1970. С.253—254.

\*\* Командующие: в ноябре 1941 — ноябре 1942-го генерал-лейтенант Д.Д.Лелюшенко, затем, до апреля 1943-го, — генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи.

Сама военная профессия Елены Ржевской давала ей особенное преимущество: она постоянно общалась не только со своими солдатами, офицерами, генералами, а также жителями ржевских деревень, но и с пленными немцами. Кстати сказать, лучшее из ее сочинений «Февраль — кривые дороги» начинается с сообщения, перекликающегося с только что цитированным фрагментом воспоминаний Л.М.Сандалова. Восхищающее всех событие, имевшее место в феврале 1942 года вблизи Ржева: «Семнадцать немцев! Семнадцать пленных! Семнадцать фрицев во главе со своим обер-лейтенантом сдались в плен. Это известие носилось по улице...»\* И вот сцена допроса пленного:

«Савелов вводил немца.

— Обер-лейтенант Тиль! — отчеканил немец, откинув назад белокурую голову.

Высокий, с непокрытыми волнистыми белокурыми волосами. Настоящий ариец... Он был очень красив и молод и весь непонятно свежий... Я заметила его ногти, выпуклые, с крупными лунками, тщательно обработанные, несмотря на тяжелый быт передовой, на все невзгоды Восточного фронта. И потихоньку убрала свои руки со стола.

— Вы добровольно сдались в плен вместе с вашими солдатами?

— Мы отражали атаки русских в течение двух часов. Когда стало ясно, что наши доты отрезаны, я отдал приказ кончить сопротивление и сдать...»

— Это ведь во времена вашего Старого Фрица\*\* война велась на истощение противника... А сейчас, когда Гитлер ведет войну на истребление, попасть в плен...

— В отношении Фридриха Великого это однобокое суждение, — сухо сказал обер-лейтенант... — Он предвосхитил тактику Наполеона, и он первый применил с великолепным успехом военные операции на уничтожение...»

Далее разведка пытается «использовать немца: подсоединиться к их рации, чтобы он своим немецким, неподдельным, офицерским голосом передавал им ложные команды и сведения». Но обер-лейтенант категорически отказывается, хотя офицер разведки уже расстегивает кобуру револьвера:

«Запавшие синие глаза Тиля смотрели глухо, затравленно...

— Я не хотел бы ожесточать господ русских офицеров, но иначе не могу поступить... — выдавил он».

Помимо прочего, это означает, что, даже сдаваясь в плен, враги тогда, в 1942-м, были уверены в своей правоте и в конечной победе. Вот обер-лейтенанта Тиля ведут по сожженной его сотоварищами деревне: «У дотлевающих головешек убиваются, бранятся, греются бабы. Одна пестрая оборванная баба ринулась наперерез, с маху ткнулась кулаком в грудь Тиля, тря-

\* Ржевская Е. Ближние подступы. М., 1980. С.107—108.

\*\* Имеется в виду король Пруссии в 1740—1786 годах Фридрих II Великий.



сется, вопит, в глазах слезы ярости. Осатанело плюнула ему в лицо.

Он только дернул головой и пошел дальше, не утираясь».

Но один раз все-таки вроде бы что-то сдвинулось в этом «арийце». Изба в деревне Лысково, куда привели обер-лейтенанта.

«Хозяйка в измызанной кофтенке сидела притихшая напротив немца, приглядываясь к нему, скрестив руки на груди, сжав тощие плечики, покачиваясь, шмыгая носом». Затем она «сходила за печь, вынесла свою миску с остывшей давно пшенной кашей, поставила на стол и пододвинула миску немцу:

— Ты вон на, поешь, — и, скомкав горсткой пальцев губы, заплакала.

— Послушайте, — вполосненно сказал Тиль. — Чего эта старуха плачет?

— Не знаю...

Он немного поел.

— Если можно, — он взволнованно провел рукой по волнистым расчесанным волосам и стойко сказал: — Если это можно, я предпочел бы правду. Меня расстреляют?

— С чего вы? Тетенька, вы вот плачете, вы немца пожалели и испугали насмерть.

Старуха всхлипнула, высморкалась в конец головного платка.

— Не его. Не-ет. Мне его мать жалко. Она его родила, выхаживала, вырастила такого королевича, в свет отправила. Людям и себе на мученье».

Через некоторое время переводчица спрашивает обер-лейтенанта:

« — Вот у вас на пряжке выбито: «С нами Бог...»

— Да, да. Так принято в вермахте.

— Но ведь Гитлер назвал христианское учение бесхребетным, непригодным для немцев...

— Ну это — традиция. Девиз, если хотите...

— Уж если с кем Бог, так это знаете с кем? С той старухой хозяйкой, что пожалела вас или вашу мать, уж не знаю кого.

— О старая matka! — с чувством сказал он, едва дав мне договорить. — Это так удивительно... Русская душа...

Бедная причитавшая над ним старуха, оплакав его, отдав ему свою кашу, ошеломила его. Как знать, может, и у него есть святая святых, неведомое ему самому... Прежде, до плена, он просто не заметил бы, что эта старуха — живой человек.

Бабу, с ненавистью и отчаянием плюнувшую ему в лицо, мы обходили в нашем теологическом разговоре, хотя и у нее русская, не безбожная душа».

Впрочем, ошеломленность обер-лейтенанта — временное состояние:

«...Мне-то казалось, в нем что-то сдвинулось. Нет, все при нем — незыблемый пласт стройных, крепко связанных между

собой понятий. Не отягощенный сомнениями, он всякий раз определенно знает, как ему быть».

И в этом — одна из основ вроде бы непреодолимой силы германской армии. Сцена с заплакавшей старухой может показаться совершенно ненужной, даже нелепой; кстати, один из офицеров разведки зло и грубо высмеивает упоминание о матери обер-лейтенанта.

Но есть в этой сцене нечто, вдруг обнаруживающееся и в поведении самих офицеров разведки. Обер-лейтенанта уже повели на расстрел за отказ сотрудничать, но старший здесь, капитан Москалев, приказывает вернуться:

« — Вот что, пусть он идет. Пусть идет!.. Мы-то ему ничего плохого — пусть идет, покажется им — мы ж его пальцем не тронули, пусть глядят. Переводи! И чтоб передал им: пусть сдаются, а то мы их, гадов, перебьем. — И, ярься от воодушевления, хрипло: — И чтоб знали! Чтоб зарубили себе! Мы придем в их Германию!..

Свету было уже так мало, что шаг и другой, и немец скрылся от нас, растворившись за стволами деревьев...

Москалев тяжело дышал — вышел из рамок человек, решает не спросясь, на свой страх и риск, как Бог на душу положит».

И в плаче старухи, и в неожиданном поступке офицера (не забудем, что речь идет о времени жесточайшего противоборства под Ржевом) по-своему выразилось то зреющее *превосходство* над врагом, которое в конечном счете определило нашу победу над лучшей в истории (по определению самого Жукова) армией.

Напомню цитаты из опубликованных как раз в 1942 году статей Эренбурга, которые требовали: «Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать» и согласно которым немки — не женщины, а «мерзкие самки». Но, как видим, люди, находившиеся в 1942-м под Ржевом, думали и чувствовали иначе. И, кстати сказать, в плане войны «на уничтожение» мы едва ли бы могли «превзойти» врага... Основой победы явилось другое...

Наше превосходство над врагом было не собственно военное; это было превосходство самого мира, в который вторгся враг. И оно не могло осуществиться, реализоваться за краткое время, ибо дело шло о «мобилизации» не армии, а именно целого мира.

Поэтому есть основания полагать, что победа у стен Москвы (именно и только у ее стен!) была все же краткой — хотя и мощной — вспышкой нашего превосходства, после которой страна пережила и не менее катастрофическое, чем в 1941-м, отступление на юге до Волги и Кавказского хребта, и тяжелейшие — к тому же могущие показаться «бессмысленными» — сражения под Ржевом, длившиеся четырнадцать месяцев.

В истинно объективном воссоздании противоборства под Ржевом, представляющем в сочинениях Елены Ржевской, раскрывается (именно в силу доподлинной объективности) глубокий смысл войны. Это, по своей внутренней сущности, не война больше-

визма с нацизмом. Хотя подчас в рассказах Ржевской появляются те или иные реалии, связанные с этими политическими феноменами, они воспринимаются как нечто *внешнее*, как оболочка гораздо более масштабного содержания. Вот, скажем, в разговоре переводчицы и обер-лейтенанта как-то совершенно естественно возникают и прусский король XVIII века Фридрих Великий, и Наполеон, а в другом месте тема углубляется в историю еще дальше: «Оказывается, старинный герб Ржева — лев на красном поле... Он стоял на западной окраине русских земель, и не раз на него обрушивался удар врагов, рвущихся в глубь России».

Натиск на Восток особенно усилился начиная с XIV века, и шел он тогда под знаком борьбы Католицизма с Православием; атака нацизма на большевизм — это только исторически-конкретная «форма» многовекового натиска под разными девизами...

Вот мельчайшая и, казалось бы, совершенно незначительная деталь: у рассуждающего о «великолепных успехах» Фридриха Великого в операциях на уничтожение обер-лейтенанта — несмотря на условия фронтового быта — идеально обработанные ногти, что даже побудило переводчицу спрятать свои руки под стол. А с «запредельной» человечностью плачущая при мысли о матери жестокого врага старуха сморкается затем в кончик своего головного платка...

Словом, два несомнимых мира (выявившихся в этих вроде бы не имеющих никакой значительности деталях) — то самое *геополитическое* противостояние, о котором подробно говорилось ранее. И оно, пожалуй, наиболее неоспоримо проявляется в таких вроде бы не заслуживающих серьезного внимания деталях...

Уместно предположить, что Елена Ржевская смогла и увидеть, и оценить значение таких деталей потому, что под Ржевом она *впервые* соприкоснулась не только с вражескими офицерами, но и с людьми, составляющими основу называющегося Россией мира, ибо ранее она знала только по-своему замкнутое и как бы театральное московское бытие...

О жизни до Ржева говорится: «Я всегда жила вместе с товарищами. А теперь — одна среди невиданных раньше людей...

Подумала: если меня убьют, Агашин и Москалев (офицеры разведки. — *В.К.*) скажут: «Была тут переводчица-москвичка» (ничего другого, может, и не скажут, но «москвичка» — обязательно)».

Однако со временем Ржевская убеждается, что, вжившись в военное бытие этих «невиданных» ею людей, стала для них своей, а не «москвичкой».

Необходимо отметить, что тот мир, в котором зреет победа над врагом, — не только собственно *русский* мир в этническом смысле слова. Так, капитан-разведчик Агашин — «с восточной окраины нашей страны, родом из полукочевого племени... Его отец и дед провели жизнь в седле, с табунами диких лошадей... Но в общем-то совершенно неважно, от кого он рожден...» Важ-

но, что он всем существом принадлежит к атакуемому с Запада миру, ради которого в марте 1942-го героически погибает...

Правда, в последнем его деянии, похоже, выразилась особенная повадка его восточного племени... Горстка людей выходит по пробитому речкой оврагу из вражеского окружения. Патроны давно кончились:

«Вдруг из-за поворота вышли немцы. Патруль. Четверо. Все. Конец. Сжалось и ткнулось куда-то сердце.

Агашин завозился, азартно, злобно оттолкнувшись, выбросил себя вперед и с поднятыми окаянно вверх руками шагнул в сторону немцев...

Это было жутко. Агашин, как в горячке, в помешательстве, спешил к ним навстречу. Сдаваться. Немцы с наведенными на него автоматами поджидали. И вдруг он оступился в снег, скособочившись. Мгновенный взмах его руки, занесенной за плечо, взрыв...

— Вперед! — выдохнул Москалев, очнувшись. Мимо убитого Агашина, упавшего ничком... Мимо убитых немцев. Торопясь, пока не подоспели на взрыв другие. По черному снегу — за поворот русла, в ложбинку, по кустам, к снежному валу — к своим...»

Вернемся теперь к книге генерала Гроссмана «Ржев — краугольный камень Восточного фронта». В конце он подробно рассказывает, как армия оставляет Ржев, делая это словно бы совершенно «добровольно»\*. Он иронизирует над цитируемой им нашей военной сводкой о происшедшем 3 марта: «Несколько дней назад наши войска, — говорилось в этой сводке, — начали решительное наступление на Ржев. Сегодня после длительных и тяжелых боев они взяли город». Неадекватность сводки видна из самого ее текста: в ней говорится, что наступление на Ржев началось всего «несколько дней назад», но тут же сказано о «длительных» боях. Верно, что бои шли в течение четырнадцати месяцев, однако наши войска все же не брали город с боем. Составители сводки, по-видимому, сочли неудобным сообщить, что враг сам отдал Ржев, хотя на деле-то в этом выразилось наше подлинное — созревшее к тому времени — *превосходство* над врагом. И всего лишь через четыре месяца начнется Курская битва, в которой это превосходство предстанет с полнейшей, абсолютной очевидностью (в частности, потому, что победа была достигнута *летом*, и нельзя было сослаться на помогавшие-де нам морозы или распутицу).

Генерал Гроссман цитирует также тогдашнюю сводку своего военного командования, в которой было объявлено, в частности, что «армия без всякого вражеского давления сдала территорию, завоеванную в тяжелой борьбе... Движение прошло планомерно. Враг не смог помешать отводу войск... Наши войска понес-

---

\* Правда, он полностью умалчивает о том, что, уходя, его войска оставили за собой выжженную землю, о чем свидетельствует вошедшая 3 марта в Ржев Елена Ржевская.

ли незначительные потери... они чувствуют себя полностью победителями».

Прямо-таки замечательно, что в этой сводке 3 марта 1943 года в сущности признано наше превосходство: вражеские войска «чувствуют себя полностью *победителями*», ибо им удалось с «незначительными потерями» (в ходе отступления) уйти от наших войск, а не быть ими уничтоженными!

А «точка зрения», высказанная 56 лет назад в цитированной ранее *нашей* военной сводке, широко распространена по сей день, и многие люди не знают, что Ржев был отдан врагом, а не взят нашими войсками в ходе «тяжелых боев». И не исключено, что, узнав об этом, кто-либо окончательно уверится в «бессмысленности» приведших к огромным потерям сражений под Ржевом, — ведь враг-то в конце концов ушел сам...

В действительности же он ушел потому, что 2 февраля сокрушительным поражением завершилась Сталинградская битва (через четыре дня, 6 февраля, Гитлер «разрешил» оставить Ржев), а ее исход мог бы быть иным, если бы под Ржевом враг не вынужден был держать примерно 1/6 часть войск Восточного фронта, в том числе и упомянутые ранее 12 дивизий, которые ему пришлось дополнительно отправить летом 1942 года не под Сталинград, а к Ржеву!

Таким образом, был свой объективный *смысл* в ржевском противоборстве и у нас, и у врага. Правда, кардинально различный смысл: сопротивляясь под Ржевом, враг *отдалял* свое поражение, а мы, атакуя его, *приближали* свою Победу.

И, кстати сказать, генерал Гроссман как-то сознавал безнадежность сопротивления под Ржевом: это выразилось во вводном слове его уже цитированной фразы: «Гитлер разрешил, *наконец*, 6 февраля отвести...» и т.д. Сие «наконец» означало, в сущности, что тяжелейшая борьба и «слишком большие» потери под Ржевом только *оттягивали* неизбежное поражение. И в конце концов вынужденный оставить этот город враг в самом деле открыл нам дорогу на Берлин, хотя, разумеется, дорога предстояла долгая и трудная...

### *Итоги войны*

Предшествующее изложение сосредоточилось на событиях 1941—1942 годов, и это вполне естественно, ибо ход войны в 1943—1945 годах воссоздан в обширной литературе о ней гораздо более ясно и правдиво: победы под Сталинградом, под Курском, в Белоруссии и другие незначем было лакировать (они и так великолепны) в доперестроечные времена и затруднительно очернять в конце 1980—1990 годах.

Вместе с тем существует наиболее тяжкая, мучительная проблема, на основе которой (сначала в так называемых «самиздате» и «тамиздате», а с конца 1980-х и в общедоступной литературе)

осуждают и попросту проклинаят «методы» войны в целом — как в период наших поражений, так и в период побед. Речь идет о проблеме *человеческих потерь*. Ныне «демократические» СМИ постоянно внушают, что *цена победы* была непомерной, и потому это как бы даже и не победа...

Потери в самом деле были громадны, но суть нынешней пропаганды заключается в том, что «вину» за них возлагают не столько на врагов, сколько на «своих», прежде всего, разумеется, на Сталина.

Опубликован, например, документ от 27 мая 1942 года — директива Сталина руководству Юго-Западного фронта (командующий — С.К.Тимошенко, член Военного совета — Н.С.Хрушев, начальник штаба — И.Х.Баграмян), начавшего с 12 мая Харьковское сражение, в ходе которого были чрезмерные потери. «Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? — писал Главнокомандующий. — Воевать надо не числом, а умением».

Однако в глазах многих людей этот сталинский выговор Тимошенко и другим предстанет, без сомнения, как лицемерный (хотя дело ведь идет не о показном *публичном* требовании сократить человеческие потери, а о предназначенном для трех адресатов секретном документе).

Знакомясь с иными нынешними сочинениями о войне, читатели волей-неволей должны прийти к выводу, что Сталин да и тогдашний режим в целом чуть ли не целенаправленно стремились уложить на полях боев как можно больше своих солдат и офицеров, патологически пренебрегая тем самым и своими собственными интересами (ибо чем слабее становится армия, тем опаснее для режима)...

И поскольку главная цель многих сочинений, затрагивающих вопрос о потерях нашей армии, заключалась, в сущности, не в исследовании реальных фактов, а в обличении Сталина и режима в целом, предлагались абсолютно фантастические цифры — вплоть до 44 миллионов(!) погибших военнослужащих...

Полнейшая абсурдность этой цифры очевидна. В начале 1941 года население СССР составляло, как выяснено в последнее время посредством тщательнейших и всецело достоверных подсчетов, 195,3 млн. человек, а в начале 1946-го людей *старше 5 лет* в стране имелось всего лишь 157,2 млн.\*; таким образом «исчезли» 38,1 млн. человек из имевшихся в начале 1941-го. Утрата, конечно же, огромна — 19,5% — почти каждый пятый! — из населения 1941 года\*\*. Но в то же время очевидна нелепость утверждения,

---

\* Цифра эта полностью достоверна, ибо, согласно переписи 1959 года, то есть через еще 13 лет, были живы 140 млн. людей, родившихся до 1941 года.

\*\* Более значительная (хотя и не намного) доля населения была утрачена только в катаклизме 1918—1922 годов: из 148 млн. населения начала 1918-го осталось к началу 1923-го лишь 118,5 млн. людей старше 5 лет, а 29,5 млн. исчезли — то есть 19,9%...

что в 1941—1945 годах погибли-де 44 млн. одних только *военнослужащих* — то есть на 6 млн.(!) больше, чем было утрачено за эти годы людей вообще, включая детей, женщин и стариков.

Однако дело не только в этом. Даже и 38,1 млн. «исчезнувших» людей нельзя отнести целиком к жертвам войны, ибо ведь и в 1941—1945 годах люди продолжали уходить из жизни в силу естественной смертности, которая уносила в то время *минимум* 1,3%\* наличного населения за год (не считая младенческой смертности), то есть за пять лет — 6,5%, — что от 195,4 млн. составляет 12,7 млн. человек (повторю: по *меньшей мере* столько).

Кроме того, не так давно были опубликованы сведения о весьма значительной *эмиграции* из западных областей СССР после 1941 года — эмиграции поляков (2,5 млн.), немцев (1,75 млн.), прибалтов (0,25 млн.) и людей других национальностей; в целом эмигранты составляли примерно 5,5 млн. человек.

Таким образом, при установлении количества людей, в самом деле *погубленных войной*, следует исключить из цифры 38,1 млн. те 18,2 млн. (12,7+5,5) человек, которые либо умерли своей смертью\*\*, либо эмигрировали. И, значит, действительные жертвы войны — 19,9 млн. человек, не учитывая, правда, смертности детей, родившихся в годы войны.

Это вроде бы противоречит результату наиболее авторитетного исследования, осуществленного в 1990-х годах сотрудниками Госкомстата, — 25,3 млн. человек. Но в этом исследовании специально оговорено, что имеется в виду «общее число умерших (не считая естественной смертности. — *В.К.*) или *оказавшихся за пределами страны*»\*\*\*, а, как отмечалось выше, за пределами страны оказалось 5,5 млн. эмигрантов. 19,9+5,5 — это 25,4 млн. человек, — что почти совпадает с подсчетами Госкомстата.

Стоит сообщить, что принципиальное согласие с подсчетами Госкомстата высказал наиболее квалифицированный эмигрантский демограф С.Максудов (А.П.Бабенышев), с начала 1970-х годов работающий в Гарвардском университете (США).

И в связи с этой цифрой — 19,9 млн. — особенно дикое впечатление оставляет и приведенная выше цифра 44 млн., имеющая в виду *только* погибших в 1941—1945 годах *военнослужащих*, да и значительно уменьшенная цифра — 31 млн., погибших «красноармейцев», объявленная позднее, в 1995 году, тем же автором (А.И.Солженицыным).

\* Стоит сообщить, что, например, в США смертность составляла в 1920-х годах именно 1,3%, а в 1930-х несколько меньше — 1,1%. Даже в 1980-х годах у нас умирал за год 1% населения.

\*\* Возможно, правда, что часть из этих людей, которые к 1946 году «должны» были умереть в силу естественной смертности, в тяжких условиях войны ушли из жизни несколько раньше, чем это произошло бы в мирное время. Но так или иначе они «не могли» дожить до 1946 года..

\*\*\* См.: Людские потери СССР в Великой Отечественной войне. Сборник статей. СПб, 1995. С.40.

Что же касается гибели военнослужащих, то произведенное в конце 1980—1990 годах скрупулезное исследование всей массы документов воинского учета 1941—1945 годов показало, что потери *армии* составляли 8,6 млн. человек\*. К примерно такой же цифре пришел ранее С.Максудов, исходивший не из недоступной ему, эмигранту, воинской документации, а из *демографических* показателей. И, ознакомившись с опубликованными в 1993 году итогами анализа документов, он выразил удовлетворение и даже удивление тем, насколько «потери в военкоматском учете... близки к их демографической оценке». Таким образом, два исследования, исходящие из разных показателей, дали единый результат, что делает его предельно убедительным.

Нельзя не отметить еще и следующее. С.Максудов в качестве профессионального демографа упрекнул исследователей армейских документов в игнорировании *естественной смертности*, обоснованно утверждая, что собственно *боевые* потери на самом деле были меньше 8,6 млн., так как часть военнослужащих (напомню, что в армию призывались и не очень молодые люди — до 50 лет) умерла в силу естественной смертности, и гибель от рук врага постигла, по расчетам С.Максудова, 7,8 млн. военнослужащих.

Широко распространено представление, что наибольшие боевые потери пришлось на самую молодую часть призванных в армию людей — тех, кому в 1941 году было 18 или не намного больше лет. И это, безусловно, вполне основательное представление, ибо не имевшие существенного жизненного — не говоря, уже об армейском — опыта юноши погибали, конечно, в первую очередь; в этом возрасте к тому же нередко еще слабо развито чувство *самосохранения*.

Но боевые потери этого поколения все же крайне резко преувеличивают. Так, в печати многократно утверждалось, что войны 1921—1923 годов рождения погибли *почти все*.

Между тем есть вполне надежные сведения, что из 8,5 млн. мужчин 1919—1923 годов рождения к 1949 году «уцелели» 5 млн. Выходит, таким образом, что почти *две трети* мужчин этого поколения вообще *не воевали* (что крайне неправдоподобно), ибо, как утверждается, только один из тридцати трех фронтовиков этого возраста «вернулся живым».

Нельзя не сказать и о том, что из «исчезнувших» мужчин указанного возраста далеко не всех можно считать погибшими на фронте. Дело в том, что из 8,8 млн. женщин тех же, 1919—1923 годов рождения к 1949 году осталось 7,6 млн., и, значит, 1,2 млн. из них погибли, то есть только в три раза меньше, чем мужчин. Поскольку в армии находилось менее 0,6 млн. женщин (всех возрастов) и они не ходили в штыковые атаки, ясно, что абсолютное большинство из 1,2 млн. «исчезнувших» молодых женщин погибли от вражеского террора, голода, холода, разрухи и т.п. И

---

\* Гриф секретности снят. С.146.



от тех же причин погибло, по всей вероятности, едва ли меньшее (чем женщин) количество мужчин того же возраста. Ведь в силу самой биологической природы мужчин они в экстремальных ситуациях значительно менее выносливы, чем женщины. Я убедился в этом еще в юном возрасте, в конце войны, когда узнал о том, что из моих многочисленных ленинградских родственников в годы блокады погибли *почти все* мужчины, а женщины, напротив, в большинстве своем выжили. Особенно важно отметить, что речь идет о мужчинах, не находившихся в *армии*; даже те, кто сражались на рубежах блокированного Ленинграда, получали намного большее количество продовольствия, чем гражданские лица в самом городе, и гибель для них была менее вероятной...

Определенная часть «исчезнувших» молодых мужчин оказалась в эмиграции, куда, как уже сказано, ушли 5,5 млн. человек, и естественно полагать, что доля именно молодых мужчин была среди них немалой.

Наконец, в число «исчезнувших» мужчин входят люди особой категории, которую редко учитывают при выяснении потерь, — *гражданские* лица, оказавшиеся на оккупированных территориях, объявленные врагом *военнопленными* и заключенные в соответствующие лагеря. Эта акция привела к тому, что, по германским сведениям, количество военнопленных составляло в целом 5,7 млн. человек, однако очень значительная часть из них не принадлежала к армии.

Тем не менее эти люди разделили страшную судьбу военнопленных, которые по сути дела попросту уничтожались врагом... Нередко можно прочесть, что в этом, мол, виноват опять-таки Сталин, не подписавший в 1929 году Женевскую конвенцию о военнопленных. Эта версия давно и убедительно опровергнута, но тем не менее доверчивым читателям продолжают внушать, что в уничтожении около 4 млн.(!) действительных и мнимых военнопленных виноваты-де не враги, а свои...

Нелепо уже само предположение о том, что Германия была готова соблюдать по отношению к нам какие-либо «принципы»; хотя бы уже из одного факта превращения в военнопленных гражданских лиц ясно: никакие нормы враг не соблюдал.

Вот, например, фрагмент дошедшего до нас предельно четкого приказа от 11 мая 1943 года по 2-й германской танковой армии: «При занятии отдельных населенных пунктов нужно немедленно и внезапно захватывать имеющихся мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если они могут быть причислены к способным носить оружие... объявить, что они впредь будут считаться военнопленными и что при малейшей попытке к бегству будут расстреляваться».

Судьба военнопленных и тех, кого неправомерно объявили военнопленными, была настолько чудовишной, что даже некоторые *германские* руководители различных рангов пытались изменить положение, разумеется, не из гуманности, а по прагмати-

ческим соображениям. Так, уже на девятнадцатый день войны, 10 июля 1941 года, чиновник министерства по делам восточных территорий Дорш, пораженный увиденным, докладывал из захваченного врагом еще 28 июня Минска своему патрону — Розенбергу: «В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на территории размером с площадь Вильгельмплац\*, находится приблизительно 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских заключенных. Заключенные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят... живут по 6—8 дней без пищи, в состоянии вызванной голодом животной апатии...» Между тем, продолжал Дорш, «огромную работу в тылу фронта невозможно выполнить только с помощью немецкой рабочей силы, а, во-вторых... изо дня в день возрастает угроза эпидемии...» (этими соображениями и продиктована «забота» о пленных).

Позднее, 28 февраля 1942 года, уже и сам Розенберг писал начальнику штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Кейтелю: «Война на Востоке еще не закончена, и от обращения с военнопленными в значительной мере зависит желание сражающихся красноармейцев перейти на нашу сторону... Эта цель пока не достигнута. Напротив, судьба советских военнопленных в Германии стала трагедией огромного масштаба. Из 3,6 млн. (сюда, без сомнения, причислены и захваченные к тому времени гражданские лица. — *В.К.*) в настоящее время вполне работоспособны только несколько сот тысяч. Большая часть их умерла от голода или холода... во многих случаях, когда военнопленные не могли на марше идти вследствие голода и истощения, они расстреливались на глазах приходившего в ужас гражданского населения... В многочисленных лагерях вообще не позаботились о постройке помещений для военнопленных. В дождь и снег они находились под открытым небом. Им даже не давали инструмента, чтобы вырыть себе ямы или норы в земле... Можно было слышать рассуждения: «Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас»...»

Тогда же, в феврале 1942-го, «военно-экономический отдел» верховного командования «сетовал» в официальном циркуляре: «Нынешние трудности с рабочей силой не возникли бы, если бы своевременно были бы введены в действие советские военнопленные. В нашем распоряжении находилось 3,9 млн. военнопленных (разумеется, вместе с гражданскими лицами. — *В.К.*), теперь их осталось всего 1,1 млн. Только в декабре 1941 г. погибло полмиллиона...»

Но все подобные возражения ничего не могли изменить, так как армия была с самого начала нацелена не только на захват страны, но и на *уничтожение* ее жизненной силы, и, значит, прежде всего на уничтожение тех, кто способен носить оружие.

---

\* Площадь в центре Берлина, занимающая около 30 тыс. кв. метров (то есть на одного пленного приходилось немногим более 1/4 кв. метра...).

Начальник армейской разведки и контрразведки Германии адмирал Канарис еще 15 сентября 1941 года писал о «вредных последствиях» того «обращения с военнопленными», которое господствует в германской армии и которое он определял так: «...военная служба для советских граждан отнюдь не рассматривается как выполнение воинского долга, а ...характеризуется в общем и целом как преступление. Тем самым отрицается применение военно-правовых норм». И благодаря этому, предупреждал Канарис, «облегчается мобилизация и сплочение всех внутренних сил сопротивления России в единую враждебную массу».

Однако подобные предупреждения оставались втуне. В основе действий вражеской армии лежало «геополитическое» убеждение, согласно которому война ведется против «азиатских недочеловеков». Даже 26 октября 1943 года, то есть уже после Курской битвы, начальник по делам военнопленных при верховном командовании генерал Грневитц объявил в своем очередном приказе: «Слабодушные, которые будут говорить о том, что при теперешнем положении надо обеспечить себе путем мягкого обращения «друзей» среди военнопленных, являются распространителями пораженческих настроений и за разложение боеспособности привлекаются к судебной ответственности».

В «обращении» с военнопленными, то есть на самом деле со всеми мужчинами призывного возраста, выражалось — пусть и в особо крайней форме — отношение к завоевываемой стране в целом. И, кстати сказать, преобладающее большинство власовцев и других согласившихся служить Германии людей выбирали этот путь, без сомнения, как альтернативу в высшей степени вероятной гибели в лагере для военнопленных. Отмечу еще, что в свете вышеизложенного нынешнее стремление некоторых «патриотов» как-то связывать себя (хотя бы в одной только «символической») с германским рейхом предстает по меньшей мере как дикость...

16 июля 1941 года, когда враг, увы, уже захватил огромные территории СССР, Гитлер дал недвусмысленное указание: «Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее замирено. Лучше всего этого можно достичь путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд».

Два месяца спустя, 16 сентября, начальник штаба верховного главнокомандования Кейтель издал приказ, в котором выразил возмущение «мягкостью» армии и потребовал «немедленно принять самые суровые меры...» «Следует учитывать, — объяснял генерал-фельдмаршал, — что на указанных территориях (СССР. — В.К.) человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью», — например, 50—100 казненных «в качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата» («Совершенно секретно!...», с.396).

И, как уже было показано, только примерно треть человеческих потерь в годы войны составила *боевые* потери армии.

Не приходится уже говорить о тотальном разрушении всех условий человеческого существования — от жилищ до электростанций, от заросших бурьяном и кустарником полей до развороченных с помощью спецсредств железнодорожных путей и т.д., и т.п. Стране был нанесен поистине беспрецедентный урон и ущерб...

\* \* \*

Но вернемся к проблеме *боевых* потерь. Как уже сказано, тщательно работающий демограф С.Максудов доказывает, что наша армия потеряла менее 8 млн. человек — вместе с погибшими в плену, которых было, по его подсчетам, 1,2 млн. человек. Напомним, что С.Максудов делает поправку на естественную смертность военнослужащих (и в том числе пленных). Но в то же время он, как представляется, значительно преуменьшил количество военнослужащих, погибших в плену.

Согласно германским сведениям (которым нет оснований не доверять, поскольку речь идет о ведомственных отчетах, а не о какой-либо «пропаганде»), в плену погибло около 4 млн. человек, правда, значительная их часть не принадлежала к военнослужащим, но, по-видимому, 2 с лишним миллиона из них были пленными солдатами и офицерами. И общее число потерь армии (вместе с погибшими в плену) составило от 8 до 9 млн. человек...

Конечно, это страшная цена победы, но тем прискорбнее читать сочинения, в которых и это число намного преувеличивают с помощью бесосновательных и попросту несуразных «доводов». Такова, например, изданная в 1991 году книжка Бориса Соколова с широкозахватным заглавием «Цена победы. Великая Отечественная: неизвестное об известном». Автор объявляет, что в 1941—1945-м погибло 14,7 млн. военнослужащих и около 15 млн. гражданских лиц.

Один из главных «источников» первой цифры — некий полковник Калинов, похитивший какой-то сугубо секретный документ, перебежавший в 1949 году на Запад и на следующий год издавший там книгу «Советские маршалы имеют слово», то есть предшественник нынешнего Резуна-«Суворова».

Но еще «замечательнее» другое. Б.Соколов пишет: «На 1 января 1941 г. население СССР насчитывало 196,6 млн. человек, а на начало 1946 г. — всего 167 млн. Чистая убыль населения составила за военные годы 29,6 млн. человек»\*.

Существует своего рода закономерность: если за решение задачи берется не имеющий для этого никаких серьезных оснований автор, его «решение» как-то нелогично оказывается одновременно и *преувеличивающим*, и *преуменьшающим* реальные потери.

Б.Соколов совершенно непонятным образом ухитрился «забыть», что, во-первых, и в 1941—1945 годах продолжали все же рождаться дети, и, по вполне достоверным сведениям, к 1946

\* Соколов Б. Цена победы. М., 1991. С.12.

году в стране имелось 13,3 млн. детей моложе 5 лет, а значит (о чем уже говорилось выше), «убыль» населения за годы войны была намного больше — на 8,5 млн.(!), — чем он утверждает. А во-вторых, этот «исследователь» потерь «забыл» о том, что люди продолжали умирать в 1941—1945 годах своей смертью, и в силу тогдашнего уровня естественной смертности за пять лет должно было умереть минимум 12,7 млн. человек, и, следовательно, можно отнести к военным потерям не более 25,4 млн., к тому же 5,5 млн. из них не умерли, а эмигрировали.

Таким образом, «подсчет» Соколова поистине курьезен: он, как это ни нелепо, и преуменьшил человеческие потери на 8,5 млн. и преувеличил их на 9,7 млн.! Тем не менее подобная нелепица опубликована...

Наиболее же возмутительна извлеченная Соколовым из этой нелепицы цифра погибших военнослужащих — 14,7 млн.: он тем самым «умертвил» по меньшей мере 6 млн. наших солдат и офицеров... К сожалению, эта цифра присутствует и в изданной годом позднее соколовского сочинения книжке профессиональных историков А.Н.Мерцалова и Л.А.Мерцаловой. Они сначала отвергают «сведения» из совсем уж смехотворных публикаций, вещающих «о 14-кратном превосходстве потерь РККА по сравнению с вермахтом...», и тем не менее им «наиболее близкими к истине представляются сведения... — около 14 млн. погибших... Потери вермахта погибшими, по германским данным, составляют свыше 4 млн., в том числе на Восточном фронте — 2,8 млн. Соотношение — 5:1»\*.

Итак, на каждого убитого вражеского военнослужащего приходится пятеро наших... Есть от чего прийти в отчаяние. Однако, во-первых, 14 млн. — это не имеющее никакой реальной аргументации число. Во-вторых, цифра потерь врага в 2,8 млн. — это только точно учтенные смерти, к которым необходимо добавить «без вести пропавших», но не оказавшихся в плену. В-третьих, на Восточном фронте воевали помимо немцев миллионы других европейцев.

И в тщательно подготовленном коллективном исследовании (Гриф секретности снят. М., 1993) потери врага, включая его союзников, на Восточном фронте исчислены на основе *итоговых германских подсчетов*, сделанных в мае 1945 года: это 4,3 млн. человек, считая и 0,6 млн. умерших в плену. То есть вовсе не в 5, а в 2 раза меньше, чем потери нашей армии.

При этом необходимо учитывать, что примерно *четверть* наших армейских потерь — это не павшие в бою и не умершие от полученных в бою ран, а уничтоженные врагом беспомощные военнопленные (не считая объявленных военнопленными гражданских лиц).

---

\* Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. Довольно о войне? Воронеж, 1992. С.93, 94.

Итак, враг потерял в боях с нами 3,7 млн. военнослужащих — это не считая 0,6 млн. умерших в нашем плену, а наша армия (без погибших в плену) — 6,5 млн.; именно к этой цифре пришел тщательно работающий и независимый демограф С.Максудов.

Да, наших воинов погибло в боях в 1,7 раза больше, чем вражеских, и это объясняется главным образом более высоким уровнем выучки, дисциплины и технической оснащенности (которую обеспечивала промышленность всей Европы) армии врага.

Что же касается фантастических цифр наших боевых потерь, о которых шла речь, они продиктованы экстремистской идеологической тенденциозностью. Вот, например, уже упомянутые А.Н. и Л.А.Мерцаловы, говоря о крайне небольших, в сравнении с нашими, потерях войск США и Великобритании, объясняют это *сталинским руководством* (то есть, если бы у нас было такое руководство, как в США и Великобритании, и потери бы были во много раз меньше).

Однако, как уже было показано, Великобритания и тем более США до июня 1944 года — то есть до последних 11 месяцев великой войны — фактически *не участвовали* в ней, кроме локальных стычек на периферии этой войны.

Бои английских войск с итало-германскими при Эль-Аламейне определены в трактате Черчилля «Вторая мировая война» как *великая битва*, но там же он сообщает: «Мы потеряли у Эль-Аламейна 10 тысяч человек за 12 дней» — и напоминает (это можно даже понять как скрытую иронию), что в Первую мировую войну, в июле 1916 года, «на Сомме (река в Северной Франции. — В.К.) за *первый же день* мы потеряли 60 тысяч».

А ведь Эль-Аламейн — самое значительное сражение до высадки союзников во Франции 6 июня 1944 года, то есть тогда, когда мощь германской армии была уже несравнима с ее мощью 1941—1943 годов, не говоря уже о том, что на Восточном фронте Германия воевала с гораздо большими усилиями, чем на Западном, и во второй половине 1944 — первой трети 1945 года.

Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать количество наших боевых потерь с потерями Великобритании и США.

И последнее. Поскольку война против нас в 1941—1945 годах была направлена не только (и даже не столько!) на захват территории, но и на *уничтожение* (о чем, между прочим, намекнул даже *пленный* германский офицер, о котором рассказала Елена Ржевская), гибель гражданских лиц совместно с гибелью пленных в два с лишним раза(!) превысила *боевые* потери армии — 6,5 млн. и 13,4 млн. ... Можно даже утверждать, что люди, находившиеся в армии, в воинском строю, были более «защищены» от гибели, чем те, кто находились под игом врага...

Поэтому общий урон, нанесенный стране, был чрезвычайно, трагически тяжким.

Но, сознавая все это, не следует в то же время полагать (как многим ныне свойственно), что только наша страна понесла в

годы войны громадные людские потери. Как уже показано, жертвами войны можно считать 19,9 млн. наших соотечественников. Конечно, цифра колоссальная. Однако демографы Запада подсчитали, что в результате «войны на уничтожение» население их стран (в целом, включая Германию и ее союзников) потеряло 17,9 млн. человек (см. переведенный на русский язык сборник: Итоги Второй мировой войны. М., 1957. С.601), то есть в абсолютных цифрах не намного меньше, чем население СССР, — хотя *доля* погибших относительно общего предвоенного количества людей у нас (195 млн.) и в странах Запада (300 млн.), конечно, значительно больше. Но это обусловлено силой нашего сопротивления врагу и тем, что фактически именно нам принадлежит Победа над ним.

\* \* \*

Как уже говорилось, с середины 1940-х до середины 1980-х годов наша историография войны во многом лакировала ход событий, особенно 1941—1942 годов, а кроме того, подвергала резкой критике зарубежных историков, предлагавших иную картину. Но к концу 1980-х множество авторов (очень значительная часть которых ранее публиковала вполне «официозные» сочинения) занялись не только всяческим очернением первых военных лет, но и *умалением* побед 1943—1945 годов. Широко издаются в последнее десятилетие на русском языке и сочинения зарубежных авторов, каковых нередко безудержно восхваляют за то, что-де благодаря им мы наконец сможем узнать и понять нашу собственную историю...

Приведу один, но весьма многозначительный пример. В изданном в Москве в 1992 году сочинении Н.Верта (в 1990-м оно было издано в Париже) «История Советского государства» утверждается следующее: «В конце 1943 г., после произошедшего под Курском перелома на советско-германском фронте, высадки англо-американского десанта в Италии и свержения режима Муссолини, началось радикальное изменение политической и военной обстановки в мире. Теперь... победа стала реальной перспективой»\*.

Итак, под Курском произошел перелом на *советско-германском* фронте (а не перелом в ходе войны *в целом*), к которому по меньшей мере приравнивается — по своему значению — высадка десанта союзников в Италии, приведшая, мол, к победе над фашизмом в этой стране. Стоит сразу же напомнить, что итальянского диктатора свергло 25 июля 1943 года его *собственное окружение*, решившее, что после краха Германии под Курском самым разумным будет порвать отношения с Гитлером, с чем не соглашался Муссолини. Но всего лишь через два месяца, 23 сентября, Муссолини вернулся к власти с помощью германских войск и

---

\* Верт Н. История Советского государства. 1900—1991. М., 1992. С.288.

правил — хотя и под их эгидой — более полутора лет, до 27 апреля 1945(!) года. Н.Верт умалчивает об этом явно для того, чтобы преувеличить последствия «высадки англо-американского десанта в Италии».

Я обратился именно к сочинению Н.Верта далеко не случайно. Автор предисловия к его изданию на русском языке выразил надежду, что «книга Н.Верта станет таким же незаурядным событием... каким была книга его отца Александра Верта «Россия в войне 1941—1945 гг.», до сих пор остающаяся одной из лучших... книг о минувшей войне».

Отец Н.Верта, блестящий журналист, пробыл в России все военные годы, нередко находился вблизи фронта, и книге его действительно присущи честность и объективность. И он недвусмысленно писал в этой изданной в 1964 году книге, что, «выиграв Курскую битву, СССР фактически выиграл войну... Сталинград был поворотным пунктом в политико-психологическом плане, а поражение немцев под Курском и Белгородом — поворотным пунктом с чисто военной стороны...» Между тем «в чисто военном отношении значение итальянской кампании (англо-американской. — В.К.) было ничтожным»\*. Кстати сказать, выше уже цитировался секретный доклад военного министра США Стимсона Рузвельту, в котором высадка союзников в Италии определена как «булавочный укол». И, приравнивая Курскую битву к этой высадке, Н.Верт предал, таким образом, не только истину, но и своего родного отца Александра Верта... Тем более нельзя без возмущения и презрения читать уже цитированное «туземное» предисловие к «рекомендованному Комитетом по высшей школе Миннауки России в качестве учебного пособия» сочинению Н.Верта — предисловие, в коем, в частности, прямо-таки лакейски заявлено, что сие сочинение — «бесспорно наиболее основательное изложение отечественной(!) истории XX века»...

Высадка в Италии имела бы существенный смысл, если бы союзники уничтожили находившиеся там германские войска или хотя бы изгнали их с итальянской территории и двинулись дальше, к Германии. Однако германские войска в Италии капитулировали лишь 29 апреля 1945(!) года и вовсе не из-за победоносности союзников, а потому, что четырьмя днями ранее, 25 апреля, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Берлина...

Между прочим, британский историк Лиддел Гарт обоснованно сделал в свое время следующий вывод: «Результаты вторжения в Италию были весьма плачевными. За четыре месяца союзные войска продвинулись только на 70 миль» (112 км — то есть продвижение на 0,9 км в день...). И, по мнению историка, «главная причина заключалась в порочности самой доктрины ведения

---

\* Верт А. Россия в войне 1941—1945 гг. М., 1967. С.495, 530.



войны, в которой господствовал принцип, характерный для осторожного банкира: «Ни шагу вперед без гарантии успеха» Однако, как было показано ранее, дело обстояло сложнее: союзники стремились к «гарантии успеха» не в войне с Германией, а в *общем итоге* войны. И по меньшей мере со времени Курской битвы смертельной угрозой в глазах союзников являлась не Германия, а СССР-Россия. Соответствующие высказывания Черчилля приводились, но важно продемонстрировать и «позицию» США.

В недавнем, основанном на тщательном анализе военно-политических документов (в том числе строго засекреченных ранее) исследовании американского историка войны Уоррена Кимболла показано, что уже после победы под Сталинградом руководство США беспокоила выявившаяся возможность: «Красная Армия добьется такого перелома, что сумеет победить немцев еще до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои войска в Западную Францию». И далее Кимболл — исходя опять-таки из документов того времени — пишет, что «после битвы под Курском... стало ясно, что советские войска в состоянии победить Германию *и в одиночку*» (с.363). И именно тогда, в августе 1943-го, было принято *реальное* (а не дипломатически-пропагандистское) решение о создании второго фронта, истинная цель которого заключалась не в разгроме германской армии (ведь он уже по сути дела совершился под Курском), а в том, чтобы пресечь или хотя бы существенно ограничить вторжение России в Европу.

О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует, например, «Меморандум 121», составленный Управлением стратегических служб (УСС, позднее преобразованное в ЦРУ) США в конце августа 1943 года, то есть после Курской битвы. Директор УСС (в будущем — первый директор ЦРУ) генерал Донован представил этот «Меморандум» (кстати сказать, рассекреченный только в 1978 году!) в качестве программы действий вооруженных сил союзников в Европе. И вот как обосновывалась в этой программе «гарантия успеха» вторжения во Францию: «Расстояние от предполагаемого западно-европейского фронта до Центральной Германии короче, а транспортные условия лучше, чем от Западной России до Центральной Германии. К тому же западные союзники имеют заметное превосходство над Россией (именно над Россией! — *В.К.*) в воздухе»\*.

Сама постановка вопроса недвусмысленно говорит о том, что действительная цель второго фронта заключалась не в разгроме Германии, а в недопущении России в Центральную Германию — и, конечно, Европу в целом.

Но разработчики программы, рассуждая о более коротком расстоянии и лучших дорогах, ошиблись, ибо *боеспособность* огромных (2,8 млн. человек) войск, вторгшихся во Францию, была

---

\* Цит по книге: Безыменский Л. Тайный фронт против второго фронта. М., 1987. С.177.

весьма и весьма низкой. Так, только через четыре с половиной месяца эти войска смогли, пройдя 550 км, достичь Германии (то есть средняя скорость движения — 4 км в день). Между тем наши войска, начав вскоре после вторжения союзников во Францию, 23 июня 1944 года, широкое наступление от восточной границы Белоруссии, 28 июля уже достигли Вислы около Варшавы!

Германский историк Пауль Карелл писал об этом наступлении наших войск: «За пять недель (выделено мной. — В.К.) они прошли с боями 700 километров (то есть 20 км за день! — В.К.) — темпы наступления советских войск превышали темпы продвижения танковых групп Гудериана и Гота по маршруту Брест — Смоленск — Ельня во время «блицкрига» летом 1941 года... К концу июля 1944 года линия фронта проходила у границ Восточной Пруссии и по Висле... «На Берлин!» — смеясь, кричали советские солдаты. Поднимался занавес перед последним актом войны».

Стоило бы, конечно, привести еще и сведения о том, что германские вооруженные силы на Востоке в *несколько раз* превосходили те, с которыми сталкивались союзники на Западе, но в принципе эта сторона дела широко известна, и я не буду перегружать свое сочинение цифрами (которых в нем и так немало).

К тому же важнее сказать о другом. В октябре 1944 года союзники, достигнув *границы* Германии, встретили здесь намного более сильное и упорное сопротивление, чем ранее, и в течение двух месяцев почти не двигались вперед, а 16 декабря германские войска неожиданно начали контрнаступление — так называемую Арденнскую операцию — и сумели отбросить союзников на 90 км к западу. Напомню, что на *нашем* фронте германская армия не имела возможности наступать уже *полтора года* — со времени Курской битвы. Как констатировал генерал Гудериан, с августа 1943 года на Восточном фронте «немецкая армия постоянно отступала».

В результате германского удара союзники оказались в самом критическом положении. Лиддел Гарт в трактате «История Второй мировой войны» констатировал, что германское наступление «вызвало сильнейшую панику»; о том же писал в своей «Второй мировой войне» Алан Тейлор: «...что-то вроде паники возникло на стороне союзников. В штабах за сотни миль (! — В.К.) от линии фронта прекращали работу, готовясь к эвакуации...» К концу декабря союзники вроде бы собрались с силами, но 1 января 1945-го германские войска нанесли им новый удар южнее Арденн — в районе Страсбурга.

И 6 января Черчилль вынужден был обратиться со своего рода покорнейшей просьбой к Сталину: «На Западе идут очень тяжелые бои... можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января...»

Эта просьба, казалось бы, была совершенно нелогична; выше приводились высказывания Черчилля, из которых явствует, что он более всего был озабочен «стремительным продвижением» России на Запад, — и вдруг он просит именно о таком «продви-

жении!»! Но поскольку в штабах союзников, находившихся «за сотни миль от линии фронта», готовились к эвакуации, неожиданный поступок Черчилля вполне можно понять: он опасался — и, надо думать, не без оснований, — что германское контрнаступление способно вынудить союзников убраться назад через Ла-Манш в Великобританию. А если бы это произошло, союзники вообще утратили бы возможность помешать России занять Европу... И Черчилль, прося Сталина о наступлении, в сущности, выбирал меньшее из двух зол: новый мощный русский удар, полагал он, окончательно ослабит Германию, и союзники смогут удержаться на достигнутых рубежах, а затем двинуться к Востоку. И Черчилль, надо признать, рассчитал правильно.

Сталин приказал начать широкое наступление уже 12 января — всего через пять дней после просьбы Черчилля. И, как вспоминал позднее начальник оперативного отдела штаба германского Западного фронта генерал-лейтенант Циммерман, после того, как 12 января 1945-го «началось большое русское наступление, Верховное командование вынуждено было перебросить войска с Западного фронта на Восточный, причем это коснулось и группировки, сражавшейся в Арденнах. 6-я танковая армия СС (а это было наиболее боеспособное соединение. — В.К.) в полном составе была выведена из боя и направлена на Восток»\*.

Правда, Сталин едва ли предпринял наступление ради помощи союзникам; он сам стремился (о чем еще пойдет речь) продвинуть войска достаточно далеко на Запад...

Но обратим внимание на поистине разительный контраст: с 12 января по 3 февраля 1945 года — всего за *три недели* — наши войска прошли 450 км (те же 20 км за день) от Вислы до Одера, в нескольких пунктах форсировали эту последнюю водную преграду и оказались всего в 60 км от Берлина! Между тем войска союзников к 3 февраля еще не двинулись с места и только через четыре с половиной недели, 7 марта, пройдя несколько десятков километров, достигли Рейна, и от Берлина их отделяло не 60, а около 500 км. Уже хотя бы из этого ясно, кто был *победителем* в войне.

Конечно же, найдутся полемисты, которые закричат, что победа достигнута слишком дорогой, страшной ценой, и потому она как бы и не победа... Но, во-первых, военная победа всегда бывает дорогой, а, во-вторых, излюбленное многими авторами сравнение наших потерь с потерями союзников, потерями, которые при этом сравнении оказываются совершенно незначительными, представляет собой результат незнания фактов или же прямой фальсификации. Потери союзников действительно были микроскопическими, но лишь до того момента, когда германские войска стали упорно сражаться с ними вблизи рубежей своей страны, то есть до октября 1944 года.

---

\* Роковые решения. М., 1958. С.282.

Когда приводят *общую* цифру потерь союзников в 1939—1945 годах, как бы забывают о том, что до 1944 года они, в сущности, *не воевали*. Между тем в «период после сентября 1944 года», писал добросовестный историк Лиддел Гарт, «союзные армии» (в них были вовлечены помимо американцев и англичан солдаты из других стран, главным образом из Франции) «потеряли в боях за освобождение Европы 500 тыс.»\*.

Наша армия за это время (октябрь 1944 — май 1945-го) потеряла (от всех причин, включая болезни, несчастные случаи и т.д.) 1 млн. 39 тыс. 204 человека\*\*. Цифре этой можно полностью доверять — в отличие от цифр потерь в 1941—1942 годах, когда было не до учета...

Итак, наши потери в тот период, когда союзники *действительно* сражались с германской армией, только в два раза больше. И, если сопоставить *свершенное* за это время (октябрь 1944 — май 1945) нашими войсками и, с другой стороны, войсками союзников, естественно прийти к выводу, что именно потери последних были *непомерно большими*. То есть очень дорого обошлось союзникам их стремление продвинуться возможно дальше на Восток...

И последнее. 3 февраля 1945 года — именно в тот день, когда наши войска форсировали Одер и оказались в 60 км от Берлина, — началась Крымская (Ялтинская) конференция, на которой Рузвельт и — с особенным сопротивлением — Черчилль *вынуждены* были согласиться, по существу, со всеми требованиями Сталина, относящимися к устройству послевоенного мира (впоследствии это, как уже сказано, назвали «предательством» интересов Запада).

В этом вынужденном согласии предметно, неоспоримо выразилось признание СССР-России победительницей. Нельзя не добавить еще следующее: союзники, о чем шла речь выше, сознавали, что, даже присоединив к себе германские войска, они не смогут победить своего соперника...

Впрочем, в связи с этим встают уже существеннейшие проблемы *послевоенной* истории.

### *Приложение. Война и евреи*

Эта тема занимает немалое место в литературе о войне, а подчас даже оказывается в центре внимания, и потому неправильно было бы ее здесь обойти.

Очень широко распространено, почти общепринято представление об исключительности, беспрецедентности потерь, понесенных в годы войны еврейским населением, хотя на деле другим «неприемлемым» для Третьего рейха народам — восточным

\* Простой расчет показывает, что, если бы союзники действительно воевали не с октября 1944-го, а с сентября 1939-го по май 1945 года, их потери составили бы 5,6 млн. человек.

\*\* Гриф секретности снят. С.146.

славянам, полякам, сербам, цыганам — был нанесен в те годы едва ли менее значительный урон.

Конечно, если считать, что погибли 6 миллионов евреев — то есть 58% предвоенного еврейского населения Европы и СССР (10,3 млн.) и 36% тогдашнего еврейства в целом (16,7 млн.), доля потерь действительно оказывается ни с чем не сравнимой. Однако цифра 6 миллионов имеет, по существу, «символическое» значение, наглядно запечатленное, например, в созданном в Париже мемориале, где «возложен камень на символической могиле шести миллионов мучеников. Шесть прожекторов рассекают тьму над шестью углами шестиугольного камня», то есть звезды Давида.

Одна из попыток конкретного обоснования цифры 6 миллионов сделана в вызвавшей в свое время большой резонанс книге Леона Полякова и Иосифа Вуля «Евреи и Третий рейх» (1955). По подсчетам, предложенным в этой книге, преобладающее большинство погибших — 5 миллионов из 6 — это евреи четырех восточно-европейских стран — Польши, Румынии, Литвы, Латвии — и СССР. В книге утверждалось, что в четырех названных странах было 4,4 млн. евреев, и 3,5 млн. из них погибли, а на *оккупированной* рейхом территории СССР — 2,1 млн., из которых погибло 1,5 млн. (на остальной территории Европы погиб 1 млн. из имевшихся там 1,5 млн. евреев).

Как ни странно, авторы «не заметили», что, согласно их подсчетам, перед войной из 10,3 млн. евреев Европы и СССР 5,9 млн. находились западнее границы СССР, а в его границах, следовательно, 4,4 млн.; однако такое количество евреев оказалось в СССР только *после* присоединения к нему в 1939—1940 годах восточных земель Польши (то есть западных территорий Украины и Белоруссии) и Румынии (Молдавия), а также Литвы и Латвии (ранее еврейское население СССР не превышало 3 млн. человек). С другой стороны, после указанного присоединения в четырех восточноевропейских странах уже не имелось 4,4 млн. евреев. Так, в изданном в 1992 году в Иерусалиме сборнике документов и материалов «Уничтожение евреев в СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944)» показано, что на присоединенных в 1939—1940 годах к СССР землях было 2 150 000 евреев, то есть как раз столько, сколько, согласно книге Л.Полякова и И.Вуля, оказалось на *оккупированной* территории СССР (а в Польше и Румынии осталось всего 2,3 млн. евреев). И, как утверждает в иерусалимском сборнике, «из-за стремительного захвата этих (ближайших к границе СССР. — В.К.) земель немецкой армией лишь немногие евреи сумели бежать, эвакуироваться», и именно они составили преобладающее большинство погибших на территории СССР евреев.

Между тем Л.Поляков и И.Вуль утверждали, что в четырех восточноевропейских странах имелось 4,4 млн. евреев, а на *оккупированной* территории СССР — 2,1 млн., и из этих (в сумме) 6,5 млн. погибло 5 млн. Но вполне ясно, что 2 млн. из этих 5 млн. засчитаны *дважды* — и в качестве граждан четырех восточноевропейских стран, и в качестве новых граждан СССР...

Это, надо думать, «заметил» Г.Рейтлингер, автор книги на ту же тему под названием «Окончательное решение» (1961), и счел возможным предположить, что всего погибло не 6 млн., а 4,1 млн. евреев. Правда, такому заключению решительно противоречит израильская статистика, утверждавшая, что к 1946 году уцелело только 11 из 16,7 млн. евреев мира; их количество сократилось, следовательно, на 5,7 млн. человек и медленно восстанавливалось, достигнув к 1967 году, то есть через 20 с лишним лет, 13,3 млн.\*

Однако затем евреи вроде бы пережили настоящий «демографический взрыв», и еще через 20 лет, к 1987 году, их количество, согласно статистике, достигло 17,9 млн.\*\*, то есть выросло на 34,5%. Примерно такой же прирост имел место тогда, скажем, в Азербайджане, чье население с 1969 по 1989 год увеличилось на 37,5%. Но этот прирост смог осуществиться в силу азербайджанской *многодетности*: в 1989 году около 40% семей Азербайджана имели четырех и более детей!

Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что подобная многодетность присуща еврейскому населению, исключая разве только сравнительно небольшую его часть — азиатских и африканских евреев. В основном же воспроизводство еврейского населения близко к европейскому стандарту, а население Европы (включая европейскую часть СССР) за эти 20 лет — с 1967 по 1987 год — выросло менее чем на 9%, к тому же частично этот прирост шел за счет иммигрантов из других континентов.

Итак, прирост евреев за 1967—1986 годы почти на 35% — совершенно неправдоподобное явление, и остается прийти к выводу, что количество евреев и в 1945-м (11 млн.), и в 1967 году (13,3 млн.) было очень значительно *занижено* статистиками, дабы не колебать версию о 6 миллионах погибших. А в 1987 году еврейские статистики сочли уместным (ведь дело уже давнее), да и важным (надо же соплеменникам знать реальное положение!) опубликовать подлинную цифру. Но она ясно показывает, что потери составляли не 6 и даже не 4 миллиона.

Не исключено следующее возражение: по сведениям именно *1987 года*, в Европе (включая СССР) было 4,7 млн. евреев, между тем как перед войной — 10,3 млн., и разве не свидетельствует сокращение еврейского населения Европы на 5,6 млн. о гибели 6 млн.? Однако перед войной за *пределами Европы* имелось всего лишь 6,4 млн., а в 1987-м — 13,2 млн. евреев, то есть почти на 7 млн. больше, чем до войны! И нет сомнения, что преобладающее большинство из этих 7 млн. — переселенцы; так, даже в Израиле (где рождаемость значительно выше, чем в диаспоре, уже хотя бы потому, что здесь немало недавних переселенцев из Африки и Азии) в 1983 году иммигранты составляли все же намного более половины еврейского населения (примерно 2 млн. из 3,3 млн.).

\* The World Almanac and Book of Facts. N. Y., 1968. P.178, 268.

\*\* The 1988 Information Please Almanac. Boston, 1988. P.400.

Так что резкое сокращение количества евреев в Европе обусловлено в основном не потерями, а очень значительным *перемещением* еврейского населения (в абсолютном большинстве в страны Америки и Израиль).

\* \* \*

Нет, разумеется, никакого сомнения в том, что потери евреев в годы войны были громадными. Но постоянно пропагандируемые цифры все же очень резко завышены ради того, чтобы превратить еврейскую трагедию в своего рода центр, главный узел мировой трагедии; подчас трагедию великой войны вообще пытаются свести к трагедии евреев...

Возможно, точные подсчеты еще будут произведены, но, исходя из вышеизложенного, уместно сделать вывод, что потери евреев едва ли столь уж значительно отличались от потерь других неприемлемых для Третьего рейха народов.

Так, население РСФСР, которое на 83% состояло из русских, сократилось за годы войны более чем на 15 млн.(!) человек, то есть на 14%, и поскольку оккупации подверглись главным образом *русские* области РСФСР, это было в основном сокращение русского народа, которое вряд ли представляло собой значительно меньшую долю, чем доля погибших евреев (в целом).

Вполне вероятно возражение, что «расовая неприемлемость» евреев для Третьего рейха была более категорической, чем какого-либо из славянских народов. Но ведь таковым же было отношение к *цыганскому* народу, таборы которого нередко без всяких оличностей сжигались (включая детей...), однако о трагедии цыган говорится несопоставимо меньше, чем о еврейской трагедии, хотя, казалось бы, этот яркий народ хорошо известен во всем мире...

Могут напомнить, что евреи в отличие от цыган дали миру множество всем известных людей самых разных профессий и занятий, и поэтому еврейская трагедия находится в центре внимания. Но уместно напомнить и другое: кроме педагога и писателя Януша Корчака (Генрика Гольдшмидта) затруднительно назвать каких-либо *широко известных* до войны евреев, погибших в Третьем рейхе, что также противоречит представлению о тотальной гибели...

Словом, очень многое из того, что написано на тему «война и евреи», преследует определенные *идеологические* цели и не может восприниматься в качестве объективных исследований совершившегося, начиная со статистики погибших.

### ***Поэзия военных лет*** **(вместо заключения)**

В этой книге многократно и в различных аспектах ставился вопрос о внутренней связи отечественного творчества — прежде всего творчества Пушкина — и Победы в Великой Отечественной

войне. И в заключение речь пойдет о поэзии 1941—1945 годов — поэзии, которая, вполне понятно, не могла не опираться так или иначе на великое пушкинское творчество, а вместе с тем была порождена великой войной и, следовательно, естественно и нераздельно связывала Поэта и Победу!

«Когда гремит оружие, музы молчат» — это восходящее к Древнему Риму изречение ни в коей мере не относится к нашей Отечественной войне. Даже самый скептический исследователь бытия страны в 1941—1945 годах неизбежно придет к выводу, что его насквозь пронизывала поэзия, — правда, в наибольшей степени в ее музыкальном, песенном воплощении, которое и очень значительно усиливает воздействие стихотворной речи на уши людей, и словно придает ей крылья, несущие ее по всей стране.

Но следует заметить, что грань между поэтом и создателем слов песни была тогда несущественной и зыбкой. Так, не связанная с песней — скорее уж «разговорная» — поэзия Александра Твардовского воспринималась в качестве глубоко родственной творчеству Михаила Исаковского, которое пребывало как бы на рубеже стиха и песни, а профессиональный «песенник» Алексей Фатьянов был столь близок Исаковскому, что ему могли приписывать произведения последнего (скажем, всем известное «Где ж вы, где ж вы, очи карие...»), и наоборот (фатьяновские «Соловьи» звучали в унисон с «В лесу прифронтовом» Исаковского)\*.

Впрочем, не только песни, но и сами по себе стихи подчас обретали тогда широчайшую, поистине всенародную известность — как, например, главы «Василия Теркина» или симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; все это, безусловно, подтвердит самое придирчивое исследование бытия людей в те годы, и все это несомненно для каждого, кто *жил* в то время. Автору этого сочинения ко дню Победы было около пятнадцати лет, и в памяти с полной ясностью хранится впечатление о повседневной, всепроникающей и поистине могучей роли, которую играло в военные годы поэтическое слово как таковое — и тем более в его песенном воплощении; едва ли будет гиперболой утверждение, что это слово явилось очень весомым и, более того, *необходимым* «фактором» Победы...

Позволительно высказать предположение, что поэтическое слово имело в то время значение, сопоставимое, допустим, со значением всей совокупности боевых приказов и тыловых распоряжений (хотя воздействие поэзии на людей фронта и тыла было, разумеется, совершенно иным). И без конкретной характеристики участия этого слова в повседневной деятельности людей, в

---

\* В модернистской эстетике утвердилось представление, согласно которому стиль поэта должен быть сугубо «индивидуальным», но это именно модернистский принцип; для классики (каноны которой воскрешались в поэзии 1930—1940 годов, что очевидно, скажем, в творческом развитии Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого) характерен стиль *эпохи*, стиль *времени*, а не заостренная индивидуализация. Так, например, ранний Тютчев весьма близок позднему Бораыньскому, а поздний — раннему Фету, и нередко даже ценители их поэзии ошибаются, определяя автора...



сущности, нельзя воссоздать реальную *историю* военных лет во всей ее полноте.

Но, отмечая этот изъян в историографии войны, следует сказать и о более, пожалуй, серьезном недостатке сочинений о поэзии той эпохи. Дело в том, что такие сочинения обычно опираются на самые общие и, по существу, чисто «информационные», «описательные» представления о войне, вместо того чтобы основываться на уяснении того основополагающего «содержания» войны 1941—1945 годов, которое *породило* именно такую поэзию (включая ее богатейшее песенное «ответвление»). Слово «породило» здесь важно, ибо употребляемые чаще всего термины «отражение», «воспроизведение» и т.п. упрощают, примитивизируют соотношение поэзии и действительности. Да, в конечном счете поэтическое слово «отражает» действительность — в данном случае действительность великой войны, — но, во-первых, «отражение» в поэзии вовсе не обязательно должно быть «прямым», воссоздающим события и явления войны как таковые, а, во-вторых, достоинства, ценность этого отражения ни в коей мере не зависят от «изобразительной» конкретности поэтического слова.

Поэтому точнее — и перспективнее — понимание поэтического слова как *порождения* великой войны, ее *плода*, а не ее, выражаясь попросту, «картины». Именно потому поэтическое слово оказывается способным воплотить в себе глубокий, не явленный с очевидностью *смысл* войны.

Если составить достаточно представительную и вместе с тем учитывающую критерий ценности антологию поэзии 1941—1945 годов и нескольких последующих лет (когда «военные» стихи еще «дописывались») — антологию, в которую войдет то, что так или иначе выдержало испытание временем\*, станет очевидно: преобладающая часть этих стихотворений написана не столько *о войне*, сколько *войною* (используя меткое высказывание Маяковского). С «тематической» точки зрения — это стихотворения о родном доме, о братстве людей, о любви, о родной природе во всем ее многообразии и т.п. Даже в пространной поэме «Василий Теркин», имеющей к тому же подзаголовок «Книга про *бойца*», собственно «боевые» сцены занимают не столь уж много места.

Преобладающее большинство обретавших широкое и прочное признание стихотворений (включая «песенные») тех лет никак нельзя отнести к «батальной» поэзии; нередко в них даже вообще нет образных деталей, непосредственно связанных с боевыми действиями, — хотя в то же время ясно, что они всецело порождены войной.

Это, конечно, не значит, что вообще не сочинялись стихотворения и целые поэмы, отображающие сражения, гибель людей, разрушения и т.п., однако *не они* были в центре внимания в годы войны, и не они сохранили свое значение до наших дней — спустя полстолетия с лишним после Победы.

---

\* Подчас это обусловлено, правда, не только «достоинствами» стихотворений (и песен), но и как бы жившейся в них любовью к ним нескольких поколений...

Особенно очевидно, что в 1940-х годах «потребители» поэзии ценили стихотворения (и песни), написанные, как сказано, не о войне, а только «войною» — без стремления «живописать» ее. И это, как я буду стремиться показать, имело глубочайший смысл.

Уже отмечено, что литературоведение в принципе не должно заниматься изучением *роли* поэзии в бытии людей военного времени, — это скорее задача историка: воссоздавая бытие 1941—1945 годов в его цельности, он, строго говоря, не вправе упустить из своего внимания и ту его грань, ту сторону, которая воплощалась в широчайшем «потреблении» поэзии. Автор этого сочинения ясно помнит, как в 1942 году молодая школьная учительница, жених которой находился на фронте, созывает всех обитателей своего двора — несколько десятков самых разных людей — и, задыхаясь от волнения, смахивая с ресниц слезы, читает только что дошедшее до нее переписанное от руки симоновское «Жди меня», и не исключено, что в то же время где-нибудь во фронтовом блиндаже читал то же стихотворение и ее жених... Об этой пронизанности бытия своего рода поэтическим стержнем верно сказал впоследствии участник войны Александр Межиров (он, правда, имел в виду прежде всего *музыку*, но поэзия была в годы войны нераздельна с ней):

И через всю страну  
струна  
Натянутая трепетала,  
Когда проклятая война  
И души и тела топтала...

И подобные сообщенному — бесчисленные! — факты соприкосновения людей с поэзией сыграли, несомненно, самую весомую роль в том, что страна выстояла и победила, — о чем и следовало бы аргументированно рассказать историкам великой войны.

А перед литературоведами стоит другая и, между прочим, более сложная задача: показать, *почему* поэзия тех лет *смогла* обрести столь существенное значение для самого бытия страны? Естественно предположить, что она так или иначе выражала в себе глубокий и истинный *смысл* великой войны — смысл, который не раскрывался во всей его глубине в газетах, листовках и радиопублицистике (доходившей тогда до большинства людей) и, более того, не раскрыт по-настоящему в позднейшей историографии войны, а во многих сочинениях историков и публицистов 1990-х годов либо игнорируется, либо объявляется пустой иллюзией старших поколений.

\* \* \*

В «основном фонде» поэзии 1941—1945 годов война предстает как очередное проявление *многовекового* натиска иного и извечно враждебного мира, стремящегося уничтожить наш мир: битва с врагом, как утверждает поэзия, призвана спасти не только (и даже не столько) политическую независимость и непосредствен-

но связанные с ней стороны нашего бытия, но это бытие во всех его проявлениях — наши города и деревни с их обликом и бытом, любовь и дружбу, леса и степи, зверей и птиц, — все это так или иначе присутствует в поэзии того времени. Михаил Исаковский, не опасаясь впасть в наивность, писал в 1942 году:

Мы шли молчаливой толпою,  
Прощайте, родные места!  
И беженской нашей слезою  
Дорога была залита.

Вздмалось над селами пламя,  
Вдали грохотало,  
*И птицы летели за нами,*  
*Покинув гнездовья свои...*

Через проникновенную поэму Твардовского «Дом у дороги» проходит заветный лейтмотив:

Коси коса,  
Пока роса.  
Роса долой —  
И мы домой, —

и ясно, что враг вторгся к нам, дабы уничтожить и косу, и росу, и, конечно, дом...

Поэзия, в сущности, созначала этот смысл войны с самого начала, и, между прочим, те авторы, которые сегодня пытаются толковать одно из проявлений извечного противостояние двух континентов как бессмысленную схватку двух тоталитарных режимов, должны, если они последовательны, отвергнуть и поэзию тех лет, — в том числе стихотворения Анны Ахматовой, написанные в 1941—1945 годах и объединенные ею впоследствии в цикл под заглавием «Ветер войны». Напомню вошедшие тогда в души людей строки, написанные 23 февраля 1942 года и опубликованные вскоре, 8 марта, в «главной» газете «Правда»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет...

На весах лежит даже *слово*:

И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим и от плена спасем  
Навеки!

Или перекликающиеся своим творческим простодушием с поэзией Михаила Исаковского написанные уже в победную пору, 29 апреля 1944-го, и опубликованные 17 мая в «Правде» стихи

Бориса Пастернака, в которых близящаяся Победа предстает и как спасение самой нашей природы — вплоть до воробьев...

Все нынешней весной особое.  
Живее воробьев шума.  
Я даже выразить не пробую,  
Как на душе светло и тихо...

Весеннее дыханье родины  
Смывает след зимы с пространства  
И черные от слез обводины  
С заплаканных очей славянства...

\* \* \*

Как уже сказано, *песни* во время войны были всеобщим достоянием; не менее важно, что народное самосознание выражалось в них наиболее концентрированно и заостренно. И, наконец, нельзя не отметить, что целый ряд этих песен сохраняет свое значение и сегодня: их поют теперь уже и *внуки* тех, кто застал войну, — поют, собравшись где-либо, и даже перед телекамерами (имеются в виду совсем молодые певцы и певицы). Правда, последнее бывает не столь часто, но надо скорее удивляться тому, что вообще *бывает*, — если учитывать, какие персоны управляют сейчас телевидением.

Есть основания полагать, что нынешнее молодое поколение дорожит и теми или иными стихотворениями и поэмами, созданными в годы войны, но полностью убедиться в этом не так легко, а вот тогдашние песни, звучащие сегодня из молодых уст в студиях, концертных залах или попросту на улице, — убеждают.

Вспомним хотя бы десяток песен, созданных в 1941—1945 годах, известных во время войны всем и каждому и продолжающих свою жизнь по сей день: «В прифронтовом лесу» («С берез неслышен, невесом...»), «Огонек» («На позицию девушка провозжала бойца...») и «Враги сожгли родную хату...» Михаила Исаковского, «Соловьи» («Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»), «На солнечной поляночке...» и «Давно мы дома не были» («Горит свечи огарочек...») Алексея Фатьянова, «В землянке» («Бьет в тесной печурке огонь...») Алексея Суркова, «Дороги» («Эх, дороги, пыль да туман...») Льва Ошанина, «Случайный вальс» («Ночь коротка, спят облака...») Евгения Долматовского, «Темная ночь» Владимира Агапова (для которого эта песня, по-видимому, была *единственным* творческим взлетом...). Слова этих песен конечно же всецело порождены войной, но на первом плане в них — не война, а тот мир, который она призвана спасти.

Правда, есть еще одна также известная всем и тогда, и теперь песня, которая имеет иной характер — «Священная война» («Вставай, страна огромная...») Василия Лебедева-Кумача. Но, во-первых, она — одна такая, а, во-вторых, это, в сущности, не песня, а военный *гимн*. Написанные в ночь на 23 июня (24 июня текст был уже опубликован в газетах) слова этого гимна, надо прямо ска-

зять, не очень уж выдерживают художественные критерии; у Лебедева-Кумача есть намного более «удачные» слова песен, скажем:

Я на подвиг тебя провожала, —  
Над страную гремела гроза.  
Я тебя провожала  
И слезы сдержала,  
И были сухими глаза...

Но в «Священной войне» все же имеются своего рода опорные строки, которые находили и находят мощный отзвук в душах людей:

...Вставай на смертный бой...

...Идет война народная,  
Священная война...

И о противнике:

Как два различных полюса,  
Во всем враждебны мы...

И призыв, близкий по смыслу другим песням:

...Пойдем ломить всей силою,  
*Всем сердцем, всей душой*  
За землю нашу милую...

На эти строки, в свою очередь, оперлась героико-трагическая мелодика композитора А.В.Александрова, и родился покоряющий всех гимн. Надо иметь в виду, что гимн этот люди в общем не столько пели, сколько слушали, подпевая ему «в душе», и едва ли помнили его слова в целом, — только «опорные».

Как и многие обладающие высокой значимостью явления, «Священная война» обросла легендами — и позитивными, и негативными. С одной стороны, постоянно повторяли, что прославленный ансамбль песни и пляски Красной Армии пел ее для отправлявшихся на фронт войск на Белорусском вокзале уже с 27 июня 1941 года. Между тем скрупулезный исследователь знаменитых песен Юрий Бирюков по документам установил\*, что вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» была, как говорится, в опале, ибо некие предрержащие власти считали, что она чрезмерно трагична, с первых строк обещает «смертный бой», а не близкое торжество победы... И только с 15 октября — после того как враг захватил (13-го) Калугу и (14-го) Ржев и Тверь-Калинин, — «Священная война» стала ежедневно звучать по Всесоюзному радио. Сцену же, якобы имевшую место в первые дни войны на Белорусском вокзале, создал художественным воображением Константин Федин в своем романе «Костер» (1961—1965), и отсюда сцена эта была перенесена в многие будто бы документальные сочинения.

\* См.: Родина. 1996. №6. С. 88—91.

С другой стороны, с 1990 года начали публиковаться совершенно безосновательные выдумки о том, будто бы «Священная война» была написана еще в 1916 году неким обрусевшим немцем. Но это — один из характерных образчиков той кампании по дискредитации нашей великой Победы, которая столь широко развернулась с конца 1980-х годов: вот, мол, «главная» песня сочинена за четверть века до 1941-го, да еще и немцем... Юрий Бирюков, анализируя сохранившуюся в Российском государственном архиве литературы и искусства черновую рукопись Лебедева-Кумача, в которой запечатлелось несколько последовательных вариантов многих строк песни, неоспоримо доказал, что текст принадлежит ее «официальному» автору.

Важно сказать еще, что нынешние попытки дискредитации прославленной песни лишний раз свидетельствуют о той *первостепенной роли*, которую сыграла песня (и поэзия вообще) в деле Победы! Ибо оказывается, что для «очернения» великой войны необходимо «обличить» и ее песню...

Сам Г.К.Жуков на вопрос о наиболее ценных им песнях войны ответил так: «...«Вставай, страна огромная...», «Дороги», «Соловьи»... Это бессмертные песни... Потому что в них отразилась *большая душа народа*» — и высказал уверенность, что его мнение не расходится с мнением «многих людей»\*. И в самом деле к маршалу конечно же присоединились бы миллионы людей, хотя и добавив, может быть, в его краткий перечень еще и «В прифронтовом лесу», «Темную ночь», «В землянке» и т.п.

Но обратим еще раз внимание на то, что собственно «боевая» песня — «Священная война» — только *одна* из вошедших в «золотой фонд»; остальные, как говорится, «чисто лирические». И вроде бы даже трудно совместить «ярость» этого гимна с просьбой к соловьям «не тревожить солдат», хотя маршал Жуков поставил и то и другое в один ряд.

Здесь представляется уместным отступление в особенную область познания прошлого — получившую в последнее время достаточно высокий статус во всем мире — «устную историю» (*oral history*), которая в тех или иных отношениях способна существенно дополнить и даже скорректировать исследования, основывающиеся на письменных источниках.

Близко знакомый мне еще с 1960-х годов видный германский русист Эберхард Дикман в свое время сообщил мне о, признаюсь, весьма и весьма удивившем меня факте: в Германии во время войны не звучало *ни одной* связанной с войной лирической песни; имелись только боевые марши и «бытовые» песни, никак не соотношенные с войной. Могут сказать, что устное сообщение одного человека нуждается в тщательной проверке фактами, но мой ровесник Дикман в данном случае не мог ошибиться: он жил тогда одной жизнью со своей страной, даже являлся членом тамошнего «комсомола» — «Гитлерюгенд», старший брат его воевал на Восточном фронте и т.п.

\* Маршал Жуков. Каким мы его помним. М., 1989. С. 190 (курсив мой. — В.К.).

Эберхард Дикман рассказывал и о том, как в 1945-м кардинально изменилось его отношение к страшному восточному врагу. 7 мая в его родной Мейсен на Эльбе ворвались войска 1-го Украинского фронта, чего он ожидал со смертельным страхом — и из-за своего брата, и из-за своего членства в «Гитлерюгенд». Но его ждало настоящее потрясение: вражеские солдаты, расположившиеся в его доме, вскоре занялись благоустройством комнат и двора, добродушно подчиняясь указаниям его строгой бабушки... И хотя его отец считал за лучшее перебраться в Западную Германию, Эберхард не только остался на оккупированной нами территории страны, но и избрал своей профессией изучение русской литературы (прежде всего творчества Льва Толстого).

Но вернемся к главному: в высшей степени существен тот факт, что наша жизнь во время войны была насквозь пронизана лирическими песнями (это подтвердит, вне всякого сомнения, любой мой ровесник), между тем как в Германии их или не было вообще, или, по крайней мере, они играли совершенно незначительную роль (иначе мой немецкий ровесник не мог бы их «не заметить»).

И еще об одном. Эберхард Дикман очень полюбил наши военные песни и не раз просил меня напеть какую-либо из них; правда, как-то после пения фатьяновской «Давно мы дома не были», созданной в 1945-м и говорящей о парнях, которые находятся уже

В Германии, в Германии —  
В проклятой\* стороне... —

притом, строки эти, в соответствии с построением песни, дважды повторяются, — Эберхард заметил, что, быть может, не стоило бы повторять слово «проклятой»... (мне пришлось напомнить ему известное изречение «из песни слова не выкинешь»).

Приверженность немца к нашим песням, рожденным войной, трудно объяснима; сам он не смог дать ясного ответа на вопрос о том, чем они ему дороги. Но можно, думается, ответить на этот вопрос следующим образом. Как бы ни относился тот или иной немец к Германии 1930—1940 годов, развязавшей мировую войну, он не может не испытывать тяжелого чувства (пусть даже бессознательного) при мысли о полном *поражении* своей страны в этой войне.

Видный германский историк и публицист Себастиан Хаффнер в 1971 году писал о своих соотечественниках: «Они ничего не имели против создания Великой германской империи... И когда... этот путь, казалось, стал реальным, в Германии не было почти никого, кто не был бы готов идти по нему». Однако, заключал Хаффнер, «с того момента, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: русские были сильнее... прежде всего потому, что для них решался вопрос *жизни и смерти*».

\* В послевоенных публикациях и исполнениях песни некие «блюстителю» заменили «проклятой» на «далекой»...

В конечном счете *именно это* и воплощено в поэзии военных лет и особенно очевидно в песнях, которые посвящены не столько войне, сколько спасаемой ею *жизни* во всей ее полноте — от родного дома до поющих соловьев, от любви к девушке или жене до желтого березового листа...

И, возможно, эти песни, «объясняя» германской душе *неизбежность* поражения его страны, тем самым «оправдывали» это поражение и в конечном счете *примиряли* с ним... Отсюда — выходящее парадоксальным пристрастие моего германского друга к этим песням.

\* \* \*

Но, главное, конечно, в самом этом резком контрасте: нашу жизнь в 1941—1945 годах невозможно представить себе без постоянно звучащих из тогдашних радиотарелок и поющих миллионы людей лирических песен о войне, а в Германии их нет вообще! Перед нами, несомненно, чрезвычайно многозначительное различие, которое, в частности, начисто перечеркивает пути иных нынешних авторов, преследующих цель поставить знак равенства между Третьим рейхом и нашей страной.

Тот факт, что смысл войны воплощался и для маршала Жукова, и для рядового бойца в написанных в 1942 году словах:

Пришла и к нам на фронт весна,  
Солдатам стало не до сна —  
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  
Поют шальные соловьи... —

раскрывает ту историческую истину, о которой не говорится ни во многих несущих на себе печать «казенщины» книгах о войне, изданных в 1940—1980 годах, ни тем более в очернительских писаниях 1990-х.

Но внуки пережившего войну поколения, поющие подобные песни сегодня, надо думать, как-то чувствуют эту воплотившуюся в них глубокую и всеобъемлющую *истину*.

Напомню уж приведенные слова Александра Твардовского о том, что только в дни Отечественной войны он почувствовал «ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова», в котором он в эти дни обрел «благородную красоту навечных запечатлений... родной земли, с ее городами и селами, полями и водами». Как я стремился показать, именно это определяло характер поэзии — стихотворений и песен — военных лет, подтверждая глубокую связь творческого наследия Пушкина и великой Победы, — связь, которая легла в основу замысла моей книги.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора .....	3
<b>Великое творчество .....</b>	<b>7</b>
<b>Часть I. Главное о Пушкине к его 200-летию .....</b>	<b>9</b>
Где родился Поэт? .....	9
«На большой мне, знать, дороге...» .....	14
Пушкин как творец русского классического стиля .....	25
Тайна поэзии .....	53
Пушкин и Чаадаев (к истории русского самосознания) .....	65
О тайне гибели Поэта .....	88
«Посмертная книга» .....	106
Воспоминания о воспоминаниях .....	122
Из «Записок А.О.Смирновой» .....	127
О дневики одного простолюдина — ровесника Поэта .....	134
<b>Часть II. Тысячелетние истоки пушкинского слова .....</b>	<b>139</b>
«Сладость книжная» .....	139
«Книга бытия небеси и земли» .....	149
Из Толковой Палей .....	155
Знамена месяцев .....	163
О звездах и планетах .....	165
О сотворении Солнца .....	165
О звездах .....	166
О Солнце и о Луне .....	166
Отпадение X чина ангелов .....	169
Величие преподобного Иосифа Волоцкого .....	171
Пушкин, древнерусское творчество и Великая Отечественная война (рассуждение об исторической преемственности) .....	204
<b>Великая победа .....</b>	<b>209</b>
Война и геополитика .....	211
Внезапность или неготовность? .....	266
Москва — Ржев — Берлин .....	278
Итоги войны .....	300
Приложение. Война и евреи .....	315
Поэзия военных лет (вместо заключения) .....	318

*Кожин Вадим Валерианович*

### **ВЕЛИКОЕ ТВОРЧЕСТВО. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА**

Главный редактор *Н.П. Синицын*

Редактор *В.В. Амельченко*

Художник *Ю.В. Крошкин*

Художественный редактор *Л.Е. Кривокобыльская*

Корректор *Г.В. Казнина*

Компьютерная верстка *Н.В. Лапшина*

Технический редактор *Н.Я. Богданова*

Слано в набор 14.04.99. Подписано в печать 27.04.99. Формат 60×90/16.  
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Усл. печ.л. 20,5.  
Уч.-изд.л. 20,72. Изд. № С/99/377. Тираж 5000 экз. Зак. 557

Воениздат, 103160, Москва, К-160.  
ОАО «Астра семь», 121019, Москва, Филипповский пер., д.13





КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА  
 РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ  
 КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА



...Наша страна издавна воспринимается на Западе не только как чуждый, но и как враждебный континент. И это — геополитическое — убеждение, несомненно, останется незыблемым — по крайней мере в предвидимом будущем.

Вадим КОЖИНОВ

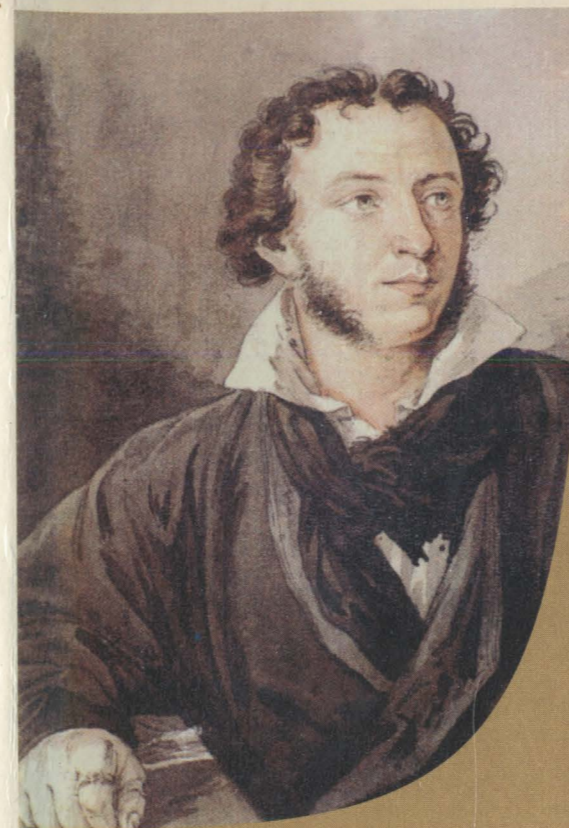


Памятник «Защитникам земли Российской» (скульптор А. Бичугов) в мемориале Победы на Поклонной горе в Москве



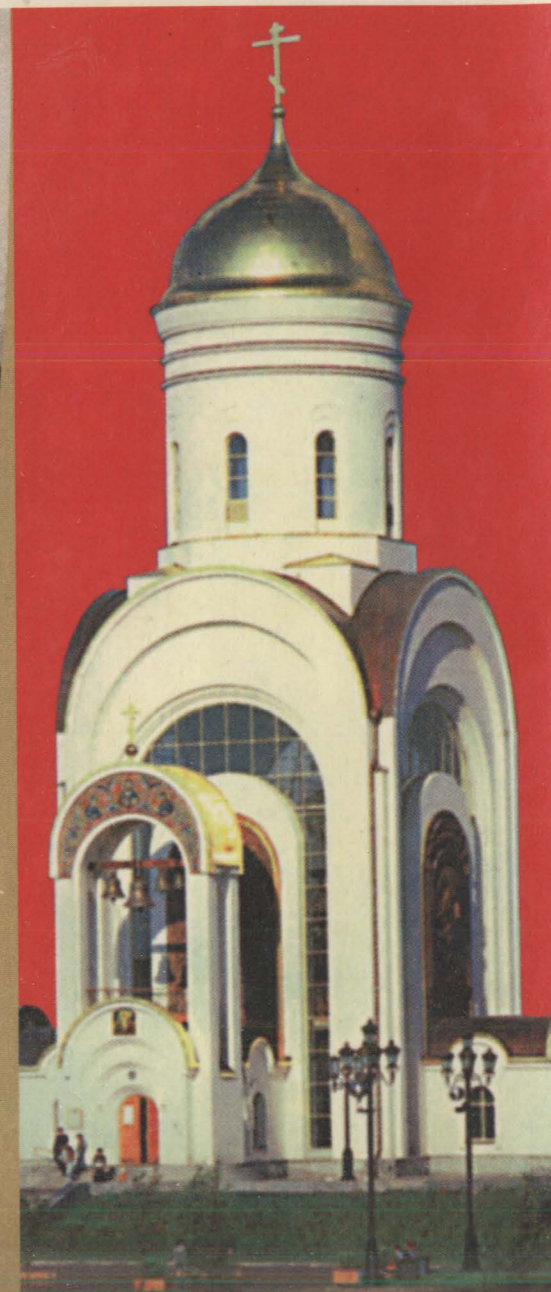
Дом книги на Соколе  
 85203 018878  
 инов В. Великое творчество. Великая победа.  
 лтер 8466

**Вадим КОЖИНОВ**



**ВЕЛИКОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА**



Страшись, о рать  
 иноплеменных!  
 России двинулись сыны...  
 Ты в каждом ратнике узришь  
 богатыря,  
 Их цель иль победить,  
 иль пасть в пылу сраженья  
 За Русь, за святость алтаря...

Александр ПУШКИН

А.С. Пушкин. С картины В.А. Тропинина  
 Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (архитектор А. Полянский) в мемориале Победы на Поклонной горе в Москве